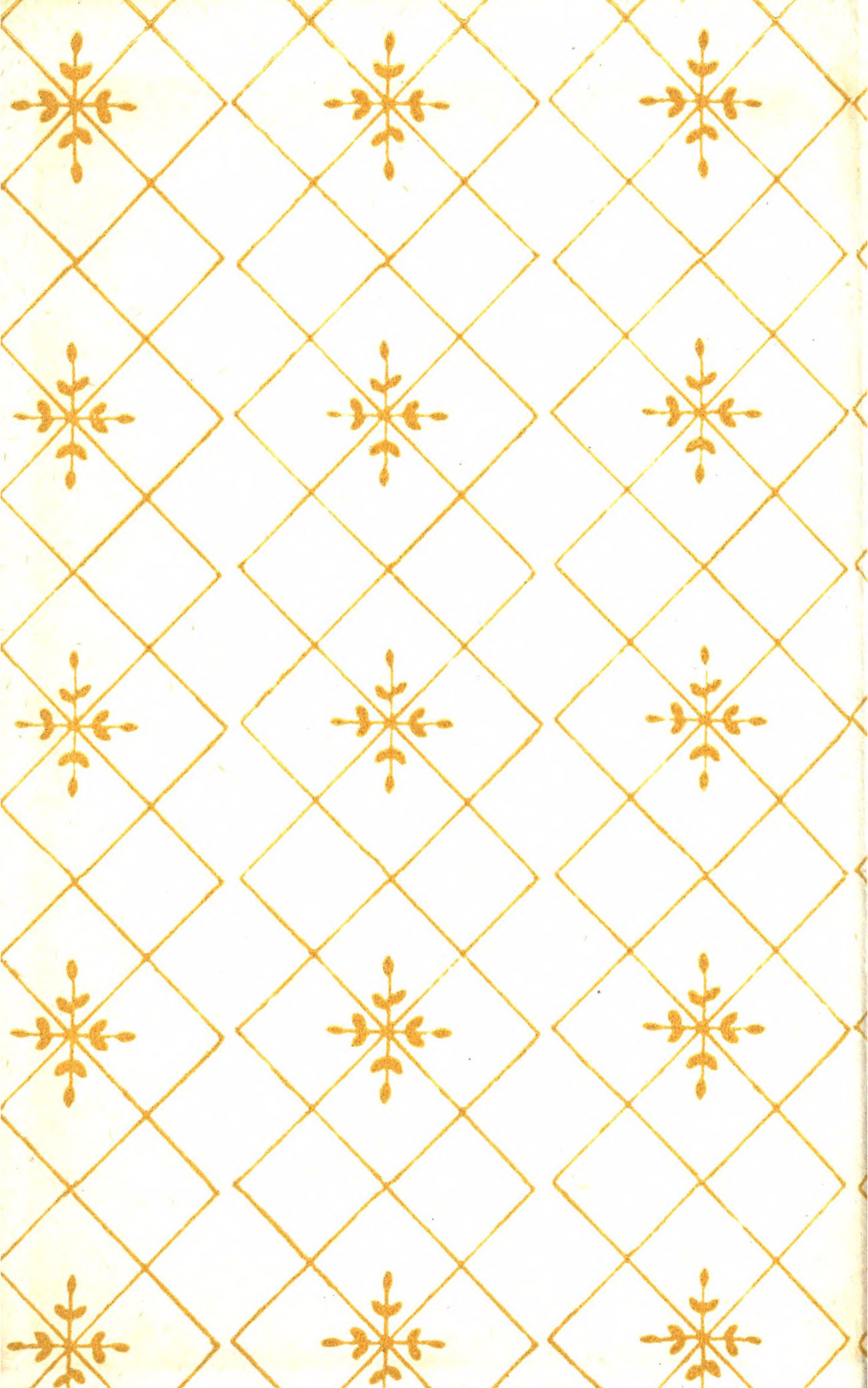
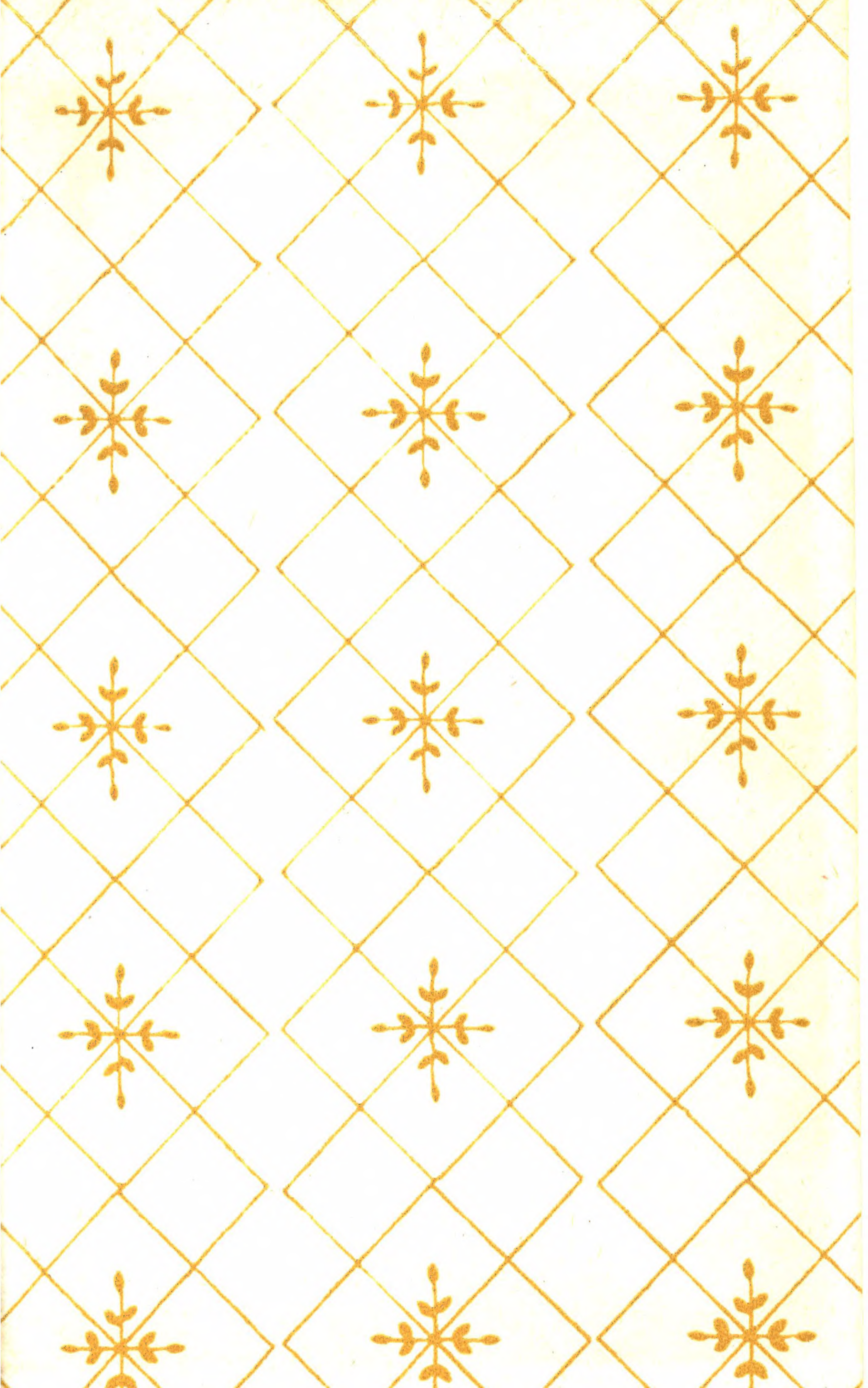
Иван Шухов





Собрание сочинений
в пяти
томах



ИВАН ШУХОВ

Собрание сочинений
Том
первый

ГОРЬКАЯ ЛИНИЯ

роман

Алма-Ата
Издательство „Жазушы"
1981

Вступительная статья
А. УСТИНОВА

Составление, подготовка
текста и примечания
ИЛЬИ ШУХОВА

Оформление художника
Л. ТЕТЕНКО

Ш $\frac{70302-122}{402\ (05)\ 81}$ 16—81 4702230200

ХУДОЖНИК ГОРЬКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Иван Петрович Шухов принадлежит к той плеяде советских литераторов, которые с полным правом могут быть названы художниками горьковской генерации. Начало его творческой деятельности относится к концу двадцатых — началу тридцатых годов и ознаменовано отеческим напутствием Алексея Максимовича Горького в большую литературную жизнь. Однако этот факт следует рассматривать не однозначно, а в широком смысле, как факт, отражающий сложный, уникальный в своей исторической неповторимости процесс создания литературы социалистического реализма под руководством ее родоначальника Горького.

Советская литература в первое десятилетие, да, пожалуй, и во второе, после Октября, должна была сделать отбор из нахлынувшего в нее прибоя разбуженных революцией творческих сил. Непростой отбор. От него зависело, каким тенденциям, методам, направлениям, стилям, именам, наконец, предстоит возглавить духовное развитие страны. Надо было заметить те тенденции, которые, к примеру, дали второе дыхание Джамбулу или уже в сорок пять лет заставили взяться за перо Бажова, который сам признавался: «Вероятно, никаких литературных работ у меня не было бы, если бы не революция»[1].

Для Шухова начало писательской биографии совпало с этим ответственным для советской литературы периодом, когда личный писательский выбор совпадал с выбором судеб литературы. Потому-то и коснулось горьковское око творчества этого писателя, что в нем были почти все те «исходные данные», которые требовались для художника нового советского типа.

Напомним некоторые высказывания М. Горького из его писем Шухову, показывающие, что именно ценил в молодом писателе родоначальник советской литературы:

---

[1] Скорино Л. Павел Петрович Бажов.— В кн.: Бажов П. П. Соч. в 3-х т., т. 1., М., б-ка «Огонек», 1976, с. 8.

«...у Вас хорошее, здоровое, революционное дарование, его необходимо расширить, углубить»[1].

«Читая «Горькую линию», получаешь впечатление, что автор — человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно, будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтоб изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью, вполне заслуженной ими»[2].

...«Вы — как бы — подслушали все мысли, поняли все чувствования всех Ваших героев»[3].

«Я рассматриваю Ваше дело, Вашу работу не с точки зрения мещанского, рафинированного эстетизма, а под углом той законной эстетики, в основе которой лежит биологическое стремление живого организма к совершенству формы, а язык есть — живой организм. Чем более экономно, точно, ярко Вы изобразите словами явления социальной жизни — тем более убедительной будет социальная педагогика Вашей книги»[4].

Надо иметь революционное дарование, серьезно относиться к нему, чувствовать и как бы подслушивать своих героев — и, наконец, обладать чувством «законной эстетики» живого организма в противовес «мещанскому эстетизму», чтобы добиться эффективности социальной педагогики книги. Этими качествами обладал Шухов. Эти качества и привлекли к нему внимание Горького.

Литературное творчество Ивана Шухова отмечено самобытным характером как по тематике, по фактуре жизненного материала, так и по художественному своеобразию творческого почерка. Критические и литературоведческие работы указывают на значительное место, занимаемое им в истории советской литературы.

Характерно, что уже первые критические отклики на произведения И. Шухова представляли его не начинающим писателем. Кстати, такого определения —«начинающий»— не было в арсенале критиков двадцатых — первой половины тридцатых годов (по крайней мере, я его не встречал). Но дело даже не в упоминании литературной молодости автора. Все рецензенты, словно сговорившись, считают необходимым не просто прорецензировать только что появившиеся романы — они ощущают потребность говорить о двух первых романах И. Шухова как о всем творчестве писателя. Эта тенденция проявляется даже в названиях рецензий. Вот несколько статей, появившихся в 1932 году: Симхович М. Творчество И. Шухова.—«Рост», № 5; Колесникова Г. Два романа о классовой борьбе. Творческий

---

[1] Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 30, М., «Художественная литература», с. 339.
[2] Там же, с. 223.
[3] Там же, с. 223.
[4] Там же, с. 224.

путь И. Шухова.—«Октябрь», № 5—6; Овчинников М. Творчество Ивана Шухова.—«Молодая гвардия», № 6; Плиско Н. Творческий путь И. Шухова.—«Книга и пролетарская революция», № 6—7. И в последующем прослеживается эта же тенденция говорить о Шухове «в целом», как о сложившемся художнике, как о цельном, завершенном литературном явлении: Кирьянов С. Иван Шухов.—«Красная новь», 1933, № 4; Сильченко М. Шухов — художник.—«Советская литература Казахстана», 1934, № 1 и т. д.

Чтобы полнее осмыслить значение творчества И. Шухова, мы должны иметь в виду три определяющих фактора: особенности времени появления его как художника, тематическую специфику и образно-стилистический строй его повествовательной манеры.

Итак, время появления...

* * *

«Героем наших дней является человек из массы, чернорабочий культуры, рядовой партиец, рабселькор, военкор, избач, выдвиженец, сельский учитель, молодой врач и агроном, работающие в деревне, крестьянин — «опытник» и активист, рабочий-изобретатель, вообще человек массы!»[1]— писал Горький примерно в то время, когда появились первые рассказы Шухова. Сам «человек из массы», Шухов нес в литературу именно такого героя. Литературное происхождение этого термина заслуживает особого разговора. Рождался он в конце 20-х годов, как реакция на бесперспективное художественное направление, считавшее своей задачей изображение массы в качестве главной движущей силы революции. Пройдя через «Два мира» Зазубрина, «Россию, кровью умытую» Веселого, «Голый год» Пильняка и другие произведения, это направление могло дать свои лучшие вещи благодаря тому, что в них был введен «человек из массы» («Неделя» Либединского, «Железный поток» Серафимовича, «Тайное тайных» Вс. Иванова).

В пылу революционной горячности, подогреваемой, с одной стороны, левацкими загибами пролеткульта, с другой,— прямым проецированием марксизма на художественную практику, чем занимались вульгарные социологи, забылось, что цель и предмет литературы — человек. Не то чтоб забылось, а скорее всего горячие головы захлестнулись модными лозунгами недалеких теоретиков о первостатейном изображении массы — творца истории. Впрочем, не теория тут виновата. Практика жаждала нового лозунга и глотала его не раскусив.

«Мы ценим человека не по тому, что он переживает, а по той роли, которую он играет в нашем деле. Поэтому интерес к делу у нас

[1] Горький М. О литературе. М., «Советский писатель», 1955, с. 301.

основной, а интерес к человеку — интерес производный»,[1] — декларировал в 1928 году журнал «Новый Леф».

Новые художественные истины лежали на другом пути, по которому шли Фадеев, Гладков, Фурманов, Шолохов, вооруженные реалистическим инструментарием предшественников для исследования художественного типа как явления эпохи.

Советской литературе еще предстояло постижение своего «объекта». Каков он, ее будущий герой? Ясный, как солнышко, весь светящийся идеями и чувствами нового? Или живой человек (теория «живого» человека)? Непогрешимый ли он праведник, или «с червоточинкой»? Интуитивист или рационалист? И пока шли споры, в дальнем углу редакции газеты «Батрак», сдав до двенадцати необходимые газетные материалы, с обеда до глухой темноты литсотрудник Иван Шухов заносил на длинные листы из какой-то бухгалтерской книги эпизоды, характеры, картины «Горькой линии». Это произведение и следующее за ним — роман «Ненависть» — сразу, без какой-либо художественной эволюции, определило творческое лицо Ивана Шухова как литературное явление.

Довольно сложный вопрос — определение художественного генезиса Ивана Шухова. Ни о себе, ни о других он много не распространялся. Имеются лишь некоторые косвенные свидетельства его литературных симпатий. В письме 1929 года из Крыма к другу юности Василию Квитко он писал о своем упоении прозой Бунина и восклицал: как нам много надо учиться, чтобы так писать! Ему тогда было 23 года. В 28 лет, уже известный писатель, выступая на районном съезде Советов в своей Пресновке, коснувшись литературных тем, сказал: «Секретарь ЦК Комсомола Косарев как-то очень умно заметил, что ударники в большинстве наших книг советских писателей получаются какими-то деревянными болванчиками, которые механически, не думая, действуют и к тому же вечно смеются[2].

Из этих высказываний, разумеется, нельзя делать исчерпывающих выводов, но полюсы положительных и отрицательных зарядов его эстетического «электричества» здесь отмечены четко.

Он не скрывал своего восхищения С. Есениным, А. Твардовским, П. Васильевым. Как-то так выходило в его разговорах, письмах, работе, что эти поэты всегда были с ним: в душе, на языке. Они были частью его самого.

Глубоко поэтическая натура Шухова «стеснялась» высказываться стихами, хотя кое-что им и опубликовано, в частности, вполне самобытная «Моя поэма». Не стеснялся он отправлять в редакции

---

[1] См. кн.: Очерки русской советской журналистики. М., «Наука», 1966, с. 339.

[2] Газета «Карагандинская коммуна», 1934, 30 ноября.

только детские, совсем неумелые рифмованные строки, которые иногда и публиковались. Ему тогда было семнадцать-восемнадцать лет. Глядя сейчас на первые стихи, поражаешься, как их автор уже лет через пять написал «Горькую линию».

И. Шухов, словно акын-импровизатор, «пропел» свои первые романы вдохновенно, уверенно, красочно. Иногда в критической литературе некоторые авторы пытаются докопаться до его литературной родословной, находя аналогии с М. Шолоховым, сказами П. Бажова и т. д.[1] Но Шолохов и Шухов — писатели одного поколения. «Поднятая целина» и «Ненависть» писались в одно время, по горячим следам событий. Говорить о каком-либо литературном влиянии Шолохова на Шухова было бы натяжкой. «Былинность» стиля Бажова кое-где проглядывает в шуховских страницах, однако не является определяющей. Можно найти общие приемы словесного изображения, какими пользуется Шухов, у Вс. Иванова в его ранних рассказах и у П. Васильева, хотя сравнение прозаической ткани с поэтической весьма условно. Однако и эти аналогии — не вывод о влиянии. Все дело в том, что творчество этих художников базировалось на одинаковом социально-этнографическом материале. Как и они, Шухов пришел в литературу без пут литературных реминисценций. И это наиболее ценно.

Конечно, в широком смысле можно говорить о том, что автор «Горькой линии» имел за спиной богатый опыт русской литературы и начинал свою деятельность не от фольклора. Но я хочу сказать: и от фольклора.

Но фольклор, ставший основой шуховской языковой ткани,— своеобычен. Конечно, он в чем-то перекликается с более известным фольклором донских казаков. Помимо ярких речевых самохарактеристик героев, в которых так и брызжет языковая стихия сибирского казачества, у Шухова весь текст его романов пересыпан песнями:

Прослужил казак три года,
Стал коня свово ласкать....

Вот ворон каркнул на березе,
На службу сборы подошли...

На горе я, казак, родился,
На горе вырос сиротой....

---

[1] См.: Курова К. Иван Шухов. Критико-биографический очерк. Алма-Ата, Казгослитиздат, 1960; Вулис А. Иван Шухов, создатель романов «Горькая линия» и «Ненависть».— В кн.: Шухов И. Горькая линия. М., «Художественная литература», 1969; Шаталин М. Книги Ивана Шухова.— В кн.: Шухов И. Избранное. Алма-Ата. Казгослитиздат, 1962.

Куда, казак, едешь?
Куда отъезжаешь?
На кого ты, милый,
Меня покидаешь?..

Этот фольклор складывался в особых условиях. Имеется в виду целый регион русского населения протянувшихся цепочкой линейных казачьих станиц от Урала по северной кромке казахской степи до Иртыша и по нему — до Устья Каменных гор. Поселившись в начале XVIII века на землях, не тронутых сохой, государевы слуги — казаки принесли с собой смекалку, быт и душу русского оратая. На этой закваске, круто сдобренной местными природно-климатическими особенностями да двухвековым общением со степняками, замесилась и выпеклась своеобразная порода сибирского казачества, которое к моменту, описываемому в книгах Шухова, уже исчерпало свою духовную и нравственную суть.

Иногда Сибирь рассматривают как единый литературный материк, цельный в своей языковой и этнографической экзотике. Что это не соответствует действительности, лучше всего свидетельствует творчество Шухова, теснейшим образом связанное с конкретным местом на Земле, с конкретным периодом истории, конкретными людьми с общими социально-этнографическими признаками, которые растворились и исчезли вот уже в наши дни. Даже соседний, например, алтайский литературный регион, пожалуй, наиболее щедрый на «представительство», имеет уже другие психологические и языковые краски.

Говоря о том или ином писателе, мы нередко опускаем одну существенную сторону, довольствуясь контуром социальных, национальных характеристик или принадлежностью к какой-то существующей или существовавшей литературной традиции. Я имею в виду микроклимат его писательского созревания. Тот микроклимат, который багажом детских и юношеских впечатлений сопровождает всегда. И где бы потом ни был писатель Пешков, о каких местах и людях ни писал, в каждом его слове будут слышаться волжское оканье, горький привкус нижегородской жизни конца прошлого столетия. И не знали огороженные плетнями деревянные и саманные дома села Лебяжье на берегу Иртыша выше Павлодара о том, что жизнь, бродившая в их стенах в начале нашего века, обретет вечность в созданиях фантазии некогда жившего там мальчика Всеволода Иванова. Уральский привкус у любого «плода» Бажова. Вологодская прописка у произведений В. Белова. Алтайским оставался и уже всесоюзный В. Шукшин.

Иван Шухов — из станицы Пресновской. Название типичное. Их много: Пресное, Пресногорьковка, Пресновка. А там — Песчаное, Камышное, Степное, Подстепка, Семиозерное и т. д. По приметам

местности. А то и такие станицы образовывались: Осьмерыжск, Пятирижск (где остановились восьмой и пятый рижские полки), Семипалатное и другие. Была в этих станицах жизнь своеобычная. Срубленные еще прадедами пятистенники под тесовыми крышами с пристроенными стайками для скота и баньками на задах чинно располагались вокруг кирпичной церкви под кровельным железом. Это костяк станицы. Мнящая себя вечной ее прочная основа со строевыми лошадьми под седлом и прочей амуницией для каждого мужчины, с немеряными десятинами выборочной целины в степи на заимках, с выскобленным добела полом в горнице и душистой геранью по окнам. А вокруг этого костяка уже наросли как в непрополотом огороде саманные избушки и землянки занесенных сюда ветрами времени расейских мужичков, встреченных презрением и высокомерием. Все углубляющееся социальное неравенство — даже в самой казачьей среде, не говоря уже о пришлых, которым одна доля — в батраки.

Вместе с тем относительная сытость и стабильность быта этих станиц — до столыпинских переселенцев — способствовали выработке характера независимого, веселого, чуть беспечного, порой заносчивого, но отходчивого, характера приветливого и открытого.

Надо было все это впитать в себя и полюбить, чтобы затем этот мир засверкал в своем художественном отражении под пером И. Шухова. А природа? К ней нельзя было не прикипеть.

«Степь.

Родимые, не знавшие ни конца ни края просторы. Одинокие ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдали росчерк березовых перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячных костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. О, как далеко-далеко слышна там в предзакатный час заблудившаяся в ковыльных просторах проголосная девичья песня!

До боли в глазах сверкают там в знойную летнюю пору ковыли и озера, а зимой — белые сахарные снега. Гулко гудит на рассвете под некованым конским копытом широкий тракт. Неподвижным и тусклым становится ночью шафранный зрачок зверя, притаившегося в придорожном бурьяне. Бесшумно, медленными кругами опускается в предзакатный час на одинокий степной курган орел».

С трудом отрываешься от шуховского текста. Нет желания его разбирать по косточкам и пытливо выискивать причину притягательности. Не глаголы и междометия тут «виновны». Авторское чувство! Его невозможно «изобразить». Хотя, конечно, изобразительная техника налицо.

Чувство любви к Родине, начинающейся от отчего порога,— толь-

ко такое чувство рождает патриота и не позволяет даже по мелочам сфальшивить какой-нибудь розово-голубой красочкой или визгливым фальцетом чем-то недовольного радетеля истоков. Это особенно наглядно проявится в поздней шуховской публицистике, в путевых очерках «Дни и ночи Америки» и «Дыхание Адриатики».

На фоне таких художников, как Шухов, резче контрастируют до поры до времени блистающие позолотой псевдоправды различные «борцы» то за свое исконное, то за вечно глобальное. Шухов честен и прям, как каждый истинный художник. Горький отмечал уже его способность, будучи казаком, «изображать казаков с беспощадной и правдивой суровостью». Возможно, и здесь сказалось своеобразие того этнического слоя, из которого вышел писатель.

Сибирское казачество, находясь в специфических условиях, с одной стороны, колонизатора и жандарма Степного края, с другой стороны, его жителя и пахаря, в течение более чем двух столетий породило этническое образование русского народа со своим бытом, психическим складом, диалектом и даже фольклором. Выдвинутое на самые крайние рубежи империи, казачество непосредственно контактировало с «инородцами», проявляя по отношению к ним свою двоякую, противоречивую сущность. Верноподданные служаки царя, казаки были и носителями национальной розни, ненависти, обособленности. Но они же были и теми русскими людьми, у которых завязывались прочные, а иногда и сердечные отношения с кочевниками. Это они установили с ними институт «тамырства», который сыграл немаловажную роль в возникновении и упрочении дружбы между казахским и русским народами.

Внешне единое и сплоченное казачество было такое же социально неоднородное, как и все другие слои российской империи. И в этом корень его двойной сущности: реакционный мундир со всей карательной амуницией, а под ним — крестьянское «нутро» со всем присущим хлебопашцу комплексом добрых чувств и мыслей. Вот от этого-то «нутра» и шел И. Шухов в литературу.

Шухов был интернационалистом не просто по убеждениям, он вырос в микроклимате истинно-дружеских межнациональных русско-казахских связей. И в «Горькой линии», и в «Ненависти» много сцен не только станичной, но и аульной жизни, и автор, как и его герой, равно свободно чувствуют себя в обеих национальных бытовых и психологических стихиях.

При этом нужно учитывать еще и время появления шуховских произведений. Именно в те годы, когда писалась «Горькая линия», А. М. Горький замечал: «Нам нельзя допускать появления в нашей среде великодержавных настроений и тенденций. Между тем у нас почти нет книг, которые знакомили бы с бытовыми условиями нац-

меньшинств. Поэтому каждая хорошая книга, написанная на эту тему, имеет определенную и высокую социальную ценность».

Позже, в «Пресновских страницах», несколько шире раскроются причины такого хорошего знания интернационального бытия. Рассказывая о своем детстве, писатель припомнит немало случаев общих мальчишеских дел, игр и шалостей с аульными ребятами, среди которых оказались и друзья на всю жизнь. Правдиво, без прикрас или затенения, показывает он непредубежденную тягу народа к народу, которая пробивалась через официально расставленные препоны и нашла свое яркое выражение в общей борьбе против общих угнетателей.

Зоркий глаз основоположника социалистического реализма увидел в творчестве молодого тогда автора классовую определенность оценок, революционную устремленность творческой энергии, что неоспоримо выдвинуло Шухова в первые ряды писателей-первопроходцев темы социалистической перековки сознания людей в процессе революционной борьбы и строительства новой жизни. Его романы «Горькая линия» и «Ненависть» появились наряду с такими произведениями конца 20—30-х годов, ставшими советской классикой, как «Цемент» Ф. Гладкова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Соть», «Дорога на океан», «Скутаревский» Л. Леонова, «Кара-Бугаз» К. Паустовского, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова и другие.

* * *

Биография Ивана Петровича Шухова, как и его творчество, в большей своей части связана с Северным Казахстаном, с родной станицей Пресновской, где 6 августа 1906 года в большой семье казака Петра Семеновича и Ульяны Ивановны Шуховых родился будущий писатель. Много лет спустя, описывая свое детство в «Пресновских страницах», он вспомнит первые жизненные впечатления — и все они окажутся связанными с крестьянским трудом, трудом нелегким, но радостным, ибо не было лучшего праздника в крестьянской семье, чем приобщение сына к работе.

«— Вот и мы, дал бог, дождались своего бороноволока!— сказала однажды про меня мама, и я был счастлив услышать от нее такие слова, приняв их за великую похвалу моему возрасту». Это впечатление семилетнего Шухова. Из тех же глубин памяти всплывут картины деревенской жизни начала нашего столетия, где будут вилы и топоры, заступы и лопаты, старенькие, потертые кошмы, черные от вековой копоти чугунные котелки, берестяные туески и щербатые деревянные ложки, запахи парной земли, вязкого дегтя, лошадиного

пота, ременной сбруи, сухой полынки... и хлеба, пахнувшего «домом, теплой маминой щекой, сухими, горячими ее руками». Эпиграф к «Пресновским страницам» Шухов взял из А. Твардовского:

Мы все, почти что поголовно,
Оттуда люди, от земли...

В этом мерцающем мареве далеких детских впечатлений писателя, помимо ярких картин родной степи с березовыми колками и камышовыми озерами, бытовых и трудовых сцен, сохранятся образы близких людей: деда Арефия, кузнеца Лавры Тырина и других, которых мы после узнаем в шуховских романах, сохранятся их шутки-прибаутки, песни и рассказы. Но уже где-то там, на самом первом уроке осознания мира, появится пока еще не понимание — только ощущение какого-то иного смысла и слов и дел людских. Скажем, бахвалится старый казак-ветеран былыми походами и победами над басурманами под предводительством любимых «енералов» или пройдет парадом лейб-гвардия — и наполняется сердце мальчишки державной гордостью. А отец по этому же поводу скажет: «Мишура все это. Кивера их. Султаны. Регалии... Так — трень-брень». Задевают такие слова. Взбудораживают. Настораживают. В идиллические, милые сердцу картины детства ворвутся с тревогой и болью скорбные глаза голодного переселенца, над которым изгаляются зажиточные станичники, грязные лохмотья мальчишки-сверстника, нанимающегося в батраки, пьяный кулачный бой между казаками. Постепенно придет понимание классовой подоплеки этих кулачных боев, перешедших потом в бои революционные, когда уже не стенка на стенку, а класс выступил на класс. Как все это происходило в казачьих станицах, позже раскроет писатель-коммунист Иван Шухов.

Унаследовавший от родителей душевную чуткость («Всем, что во мне есть хорошего — в человеке и литераторе,— обязан я моим неграмотным родителям, в первую очередь — моей матери»), уже в раннем детском возрасте он «самоуком» впитал в себя и фольклор казачьих станиц, и русские народные песни, запоминал почти все стихи, какие только могли встретиться ему. Как ни нужен был в семье «бороноволок», родители решили открыть путь «талану» — мальчик пошел учиться в церковноприходскую школу.

Юношеские годы интеллектуального, гражданского, политического созревания будущего писателя пришлись на бурное революционное время бескомпромиссной классовой борьбы, очищающих гроз, откровенной возвышающей радости бедного люда и затаенной ненависти вчерашних хозяев. В 1921 году пятнадцатилетний Ваня Шухов становится комсомольцем.

Почти полвека спустя, обдумывая первые планы нового произведения о детстве и юности, он запишет на отдельных листках «нотные знаки» по-новому звучащих в душе прежних мелодий:

«Тайная работа души».

«Поэзия забытых больших дорог».

«Грозно горели в черном небе созвездья».

«Оскар Уайльд — «Голос из глубины». Стихи из тюрьмы: «Неудавшаяся личная жизнь поэта — повод для прекрасных творений».

«Экзюпери:

— «Откуда ты родом?

— Я из своего детства,— отвечает Маленький Принц».

«Где комсомольский (райкомовский) наш архив 1921 года?»

Великолепный документ! Как наглядно он показывает нам творческий метод писателя уже здесь, на стадии самого первого замысла. Ведь все это потом и отразилось в «Пресновских страницах» (к сожалению, не воплощенных до конца) — и тайная работа души, и поэзия забытых дорог, и картины грозных созвездий, и документ (архив). Но вернемся к биографии.

Шел 1923 год. Семнадцатилетний студент Петропавловского педагогического техникума Иван Шухов записывает в своем первом и, кажется, единственном дневнике (одна тетрадка, сохранившаяся в архиве писателя):

«23 октября. Настроение приподнятое. Электричество включили. Вот хорошо-то. Буду писать сегодня начатую поэму и готовить материал для редакции.

30 октября. За стихотворение «Сон» мне аплодировали сильно.

2 ноября. Пишу стихи, стихи, стихи. Написал стих «К германским событиям» и «Октябрю» к 6-летию Октябрьской революции».

Как видим по отрывку из дневника, у семнадцатилетнего юноши одна, но пламенная страсть: стихи, стихи, стихи. Дневнику доверяют самое сокровенное, а ведь были и сердечные дела, и учебные заботы, и общественные страсти, и быт... По свидетельству очевидцев, Шухов — доброжелательный и задушевный товарищ, непременный участник всех общественных дел, гармонист и балалаечник на сцене. Но, как видим, самые сладкие аплодисменты —«за стихотворение»... И первые публикации не заставили ждать. Первое опубликованное стихотворение — 21 октября 1923 года, а 8 ноября — уже второе.

Юнкор многих газет писал стихи, заметки и зарисовки, которым давал подзаголовки «с натуры». Одно стихотворение так и было названо «Юнкорское», в котором он, юнкор «от сохи», обращался к собрату «от станка» и призывал быть творцами.

И если стихи никак не выдают будущего талантливого писателя,

то зарисовки «с натуры» — уже тренировка художественных мускулов прозаика. Хочется привести полностью одну такую зарисовку, опубликованную в газете «Студенческая» 17 октября 1925 года, когда Шухов учился в Омске на рабфаке. Обращает на себя внимание стремление найти выразительные средства в лаконичных формах.

«Ночь.

Ветер острый осенний сшибает с ног.

Иртыш неспокойно шумит холодными волнами. Город в полудремоте.

А пристань № 2 гудит гулом невнятным.

— По-о-о-пи-р-р-а-ай.

— Гоп!

— Берегись!

На сгорбившегося в три погибели Васюка под пятериком муки сыпятся похвалы:

— Ай да Васюк, смотри, как чешет, аж плахи пляшут.

Васюк «чешет», а ноги подкашиваются под непосильным грузом. Пот градом.

У трюма столкнулся с Андрюшкой-агрофаковцем.

— Ну, как?

— Жарко...

— Не удрать ли? С вечера двадцать человек ушло.

— А жрать подметки от рваных ботинок будешь? За ночь рубль с четвертью загоним, и — дай сюда...

Васюк, тяжело вздохнув, процедил:

— Эх, жизнь ты наша студенческая, нелегкая...

Андрюшка добавил:

— Хоть бы скорей вопрос со стипендией разрешили.

Рассвело.

Город просыпался.

Артель грузчиков-студентов брела в общежитие. Шли молча. Усталые».

В этом отрывке — и образец ранних шуховских прозаических экспериментов, и эпизод из бытия рабфаковца. Есть такое свидетельство тех далеких лет. Это статья Н. Смагина «Три года» в газете «Рабочий путь». В ней говорится: «Осенью 1924 года началась жизнь омского филиала ВАПП. Собирались в редакции, спорили по вопросам пролетарской литературы, о старых и новых писателях. Но организация была тогда непрочная, не было товарищеской спайки между членами. В конце сентября 1925 года опять пришлось создавать организацию, оживлять. Собрались рабфаковцы (Шухов, Трусов и Таежный) в 24 аудитории и заявили: Омский филиал ВАПП должен жить.

В декабре 1925 года получили от Ю. Либединского телеграмму.

На пленум ВАПП приглашались из Омска два делегата. Делегировали А. Трусова и Ив. Шухова»[1].

Характерно тут вот что: занятия на рабфаке начались с первого сентября. Шухов только что появился в Омске, а уже в конце сентября он вступает в ассоциацию пролетарских писателей. Становится активным организатором филиала. И в декабре приглашается на пленум в Москву.

В духе двадцатых годов юноши-рабфаковцы, «пророки в рабочих одеждах, поэты без длинных волос», то решали задачи алгебры революции, то низвергали авторитеты, то провозглашали очередные манифесты. По свидетельству известного в то время омского литератора Михаила Никитина, в стихах Шухова «чувствовалось формирование новой жизни»[2]. Раздумчивые, спокойные, ясные» стихи нравились кружковцам. Шухов чувствовал себя на хорошем творческом подъеме.

Судьба столкнула его в этот чрезвычайно важный для литературного созревания период с личностями, оказавшими достойное влияние на эстетические вкусы, на становление творческого характера, на саму его писательскую суть.

Из неосуществленного плана к «Пресновским страницам»:

«Семья Жени и Гали Анучиных... Встреча с Павлом Васильевым.

Литературная жизнь Омска. Проф. Драверт. Георгий Вяткин. Антон Сорокин. Леонид Мартынов. Евгений Забелин. Н. Чертова, М. Никитин.

«Рабочий путь». Я — репортер и фельетонист. Встреча с Андреем Алданом.

Омский литературный салон Тамары Греховодовой.

Новосибирск. «Сибирские огни». Вл. Зазубрин. Кондратий Урманов, Вивиан Итин, Сергей Марков, Коля Титов.

«Советская Сибирь». Я — репортер.

Самара. Уфа.

Скитальческая жизнь внештатного журналиста.

Свердловск. «Крестьянская газета».

Разъездной корреспондент по всему Уралу. Деревни Свердловской, Пермской, Курганской областей в год сплошной коллективизации.

Перегибы.

Бойкоты.

Покушение на меня в с. Куртамыш Курганской области.

Мой арест. Месть за разоблачительную мою корреспонденцию о перегибах районных властей в с. Крутоярове.

---

[1] Газета «Рабочий путь» (Омск), 1927, 8 декабря.
[2] Газета «Пролетарский студент» (Омск), 1925, 26 ноября.

Встреча и совместная моя работа в течение полутора лет с Павлом Петровичем Бажовым (переписка потом — позднее)».

На склоне лет писатель, отбирая для воспоминаний факты и события своей юности, выделил лишь литературные имена, названия изданий, где он сотрудничал, и всего два факта «личной», не писательской биографии.

Вот так оно готовилось, «писательское счастье» Шухова, целеустремленно и последовательно. Любопытно, что за бортом «отбора» оказались такие факты: уже упоминавшееся его участие на пленуме ВАПП (первая поездка в Москву) и затем, в 1927 году, поступление в Высший литературно-художественный институт имени Брюсова и краткосрочная учеба в нем (в том же году институт был закрыт).

Почему эти факты, кажущиеся столь значительными для молодого начинающего писателя, не зафиксировались в памяти Шухова или, вернее, почему он не включил их в план мемуаров? Задуманные как рассказ, «откуда он родом», «Пресновские страницы» пропускали московские эпизоды потому, что они не задевали «тайную работу души». Основная работа шла здесь, в этих редакциях, среди этих людей, в этом литературном регионе, от Свердловска до Новосибирска. Здесь был пройден им настоящий литературный институт.

Критик Н. Ровенский как-то заметил, что двадцатитрех-двадцатипятилетний автор «Горькой линии» и «Ненависти», выходец из простой крестьянской семьи, показывает высокую общую культуру, особенно культуру языка без достаточной, казалось бы, общеобразовательной и специальной подготовки. Но мы видим, что его общая высокая культура — результат общения с выдающимися литераторами Урала и Сибири, результат активной работы над собой. Потому-то имена эти ярко освещают важный биографический период Ивана Шухова, период созревания гражданина и писателя, формирования творческой личности. Уже в 1931 году в издательстве «Федерация» был опубликован роман «Горькая линия». С этого времени начнется следующий этап жизненного и творческого пути писателя.

* * *

Но прежде чем перейти к характеристике следующего этапа, нужно несколько слов сказать о предпосылках складывающегося шуховского стиля, о быстро прогрессирующем его мастерстве, хотя о средствах художественной выразительности, используемых писателем, подробно речь пойдет ниже.

Период поиска своего стиля переживает каждый писатель. Он начинается ученическим подражанием великим. В порядке антитезы возникает соблазн «превзойти» кумира ультрасовременными новшествами, которые на поверку окажутся инородными, не адекват-

ными зреющему таланту. А когда он придет, тот спасительный синтез всех координат художественности — эстетического идеала по вертикали и реальных возможностей таланта — по горизонтали? Это невозможно программировать, но переживать, искать, страдать, ждать, пробовать — надо. У Шухова, к счастью, период от подражаний до своего художественного синтеза был очень коротким. Но он был.

По словам Андрея Алдана-Семенова, Шухов рассматривал стихотворство как своего рода тренировку, «чтобы научиться писать прозу». Своим литературным дебютом он считал рассказ «За Альховской» в «Журнале крестьянской молодежи» в 1925 году. Ранние же стихи закончились публикацией в издававшемся в Свердловске журнале «Рост» стихотворения «Песня о джуте, Красной звезде и Большом джигите». Стихотворение подано как переложение записанной в одном из аулов Казахстана песни о Ленине. Прием, знакомый нам по циклу «Песни киргиз-казахов» П. Васильева. Он создавался именно в эти годы — 1929—1930 и начинается также «Песней о Ленине». Поразительно совпадение стихотворений по теме и форме подачи, однако они совершенно разные по интонационному строю и образности. Перепечатывая шуховское стихотворение в следующем году, журнал «На досуге» предпочел дать специальное пояснение его содержания во врезке: «Казахи (население автономной Казахской республики) воспевают Ленина как великого джигита (наездника). Процесс революции воспринимается неизвестным казахским поэтом как природное явление, благодаря которому навеки уничтожено все старое, сравниваемое им со страшным бедствием степных кочевников — джутом (гололедицей), при котором кочевники теряли почти весь свой скот, питающийся на подножном корму»[1]. Сам факт объяснения содержания примечателен. В отличие от П. Васильева, который «фальсификацию» делает, так сказать, прозрачной и сомнений в авторстве ни у кого не возникает, Шухов так «подделывается» под «неизвестного казахского поэта», что нужен специальный комментарий. «Перевоплощение»— тоже один из видов «тренировки», результаты которой увидим в романах, где выведены запоминающиеся образы жителей аулов.

Интересно, что в одной из своих многочисленных газетных и журнальных корреспонденций, опубликованной в предыдущем номере того же журнала, Шухов рассказывал о степном певце Садвакасе Алиеве, который «пел о том, что пришел новый век в степи, покрытые плесенью седого времени. Он пел о том, что великий джигит — Ленин прислал в степь сильного и быстрого коня — паровоз, который распугал зверей и орлов, который уничтожил поработителей ка-

[1] «На досуге», 1930, № 2, с. 9.

захской бедноты — сытых баев и занес в глухую степь искры новой радостной жизни освобожденного народа»[1].

Вспомним: в «Горькой линии» один из главных героев — тоже Садвакас.

В другой корреспонденции —«Батрацкий штурм»[2]— увидим зародыш сюжета «Ненависти», когда кулаки решили обманом пролезть в колхоз, а в герое очерка батраке Феоктисте Молокове узнается будущий герой романа — Роман Каргополов.

А что рассказы? «За Альховской» и последующие —«Ломь», «Перекрестки дорог»— в полном смысле можно назвать «рабфаковскими». Выше уже приводилась зарисовка с «натуры». Ничем не отличаются и эти рассказы:

«Ночь обняла черные кудлатые мазанки.

Тишь.

Немь.

Сторонкой, гуськом, прижимаясь к плетням ракитовым, тянулись Пашка и Настя. Потрескивали сухие сучья у ракитовых плетней, изгородей огородных, под ногами.

Жутко.

Молчали.

Шли».

Но в этом аккорде из трех коротких предложений или усеченных сообщений уже закладывался угадываемый шуховский стиль. Сравним часто употребляемые им тройные ритмические повторы однородных членов: «распятая, растерзанная, истоптанная земля», «смело, перевернуло, искромсало в клочья», «восемнадцать байских прославленных скакунов, злых, горячих и гибких» («Горькая линия»). «Ни звука. Ни шороха. Молчал старый дом», «У него захватывало дыхание, замирало сердце, кружилась в жарком хмеле голова» («Ненависть»). «От старого до малого — все в степи, в поле, на пашне», «А прибыл он в крепость уже в годах. Вдовый. Но — не один. С дочерью — осьмнадцати лет. Единственной — наглядку. Красавицей, сказывают, с лица воду пить! Без амбиции. Обходительной. Благородной, как надо...» («Пресновские страницы»).

Свой стиль! Это то, что приходит с талантом. Его нельзя «выработать», как иные порой «рекомендуют» молодым,— это просто дано или не дано. Хотя Шухов всегда ощущал в себе поэтическую потребность, хотя и пытался нащупать свою дорогу, однако углядел невозможность стилевого определения в поэзии — то же у Васильева получалось лучше.

Как режиссер, который должен «умереть» в актере, чтобы до-

---

[1] «На досуге», 1930, № 1, с. 15.
[2] «На досуге», 1929, № 23, с. 10—11.

нести свое искусство до зрителя, так Шухов-поэт «умер» в Шухове-прозаике, придав ему последнюю, завершающую черту художественного синтеза. Читатель Шухова постоянно находится в атмосфере то опосредованного фольклора, то непосредственного цитирования фольклора: так много приводится казачьих песен. И порой он, читатель, даже не догадывается, что уже перешел грань цитаты из народного творчества и уже знакомится с сочинением автора. Например, в «Дыме отечества» наряду с действительно существовавшей казачьей песней

Чу, не в нас ли палят?!
Не идет ли супостат?!
Не в поход ли идти
Нас заставляют?!

звучит песня, слова которой принадлежат Шухову:

То не бури с грозами
Грянули, ребята,
На брегах привольных
У Иртыш-реки
За орлиной стаей
Поднялись орлята —
Все в отцов родимых,
Все сибиряки!

Так органично мог «петь» писатель песни, былины, сказывать сказки и прибаски, что «невооруженным глазом» не отличишь, например, в речи Дурака из «Моей поэмы» взятое из памяти

Жили-были,
Брагу варили.
Во здравие пили.
Дом продали —
Ворота купили!

от сочиненного:

А пошто жа ты, кобыла,
Бога начисто забыла?
Тятеньку утешила!
Из оглобель выпряглась.
Затоптала вожжи в грязь.
Весь овес в сусеках съела.
Все озеро выпила.
То была кобылой — в теле,
Тут — из тела выпала!

Чувствуя себя вольготно в народной языковой стихии, владея свободно стихотворной формой, постоянно ощущая потребность поэтического самовыражения, И. Шухов тем не менее не ставил своей целью создание поэтических произведений, хотя, как уже говорилось, писал стихи и даже поэмы.

А в прозе — иное. И газета, как видим, хорошо помогла. «К литературе пришел я от газеты. Работа в краевой печати Сибири и Урала (я работал разъездным корреспондентом) дала мне очень много в смысле тематического обогащения, в тренировке глаза и уха, в развитии наблюдательности, в подборе, сортировке и осмысливании фактов и в обобщении их»,— писал Шухов в статье «За высокое идейно-художественное качество»[1]. А что касается стиля, то в этой же статье есть примечательное признание: «Обвинений же критики в чрезмерной перегруженности языка зачастую надуманными эпитетами принять не могу, ибо кто меня может убедить в том, что «синие сны озер»— плохо, если это на самом деле хорошо. Трудно объяснить эту строчку, просто невозможно. Надо поехать в акмолинскую степь и поглядеть в знойный полдень на эти озера...»[2] Да, тут уже не начинающий мальчик, а литературный муж, который может себе позволить такую свободу оценки: кто меня может убедить, что плохо, если это хорошо.

А чтобы не возникло у читателя подозрение в нескромной самоуверенности молодого писателя, приведем другое характерное высказывание, нигде при жизни Шухова не публиковавшееся. Это из частного письма от 8 мая 1929 года другу юности Василию Ефимовичу Квитко:

«Знаешь, Васенька, лучший это писатель (И. Бунин.— А. У.), писатель, которого забывают старики и которого не знают наши «безусые энтузиасты» в литературе. Ах, эти энтузиасты! Они назубок знают авторские права, спешат печататься, а не знают ни изумительных стихов Полежаева, съеденного крысами, ни бунинского очарования, ни эволюции пришвинского мастерства, развернувшегося до идеальной простоты. Я раньше думал, что литература в сущности очень веселое занятие, а теперь со страхом думаю о том, как трудно и как много надо видеть и учиться для того, чтобы стать писателем нашей многогранной эпохи. Боязнь, конечно, неуместна, но все же как трудно и как много учились люди и как много следует учиться нам».

В 30-е годы шагнул уже зрелый художник, ибо мог себе позволить возвести в высшую степень только собственную оценку, явился сильный художник, ибо мог себе позволить усомниться в собственной силе и собственных оценках.

* * *

Тридцатые годы — звездное десятилетие писателя. Они начались для него с двадцать девятого года, когда он переехал в Москву и начал работать в газете «Батрак», затем переименованной в «Сель-

[1] Жур. «Рост», 1932, №8, с. 10—11.
[2] Там же, с. 11.

скохозяйственный рабочий». Три года упорного литературного труда за колченогим столом в углу одной из редакционных комнат — по десять-пятнадцать часов в сутки, по признанию самого Шухова.

В русло большого художественного замысла сбежались многочисленные ручейки-факты. Их истоки — в станицах бывшего западно-сибирского линейного казачьего войска, в казахских аулах, деревнях и хуторах. Сбежались ручейки в одно русло — и началось половодье, длившееся целое десятилетие.

Есть основания полагать, что все крупные произведения Шухова — это ответвления одного большого замысла. В архиве писателя сохранилась тетрадка, на обложке которой дата — 1929 год и ряд названий: «Поединок», «Родина», «Ненависть», «Метель», «Горькая линия». В тетради — наброски сюжетных линий, в которых мы узнаем ситуации известных нам романов. Нет здесь только названия романа «Действующая армия».

Как это часто бывает, цельный вначале замысел большого романа при дальнейшем обдумывании, детализации раздробился на несколько самостоятельных частей-замыслов, которые могли бы составить программу всей писательской жизни. Собственно говоря, Шухов их вынашивал — и работал над ними — все тридцатые годы. Наглядное представление об эволюции замысла дают публикации той поры. Первое издание «Горькой линии» (и первый вариант ее) помечено 1931 годом (М., «Федерация»). В 1932 году выходит рассказ «Великий поединок», который перекликается с сюжетом будущей «Ненависти». Тогда же издательство «Федерация» выпускает роман «Ненависть». В 1933 году будут опубликованы несколько отрывков из названных по-разному романов: «Увар Канахин» (отрывок из романа «Родина»— позднее он появится в «Ненависти), «Молебствие» (отрывок из «Родины»— позднее войдет в «Горькую линию»), «Елизар Дыбин» (из «Родины»— будет в «Ненависти»).

В следующем, 1934 году, журнал «Октябрь» печатает роман «Поединок». В 1936 году в Алма-Ате выходит роман «Родина», в 1940 году —«Действующая армия» (часть первая). Десятилетие творческого взлета выплеснуло в свет несколько романов, общим объемом около семидесяти печатных листов. Это была работа без оглядки, без остановки, без передыха. Осуществлялся тот начертанный карандашом на тетрадной обложке план 1929 года. Осуществлялся азартно, самоупоенно от избытка переполнявшего автора материала.

Первое издание «Горькой линии» 1931 года подано читателю с отметкой «книга первая». Издание 1934 года повторяет текст первого, но уже без отсчета. Очевидно, «Ненависть» первоначально мыслилась как вторая книга «Горькой линии», но «на ходу» перестроилась в самостоятельное произведение.

В то время возрос интерес к творчеству Шухова у кино и

театра. Был снят фильм «Вражьи тропы» по мотивам «Ненависти», написаны пьесы «Заговор мертвых» и «Беглый огонь».

Вместе с тем 30-е годы были и годами активной общественной деятельности Шухова, который стал коммунистом. Поселившись в 1932 году в родной Пресновке, он не ограничивается писательским наблюдением деревенской жизни. Ему до всего есть дело: от художественной самодеятельности до чистоты в райисполкомовских кабинетах. Пресса тех лет оставила следы его общественной деятельности: выступление на Пресновском районном съезде Советов (ноябрь 1934 г.), IX съезде Казахской АССР (январь 1935 г.), участие в заседании Оргкомитета по созыву I Всесоюзного съезда советских писателей и в работе самого съезда, встречи с Горьким.

Вот что говорил Шухов землякам на районном съезде Советов: «Одного таланта для того, чтобы стать писателем, мало. Для этого нужна большая культура. Для этого нужна огромная работа, огромное терпение, длительное и упорное изучение того материала, над которым мы работаем»[1].

После приезда в Алма-Ату на I съезд писателей Казахстана в июне 1934 года столица республики становится еще одним местом жительства Шухова. Так до конца своих дней он курсировал по треугольнику: Пресновка — Алма-Ата — Москва. Эти точки были вписаны в треугольник его сердца. Лишь с 1963 года, когда он стал главным редактором журнала «Простор», Шухов постоянно живет в Алма-Ате.

Во время войны Шухов редактировал пресновскую районную газету «Ударник». Дважды — в 1942 и 1944 годах — выезжал на фронт, результатом чего явились очерки «Письма сибирским казакам», «Боевые подруги», «Дыхание Родины», «В подземном городе» и другие.

В 1941 году в «Сибирских огнях» появилось 34 страницы, озаглавленные «Действующая армия» (главы из II книги), затем с 1946 по 1964 год изредка то в газетах «Казахстанская правда» или «Ленинское знамя» (Петропавловск), то в журналах «Звезда Востока», «Простор» встречались отрывки с подзаголовками «глава из романа «Метель», «глава из нового романа «Сороковые годы» или просто «отрывок из романа». Но романов не последовало.

Что произошло?

Сергей Залыгин в статье о поэзии Павла Васильева «Просторы и границы» сделал любопытное наблюдение: в его поэзии «нет и в помине своего «славного героя прошлого»[2], какого находим почти у каждого поэта. Потом этот герой движется, приспосабливаясь к ус-

---

[1] Газета «Карагандинская коммуна», 1934, 30 ноября.

[2] Залыгин С. Литературные заботы. М., «Художественная литература», 1979, с. 124.

ловиям, вместе с течением жизни и духа поэта. Васильев же, не имея «героя прошлого», не перешагнул и в будущее, оставшись в звуках, цветах и запахах родного Павлодара.

Нечто подобное испытал и Шухов, побратим Васильева по судьбе житейской и литературной. Подойдя к сорокалетнему возрасту, писатель обнаружил, что уже выплеснут запас станичных казачьих, домашних, юношеских впечатлений. А пока он все это выплескивал в романы, бурная социалистическая эпоха не только ликвидировала Горькую линию, но и смыла в жизни все те бывшие краски, характерные для его палитры. Он еще продолжал что-то творить (главы из «Метели»), но видел, что это лишь повторение пройденного, а новое было уже не продолжением старого. Уже не было сибирского казачества, не было станиц, не стало даже того языка, который дал сочную первооснову творчества и Шухова, и Васильева.

Выше мы говорили, что у Шухова не было прямых, легко узнаваемых литературных предков (то же, что и у Васильева,—«славного героя прошлого»), хотя, разумеется, все его творчество находится в русле лучших традиций русского реализма.

Однако своеобразная этнографическая почва, взрастившая этого художника, в новых условиях подвергалась «эрозии» при «обработке» старыми методами, как и действительная целинная почва, для которой потом только догадались изменить коренным образом систему почвообрабатывающих противоэрозийных орудий.

Предъявляя к себе высокие художественные требования, Шухов постоянно работает над совершенствованием своего стиля. Еще в 1932 году в упоминавшейся статье «За высокое идейно-художественное качество» он самокритично признавал, что все промахи в творчестве относит «за счет недостаточно полного мировоззрения»[1], что ему не дают покоя огрехи «Горькой линии» и «Ненависти», слишком быстро написанных, по его мнению. И теперь, с высоты пополненного мировоззрения, он берется за переделку двух своих лучших романов.

Есть писатели, которые принципиально не вмешиваются в текст давно написанного произведения, хотя и обнаруживают с высоты возраста и опыта его недостатки. Так оно сложилось *тогда,* на определенном этапе, и пусть остается таким навсегда, как свидетельство *того* времени,— примерно так рассуждают они. У Шухова был другой взгляд. Все свое творчество он рассматривал как единое произведение, которое создается в течение жизни автора. Возможно, к такому пониманию подтолкнули И. Шухова письма Горького, в которых он призвал «более экономно, точно, ярко» изображать «словами явления социальной жизни».

[1] Жур. «Рост», 1932, № 8, с. 11.

Последние редакции «Горькой линии» и «Ненависти» представляют собой объемные, многоплановые повествования и выгодно отличаются от первых изданий. Напрасно некоторые критики вздыхают о якобы потерянном аромате первоначального текста «Горькой линии» и считают, что «Ненависть», соединенная с «Поединком», напоминают две державы, которые общаются меж собой через дипломатические каналы. Единство темы и стиля позволило объединить художественные тексты ко взаимному идейному обогащению. Борьба бедняцкого и кулацкого колхозов на хуторе Арлагуль приобрела дополнительные идейные оттенки на фоне строительства совхоза. Да и сюжетно слияние с «Поединком» значительно подкрепило «Ненависть». А переработка «Горькой линии» сделала ее более динамичной и читабельной, освободив от многих «лишних» слов и сцен, наподобие тех, какие критиковал Горький. И хотя замечания А. М. Горького касались некоторых языковых промахов и небрежностей, И. Шухов, перерабатывая романы, улучшая язык и композицию, добиваясь «законной эстетики» совершенства формы, постоянно думал о горьковской «социальной педагогике». И теперь читатель имеет канонический текст «Горькой линии», заново родившейся в 1949 году. Изменения коснулись всего: языка, композиции, сюжетных ситуаций, даже героев — исчезли одни, появились новые, а иные приобрели другие имена; скажем, Олена, жена Якова Бушуева, стала Варварой. Постепенно изменилась и «Ненависть», окончательный текст которой сложился лишь к 1957 году.

Теперь в законченных текстах этих произведений найдем и упоминавшиеся главы из романов «Родина» и «Действующая армия».

Плодотворной была переводческая работа Шухова. Он перевел рассказ Мухтара Ауэзова «Охотник с орлом», романы Сабита Муканова «Ботагоз» и «Школа жизни», книгу Малика Габдуллина «Мои фронтовые друзья».

* * *

Всколыхнула, вдохнула прилив творческой энергии в Ивана Шухова целина. Мощным толчком послужил III съезд писателей Казахстана в 1954 году, о котором вспоминает в своей книге «Целина» Л. И. Брежнев. В Алма-Ату приехал цвет писательской общественности страны: М. Шолохов, Л. Леонов, М. Турсун-заде, Л. Соболев, Н. Грибачев, Камиль Яшен, И. Андроников, Е. Мальцев, С. Смирнов, С. Васильев и другие.

Грандиозная целинная эпопея, только еще начинавшая развертываться в бескрайних просторах Сибири и Алтая, в родных для Шухова степях Казахстана, окрылила писателя.

И снова заработал вулкан... (Если уж пришло такое сравнение, то можно его продолжить: в течение жизни вулкан творчества Шу-

хова как бы пробуждался четырежды. Первый раз в 1928—31, второй — в 1955—56, третий — в 1959—60 (после поездки в США) и последний — в 1970—1973 годах (работа над «Пресновскими страницами»)— именно в эти периоды создано им все лучшее. Но в данный момент речь идет о целинном «извержении», когда, по признанию Шухова, он «вновь обрел счастливую жажду к бессонной, нервной, радостной и мучительной работе...»

Пресса, республиканская и союзная, в эти годы широко публикует очерки и рассказы Шухова. Только «Правда» в течение одного года (1956) напечатала три его очерка: «Старожилы поднятой целины», «Плоды народного подвига», «Подвиг народа». В том же году «Литературная газета» поместила его заметки «Обновленная земля», а годом раньше журнал «Октябрь» познакомил читателей с очерком «На целинных землях». В разных периодических изданиях публиковались рассказы и очерки «Осенние дали», «Золотое дно», «Зимняя повесть» и другие, которые были объединены в книге «Покорители целины» («Молодая гвардия», 1955) и «Золотое дно» (издательство «Правда», 1957).

Эти книги — одни из первых в советской литературе, в которых сделана попытка первого художественного обобщения темы целины. О «Покорителях целины» «Литературная газета» писала: «Этот первый очерк («Золотое дно».— А. У.), пронизанный большой мыслью о судьбах народа, о великом его мужестве и мудрости, позволяет читателю ждать, что и сегодняшнюю борьбу народа за хлеб на вековечной целине писатель покажет с такой же глубиной. Ожидание это тем более правомерно, что у Шухова есть преимущество перед большинством писавших до сих пор о целине: Казахстан — его родной край, он знает и любит его историю, его природу»[1].

Творческий подъем вновь сопровождается общественной активностью. Шухов ездит по целинным совхозам. Наряду с писательскими заметками он живо откликается на все увиденное оперативным журналистским словом, вспомнив свою корреспондентскую молодость.

По-хозяйски заботливо и любовно на правах старожила и знатока этих мест писатель своими целинными очерками и рассказами как бы хочет помочь многочисленному приехавшему люду быстрее сжиться со степной стороной и так же, как он, полюбить ее и заботиться о ней. Приезжему целиннику, будущему хозяину этой земли, писатель живописует картины родной ему природы, давая возможность не только насладиться ее красками, но и вдохнуть воздух, настоянный на живительных запахах, исцелявших от ностальгии или, наоборот, возбуждавших ее у многих поколений русских лю-

[1] Четунова Н. Очерки о покорителях целины. «Лит. газ.», 1955, 2 июля.

дей, издавна пришедших сюда, задолго до этого приезжего, уже сроднившихся и с землей и с ее исконными обитателями.

«И теплой хлебной опарой, парными дрожжами пахла на вешних утренних зорях непаханая земля. Разбухая от полой весенней воды, от светлых майских дождей, от бродивших в прогретом солнцем дерне животворных жизненных сил, степь тонула в такую пору в быстротекучем, серебристо мерцающем мареве испарений. Издревле безбрежная и безлюдная, разомлев по весне, томилась она нерастраченным плодородием и, не скупясь, щедро одаривала и конных и пеших путников своими застенчивыми, покоряюще-бесхитростными, нежно пахнущими перед грозой и под вечер полевыми цветами».

Словно предвидя будущую беду, справиться с которой, когда она пришла все-таки, было ох как нелегко, писатель предупреждает целинника об обманчивости кажущейся постоянно зеленой и парной прелести здешней степи.

«Но озорные весенние ливни с веселой майской грозой и чарующее мерцание марев над изумрудным степным покровом нередко сменялись тут в иные годы к разгару лета мертвой зыбью бесшумных волн мутного зноя, угарным полынным чадом, печным удушливым пылом сварливо-жарких ветров — суховеев».

Не дикая эта степь, не безродная, убеждает писатель. Она красива своим самобытным характером, своими законами и традициями. Он призывает изучать и помнить «допрежний наш целинный край» с его круто соленым потом, потоками жаркой крови здешних хлеборобов и пастухов, пролившейся в борьбе с колчаковцами и анненковскими головорезами, с его казахскими аулами, казачьими станицами да переселенческими хуторами. Нет, не глуховатой, негустой и скуповатой стороной где-то на отшибе является эта сторона. Малозаманчивой она может показаться лишь «иному стороннему холодному оку». И дальнейшая счастливая судьба поднятых целинных земель полностью подтвердила слова писателя.

В 1958 году проходила вторая Декада казахского искусства и литературы в Москве. Шухов — активный участник подготовки и проведения этой Декады, имевшей исключительно важное значение для развития литературы и искусства республики. Специально к этому смотру культуры была издана его книга «Степные будни» — о буднях разбуженной целинной степи.

В счастливом азарте работы Шухов встретил свой пятидесятилетний рубеж, который был отмечен высокой правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени. Позднее он награждался еще одним орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Дружбы народов. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

В составе одной из первых советских писательских делегаций Шухов выезжал в США, когда еще свирепствовали ветры «холодной войны»,— в 1959 году. Результатом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» стала публицистическая книга «Дни и ночи Америки». Ныне накопилось немало книг советских авторов о Соединенных Штатах. И если выстроить их все, начиная от «Города Желтого Дьявола» Горького и «Моего открытия Америки» Маяковского, то книга Шухова займет среди них достойное место.

Сразу следует сказать, что жанр зарубежных очерков Шухов продолжал осваивать и после поездки в Югославию, опубликовав путевые заметки «Дыхание Адриатики» (газета «Известия», 1963).

При встрече в 1934 году Горький говорил Шухову: «Вам непременно надобно будет побывать за границей. Очень полезно съездить. Посмотрите на зарубежного крестьянина, и вы многое поймете» («Встречи с А. М. Горьким»). Зарубежными очерками Шухов словно отчитывается перед писателем за давний долг. Особенно «Дыханием Адриатики», где пытается понять инонациональную душу, сопоставляя броскую красивость адриатического побережья с переливами полутонов северо-казахстанских степей.

С 1963 года начался новый этап жизни и деятельности писателя. Он назначается главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала Союза писателей Казахстана «Простор».

Редактирование журнала Шуховым — тема особая. Об этом уже много писали. Отсылаю читателя к книге «Воспоминания об Иване Шухове», где есть взволнованные и благодарные слова о своем бывшем редакторе сотрудников «Простора» Г. Черноголовиной, А. Белянинова, Ю. Герта, П. Косенко, В. Берденникова, Н. Ровенского. Я же ограничусь описанием одного, но важного момента — обсуждения журнала «Простор» на заседании Секретариата Союза писателей СССР в 1973 году.

Перед тем как подготовленные докладчики приступили к анализу, Шухов поднялся, взволнованный, и сказал: «Формально мы отчитываемся за полтора года, но уже исполнилось десять лет, как я пришел в журнал. Так что прошу выходить за рамки подготовленных докладов по последним номерам. В этом кабинете я встречался с Горьким, Фадеевым. Здесь разговор всегда был без скидок. Мы приехали послушать, сделать выводы».

Он никогда не терпел снисходительного отношения и морщился, когда восхищались «Простором» в том смысле, что он преодолел литературную провинцию и стал любимцем московской публики. «Публику» эту интересовали только отдельные «смелые» публикации некогда «забытых» авторов. Не это было главным в редакторских заботах Шухова. Всю жизнь боровшийся против столичного снобизма

и провинциального жеманства, он видел литературу в целом, как единый всесоюзный организм, и хотел «Простор» сделать активной функциональной частью этого организма.

Высокие художественные критерии, требовательность к себе, к сотрудникам, к авторам делали свое благое дело, и за десять лет, ко времени этого обсуждения, журнал приблизился к идеалу его редактора.

Председательствующий В. М. Озеров не скрывал, что решение провести обсуждение республиканских русских литературных журналов, начиная с «Простора», было продиктовано именно его всесоюзной известностью.

Вот характерные высказывания выступавших: журнал производит хорошее впечатление, имеет свое лицо, видна культура редакторской работы; на его страницах — большая масштабность республики, журнал стал уникальным явлением, заслуга журнала — вывод на арену молодых, журнал стал незаурядным, имеющим свой колорит, а это нелегко сделать изданию, ограниченному в средствах и силах.

Было высказано также немало справедливых замечаний: недостаточное освещение темы рабочего класса, мало материалов о подвиге целины, порой бывает увлечение детективами, некоторые стихи на уровне альбома, комплиментарная критика и т. д.

Но общее резюме: журнал делается с увлечением талантливыми людьми и заслуживает поощрения и поддержки. Стенограмма этого обсуждения была разослана редакциям всех 99 литературных журналов страны.

Редактирование «Простора» было важным жизненным этапом Шухова, когда он служил литературе буквально и словом, и делом. Ко всему сказанному остается добавить, что фигура Шухова-редактора служила литературе и самим фактом своего существования. Он создавал своим присутствием атмосферу рыцарской честности по отношению к Литературе, застенчивой влюбленности во все истинно талантливое, обостренной восприимчивости нюансов языка. Удивительно легко при нем узнавалась черта, отделяющая талант от посредственности.

Последние годы писатель продолжал осуществлять замысел «Пресновских страниц». Но были написаны и опубликованы только три повести: «Колокол», «Трава в чистом поле», «Отмерцавшие марева», за которые И. П. Шухов в 1977 году был удостоен Государственной премии Казахской ССР.

Работал он трудно, мятежно; состояние его духа было беспокойным. Очевидно, он угадывал близкий конец, а сказать надо было много...

Сердце остановилось внезапно. В машине. 30 апреля 1977 года.

* * *

Почти все написанное Шуховым читается как единое повествование о судьбе сибирского казачества на примере родных автору станиц Северного Казахстана. Вот как это выглядит в хронологическом порядке.

«Горькая линия» и «Действующая армия»— дореволюционное казачество, как оно сложилось и стабилизировалось за два столетия, тот исходный «материал», которому, как и всем народам России, предстояло пройти горнило революции. Шухов блестяще справился с показом своеобразия революционизирования казачества. Недаром Горький отметил его «хорошее, здоровое, революционное дарование».

Рассказы «За Альховской», «Ломь», «Перекрестки дорог» и роман «Ненависть»— о следующем этапе революционного пути казачества, логическое завершение его классового расслоения, роман о коллективизации в казачьих станицах и борьбе с кулаками, роман о психологической перестройке бывшего «спесивого» сословия и приобщении его к общенародному делу строительства социализма.

«Дым Отечества»— страстный публицистический монолог на тему «Сибирское казачество в Великой Отечественной войне». Здесь еще раз проявилось революционное дарование Шухова. Эмоциональное, доходчивое до сердца сибиряка слово писателя имело конкретный адрес: сибирские полки и дивизии, от одного названия которых фашистов бросало в дрожь. «Дым Отечества» стоит в боевом ряду советской военной публицистики вместе с произведениями этого жанра А. Толстого, М. Шолохова, Л. Леонова, И. Эренбурга.

Очерки, рассказы, повести о целине — еще один знаменательный этап Шухова как летописца бывшей Горькой линии.

На другую тему написаны, пожалуй, разве только путевые очерки «Дни и ночи Америки», «Дыхание Адриатики» и «Воспоминания», да и в последних речь идет о работе над романами «Горькая линия» и «Ненависть». И путевые очерки нет-нет да и повернут в сторону Северного Казахстана от бетонных ущелий Нью-Йорка или голубого простора Адриатического моря.

Последняя незавершенная книга своеобразных мемуаров снова возвращается к исходному материалу, но уже на новом диалектическом витке сознания.

Таким образом, охватывая взглядом все творчество Шухова, мы видим тематическое единство при всем многообразии спектра художественного исследования. Фигурально говоря, нет Шухова без Горькой линии, но нет также Горькой линии без Шухова. Она отошла в историю, потеряв смысл первоначального предназначения. Бурные волны социалистического полувека окончательно вымыли из

нее застоявшуюся гниль сословного чванства, чему способствовал и писатель своими произведениями. Но она осталась жить в его произведениях как литературная казакиана. Благодаря Шухову северо-казахстанская степь легла одной из страниц большой русской литературы.

Идейно-художественному анализу романов Шухова посвящено немало исследований и критических статей. Думается, они и впредь будут привлекать внимание литературоведов и критиков. Своеобразие материала определило адекватный ему стиль романов Шухова. «И. Шухов несомненно один из лучших советских писателей,— отмечал еще в 1935 году критик Мих. Лифшиц.— Простота и правдивость выгодно отличают его произведения от многих книг с претензией на самобытную философскую глубину или особую тонкость изображения». И далее: «Романы Шухова хорошо воплощают одну из сторон социалистического реализма — пролетарскую объективность»[1]. Под «пролетарской объективностью» критик имел в виду следование художника за подлинным развитием живой действительности.

По принятому за литературную аксиому выражению «стиль — это человек» об авторе «Горькой линии» и «Ненависти» можно говорить, что это, несомненно, свидетель описываемых событий, мало того, их участник и даже как бы один из своих персонажей: настолько осязаемо все изображенное им — и краски, звуки и запахи степи, и жилой уют чистых горенок с неизменными комодами в простенках, покрытыми кружевными дорожками, с душистой геранью, подзорами на никелированных кроватях, и весь камуфляж казачьих нарядов, военной амуниции и конской сбруи, и образ мысли «станишников», их характеры и привычки, их природные выражения и словечки, а главное — страсти, интересы, помыслы. Этот человек хорошо знает и станичных казаков, хуторян, отрубных переселенцев, и степных кочевников-казахов.

Он показывает себя то глубоким исследователем-историком сибирского казачества, то эпически спокойным бытописателем, то неистощимым юмористом, то вдохновенным поэтом-лириком.

Советская проза через десятилетия от того революционного времени накопила немало способов и приемов передачи энтузиазма, окрыленности первых строителей социализма, стала солиднее и «мудрее», что ли, потому-то с высоты сегодняшнего понимания выглядят несколько наивными и по-милому смешными прямолинейные, как штык, ясные, как солнышко, Романы, Фешки да Увары. У Шухова они изображены словно изнутри, в пламени того порыва к новой жизни, который безраздельно владел их душами и умами, и было бы

[1] «Литературный критик», 1935 г, № 6, с. 241.

кощунственно, а в конкретно-историческом плане — и классово-неверно, отмечать видимые сегодня какие-то элементы дон-кихотства.

«— Ну, точка, Роман. Не об этом я хотела с тобой говорить. Не время заводить речи про личные наши с тобой обиды и беды. Об этом в другой раз — на досуге... Одно мне скажи: товарищ ты мне?

— А то классовый враг, что ли?! — удивленно посмотрев на Фешку, сказал с усмешкой Роман.

Придвинувшись к Роману плечом к плечу, Фешка...» стала излагать ему обмозгованный за ночь план наступления на кулацкий «колхоз».

Здесь взят всего лишь маленький кусочек художественной ткани из романа «Ненависть», но и он уже дает представление о характере отношений героев той поры: сдержанности в проявлении личных чувств, целеустремленности довести классовую борьбу до конца. Эти любящие друг друга герои впервые обнимутся в конце романа, когда «сволочь из засады вышибли». И хотя писатель, разумеется, в обобщениях поднимается высоко над своими героями, читателя не покидает ощущение, что «Горькую линию» написал одностаничник Федора Бушуева, а «Ненависть» — комсомолец из ячейки Романа Каргополова. Эта иллюзия безыскусной «доподлинности», очевидности происходящего, словно заснятого скрытой камерой без режиссерского вмешательства в сцены — отличительная черта шуховского стиля, того, что Мих. Лифшиц назвал смело и верно «пролетарской объективностью».

В отзвуках теоретических споров середины 30-х годов, дошедших до нас, термин «пролетарская объективность» как-то приглушен. Чаще слышится уже «объективность» без эпитетов. С точки зрения абстрактной объективности (каковой вообще не может быть) не понять внутренних побуждений Федора Бушуева или Романа Каргополова, Семена Давыдова или Макара Нагульнова, Глеба Чувалова или Павла Корчагина. Пролетарская объективность признает только конкретную истину. А она состоит в том, чтобы реалистически достоверно показать конкретные характеры в конкретно-исторических обстоятельствах.

Шухов в числе первых советских писателей самостоятельно и совместно с другими, равняясь на других, осваивал и развивал новый метод — социалистический реализм. В этом смысле совершенно закономерны многократные упоминания имени Шухова в речах Горького 30-х годов, когда он говорил о социалистическом реализме, о достижениях советской литературы. Напомним некоторые.

«...Я думаю, что кое-что вы могли бы дать и о некоторых наших литературных достижениях. Таких, например, как книга Шухова

«Ненависть». О ней следует рассказать. Интересная книга. Или книга Шолохова...»[1].

«...Критика еще не удосужилась сопоставить «Бруски» с «Ненавистью» Шухова и «Поднятой целиной» Шолохова»[2].

«...говорили о двух основных произведениях на тему колхоза: о произведении Шолохова и о произведении Панферова. Конечно, это основные произведения, кто это будет отрицать, но есть третье — Шухова «Ненависть», тоже очень значительное произведение»[3].

«Перечисляя современных изобразителей деревни, Вы забыли Шухова «Ненависть» и «Горькую линию»...[4]

Как подтверждают приведенные выше слова Мих. Лифшица, критика, несмотря на сетования М. Горького о недостаточном внимании к Шухову, определенно и точно рассматривала творчество Шухова в фарватере движения литературы социалистического реализма.

Такая точка зрения установилась в советском литературоведении. Вот, например, высказывание уже семидесятых годов, сорок лет спустя: «Когда мы бросаем взгляд на полувековой путь, пройденный советской литературой, наше внимание неизменно привлекает всесторонняя разработка ею темы революционного переустройства деревни. Словно вехи, встают на этом пути талантливые произведения М. Шолохова, Ф. Панферова, И. Шухова и других художников, ярко запечатлевших сложный и мучительный процесс «великого перелома»[5].

Сила художника Шухова — в передаче самой атмосферы жизни, ее звуков, красок и запахов, в достоверности характерных деталей. Его поэтика не предполагает четкого сюжетного замысла-построения, из которого, как правило, выводится главная идея. Да, у него тоже есть, разумеется, сюжетный костяк, но он не настолько самодовлеющ, как в других эпических произведениях. Возможность соединения в одно произведение двух-трех отдельных романов, что делал со своими сочинениями Шухов, говорит в пользу такого вывода.

Сюжет, композиция произведения для него служат лишь вспомогательным средством, поскольку без них не разместишь на большом полотне развернутые картины. Можно проследить, например, в «Горькой линии», как свободно менялся сюжетный замысел романа в процессе работы.

В первоначальном замысле история семьи Бушуевых походила

---

[1] Горький А. М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 27, с. 69.

[2] Там же, с. 149.

[3] Там же, с. 421.

[4] Там же, т. 30, с. 293.

[5] Страхов Н. Александр Неверов. Жизнь, личность, творчество. М., «Художественная литература», 1972, с. 219.

на былинно-сказочные сюжеты трех дорог. Направо пойдешь, как отец Егор Павлович, станешь цепляться за отжившее казачество, царя-батюшку, царевича, покровителя всего казачьего войска, наместника царя, генерала Сухомлинова,— приобретешь на какое-то время громкое, горлопанное уважение определенной части станичников (той самой, к которой всю жизнь тянулся), но придешь к краху всех надежд на перроне Петербургского вокзала, где застанет Бушуева-старшего весть об отречении царя от престола. Налево пойдешь, как старший брат Яков,— пройдешь через окопы, огонь, понюхаешь пороху, узнаешь большую Россию... Прямо пойдешь — вместе с бедным народом здесь, дома, приобщишься к той большой правде, за которую поднимается рабочий класс вместе с беднейшим крестьянством, испытаешь и тюрьму и побег, сбратаешься с надежными людьми-братьями и вместе с ними и Советской властью войдешь в свою станицу, как Федор Бушуев.

Вероятно, в процессе работы над романом писателя захлестнула живая стихия третьего пути. Здесь с Федором Бушуевым он находился в родной, до былинки знакомой обстановке,— и линия Федора (хотя и по замыслу прямая) приобрела главенствующее значение еще и потому, что для другого пути (Якова) необходимо было бы окунаться в незнакомую действительность фронтов, центральных губерний и городов, а результат оказался бы художественно неадекватен изображению жизни казачьих станиц.

Исследователи, в частности К. С. Курова, уже обращали внимание на незавершенность сюжетной линии Яков — Варвара. Ярко, с широким народным размахом заявленные в первых главах как одни из основных фигур, они затем теряются, и их по существу нет в романе. Читатель также испытывает сожаление, что не продолжено развитие характера Варвары, да и Яков появляется в романе в трагической роли как бы невинного убийцы, что невольно обращает на него читательское внимание. Кстати, вся глава, рассказывающая о попытке передела аульных покосов, преисполнена символики, за которой проглядывается «даль свободного романа». На неправое дело поутру выкатываются двуколки и брички из ворот «ермаковцев»— зажиточных мужиков, а «соколинцы» молчат. И только одна бричка от «соколинцев» присоединилась к «ермаковскому» поезду — это бричка Егора Павловича Бушуева с сыном Яковом. Несмело, перебарывая совесть и косые взгляды других «соколинцев». Но такова уж тяга выбиться в «люди». Федор не поехал. И позже он будет осуждать отца и брата за это. А Яков поехал... Для «дали свободного романа» этот поступок героя символизирует усложнение судьбы. Что-то мелеховское проглядывает в романном «гороскопе» Якова. А писалось это в 1929 году, когда судьба Григория Мелехова еще не была известна, но уже появилась первая книга «Тихого Дона», гла-

вы из которой И. П. Шухов слушал в чтении самого М. А. Шолохова. Не явилось ли публикование шолоховского романа еще одной причиной нарушения первоначального замысла «Горькой линии»? Не сознательный ли это отказ от линии Яков — Варвара, потому что уже появились литературные их двойники — Григорий и Аксинья?

И такую причину можно принять во внимание...

С точки зрения художественной идеи «Ненависти», ее сюжет должен был бы предполагать какое-то взаимодействие двух главных героев — Каргополова и Азарова. Иначе зачем «огород городить»? А они на протяжении романа, привлекая внимание читателя каждый сам по себе, почти не встречаются. Что за странности сюжета? А все объясняется просто. Это два главных героя двух разных романов — «Ненависти» и «Родины», объединенных автором. Из звонаря Тузика и Лари Нашатыря образовался один герой — Фита Нашатырь. Читателю хочется получше узнать порывистого Увара Канахина, но автор словно забывает о нем. Что за «небрежность»? Но такая небрежность, пагубная для произведения, где идейно-эстетические качества основываются на прочности и стройности сюжета и композиции, здесь, у Шухова, сама становится одной из фигур поэтики. Писатель двумя-тремя штрихами дал нам почувствовать образ того или иного человека и считает: достаточно. Он идет дальше, увлекаясь рассказом, создавая картины и настроение. Шухов-поэт постоянно соперничает с Шуховым-эпиком, но не уничтожая, а дополняя друг друга.

Прав был критик А. Вулис, утверждая, что «Ненависти» во всех ее частях присуще единство более высокого порядка (чем прочность сюжетных связей.— *А. У.*): единство авторской цели — показать победное шествие новых социальных отношений; единство образного мышления, заставляющее нас слышать в каждой главе романа самобытный шуховский голос»[1].

Что такое «самобытный шуховский голос» и как он формирует идейно-эстетическую атмосферу произведения, можно понять, например, уже с первых страниц «Горькой линии», с ее пролога. Вот как это выглядит.

Казачье воинство на марше. Полки, отслужившие царскую службу на границе с Китаем, возвращаются поздней осенью в свои станицы, протянувшиеся по северу казахских степей от Яика до Иртыша. Ведет их есаул Алексей Стрепетов, немного разочарованный жизнью молодой офицер, мечтавший о карьере генштабиста или подвигах Пржевальского, а вынужденный тянуть армейскую лямку в захолуст-

---

[1] Вулис А. Иван Шухов, создатель романов «Горькая линия» и «Ненависть».— В кн.: Шухов И. Горькая линия, М., «Художественная литература», 1969, с. 17.

ном пыльном Верном. Бивуак. Вечерняя степь. Костры, разговоры. И вдруг: казак утопился. Стрепетов выясняет причину самоубийства, подслушивая разговор казаков. Похороны. Снова — в путь.

Такова событийная схема пролога. Конечно, самоубийство и раскрывающаяся в разговоре казаков причина его подают «идею в лоб», сразу заставив персонажей размежеваться по классовому признаку; автор, так сказать, с самого начала похода расчехлил знамя. Будь в прологе только эта мысль, без «антуража» деталей, можно было бы роман не читать: он был бы уже «прочитан».

«Люблю словечко вприкуску»,— говорит один из персонажей «Горькой линии», высказывая художественные пристрастия самого автора. Поданная «вприкуску», не кажется «лобовой» и эта идея. Вот, например, как это делается («вприкуску»). Отрывок из разговора казаков:

«— Нет, это вы бросьте, братцы. Я топиться не стану,— проговорил таким тоном трубач, точно его кто-то настойчиво убеждал сделать это.

— А зачем топиться, когда горячая оружия налицо? Пуля — куды вернее. Бацкнул в правую темю, вот тебе и сыграл в орла!— сказал с трезвой рассудительностью Сударушкин.

— Это так точно. От пули, по крайней мере, сразу каюк — прямое сообщение,— живо откликнулся приказный.

— Куды там ишо прямей. Царапнул, к примеру, под самую ложечку — ни печали, ни воздыхания,— подпел тенорком Сударушкин.

— Не врите-ка вы, братцы, дурничку, на ночь глядя. Для меня што ваша пуля, то и вода — одна сатана. Нет, шабаш. Я, язви те мать, не такой дурак, как Мишка Седельников, руки сдуру на себя подымать!— возразил трубач все с той же ожесточенной горячностью.

— Ну, ты говори, да не заговаривайся. Покойников не срамят, трубач,— строго заметил ему подхорунжий Бушуев.

— Извиняй, подхорунжий.— Я — к слову...

— Слово неподходящее.

— Так точно, господин подхорунжий. Живой усопшему не судья... Тут одно сказать можно: худо с судьбой играть, когда на руках ни козырей, ни масти,— молвил со вздохом Сударушкин.

— Ну, карты-то у нас, допустим, с ним одинаковые — не позавидуешь...— не сдавался трубач.

— Фарт, стало быть, разный.

— Дело не в фарте, Сударушкин.

— А ишо в чем же, служба?

— В становой жиле. Вот в чем.

— А ты погодил бы хвастаться становой жилой до поры до

времени, Спиря. В строю-то все мы пока двужильные — орлы орлами. А вот по домам из полка разбредемся — птица из нас с тобой будет уже не та. Понял ты меня али тупо?— многозначительно кивнув трубачу, проговорил с горьковатой усмешкой приказный.

— Досказывай, што за птица.

— Незавидные птахи, словом. Вроде кукушек.

— Здравствуйте, я вас не узнал! Домололись. Тоже сравнил мне ястреба с пустельгой,— презрительно сощурив зеленоватые кошачьи глаза, процедил сквозь зубы каптенармус.

— Помилуй, господин каптенармус, не о тебе пока идет речь.

— Удивительно, Марья Митревна. Ты што же, за казака меня не считаешь?

— Упаси бог. Наоборот. Уж кто там кто, а ты-то из ястребиной породы. Это так точно. Не нам чета... Ить тебе — што. Ты и в полку жил по первой статье, и домой воротишься — все козыри в руки. А вот нам с трубачом на родной сторонке крылышки-то прижать придется».

С сожалением приходится обрывать выписку из этого разговора, который притягивает читателя. И не поймешь, чем это он тебя держит. Не сама по себе «лобовая» идея интересует читателя, а отношение к ней разных персонажей, ее словесное обличье в разных устах. Где-то здесь, в этом умении автора обрядить основную идею неожиданными при первом восприятии, а затем кажущимися единственно приемлемыми словесными фигурами, и кроется секрет художественности. Сколько мы читали острых диалогов, монологов, полилогов о классовом расслоении солдатской или крестьянской массы, о созревании этой мысли во взбудораженном русском уме. Не задаваясь мыслью сравнивать подобные примеры, искать в них более или менее удачные места, можно с полной уверенностью сказать: шуховский вариант не повторяет других, даже не напоминает.

Как сказал бы Гегель, он тождественен самому себе. Он — только шуховский.

Если разложить шуховский текст на его составные элементы и пытаться определить какие-то самые что ни на есть оригинальнейшие частицы стиля этого писателя, то они будут такими же, как и у других. Мы найдем, например, что он довольно обильно пересыпает текст диалектизмами. Но согласитесь, что это совсем не оригинально. Мыслим ли «Тихий Дон» без донских диалектизмов или «Угрюм-река» без сибирских? Однако сам характер диалектизмов, которые вводит в свое повествование Шухов, уже оригинален. Из этого языкового месторождения добывали руду, пожалуй, только Всеволод Иванов и Павел Васильев.

Настолько крепко «привязан» (в смысле привязанности, преданности) Шухов к теме казачества, что даже его рассказы и повести о

современности, о целине, например, звучат, как продолжение единой летописи бывшей Горькой линии, ставшей теперь уже не линией, а краем совхозов. Бывшие казаки — теперь рабочие социалистических фабрик зерна, к которым еще в конце 20-х годов тянулись многие герои «Ненависти». В «Зимней повести» речь идет о застигнутых в степи пургой механизаторах, шоферах целинного зерносовхоза. И хотя в повествовании рассыпаны приметы времени подъема целины, главными героями, вернее, единственными полно обрисованными персонажами оказываются старики — встревоженная за судьбу сыновей Аксинья Григорьевна и ее подвыпивший и до поры сохраняющий в тайне от жены этот грех муж Максим Дементьевич, люди старого склада, проведшие непраздную, полную лишений жизнь, сохранившие прочные основы трудового семейного уклада. Дед то молодо запевает под балалаечный наигрыш внука «Солдатушки, браво, ребятушки!», то разглагольствует за столом о прошлом житье-бытье, сочно сдабривая свой рассказ народным юмором, то вспомнится Аксинье Григорьевне такая же пурга в пору ее молодости, когда Максим так же затерялся с обозом в степи и она, забравшись на колокольню, вызволила своего любимого из кромешной круговерти колокольным звоном, то сноха Марья скороговоркой расскажет, что они с Ваней (теперь он там, в степи) сразу после свадьбы чуть не замерзли вдвоем в кабине самосвала, двое суток в телогрейках «на рыбьем меху» отсиживаясь в пургу, и как Ваня убеждал ее представить, что она — графиня, а он граф Жигалов, и они в расчудесном путешествии — вот из таких эпизодов и состоит повесть. И, удивительное дело, напряженное состояние тревоги за жизнь механизаторов, внушенное первыми страницами повести, постепенно переходит в уверенность, что ничего с такими Жигаловыми не сделается — от надежного корня они взращены. Похож Максим Дементьевич на многих своих предшественников по творчеству Шухова. И слог-то у него не то бушуевский из «Горькой линии», не то Елизара Дыбина из «Ненависти».

«—Гореваньем в беде не поможешь, мать. Это раз. Второе, ребята у нас с тобой не робкого десятка. Не без головы на плечах. Одним словом — Жигаловы! Вот вторая моя тебе отповедь, матушка. Третий мой сказ и того короче. Прежде времени не помирай. И в неурочное время беду не каркай».

Он уже несравнимо выше тех «воспод стариков», что «буровили» всяк свое на станичных сходках. Продолжая свою тему, писатель этим образом словно хочет сказать: вот оно, то крепкое потомство, которое дала лучшая часть Горькой линии.

В целинных очерках, чуть ли не в каждом среди пестрого круга новоселов, кого автор избирает своими персонажами, обязательно присутствует старик — коренной житель здешних мест. Как правило, он радуется нахлынувшей нови, но в то же время придирчиво вме-

ннвается в детали, на которые не обращают внимания целинники, увлеченные размахом своего дела. То края полей неаккуратно заделаны, то рожь на корм не вовремя косят, слепо подчиняясь спущенной сверху директиве, то указатели дорог не поставили («Зарницы над нивами»). Или попадается парням-кубанцам старик, возвращающийся в свой колхоз с курсов садоводов, и вот уже кубанцы, приунывшие было от тягостного однообразия плоской, без деревца, степи, начинают видеть ее глазами старожила, полвека украшающего ее своим трудом. Он словно приглашает их не просто начинать новую для парней жизнь, а продолжать его дело («Первая борозда»).

Такие мотивы и стилистические интонации придают очеркам дополнительную жизненную силу, помимо актуальности, ради которой они появились.

Все творчество Шухова, переосмысливая название его последнего произведения, можно было бы назвать Пресновскими страницами — настолько оно цельно по тематике, сюжетно-образным концепциям и стилю. И все-таки страницы, которые вышли из-под его пера в последние годы жизни,— не просто своеобразный постскриптум к «Горькой линии» и «Ненависти». Это раскрытый код своей оригинальности, тайное тайных своей души, таланта.

Возвращаясь к самым ранним накоплениям памяти, Шухов создает повести о себе. Читатель, который был не знаком до этого с его известными романами, может недоумевать. К чему, покажется ему, эти впечатления ребенка на заре нашего века? Хотя и написанные мастерски. А ведь за непритязательными рассказами о пожаре в станице или поездке в Кокчетав кроется огромная метафора, жизненная притча художника.

Все, что интересует исследователя творчества Шухова, найдется здесь: и фольклорная поэтика, определившая эстетические пристрастия, и образцы разговорной речи, и характеры, и обстоятельства, и литературные ориентиры.

Сведения о себе даются здесь не в прямой форме дефиниций, а поданы в той же художественной манере, которую пытается разгадать исследователь.

«Несказанно тревожили, приводили в трепет, волновали меня и гортанные песни цыган Соколовского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время — **близким мне по духу — чем-то родным нашенским** (подчеркнуто мною.— *А. У.*). Седыми от ковылей степями. Мерцанием далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого — невесть куда — перекати-поля...»

Или: «Меня буквально заворожил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. Язык этот так меня восхитил, что я даже удивлялся тому, что маленькие

хохлята разговаривали промеж собою так же бойко и весело, как и большие.

И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные мною в этих селах украинские песни».

Такова душевная восприимчивость писателя, способность в каждом новом звуке услышать отзвук своего сердца.

Здесь же найдутся приметы прочной психологической устойчивости художника на протяжении всей жизни. Такая устойчивость рождается в человеке, чьи корни глубоко в народе, в его быте, в привычках, традициях, песнях. «Был я один. Но не одинок. И мне было радостно сознавать, что рядом со мной был родительский двор и дом. И все там было — нашим. Родимым. Моим! Отец. Мама. Братья. Сестры. Коровы. Овечки с ягнятами. Кони. Игренька. Терзай». В больших крестьянских семьях художественная натура на всю жизнь пропитывалась народной нравственностью, народным вкусом, народным чувством. Переделать выросшую здесь художественную душу на какой-то другой лад уже невозможно. Невозможно было изменить и привязанности. Сохранявший всю жизнь в душе поэзию трепетных, пусть чуть сентиментальных, родственных привязанностей, писатель распространял ее и на милых ему людей. Трогательна его многолетняя дружба с сестрой Сергея Есенина — Александрой, с Екатериной Павловной Пешковой, дышит уважительностью и любовью — к конкретному адресату,— человеку вообще — каждая строка его писем, в которых отразились его незаурядная личность, душа и талант.

Удивительная «неизменность» писателя Ивана Шухова сродни литературным судьбам многих «художественных самородков». Никто не знает тайны кристаллизации стиля художника. Но у одних читатель имеет возможность наблюдать от книги к книге так называемый «поиск себя», пока не засверкает гранями наконец сложившийся кристалл. Самородок же является миру готовым, независимо от того, отыщется ли он двадцатилетним, как Шолохов, например, или почти пятидесятилетним, как Бажов.

Шухов мог быть только таким, каким он «нашелся» для советской литературы на рубеже двадцатых и тридцатых годов в северо-казахстанских степях, каким оставался и сохранялся в бурные, быстроменяющиеся десятилетия своей жизни, каким он останется теперь навсегда.

* * *

Как первейший горьковский завет пронес через свое творчество и общественную деятельность Шухов заботу о высоком идейно-художественном качестве советской литературы. Этой заботой было проникнуто и последнее его выступление на объединенном пленуме

творческих союзов Казахстана в 1976 году. Член горьковского оргкомитета по подготовке Первого съезда советских писателей и разработке Устава Союза писателей СССР, Шухов призывал следовать духу и букве устава писательского союза — создавать произведения, имеющие «самостоятельную художественную ценность». И он имел на это право.

Представляемое ныне читателям Собрание сочинений Ивана Шухова можно рассматривать как цельное художественное полотно, единую книгу социалистического полувека бывшей Горькой линии. Полувека, в течение которого произошли изменения, преобразившие и облик края, и его людей. Полувека, в течение которого и писалась эта книга. Полувека творческого пути видного советского писателя Ивана Шухова.

Альберт УСТИНОВ

ГОРЬКАЯ ЛИНИЯ

роман

ПРОЛОГ

1

Поздней осенью 1913 года возвращались из Семиречья в станицы Западной Сибири эшелоны четырех казачьих полков. Это были казаки, отслужившие пятилетний срок действительной службы на юго-восточной границе России с Китаем. Им повезло. Сторожевая служба на пограничных кордонах была довольно вольготной и мирной. Призванные в строй после русско-японской войны, они не испытали тех невзгод и лишений, какие выпали на долю старшего поколения Сибирского казачьего войска во времена Маньчжурского похода в 1904 году. Однако за пять лет службы, отбытой на чужбине, они вдоволь насытились непривычно праздной бивачно-казарменной жизнью на глухих пограничных кордонах и теперь готовы были лететь на крыльях к неблизким родным местам.

Полки возвращались на родину в полном боевом порядке, при холодном оружии, с карабинами за плечами, в конном строю. Переправившись вброд через мутные воды Или, эшелоны двигались замедленным маршем через Голодную степь. Они шли через пески и камышовые джунгли Балхашского побережья, мимо грифельных скал Джезказгана и кремнистых сопок необжитого Коунрада, мимо редких аулов кочевников и одиноких пастушеских юрт, раскиданных в пустынных пространствах азиатских степей от верховий Черного Иртыша до Каркаралинска.

Марш был нелегким. Туговато приходилось местами с подножным кормом для лошадей и с фуражировкой. Далеко не везде на пути сохранились нанесенные на маршрутную карту войсковые колодцы. Несмотря на глубокую осеннюю пору, в Прибалхашье держалась еще сорокаградусная жара. И у путников от горячих ветров пылали глотки, трескались спекшиеся губы, темнело в глазах. А строевые кони порой шатались под всадниками,

точно после призовых скачек с многоверстной дистанцией.

На сорок первый день марша казаки, миновав Голодную степь, вышли на широкий скотопрогонный тракт, пролегавший из Западного Китая к землям Сибирского казачьего войска. Подтянув эшелоны к крутым берегам живописного горного озера вблизи Каркаралинска, есаул Алексей Алексеевич Стрепетов сказал перед строем:

— Поздравляю, братцы. Пустыни — за нами. Теперь и до дому — рукой подать. Ура! — прозвучал его грудной взволнованный голос.

Казаки, привстав на стременах, огласили окрестные сопки торжествующим перекатным гулом:

— Ура-аа!

Даже строевые кони, взметнув мечами ушей при этом отлично знакомом им боевом кличе всадников, словно почуяли близость дома. Закусив удила, напружинив сухие точеные ноги, они возбужденно посверкивали агатовыми зрачками и готовы были взмыть на дыбы.

Трубачи протрубили привал на дневку. Всадники, спешившись, занялись расседловкой. Задымили походные кухни. Запылали костры. На берегу озера быстро раскинулись штабные шатры и казачьи палатки. И не успели еще дневальные сбить в косяки расседланных лошадей, а уж некоторые досужие сослуживцы предались привычным забавам. Одни резались в подкидного дурака, другие — всяк в свои козыри, а кое-кто из неробких ребят перебрасывался втихомолку и в двадцать одно. Сотенный шорник и гармонист Сенька Сукманов, примостившись на дышле обозной брички, лихо отрывал на новенькой однорядке «Метелицу», щеголяя неслыханными разбойничьими вариациями. И кто-то, видать, из самых отпетых полковых плясунов, размахивая связкой уздечек, не утерпев, успел раза два-три пройтись вокруг гармониста вприсядку...

Ко всему на свете, казалось, равнодушные на марше, неразговорчивые, хмурые и нелюдимые с виду казаки совсем другими выглядели на привале. Со стороны присмотреться к ним в эту пору — ахнешь: не те ребята! Спешились — все! Смотришь, и усталость как рукой сразу сняло. И языки мало-помалу, как в легком хмелю, развязались. И прибаскам и присказкам — нет числа... Немногого требовали служивые от скупой на забавы и радости походной жизни. Брезентовая палатка над головой. Жар-

кий костер в ночи. Братский ужин из артельного котелка. Цигарка из казенной махорки. Песня, спетая ввечеру на неполные голоса. Вот и хватит. Вот, пожалуй, уже и счастливы. А чем порадует завтрашний день, поживем — увидим!

Так было всегда.

Но в сегодняшний вечер лагерь выглядел особенно шумным и оживленным. Казалось, ярче обычного горят костры. Веселее и громче смеются казаки, озорнее звенят в припевках медные голоса шорниковской гармошки, белее выглядят четырехгранные штабные шатры с полковыми штандартами на флагштоках и выстроившиеся в линейку походные казачьи палатки. И даже глухое, негромкое ржание пасущихся строевых лошадей окрыляло, томило и радовало казачьи сердца, как призывный звук далекой полковой трубы.

Все были возбуждены и взволнованы необыкновенно в этот погожий вечер. И понятно. Суровый маршрут по горячим пескам и бесплодным равнинам Голодной степи уже позади. Впереди простирались овеянные полумглистою зыбкой дымкой, обжитые зверем и птицей степи. И потянувший к вечеру северный ветерок доносил уже знакомые с детства запахи родной стороны — горьковатый аромат мелкой степной полыни, шалфея и донника.

2

Через час с четвертью после привала есаул Стрепетов, отужинав в кругу полковых офицеров и выпив при этом законную чарку рому, покинул штабной шатер. Хотелось побыть в одиночестве, побродить перед сном по окрестной степи, размять затекшие от стремян ноги. Чтобы не смущать казаков, непринужденно и шумно забавлявшихся после ужина, Стрепетов обошел бивак стороной и углубился в степь.

Вечерело.

В порозовевших от заката водах озера отражались гигантские облачные башни и пирамидальные вершины кремнистых скал, окружавших берег.

На биваке играл духовой оркестр. Замедлив шаг, Алексей Алексеевич прислушался. В бесхитростной, то мятежной и бурной, то тревожно-печальной мелодии было столько большой человеческой скорби по чему-то заветному, неповторимому, дорогому, что у Стрепетова в

комок сжалось, на мгновение как бы даже остановилось сердце. Играли вальс «Воспоминание о Пржевальском».

Присев на первый попавшийся валун, не мигая смотрел есаул в зыбкую полумглу степи, слушал знакомый с юности вальс и припоминал одинокую могилу великого путешественника на берегу пустынного горного озера Иссык-Куль. На месте последнего привала знаменитого исследователя высился суровый, строгий обелиск, затерянный среди горных вершин Тянь-Шаня. Алексей Алексеевич снял фуражку и мысленно преклонил колено перед нравственной силой, душевным благородством и мужеством этого русского человека. С юных лет, со времени пребывания в Омском кадетском корпусе, не переставала волновать Алексея Стрепетова и завидная скитальческая судьба, и подвижническая смерть Пржевальского вдали от родной земли, отдавшего все — и даже свою могилу — пустыне. Зачитываясь в юные годы блестящими записками Пржевальского о трех маршрутных походах, совершенных им в глубь Центральной Азии и Тибета, Алексей Стрепетов тоже мечтал о каком-то необыкновенном подвиге во славу России, который, ему казалось, он всегда готов был совершить...

Но все выходило у него не так, как мечталось. Призванный в чине хорунжего в действующую армию в 1904 году, Алексей Стрепетов получил в свое распоряжение Пятую сотню перворазрядников в четвертом Сибирском казачьем полку. Этот полк, входивший в куропаткинский конный корпус, не раз прославил свое боевое Георгиевское знамя в рукопашных схватках с противником в гаолянах Маньчжурии на русско-японском театре войны. На особом счету в полку была и лихая стрепетовская сотня, пленившая в деле под Ляояном командира японской кавалерийской бригады генерала Уехара, а в боях на Тымынлинском перевале отбившая знамя японского стрелкового полка. За руководство боевыми операциями этой сотни хорунжий Стрепетов был произведен в подъесаулы, награжден золотым холодным оружием и орденом Станислава с мечами. Но затем тяжело раненный в ногу при конной атаке под Вафангоу Алексей Стрепетов вынужден был покинуть действующую армию. Эвакуированный в тыл, он по выздоровлении принял командование над запасной сотней казаков, стоящей в резерве в Омске. Здесь ему не повезло. За уклонение от личного участия в разгоне революционной демонстрации

рабочих омских железнодорожных мастерских 19 октября 1905 года и за пассивные действия при этом стрепетовской сотни молодой подъесаул едва ушел тогда от военно-полевого суда. Спасло его заступничество начальника войскового госпиталя, престарелого доктора Андрея Викентьевича Путинцева. Связанный в прошлом узами многолетней и тесной дружбы с отцом подъесаула — кавалерийским полковником Алексеем Ильичом Стрепетовым, старик ловко выручил из беды офицера, положив его в день демонстрации девятнадцатого октября в свой госпиталь на длительное излечение...

Но, уйдя от военно-полевого суда, Алексей Стрепетов не ушел от опалы. В числе прочих боевых офицеров Сибирского войска — ветеранов русско-японской войны — он готовился к поступлению в Петербургскую военную академию. И вдруг все пошло прахом. Вместо блестящего Петербурга он очутился к осени 1906 года в захудалом семиреченском городке Верном, а вместо академии генерального штаба — командиром сотни в пограничном Сибирском казачьем полку. Он понимал, что это, в сущности, была ссылка. Войсковой атаман и наместник Степного края генерал Сухомлинов не забыл, разумеется, при определении дальнейшей судьбы Стрепетова о незнатном происхождении подъесаула — выходца из рядовой и притом небогатой казачьей семьи. Атаману было известно, что Алексей Стрепетов был зачислен в кадетский корпус только благодаря боевым заслугам своего отца — ветерана Туркестанского и Маньчжурского походов, выбившегося к концу своей жизни из нижних чинов в полковники. Знал войсковой атаман кое-что и о косвенных связях бывшего кадета Алексея Стрепетова с революционным кружком политически-ссыльных студентов, раскрытом в канун русско-японской войны омской полицией. В итоге все это давало основание осторожному наместнику не очень-то либеральничать с заподозренным в политической неблагонадежности молодым офицером и отправить его от греха подальше в верненское захолустье.

Прибыв к месту новой своей службы, подъесаул принял сотню молодых, только что ставших в строй казаков. Наступила пора невеселой гарнизонной жизни в безликом и пыльном городишке, где можно было спиться со скуки, а в Офицерском собрании и перестреляться с отчаяния за зеленым столом. И Алексей Алексеевич на первых порах

приуныл. Казалось, все было кончено. Приходилось поставить крест на мечтах об отважных походах и странствиях с винчестером за плечом. А о Петербурге, об академии, о карьере блестящего генштабиста навсегда позабыть...

Но, оглядевшись, освоившись мало-помалу на новом месте, опальный подъесаул взял себя в руки. Далеко не все офицеры гарнизона оказались дуэлянтами, пьяницами и картежниками, как представлял себе Стрепетов по прибытии в полк. Позднее, сблизившись с некоторыми из старших командиров, он нашел среди них немало самобытных и одаренных натур, связав себя с ними за годы службы прочной и тесной дружбой. Сжился Алексей Алексеевич и со своими подчиненными. Горячо принявшись с первых же дней за строевые учения и боевую подготовку своей сотни, он проявил немалую заботу и о духовной стороне жизни казачьего гарнизона. На гроши, собранные по подписному листу среди офицеров и нижних чинов, он завел полковую библиотеку, что, по тем временам, было делом новым в войске. Много и жадно читая сам, он пристрастил к чтению не только молодых людей офицерского круга, но и кое-кого из нижних чинов.

Так вот и прошло пять лет. Срок действительной службы для казаков стрепетовской сотни истек. Для четырех Сибирских полков, сослуживцев одного наряда, призванных в строй осенью 1908 года, настала пора отпуска по домам. И тут Алексею Алексеевичу повезло. Произведенный к этому времени в есаулы, он был назначен приказом по войску проводником и начальником эшелона демобилизованных казаков. Алексей Алексеевич с радостью принял это назначение. Трехтысячеверстный марш с целой дивизией всадников через труднопроходимые и малоизученные пустыни и степи Азии был уже не совсем обычным военным походом.

Стрепетов, сформировав в Верном свои эшелоны, повел казаков. Есаул поторапливался закончить марш к покрову — престольному празднику в линейных станицах. Но самому ему, в сущности, незачем было торопиться. Никто не ждал его на родине. Не было там у него теперь ни отчего крова, ни родных, ни близких. Отец, командовавший в русско-японскую войну 6-м Сибирским казачьим полком при конном корпусе Куропаткина, пал в бою под Мукденом. Матери, умершей лет двадцать то-

му назад, Алексей Алексеевич почти не помнил. Старый родительский дом с мезонинчиком, украшавший когда-то площадь станицы Усть-Уйской, перешел за какие-то отцовские долги в собственность войскового казначейства и за ветхостью был продан на слом. Из близких родичей была у него лишь двоюродная, по матери, девятнадцатилетняя сестра Верочка, с которой изредка переписывался есаул, посылая ей на рождественские и пасхальные праздники поздравительные цветные открытки. Но Верочка Стрепетова, окончившая год назад омскую женскую гимназию, учительствовала теперь где-то на Алтае в одном из глухих кержацких сел. И, судя по последним подозрительно-бестолковым и не в меру восторженным письмам, она, видимо, влюбилась в какого-то ссыльного студента Гриневича и не очень-то, должно быть, тяготилась разлукой с братом...

Нет, ничто уже не связывало теперь есаула с теми местами, где прошло его детство и куда вел он теперь своих казаков. Однако, как и все его спутники по этому маршу, он не мог без горячего и светлого душевного трепета думать о близком конце похода. И сейчас, на подступах к ковыльному царству Западно-Сибирской равнины, он волновался так же, как любой из его казаков, не видавших родной земли в течение пяти долгих лет, проведенных на чужбине.

Но вот смолк вдали полковой оркестр, и Алексей Алексеевич, как бы очнувшись, машинально взглянул на карманные часы. Они показывали половину девятого. Пора было подумать о сне. И есаул тем же неторопливым и мерным шагом повернул к лагерю. Заложив за спину руки, он шел по степи, заглядевшись на жарко мерцавшие в полумгле золотые зыбкие цепи бивачных костров. А навстречу ему доносились из лагеря приглушенные, похожие на всплески задумчивых волн, хоровые звуки казачьей песни.

3

Добравшись до лагеря, Алексей Алексеевич остановился возле казаков, собравшихся в кружок у неяркого догорающего костра. Они пели на неполные голоса, и было похоже, будто рассказывали нараспев полубыль-полусказку, дремотно прищурив позолотевшие от огня глаза:

Прослужил казак три года,
Стал коня своего ласкать:
— Конь мой милый, конь ретивый,
Нет мне лучшего коня.
На родимую сторонку
Скоро ль ты домчишь меня?
По дороженьке знакомой
Мчался всадник молодой,
Повстречался он с казачкой,
Что ходила за водой.
И сказала та казачка
Молодому казаку,
Что напрасно он стремится
В хутор близкий, за реку:
Ждет его там не отрада —
На беду легла беда —
От родительского сада
Не осталось и следа.
Двор зарос глухой травою,
Опустел родимый дом,
И поник казак главою —
Сирота в краю родном!

Дослушав песню, Алексей Алексеевич, преисполненный того светлого грустного волнения, какое вызвала в нем отзвучавшая печальная песня, вернулся в свою палатку. Бивак засыпал. Полковые песельники, умолкнув, разбрелись по палаткам. И только кое-где еще мирно судачили вполголоса о своем житье-бытье некоторые засидевшиеся возле полупогасших костров казаки, да где-то в другом конце лагеря лепетали чуть слышно, словно спросонок, бедовые лады шорниковской гармошки. Стрепетов, не раздеваясь, прилег на узкую складную кровать и, накрывшись шинелью, тотчас же уснул замертво, как всегда засыпал после дневного марша в походе. Проснулся он от осторожного прикосновения чьей-то руки. Взбросив глаза, есаул не сразу узнал дежурного по лагерю вахмистра Гусихина, стоявшего навытяжку в скупо освещенной свечным огарком палатке.

— В чем дело?— почувствовав что-то неладное в неурочном визите вахмистра, спросил Стрепетов.

— Беда, смею доложить, ваше высокоблагородие. Происшествие в лагере. Казак Седельников утонул,— не переводя дыхания, скороговоркой отрапортовал вахмистр.

— Что? То есть как утонул? Где?— почему-то полушепотом спросил есаул, вскакивая с постели.

— В Чертовом озере. При полной амуниции ко дну пошел, ваше высокоблагородие.

— Каким же это образом?

— Он в ночном наряде с тремя казаками второй сотни при полковом табуну находился. Известно, ночной наряд в такую пору при табуну — хлопот не ахти: ни гнусу сейчасный период, ни оводу. Строевые кони тебенюют себе на подножном корму. Ну, а дневальным што делать? Одна забота — табак у костра палить. Посиживают себе обоюдно — тары да бары. А он, видать, давно обдумал себя кругом на рупь двадцать. Выждал удобный секунд, и бац — с крутого яру в воду. А ведь глыбь-то, ваше высокоблагородие, под яром какая — не прохлебнешь. Ну, один темп, и поминай как звали.

— Позволь, позволь, вахмистр. Так, что же это — самоубийство?

— Выходит, так точно, ваше высокоблагородие. Хорошо ишо, что ребята подобрались уралистые — ухо с глазом! Один — бить тревогу. Двое — на выручку сослуживца, вниз головой в озеро. А темь — глаза выколи. И ветер, как на грех, разыгрался — на озере вал в аршин. Ну да ведь казаки — хваты. Не оробели. Нахлебаться-то они нахлебались. А все-таки изловчились, зацепили каким-то манером дружка за портупей и выбились с ним на берег...

— Выбились? А проку в том что?— сказал есаул.

— Прок тут, ваше высокоблагородие, известный. Тело, по крайней мере, земле предать можно,— резонно ответил вахмистр.— Битый час казаки на попонах его откачивали,— продолжал вахмистр.— Край как охота было всем отстоять казака... И околодок полковых фершалов был тут весь налицо — тоже отваживались согласно медицинской науке. Но не фарт. Каюк. Отказаковал парень.

— Погоди, погоди, вахмистр. Ты мне главного не докладываешь. Причина известна?— раздраженный многословием вахмистра, перебил его есаул.

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Толку не дашь, какой грех его попутал. Одни — руками разводят, другие — воды в рот набрали, помалкивают. Темное дело, словом... Никак не похоже было, штобы он при спуске к дому руки на себя наложил. А вот вышла ж такая притча.

— Притча так притча!— многозначительно подтвердил есаул, вздыхая. И он, неожиданно приняв строго официальный тон, сказал: — Хорошо, вахмистр. Можешь идти...

4

Оставшись один, Алексей Алексеевич долго стоял в раздумье над догорающей свечкой, словно выжидая, пока она догорит и погаснет сама собой. Он никак не мог представить себе уже неживым того самого Седельникова, с которым только вчера еще мимоходом перебрасывался на марше шуткой. Дико и странно было думать, что стройная и гибкая фигура Седельникова неподвижно лежит теперь, прикрытая попоной, на пустынном и неуютном берегу озера.

И странный, почти фатальный смысл обретал в сознании Стрепетова мимолетный разговор во время вчерашнего марша, которому он не придал, разумеется, тогда никакого значения.

Настигнув на марше передовую колонну полковых песельников, есаул, улыбаясь, спросил задумавшегося Седельникова, ехавшего на вороном строевике впереди колонны:

— Ну как, отказаковал свое, запевала? Теперь домой — и на боковую?

— Так точно, ваше высокоблагородие. Открасовался,— как всегда непринужденно и бойко отвечал тот.

— А ведь тебе, братец ты мой, все казаки завидуют. Раз ты, как запевала, впереди эшелона идешь, то тебе, выходит, вперед всех и дома быть,— продолжал подшучивать есаул.

— И это так точно, ваше высокоблагородие. Кому как. А мне приходится поторапливаться...

— Невеста небось заждалась?

— Ишо бы! Из терпленья выходит...

— Тогда — уговор. Первым в эшелоне идешь, первому и жениться.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие. За этим дело не станет.

— На свадьбу, надеюсь, пригласить не забудешь?

— Помилуйте, как забыть! Всех однополчан призову, а уж ваше высокоблагородие — в первую очередь, ежели уважите.

— Всех однополчан? Ого. Веселую свадьбу задумал, жаркую.

— Не свадьба — пожар, ваше высокоблагородие...

— Дорогая, видать, у тебя невеста, Седельников...

— Невеста — это так точно — не из дешевых...

— Верная?

— Как клинок!

— Завидую.

— А вот это зря, ваше высокоблагородие.

— Отчего же зря?

— Грешно на чужое счастье зариться,— не поймешь как, в шутку или всерьез, отвечал есаулу Седельников, и лицо его стало серьезным и задумчивым.

— Что же делать, братец, когда своим не похвалишься!— заключил есаул в тон собеседнику, тоже как бы полушутя-полусерьезно.

На этом их короткий разговор и закончился. Разговор как разговор. Ничего особенного, кажется, не было сказано ни тем, ни другим. Однако те несложные летучие фразы, которыми отшучивался Седельников с присущей ему беспечностью в канун близкой своей гибели, звучали теперь для Стрепетова совсем по-иному, хотя решительно ничего и не объясняли ему. «А еще болтаем среди господ офицеров, будто за пять лет службы мы досконально изучаем и знаем, мол, как пять собственных пальцев всех нижних чинов в полку. Нечего сказать, хорошо изучил я Седельникова»,— раздраженно думал Алексей Алексеевич.

5

Коротко обсудив с полковыми офицерами случившееся, Стрепетов вызвал дежурного вахмистра Гусихина и, глядя на карманные золотые часы, раскрытые на ладони, распорядился:

— Тело покойного казака Седельникова предать земле на территории лагеря с соблюдением всех воинских почестей, положенных по артикулу для нижних чинов, павших на поле боя. В траурном марше принять участие всему личному составу полка в конном строю, при боевом оружии и парадной форме. При погребении погибшего строевому составу полка произвести троекратный салют боевыми из карабинов. И последнее: побудку играть трубачам в шесть ноль-ноль. Седловку — в шесть тридцать. Построение резервных конных колонн по сотням — в шесть сорок пять. Всё!— закончил есаул.— Можете идти, вахмистр.

В ожидании рассвета Алексей Алексеевич решил побродить по лагерю, присмотреться со стороны к тому, как

ведут себя поднятые тревогой казаки, прислушаться краем уха — не объяснят ли они в разговоре между собою причину гибели сослуживца.

Было около шести часов утра.

Чуть брезжило. Неласковым выглядел поздний осенний рассвет над биваком. Моросил словно сеянный сквозь частое сито дождь. Лихо посвистывал в пустынном поле бесприютный северный ветер. Угрюмо и глухо шумели вдали волны. Тревожно ржал чей-то конь в полковом табуне. Горько перекликались в заоблачной выси казарки, отбившиеся от птичьего косяка. И казалось, что лежавший сейчас на берегу под жесткой походной попоной казак Седельников тоже чувствовал неуютный, серый этот рассвет и жалел, что расквитался с жизнью в такую минуту...

Лагерь не спал.

Кругом горели костры, хотя и не так жарко и весело, как накануне. Казаки, набросив на плечи шинели, жались к огню. Лица — серые, хмурые. Сидели тесным кружком у костра, сгорбившись под частым косым дождем. Вздыхали. Поеживались. Жгли напропалую табак. По-азиатски поплевывали сквозь зубы в золу. Помалкивали. Стрепетов чувствовал, что притихшие казаки все же знают нечто такое, о чем не знают их командиры. Чуялось, что гибель Седельникова не является для них такой неожиданной, загадочной и таинственной, какой явилась для полкового начальства.

И в этом Стрепетов не ошибся. Вскоре он наткнулся на группу казаков, сидевших у костра, хозяйственно защищенных с наветренной стороны попоной, натянутой на клинки, воткнутые в землю. От огня им не было видно есаула. Облокотясь на борт стоявшей неподалеку обозной брички, он решил попристальней присмотреться к этим подозрительно оживленным ребятам и прислушаться к их беседе.

Казаков было пятеро. Есаул знал их всех поименно. В кругу защищенных от ветра и пригретых костром сослуживцев сидел смахивающий на подгулявшего ярмарочного цыгана полковой трубач Спирька Полубоярцев. Против трубача, сидя, ерзал невеликий ростом, но озорной и щеголеватый казачишка Евсей Сударушкин. Он только что заложил в обе ноздри по щепотке перетертого в золе табаку и теперь, собираясь расчихаться, вертел носом и страдальчески морщился. Тут же красовался своей

гвардейской статью и выправкой полковой каптенармус Михей Струнников — видный собой детина, с картинным чубом подвитых плойкой волос. Брезгливо оттопырив толстые губы, он презрительно косился прищуренным глазом на вдруг расчихавшегося Сударушкина. А коренастый крепыш в чине приказного, Матвей Наковальников, наоборот, смотрел на прослезившегося от чиханий соседа с таким блаженно-умиленным выражением лица, словно сам испытывал при этом не меньшее удовольствие, чем трепыхавшийся, как подбитая птица, Сударушкин. Пятый из сослуживцев — подхорунжий Яков Бушуев — полулежал у костра, опершись на локоть, и, покручивая вороненый ус, меланхолически поглядывал на огонь узкими немигающими глазами.

Все казаки были однополчанами. Все — земляки из первоотдельских станиц, лежавших по берегам горько-соленых озер между Иртышом и седым Яиком.

Присмотревшись к однополчанам, есаул смекнул — эти выпили! И как только перестал чихать красный как маков цвет Сударушкин, тотчас же возник между ними и разговор, прерванный, видимо, на минуту.

— Нет, это вы бросьте, братцы. Я топиться не стану,— проговорил таким тоном трубач, точно его кто-то настойчиво убеждал непременно сделать это.

— А зачем топиться, когда горячая оружия налицо? Пуля — куды вернее. Бацкнул в правую темю, вот тебе и сыграл в орла!— сказал с трезвой рассудительностью Сударушкин.

— Это так точно. От пули, по крайней мере, сразу каюк — прямое сообщение,— живо откликнулся приказный.

— Куды там ишо прямей. Царапнул, к примеру, под самую ложечку — ни печали, ни воздыхания,— подпел тенорком Сударушкин.

— Не врите-ка вы, братцы, дурничку, на ночь глядя. Для меня што ваша пуля, то и вода — одна сатана. Нет, шабаш. Я, язви те мать, не такой дурак, как Мишка Седельников, руки сдуру на себя подымать!— возразил трубач все с той же ожесточенной горячностью.

— Ну, ты говори, да не заговаривайся. Покойников не срамят, трубач,— строго заметил ему подхорунжий Бушуев.

— Извиняй, подхорунжий. Я — к слову...

— Слово неподходящее.

— Так точно, господин подхорунжий. Живой усопшему не судья... Тут одно сказать можно: худо с судьбой играть, когда на руках ни козырей, ни масти,— молвил со вздохом Сударушкин.

— Ну, карты-то у нас, допустим, с ним одинаковые — не позавидуешь...— не сдавался трубач.

— Фарт, стало быть, разный.

— Дело не в фарте, Сударушкин.

— А ишо в чем же, служба?

— В становой жиле. Вот в чем.

— А ты погодил бы хвастаться становой жилой до поры до времени, Спиря. В строю-то все мы пока двужильные — орлы орлами. А вот по домам из полка разбредемся — птица из нас с тобой будет уже не та. Понял ты меня али тупо?— многозначительно кивнув трубачу, проговорил с горьковатой усмешкой приказный.

— Досказывай, что за птица.

— Незавидные птахи, словом. Вроде кукушек.

— Здравствуйте, я вас не узнал! Домололись. Тоже сравнил мне ястреба с пустельгой,— презрительно сощурив зеленоватые кошачьи глаза, процедил сквозь зубы каптенармус.

— Помилуй, господин каптенармус, не о тебе пока идет речь.

— Удивительно, Марья Митревна. Ты што же, за казака меня не считаешь?

— Упаси бог. Наоборот. Уж кто там кто, а ты-то из ястребиной породы. Это так точно. Не нам чета... Ить тебе — што. Ты и в полку жил по первой статье, и домой воротишься — все козыри в руки. А вот нам с трубачом на родной стороне крылышки-то прижать придется.

— Чем же это мы с тобой хуже других казаков?— спросил с прежней заносчивостью трубач приказного.

— Тем самым, о чем я тебе долблю.

— Не знаю, приказный. Меня за пять лет службы в полку ни один ишо командир не охаял. А ты одну лычку на погон нацепил, а буровишь, как генерал от инфантерии.

— Снова за рыбу деньги! Заладила сорока Якова одно про всякого! «В полку! В полку!» О чем и речь, што в полку-то все мы, как говорится, нижни чины вроде как на равной ноге. А вот дома кое-какие из нашего брата начнут прихрамывать. Нет уж, как ты там ни верти, а в домашнем житье-бытье казак казаку не ровня.

— Интересно, што это ишо тако значит?— ни на кого не глядя, спросил, как бы думая вслух, тусклым голосом каптенармус.

— А вот то, к примеру, и значит, што твоя пристяжная только для виду скачет, а мой коренник карету везет. Понял?— вызывающе заглянув в плоское, засиженное веснушками лицо каптенармуса, бойко откликнулся на его вопрос приказный.

— Ну ты эти присказки брось, Наковальников!— повысил голос и каптенармус, подняв на приказного полусонные глаза.

— Ага. Не по ндраву?

— Што-то уж больно понятливый ты у нас стал под конец службы.

— Не спорую. Это так точно...

— Запретных книжек подначитался!

— А это уж дело хозяйское — каки мне книжки читать...

— Известно каки — крамольные сочинения.

— Насчет крамольных — не знаю. Не читывал... Греха на душу не приму. А ты, стало быть, видел такие?

— Не приведи бог! Я пока ишо не враг государь-императору — у разных смутьянов ума занимать... А вот от покойного тяти, царство ему небесное, слыхивал, как они со своими сослуживцами по лейб-гвардии в городе Петербурге не один раз, понимаешь, сочинителей этих самых книжечек публично на Невском пришпекте плетями драли. Вот тоже было потехи, сказывал тятя. Сочинители эти все, как один, сухопарые. При двойных очках. Чесноком за версту попират. Шароваришки навыпуск. Не поймешь, в чем душа только держится. Раз, два, говорит, огрей его, подлеца, вдоль спины плетью, он и заревет на весь Петербург, как заяц. С виду в нем живности ни на грош, а бунтарские книжечки сочинять и народ смущать — первый мастер. На этом они, видать, не одного черного кобеля втайне съели. Какого варнака, говорит, за ошкур ни тряхни, из того и крамольные бумажки градом. За како место его ни хвать, там и политика...

— Откудова же было твоему покойному тяте знать, што это были за бумажки и книжечки? Ить он у тебя, слава богу, и помер неграмотным,— заметил приказный.

— Оттудова, што стары люди не грамотой — своим умом жили.

— Хороша, язви те, житуха — расписаться при нужде сами за себя не умели!

— Невелика беда. Они, брат, не бумажке — слову верили. На бумаге-то хоть каку язву набарахли, она все вытерпит... Ты вот при своей грамоте дочитался, видать, у этого варначья до того, што тоже теперь тень на плетень наводишь. Казаков норовишь друг против друга стравить. Только смотри, Наковальников, играть — играй, да перебору не делай. Как бы тебе за эти прибаски язык не подрезали — картавить станешь!

— Бог не выдаст, свинья не съест... Я — не ты. Люблю словечко вприкуску...

— Язык зудится — мели, да с оглядочкой.

— В душе накипит — язык зачешется. А часто оглядываться начнешь, вперед далеко не увидишь...

— Ну, ну!

— А ты не понукай, каптенармус. Верхом пока не сидишь! — приняв вдруг сторону Наковальникова, прикрикнул трубач.

— Верхом на тебе?! Нету пока охоты...— криво усмехнувшись в крученый ус, отозвался на окрик трубача с притворным спокойствием каптенармус.

— Оседлал бы. Да не на того напоролся — не дамся.

— Ловко ты, вижу, гужи рвешь, трубач. И в годах уж как будто, а с норовом.

— Так точно. Есть такой грех. Не таюсь. Подвернешься под горячую руку — не пикнешь... Я тебе не Мишка Седельников. Первым в омут вниз башкой сдуру нырять не стану. А припрет, как его, покойника, скорей всего такую барабанную шкуру, как ты, вперед себя утоплю.

— Ого. Да ты у нас, оказывается, не парень — урал!— воскликнул с наигранным испугом и изумлением каптенармус.

— А ты думал! С ним не шути. Таких ведь ребят бабы наши только в девках родят — не взамужем,— заглядывая с придурковатым любопытством в потемневшие от гнева глаза трубача, скороговоркой ввернул Сударушкин.

Все рассмеялись. Невольно улыбнулся, тряхнув табачным чубом, и не умевший обижаться на шутки трубач. И только плоское лицо каптенармуса Струнникова по-прежнему было похоже на восковую маску, слегка искаженную сейчас полупрезрительной, полузлобной гримасой.

Сударушкин, воспользовавшись заминкой, расторопно выхватил откуда-то из-за пазухи обшитую шинельным суконышком алюминиевую баклажку с джином — контрабандной китайской водкой из риса — и еще расторопнее, расплескав недопитое заморское зелье по кружкам, столь же поспешно и бойко рассовал чарки по рукам сидевших вокруг однополчан. Потом, подмигнув Наковальникову, Сударушкин первый, с видимым удовольствием, лихо, почти со стоном, выхлебнул свою порцию и, звонко прищелкнув языком — закусывать было нечем,— снова заерзал, потирая простертые над костром маленькие и розовые, как у красной девицы, руки.

Вслед за Сударушкиным молча выпили свою долю и остальные казаки. Не стал пить на этот раз один только каптенармус. Отставив в сторону свою кружку, он выждал, пока выпил трубач, и, не сводя с него полусмеженных кошачьих глаз, проговорил с неприкрытой злобой:

— Нет, худо тебя, Полубоярцев, в полку за пять лет объездили — удила закусываешь. Правильно, пожалуй, говорил приказный. Домой воротимся — присмиреешь.

— Уж не ты ли смирять меня там собрался?

— Зачем я? Нужда прижмет, сам в хомут залезешь.

— Только не в твой.

— А это уж воля твоя — выбрать сбрую по корпусу...

— Ага, съел!— ткнув локтем в бок трубача, торжествующе воскликнул приказный.— Слышал такие речи? Была бы, дескать, шея у вас, варнаков, потолще, а за хомутами дело не станет. Вот и весь тебе сказ без прикрас.

— Все равно я не покорюсь,— с ожесточением сплюнув в золу, пробасил трубач сорвавшимся голосом.

— А куда ты, дружок, подашься?

— Лучше к кыргызскому баю в степь али к богатому хохлу на отруба в работники уйду, чем в своей же станице на этих шкур чертомелить стану.

— Конечно, кому работа не по нутру, у того одна припевка — пенять на бедность,— все с той же кривой усмешечкой в холеный ус сказал куда-то в пространство передернувший плечами каптенармус.

Вспыхнув как порох, Наковальников хотел было что-то возразить на ехидное замечание Струнникова. Но приказного опередил встрепенувшийся, как раненый беркут, трубач. Рывком придвинувшись вплотную к отпрянувшему назад каптенармусу, он мертвой хваткой вцепился левой рукой в его вздувшуюся на груди гим-

настерку и глухим, сорвавшимся на полушепот голосом спросил:

— А ты, сук-кин сын, много н-наробил?!

Помедлив с секунду, как бы соображая, что ему ответить на это, Струнников, вдруг изловчившись, стремительно-коротким ударом локтя отбросил от себя трубача и, тотчас же вскочив на ноги, прошипел, судорожно одергивая сбившуюся под ремнем гимнастерку.

— Нужны вы мне, хором лазаря с вами тянуть! На мой век и родительского добра, слава богу, хватит.

— Погоди. Погоди...— запальчиво пробормотал и вскочивший на ноги Наковальников, отстраняя властным движением руки ринувшегося к Струнникову тяжело и грозно дышавшего трубача. Глядя в упор бешено округлившимися, невидящими глазами в кошачьи зрачки каптенармуса, приказный негромко проговорил:— Ты бы лучше признался тут, Струнников, кто твоему родителю это добро нажил.

— Уж не вы ли с трубачом?

— Не мы. Отцы наши.

— Вот не знал! Спасибо, што сказали.

— Пусти меня, Мотя, я с им, язви те в душу мать, за всех и вся в один темп расквитаюсь!— хрипел через голову Матвея Наковальникова, дорываясь до каптенармуса, осатаневший трубач. От хмельной обиды, ударившей в голову, у него потемнело в глазах, и, подвернись ему в эту минуту под руку шашка, он наверняка разделался бы в два счета со Струнниковым. Но шашки при нем не было, а пустить в дело кулаки было ему не с руки — мешал Наковальников. Отлично зная характер крутого на расправу своего дружка, могучий в плечах и неробкий в драках приказный заслонял собой то с той, то с другой стороны стоявшего перед ним каптенармуса и продолжал жаркую, как беглый огонь, словесную перепалку.

— Твой тятя — покойна дыра — не одну казачью семью до сумы в станице довел, не одну трудовую копейку у нашего брата проглотил — не подавился... А не вы ли с ним перед нашим уходом в полк последнюю коровешку у матери Мишки Седельникова со двора увели?! Не ваших рук это дело?! А?!— с недоброй вибрацией в глухом басовитом голоске допекал Струнникова приказный.

—Так точно. Мы. Было, значит, за што увести. Долг-то, говорят, платежом красен...— встревоженно зыркая

по сторонам глазами, вызывающе бубнил каптенармус.

— Посторонись, Мотька, я его, подлеца, разукрашу!— рычал трубач, норовя-таки дорваться до каптенармуса.

Теперь по всему уже было видно, что драки не миновать. Однако подхорунжий Яков Бушуев продолжал, как ни в чем не бывало, по-прежнему лежать у костра все в той же картинной позе и молча поглядывать на распалившихся однополчан ленивыми, отсутствующими глазами.

Евсей Сударушкин, отскочив в сторонку, имел, как всегда, щеголеватый и бравый вид. Опрятно одернув под ремнем диагоналевую, точно влитую, гимнастерочку и лихо заломив набекрень новенькую касторовую фуражку, он стоял подбоченясь и весело посверкивал озорными быстрыми, как у подростка, глазами. Сейчас он просто светился весь от удовольствия, уверенный в неизбежной потасовке между казаками.

— Еська, шашку!— скомандовал трубач, ринувшись вдруг к оторопевшему Евсею Сударушкину.

— А ты ослеп разя, Спиря? Вонь ить клинки-то,— с живостью отозвался Сударушкин, кивая на воткнутые в землю клинки, поддерживавшие натянутую на них попону.

И трубач, вырвав один из клинков и зловеще поигрывая им, двинулся на продолжавшего словесную перебранку с приказным каптенармуса.

6

Тут уж и Алексей Алексеевич всполошился не на шутку. Не хватало еще только, чтобы трое пьяных дураков сгоряча перерубили друг друга! Волей-неволей, а есаул вынужден был теперь выдать себя, вмешавшись в междоусобицу.

— Здорово бывали, братцы,— приветствовал есаул вытянувшихся в струнку однополчан мирным, будничным тоном.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!— хотя и вразнобой, но молодцевато и бойко гаркнули казаки.

Трое из них — трубач с каптенармусом и приказный— стояли как ни в чем не бывало, в одной шеренге, ухитрившись в мгновение ока выстроиться перед есаулом даже по ранжиру. Подхорунжий Бушуев с Евсеем Сударушки-

ным замерли в стороне. Все, опустив руки по швам, ели глазами есаула, норовя разгадать, чем пахнет для них это внезапное его появление.

— Вольно... Вольно,— сухо произнес есаул, закуривая.

Казаки, несколько обмякнув, неловко запереминались. Один чуть слышно крякнул. Другой украдкой вздохнул. Третий, сбив набекрень фуражку, принял более непринужденную позу. И только Евсей Сударушкин продолжал по-прежнему стоять навытяжку, как в строю.

Было уже совсем светло. Дождь прошел. Костры на биваке погасли. В хмуром утреннем небе стремительно мчались над степью пепельные облака, раскиданные ночным ветром. Но солнце еще не вставало. Может быть, его просто не было видно из-за траурного крепа сгустившихся туч, закрывших восточную сторону небосклона. По-прежнему чуть слышно и горько перекликались, бог весть на какой высоте, странствующие казарки. Опять нет-нет да и возникало где-то вдали короткое трубное ржание все одного и того же коня, пасущегося в отгоне.

И странная, близкая к душевному смятению тревога вдруг овладела всем существом Алексея Алексеевича при виде трех присмиревших перед ним казаков, еще минуту тому назад готовых перерубить друг друга. Но еще более странным было ощущение столь же внезапного и совсем будто беспричинного озлобления против каптенармуса Струнникова, отвисшей его губы и подвитого плойкой чуба. «Самодовольная морда. Злые глаза. И вообще подлец, конечно, отпетый...»— подумал Алексей Алексеевич, бросив косой взгляд на каптенармуса. Стрепетов мало знал и почти не замечал прежде Струнникова. Но сейчас в этом нестроевом интенданте есаула бесило все: тупой подбородок и нафиксатуаренные усы, гвардейский рост и безупречная выправка. С трудом подавив в себе вспышку против выдобревшего на ворованных армейских харчах полкового каптенармуса, Алексей Алексеевич только вздохнул и глубоко затянулся на полный захват асмоловской папиросой.

— Тут, кажется, выпивкой припахивает, если не ошибаюсь?— сказал есаул, пристально всматриваясь в открытое лицо приказного.

— Никак нет. Не занимаемся, ваше высокоблагородие,— поспешно выпалил вместо приказного каптенармус.

— Так точно. Был такой грех. Выпили, ваше высокоблагородие,— твердо отрапортовал приказный.

— Молодцом, Наковальников. Благодарю за честное признание,— столь же твердо проговорил есаул.

— Рады стараться, ваше высокоблагородье!

— Чувствую. Чувствую, приказный... Одного не пойму: с каких это радостей запировали вы в такую минуту?

— Помилуйте, каки могут быть у нас радости?! Наоборот...— молвил, вздохнув, приказный.

— Вот и я то же самое, что — наоборот.

И, с ожесточением швырнув наотмашь при этих словах в догоравший костер недокуренную папиросу, есаул, сложив руки за спину, молча прошелся раза три взад-вперед вдоль шеренги вновь подтянувшихся казаков. Жестко сжав рот и полусмежив набрякшие веки, он резко остановился перед казаками и глухо проговорил:

— В эшелоне чрезвычайное происшествие. Несчастье. Одного из лучших в полку строевых казаков потеряли... А вы — пить. Да к тому же еще ворованную каптенармусом резервную водку.

— Виноват. Осмелюсь...— заикнулся было побледневший Струнников, вылупив на есаула округлившиеся, тусклые глаза.

— Молчать!— оборвал его есаул. И, уже обратясь теперь к подхорунжему Бушуеву, приказал коротким и властным движением руки, указав на Струнникова:

— Поставить на два часа под ружье. С полной армейской выкладкой. На марше — три перехода пешим порядком впереди полкового обоза с седлом, привьюченным на спине. Ясно?

— Так точно. Будет исполнено, ваше высокоблагородье!— лихо вытянулся подхорунжий Бушуев, скосив глаза на каптенармуса.

Козырнув казакам, Стрепетов тотчас же отошел от них прочь своей стремительной походкой.

7

Схоронили нижнего чина Михаила Седельникова на вершине степного кургана, вокруг которого был разбит накануне походный бивак.

Когда стройное тело покойного, завернутое в попону, было бережно опущено казаками на чумбурах в могилу, есаул Стрепетов, спешившись, первым бросил горсть су-

хой и жесткой земли на прах своего подчиненного. То же самое сделали следом за командиром и несшие почетный караул казаки.

Полк, развернутый вокруг кургана в конном строю, обнажив клинки, взял на караул и стоял, не шелохнувшись, в глубоком молчании. Рослый вороной строевик покойного под седлом и с завьюченной в торока седельниковской шинелью присмирел рядом с правофланговым всадником, коротко державшим его за повод. Высоко взметнув в тревожном порыве красивую, будто вылитую из бронзы, голову, конь сверкал агатовыми зрачками, точно прислушиваясь к чему-то.

Но тихо было вокруг.

Только резкий северный ветер глухо гудел и посвистывал в стволах висевших за плечами у всадников карабинов, да где-то далеко-далеко кричал, должно быть, подраненный гусь. Над степью слегка порошила похожая на жемчужную россыпь крупа. Молча, без обычного сторожевого курлыканья, низко проносились над головами всадников, видать, последние стаи гусей. Не спеша, с неохотой брело запоздалое хмурое утро по неуютной в такую пору степи. Тускло и холодно поблескивала тавреная сталь обнаженных сабель. И колыхалось, словно вздыхая от ветра, приспущенное знаменосцем боевое Георгиевское знамя полка...

Гулко прогрохотал, перекликаясь с эхом прибрежных гранитных сопок и скал, троекратный оружейный салют. Просвистели свинцовые пули. И все было кончено.

Полк, развернувшись для марша, принял равнение направо и молча проследовал с приспущенными штандартами и саблями наголо мимо одинокой могилы. Торжественно-скорбное безмолвие всадников со взятыми на караул клинками нарушалось лишь чуть внятным ритмичным поскрипыванием переметных сум и седельных подушек, звяканьем закусываемых строевиками стальных удил да глухим и дробным рокотом гудевшей, как бубен, земли под тяжелыми коваными копытами.

Оседланного седельниковского коня вел в поводу полковой трубач впереди эшелона. Неспокойно держался без седока на этом марше строевик Михаила Седельникова. Давно почуяв неладное, шел он неровным, приплясывающим шагом. Злобно грызя мундштуки, он то норовил рвануться со всех ног вперед, то вдруг тормозил на ходу, засекаясь на заднем копыте.

Эшелон уходил на север.

Все дальше и дальше уплывал в нелюдимую глубь осенней степи оставшийся позади невысокий курган с большим, грубо отесанным деревянным крестом, водруженным на свежей могиле. И казаки, шедшие в конной колонне, замыкающей эшелон, повернувшись в седлах вполоборота, долго не сводили глаз с похожего на распятье креста, маячившего в зыбкой мгле.

Когда эшелон был уже в полуверсте от кургана, многие из всадников видели, как над местом покинутого ими ночного бивака показался вдруг спустившийся из заоблачной высоты степной орел. Описав два широких и плавных круга над похожим на евангельскую Голгофу курганом, он медленно опустился затем на вершину креста, сначала широко расправив над ним, а потом мягко подобрав свои огромные крылья.

Как всегда, и на этом марше песельники, построившись в развернутую колонну, шли во главе эшелона. И хотя вместо выбывшего из строя Михаила Седельникова красовался теперь на саврасом строевичке впереди полковых запевал другой, такой же бедовый и лихой запевала Евсей Сударушкин,— казаки угрюмо молчали.

Не пелось.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Для обеспечения колонизации на Западно-Сибирской окраине русскому правительству в XVIII веке пришлось отгородиться от кочевников искусственно укрепленными линиями. Одна из этих линий легла от Яика до Иртыша и была названа Горькой.

1

К югу от линейных станиц, за жемчужной цепью озер и канвой березовых перелесков лежит великая древняя степь.

Степь.

Родимые, не знавшие ни конца ни края просторы. Одинокие ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдали росчерк березовых перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячных костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. О, как далеко-далеко слышна там в предзакатный час заблудившаяся в ковыльных просторах проголосная девичья песня!

До боли в глазах сверкают там в знойную летнюю пору ковыли и озера, а зимой — белые, сахарные снега. Гулко гудит на рассвете под некованым конским копытом широкий тракт. Неподвижным и тусклым становится ночью шафранный зрачок зверя, притаившегося в придорожном бурьяне. Бесшумно, медлительными дремотными кругами опускается в предзакатный час на одинокий степной курган орел. Равнодушный и безучастный к великому окрестному безмолвию и покою, он садится на вершину намогильника и долго точит потом об осколки гранитной гробницы свой стальной, окантованный траурной прошвой клюв.

Джигитует в родимых просторах ветер, пропитанный солью степных озер и дыханием далекой пустыни. И плывут, плывут безучастные к жизни и смерти, кочуют из края в край над этой землей легкие, как паруса, облака.

Загрубела обильно политая кровью племен, утрамбованная копытами коней земля. Потому-то, словно бубен, звенит она на рассвете под ногами злого, как черт, иноходца. Потому и бушуют здесь в летнюю пору диковинно пышные травы и пылают, как пламя в дыму, яркие степные цветы. А в конце февраля от чудовищного грохота и гула буранов не находит себе места в камышовых джунглях напуганный зверь. И горе тебе, человек, попавший в такую пору в эти первобытные степные просторы!

Может быть, вот так же тысячу лет назад красовались в этих местах такие же диковинные цветы и бушевали под ветром густые сочные травы. Жестокие предания, легенды и песни хранит в себе эта степь. Суровые гребни курганов и проросшие ковылем и бессмертником камни древних гробниц напоминают о битвах и сечах воинственных предков, о кровавых маршах диких племен и орд, прошедших с огнем и мечом по этим равнинам.

Вдосталь показаковала, поатаманила некогда в этом краю и пришлая из Прикаспийских пустынь, с Дона, Волги и Яика казачья вольница. И по полузабытым лихим и тревожным песням ее можно судить о том, как, бывало, отгораживались на Горькой линии частоколом, водой и рвами линейные казаки от немирных своих соседей; как закладывали они лет двести тому назад в этих местах и поныне существующие земляные крепости, маяки и редуты.

Хаживали эти хмельные от вольности ребята на легкий, рисковый промысел в глубинную степь. Сторожили они на древних дорогах и трактах заморских купцов и миловали кистенем и пищалью иноземных предводителей караванов. Не гнушались лихие станичники ни индийским серебром, ни китайской парчой, ни персидскими коврами, ни полоненными дикарками со смуглыми лицами. Потому-то и течет до сих пор в жилах сибирского линейного казачьего войска глухая, властно зовущая в кочевые дали кровь. Потому-то не редки еще и теперь среди линейных станичников диковато-шустрые на взгляд и облик казаки и темноликие казачки.

Но все прошло, поросло ковылем-травою. И остались от предков в наследство линейным станицам одни изрытые ядрами старинные крепостные земляные валы да полувыровненные временем рвы.

...Станица Пресновская, как и все другие станицы на Горькой линии, стояла в степи в окружении земляных го-

родищ и ветряных мельниц. Ее прямые, широкие улицы утопали в пыли и в чахлой зелени палисадников. А на крышах пятистенных и крестовых домов красовались жестяные петухи. Делилась станица на два непримиримых края — Ермаковский и Соколинский. Славились обитатели Ермаковского края гвардейским ростом, крестами и грамотами, а жители Соколинского края — лихими чубами, нуждой да песнями. Повелся здесь с далеких времен обычай такой: оседали в Соколинском краю иногородние пришельцы из разного люда, принятые обществом в казачье сословие за бочку вина или браги, выставленную на станичную площадь. Получали эти приписные казаки из войскового надела по пятнадцати десятин земли на служилую душу. А спустя года два отдавали они эту землю за грошовую аренду богатевшим из года в год ермаковцам, а сами, проводив сына в полк, зачастую шли в батраки и не вылезали затем из нужды и долгов до конца своей незавидной жизни...

2

В один жаркий воскресный день, в канун сенокоса, когда слегка подвыпившие казаки, собравшись на крепостном редуте, томились от зноя, от лени, от праздности, а главное, от нехватки распитой по случаю распродажи общественных сенокосов казенной водки — в эту самую пору предстал перед затуманившимися очами станичников тоже чуть подгулявший где-то приблудный хохол Денис Поединок.

Казаки лежали близ редута вразвалку, мрачные, неразговорчивые. Они поджидали снаряженных в кабак за дополнительной четвертью водки братьев-близнецов — Кирьку и Оську Карауловых. Беспокоило станичников и еще одно весьма важное для них обстоятельство: удастся ли им сбыть владельцу станичной мельницы Венедикту Павловичу Хлызову-Мальцеву за выгодную цену один сенокосный участок. Вся закавыка была в том, что участок этот был не казачий, а принадлежал казахам соседнего аула. Но, по молчаливому согласию между собой, казаки решили продать этот сенокос, выдав его за войсковой надел, а с истинными владельцами его — казахами — поладить потом, как бог приведет.

Все было хорошо. Но тут совсем некстати принесла нелегкая невесть откуда взявшегося Поединка. И стари-

ки насторожились. Они почуяли в подвыпившем украинце большую помеху в предстоящем нечистом деле. И станичники не ошиблись. В тот момент, когда на крепостном валу словно вырос из-под земли озорной и вихрастый Денис, появился на площади в сопровождении станичного атамана Муганцева и сам владелец станичной мельницы — Венедикт Павлович Хлызов-Мальцев. Увидав этого холеного барина, казаки поспешно поднялись с земли и приветствовали его почтительным поклоном.

— Слышал, слышал, господа станичники, о вашем запросе. Дороговато вы с меня за это урочище ломите...— проговорил Венедикт Павлович таким тоном, словно он продолжал давно начатый разговор.

Старики, окружив Венедикта Павловича, все враз загалдели:

— Что вы, бог с вами, барин!

— Такой траве цены нет.

— Шелк — не трава в Узун-Кульском урочище.

— Почище овса трава!

— Сплошной визель, господа парни. Золото!

— Сам бы ел, да деньги надо...

— Все это я понимаю. Понимаю, господа станичники,— прижимая руку к сердцу и ласково улыбаясь, говорил елейным голосом Венедикт Павлович.— Но сами посудите, бочка вина за такую траву — цена неслыханная.

— Да вы уж уважьте нас, стариков,— заискивающе улыбаясь в свою очередь Венедикту Павловичу, упрашивал его Никодим Пикушкин, по прозвищу «фон-барон».

— Исделайте такую милость.

— Ради праздничка не поскупитесь для общества, ваше степенство.

— Только для вас такую траву по сходной цене уступаем,— перебивая друг друга, кричали станичники.

Поломавшись еще для блезиру минут пять, Венедикт Павлович махнул с веселым отчаянием рукой и сказал:

— Ну хорошо. Так и быть. Ставлю бочку. И то — ради дружбы. Нет нужды у меня жить в разладе с вами, господа старики.— И он тут же отсчитал из бумажника несколько мелких кредитных билетов, вручив их под восторженные возгласы стариков станичному десятнику Мише Буре. Затем, приветливо помахав повеселевшим станичникам своей мягкой фетровой шляпой, Венедикт Павлович покинул площадь.

И пока расторопный десятник Буря бегал с группой

молодых казаков к целовальнику, возбужденные от предвкушения выпивки станичники завели разговор с появившимся среди них Поединком.

— Ого, господа станичники, в нашем войске прибыло. Ишо один будущий казак появился!— крикнул фон-барон Пикушкин, указывая на картинно стоявшего на крепостном валу Поединка.

— Ура!— недружно гаркнуло несколько зычных глоток.

Поединок, выждав, пока затихли явно насмешливые выкрики казаков, вызывающе подбоченясь, сказал:

— Ось повремените трошки, господа станичники. Ось повремените. А тамо побачимо, який казак, мабуть, з мене зробится!

— Из тебя, слышь, казак, как из моего подживотника тяж!— насмешливо крикнул Поединку школьный попечитель Ефрем Вашутин.

— Эге, заело?!— злорадно откликнулся Поединок.— Ну що ж, потягаемся зараз с твоими сынами, дед! Там побачимо, кто из нас наикрашче: они — твои сыны, природны казаки, или же я — хохол.

— Да ты, сукин сын, клинка из ножен по команде не вытащишь!— крикнул Поединку один из двух престарелых станичных георгиевских кавалеров дед Арефий.

— Шо? Сабли не вытащу, говоришь?— запальчиво крикнул Поединок.— Эге, бывайте, господин георгиевский кавалер, здоровеньки. Ось, погоди, дед, дай только мне заручиться шашкой, побачишь тогда на гарну мою работу. Я тогда все перши приза по зрубке лозы на плацу у ваших сынов возьму. О, я какой!

Дерзкий во хмелю, хвастливый и самоуверенный Денис Поединок быстро довел обидчивых и запальчивых, как малые дети, станичников до белого каления. И они, разгневанные его речами, вразнобой завопили:

— Круто, варнак, берешь — пупок сорвать можешь!

— Корпусом, господин хохол, в казаки не вышел.

— Морда не натуральна для тому подобного званья!

Между тем появившиеся на площади с четвертью водки братья Кирька и Оська Карауловы подлили масла в огонь. Чувствуя, какой крутой оборот приняла словесная перепалка между Поединком и станичниками, эти любители праздничных потасовок, первые организаторы всех междоусобных драк и станичных мирских побоищ, начали уже на ходу засучивать рукава своих сатинетовых

рубах. Не зная еще толком, чью принять сторону — одинокого ли Поединка или станичников, Кирька, вооружившись подвернувшейся под руку жердью, предложил деловым, мирским тоном:

— А ну, заведем, воспода станичники, драку. День сегодня праздничный. Водки у нас с избытком...

Однако станичники, увлеченные дележом водки, пропустили мимо ушей предложение Кирьки и на время забыли о Поединке.

А Кирька стоял с жердью в руках на крепостном валу, готовый в любую секунду ринуться в драку. Это был немолодой уже казак, лет под сорок, а может быть, даже и с гаком. Ростом был Кирька не меньше Поединка — без малого три аршина. На действительную службу он не ходил — донимала его смолоду грыжа. В нем поражала присущая ему и в стати и в облике странная несоразмерность. Так, руки у него казались не в меру короткими по сравнению с тощим и длинным телом. Не совсем правильно были приставлены и глаза его шалфейного цвета. К тому же был у Кирьки такой неожиданно звонкий, по-бабьи визгливый голос, что он ухитрялся перекрикивать на станичных сходках самых отпетых горлопанов. И даже в одежде у Кирьки все было не так, как у добрых людей: на одной ноге, скажем, пим, на другой — опорок. То у него, смотришь, штанина одна короче другой, то, глядишь, ворот у малиновой рубахи небесного цвета.

Кирька был жителем Соколинского края, полухозяином-полубатраком. Пил он мало, но, выпив, тотчас же впадал в тоску, становился неразговорчивым, мрачным. И пока народ, бывало, колготился вокруг дарового угощения, входил в хмель и шумел, Кирька сидел где-нибудь на отлете, погруженный в мрачные свои думы. Потом, когда хватившие лишку ермаковские горлопаны начинали мало-помалу пробу своих прочищенных водкой глоток, Кирька вдруг настораживался. У него начинали чесаться руки. И он, вскочив на ноги, вытянувшись во весь свой трехаршинный рост, кричал, как бы отдавая команду:

— Смирно, воспода станичники! Зря хайлать нечего. Спором дела все равно не решишь. Давайте лучше драться...

Так же вот случилось и теперь, в этот знойный воскресный день, когда станичники опоражнивали трехве-

дерный бочонок водки, выторгованный у владельца мельницы за траву.

Впрочем, все, может быть, кончилось бы мирно, не подзуди захмелевших станичников Поединок.

— Лихо, вижу, пируете вы, господа станичники, за чужое добро!— крикнул казакам Денис Поединок.

— Это как так — за чужое?— прозвучал изумленный фальцет фон-барона.

— Очень просто. Траву-то вы продали Хлызову не свою, а киргизскую,— ответил ему Поединок.

— Што?! Што ты сказал, варнак?!— вырываясь вперед из толпы казаков, закричал не своим голосом на Поединка пышнобородый казак Соколинского края Егор Павлович Бушуев. Задыхаясь от хмеля и гнева, старик бросился было на спокойно стоявшего Поединка с кулаками. Но его удержал его сын Федор.

— Тихо, тятя. Не реви. Урочище-то ведь и в самом теле кыргыцкое.

Обернувшись к сыну, старик на мгновенье задержал на нем дикий от гнева взгляд и прикрикнул:

— Не твое дело. Молод ишо разбираться, чью траву пропиваем — нашу али кыргыцкую... Понял?

— Не дело затеяли вы во хмелю,— глухо проговорил Федор.

Ничего не ответив сыну, Егор Павлович, бросившись в объятья к фон-барону Пикушкину, слезно начал жаловаться:

— Видал, восподин фон-барон, чем меня мой молокосос начал корить? Слыхал, что он толкует? Урочище-то, говорит, кыргыцкое пропили... Хе!

— А мы пропивали и пропивать будем,— с философским спокойствием ответил ему на это фон-барон. И старики, неожиданно проникнувшись нежностью друг к другу, обнялись и довольно стройно запели:

В степи широкой под Иканом
Нас окружил кокандец злой.
И трое суток с басурманом
У нас кипел кровавый бой.
Мы залегли. Свистали пули.
А ядра рвали нас в куски.
Мы даже глазом не моргнули,
Лежали храбры казаки.

Двое престарелых георгиевских кавалеров — дед Конотоп и дед Арефий, осоловев после перепавшей им чар-

ки даровой водки, тоже прониклись друг к другу невысказанной любовью. Уютно примостившись на одном из крепостных холмов, деды мирно ворковали между собой, не обращая внимания на гомон и шум рядом. Один из кавалеров — Конотоп — недослышал. И дед Арефий кричал ему в самое ухо:

— Ты в Кокандском походе, братец, бывал?

— Чего это... А, бывал, бывал. Мы под Ферганой стена стеной стояли...

— Я про город Коканд говорю.

— Чего это?.. Ага, жаркое дело было, братец, когда мы Ферганскую крепость с покойным их высокопревосходительством енералом Скобелевым брали,— не обращая на речь собеседника никакого внимания, продолжал долбить свое Конотоп.— Вот был енерал, царство ему небесное! Его ни картечь, ни пуля не брала. Он на глазах у супостатов под пулями умывался...

— Это кто умывался! Скобелев-то?!— насмешливо крикнул ввязавшийся в мирную беседу двух кавалеров станичный десятник Буря.

— Так точно. Об их высокопревосходительстве речь ведем...— откликнулся по-военному кавалер Арефий.

— Знаем, знаем такого героя. Помним, как он во время японской войны в касторовы шаровары наклал,— сказал Буря.

— Цыц, варнак! Креста на тебе нет, покойного енерала марашь...— угрожающе потрясая старчески немощными кулаками, гневно прикрикнул на него дед Арефий.

А в это самое время толпа очумевших от хмеля и все возрастающего озлобления станичников Ермаковского края, замкнув в глухое кольцо стоявшего на крепостном валу Поединка, надрывалась от крика:

— А ну, повтори, сукин сын, што ты сказал?!

— Чью, говоришь, траву мы пропили?!

— Отвечай нам словесно...

— Отвечай или дух из тебя вон на глазах у общества!

Было ясно — у станичников зачесались руки. Водка была допита. Теперь оставалось одно — подраться.

Минутное замешательство. Нечленораздельные вопли. Свист. Улюлюканье. И поколебленные ряды ермаковцев ринулись наутек, ломая на бегу огородные колья. Толпа с ревом, со свистом и гиканьем катилась стремительным ураганом вдоль улицы. Преследуемые Денисом Поединком и Кирькой Карауловым, вооруженными жердями, ер-

маковцы, мгновенно трезвея, мчались сломя голову по станичной улице. Потеряв свой опорок, длинный, бледный, взлохмаченный и страшный в своей решимости, гнался Кирька за одностаничниками. А пожилые, дородные ермаковцы едва уносили ноги от прытких и долговязых соколинцев. Впереди всех улепетывал в своем настежь распахнутом полковом мундире, гремя медалями и регалиями, фон-барон Пикушкин. Рядом с ним мчался с не свойственной его возрасту резвостью школьный попечитель Ефрем Вашутин. Нелегко было престарелым станичникам перепрыгивать на ходу через огородные плетни и брать другие препятствия. Слава богу, люди все в годах. У них и дух на бегу захватывало, и слеза в очи била, и грыжа в паху давала при прыжках о себе знать, и ноженьки подкашивались.

Одурев от хмеля и страха, ермаковцы, петляя по улицам и переулкам, плохо соображали, куда бегут. Соколинцы загнали эту толпу в глухой переулочный тупик, где им перегородила дорогу невесть откуда взявшаяся пожарная машина.

— Братцы!— только и мог в отчаянии крикнуть, всплеснув ладонями, станичный десятник Буря. Его пронял озноб и начала бить лихорадка при виде пожарной машины.

— Смирно, туды вашу мать! Туши костер!— заревел не своим голосом пожарный брандмейстер Спирька Саргаулов.

И тотчас же дюжина здоровенных пожарников, остервенело бросившись к машине, принялась стремительно разматывать шланг. Завизжали насосы.

Напрасно пытались попавшие в ловушку станичники вымолить Христом богом пощады у станичного брандмейстера. Побросав к ногам колья и жерди, смиренно воздев к небу руки, ермаковцы кричали теперь то с мольбой, то с явной угрозой в голосе:

— Смилуйся... Пощади, восподин брандмейстер!

— Не вели своим дуракам зазря воду тратить...

— Мы тебе водки на успенье пресвятой богородицы ведро поставим...

А иные, наиболее храбрые и непримиримые, орали, грозя Спирьке:

— Ну погоди ж, варнак, будет и на нашей улице праздник!..

— Причастим и тебя, восподин пожарник...

— Как пить дать — усоборуем!

— Предадим твой прах земле по первому разряду — с выносом...

— Все равно, рано али поздно, утопим,— категорически заявил Спирьке Саргаулову фон-барон Пикушкин.

— Ну это ишо посмотрим!— зловеще крикнул брандмейстер станичникам.— Не ваши ли там утопшие плавают?! А я, согласно указу станичного атамана, обязан всякую драку смирять водой, как стихийное бедствие...

И, на секунду умолкнув, брандмейстер отдал команду:

— Пли!

Ослепительно сверкнув на солнце каскадами алмазных искр, со свистом ударила из брандспойта упругая, звонкая струя воды. И через минуту в бушующем водяном смерче людей уже не было видно.

3

На другой день, чуть свет, заложили ермаковцы своих откормленных и злых лошадей в легонькие пролетки и брички и двинулись шумным поездом в степную сторону на дележку сенокоса. Головы с перепою у всех трещали. Тяготило неприятное воспоминание о вчерашней драке, закончившейся позорным купаньем под брандспойтом. Но причина дурного расположения духа у большинства станичников крылась, пожалуй, даже не в этом. Угнетало другое. Никто не знал, как они будут объясняться с кочевниками соседнего аула Мулалы, сенокосные угодья которых пропиты были обществом владельцу станичной мельницы Венедикту Павловичу Хлызову.

Пятнадцать верст, отделявшие сенокосные владенья аула от линейной станицы, промчались ермаковцы на своих резвых, откормленных лошадях незаметно. В числе прочих одностаничников, выехавших на раздел сенокосных угодий, был и Егор Павлович Бушуев. Хотя Егор Бушуев жил в Соколинском краю, но по достатку в хозяйстве он уже мог потягаться кое с кем из Ермаковского края. Правда, было время, не выходили его сыновья из работников, да и сам он в молодости не один год батрачил на чужих людей. Но вот сыновья подросли, возмужали, и рачительный, толковый хозяин Егор Бушуев стал на старости лет мало-помалу выбиваться в люди. Он и дом пятистенный поставил такой — любого знатного гостя принять не грех. И скотом обзавелся — до пятка дойных коров. И лошади у него были не последние в станице, а

жеребец такой, хоть в пору на призовые скачки выводи. Конечно, рановато было ему называться вполне состоятельным казаком. Многого не хватало для этого. Любой из станичников Ермаковского края сеял не меньше двадцати десятин, а Егор Павлович — пока только десять. Любой из жителей Ермаковского края держал круглый год по паре наемных рук, не беря в расчет дюжины прихваченных в страдную пору поденщиков. А Егор Павлович обходился в своем хозяйстве пока что семейной силой. Но, несмотря на все это, старик правдой и неправдой тянулся за ермаковцами. Денно и нощно мечтал он о том, как бы и ему завоевать почет в Ермаковском крае...

И состоятельные одностаничники, уважая Егора Бушуева за хозяйственную смекалку и изворотливость, не чурались его, благосклонно отводя ему должное место в своем обществе. Он был участником всех станичных сходок. Вместе с ермаковцами пивал не раз магарыч за проданные разночинцам войсковые наделы. Он всячески старался уважить тем состоятельным людям станицы, в руках которых испокон веку таилась власть и сила. Вот почему и вчера не отстал он от воротил Ермаковского края в продаже владельцу станичной мельницы казахских сенокосных угодий. Да, дело было нечистое. В душе старик это отлично понимал.

Предчувствуя, что дело это может кончиться худо, старик не рискнул поехать один. Он захватил с собой старшего из сыновей — Якова. Человек женатый и рассудительный, Яков, в отличие от младшего своего братенка Федора, во всем поддерживал старика. Он ни словом не возразил, узнав о цели поездки в степную сторону.

Ехали молча. Разговор не клеился. Несмотря на раннее утро, солнце уже припекало изрядно, и овод начинал донимать лошадей. День снова обещал быть безветренным, душным и жарким. Клонило ко сну. И Яков задремал. Он не сразу сообразил, что заставило его очнуться — легкий ли толчок подпрыгнувшей на ухабе брички или какой-то неясный, отдаленный шум, донесшийся до его слуха. Оглядевшись вокруг, Яков увидел с увала лежавшее внизу травяное урочище и понял, что поезд станичных бричек был уже на границе владений кочевников.

Ехавший впереди всех в легкой пролетке Венедикт Павлович Хлызов внезапно осадил своего рысака, задержались и все станичники. Казаки, приподнявшись в бричках, увидели, как со стороны озера двигалась в сторону

урочища большая толпа людей. Глухо звучала в степном отдалении беспокойная, гортанная казахская речь. Людская толпа двигалась по степи неровным, сбивчивым шагом. Над плечами мужчин и женщин сверкали косы. Было ясно: казахи шли на сенокос. И станичники поняли, что аул, прослышав, видимо, о вчерашнем торге, вовсе не собирался уступать своих сенокосных угодий.

«Да. Заварили мы кашу, должно быть, крутую — не прохлебаешь!»— подумал Егор Бушуев.

Об этом же, вероятно, подумали и остальные станичники, тревожно переглянувшись.

Когда же поезд станичных бричек медленно приблизился к зеленой кромке богатого травостоем урочища, навстречу станичникам вышли казахи.

Они стали перед ними плотной стеной. Скуластые, бронзовые от векового загара лица были темны и суровы. Несколько мгновений и казаки и казахи стояли молча. Затем, не дав вымолвить станичникам ни слова, кочевники, протестующе замахав руками, огласили окрестную степь гневными криками:

— Не дадим вам своей травы!

— Узун-Куль — наш сенокос!

— Наша земля...

— Наша трава...

Почувствовав, что дело принимает крутой оборот, Венедикт Павлович попробовал отшутиться. Вежливо улыбаясь, он начал почтительно раскланиваться перед стоящими впереди казахской толпы аксакалами, белобородыми старцами.

— Аман, аман, тамыры! Мое почтение, дорогие друзья...— забормотал елейным и сладким голосом Венедикт Павлович.

Но аксакалы молчали, не отвечая на его приветствие. А за их спиной продолжали раздаваться все те же крики:

— Ой-бай! Наш Узун-Куль...

— Наша трава...

— Наша земля...

— Наше сено...

— Вот азиаты! «Наша да наша!»— раздраженно крикнул Егор Павлович Бушуев.— Мы не на ярмарке — рядиться с ними. Давайте веревку, господа станичники, да и за дележку...

— Правильно, кум. Нечего с ними тут рассусоливать,— откликнулся фон-барон Пикушкин.

— Позвольте, позвольте, господа станичники... Позвольте, я им все сейчас объясню,— забормотал Венедикт Павлович, суетливо и нервно крутясь между казахами и станичниками.

— А што им, собакам, объяснять. Тут и так все ясно. Гнать их отсюда в три шеи! — крикнул Ефрем Вашутин.

И тут, как по команде, дали волю своим охрипшим с похмелья глоткам станичные горлопаны.

— Дать им по скулам — и в расчете!

— Подумаешь, хозяева тоже нашлись...

— Наши предки за это урочище кровь проливали!

— Кто им эти земли завоевал? Мы — сибирские казаки!

— Ясное дело, мы — линейное войско!

Задыхаясь от крика, станичники распалялись все больше и больше. А казахи продолжали стоять перед ними как вкопанные. И по всему было видно, что они готовы защищать свою землю от незваных пришельцев.

Наконец один моложавый, рослый и гибкий казах порывисто шагнул вперед из толпы и, глядя в упор на побледневшего Венедикта Павловича, сказал по-русски:

— Уходи, капитан, с нашей земли подобру-поздорову...

— Што?! Што он, подлец, орет?! — заносчиво выкрикнул Егор Павлович Бушуев и призывно махнул рукой, как бы отдавая команду: — Скрутим эту орду, господа станичники,— и бабки с коня!

— Правильно, кум, ревешь...

— Правильно. Бей конокрадов!

— Крути в бараний рог Азию!

— Жюр — пошел, собака, отсюда!— прошипел фон-барон Пикушкин и, уцепившись могучей волосатой пятерней за ворот полотняной рубахи высокого и гибкого джигита, рывком притянул его к себе, точно хотел присмотреться к нему поближе.

Бронзовое скуластое лицо кочевника, на мгновенье как бы потемнев еще больше, обрело вдруг холодное, бесстрастное выражение, и только его темные глаза сверкнули.

— Пусти, атаман! — угрожающе глухо проговорил джигит.

— Дай ему в морду, господин станичник,— прозвучал в наступающей тишине деловой и спокойный голос Ефрема Вашутина.

Мгновение — и джигит с такой силой оттолкнул от себя наседавшего на него фон-барона, что тот, не сохранив равновесия, споткнулся о кочку и рухнул навзничь в осоку.

— Братцы! Наших бьют! Братцы!..— завопил бабьим голосом рябой, маленький ростом казачишка Пашка Сучок. И он первым из пришедших в минутное замешательство одностаничников ринулся со шкворнем в руках на толпу попятившихся назад казахов.

— Ура, господа станичники!

— С нами бог, казаки!

— Бей азиатов!

И толпа станичников ринулась с ревом, визгом и улюлюканьем на заметавшихся по урочищу казахов. Замелькали в воздухе железные тросы, кнуты, палки и шкворни, которыми предусмотрительно вооружились казаки.

Четверо из ермаковцев, окружив высокого и гибкого джигита, наседали на него, угрожающе размахивая кнутами и шкворнями. Закусив тонкие бескровные губы, джигит ожесточенно размахивал косой, не подпуская к себе казаков. Бледный и потный Яков Бушуев, изловчившись, ударил пятифунтовой железной тростью джигита по плечу. Джигит покачнулся, но устоял на ногах. Продолжая защищаться, казах, взмахнув косой, вонзил ее тонкое лезвие в бедро подвернувшегося Якова Бушуева.

Выронив из рук тяжелую железную трость, Яков присел, судорожно схватился обеими руками за бок, повалился в густую осоку и прохрипел:

— Братцы, убили!

Но слабый крик его потонул в сонме диких, нечеловеческих воплей.

Маленький, но верткий Пашка Сучок, подпрыгнув на добрый аршин от земли, ударил шкворнем по виску джигита. Джигит выронил косу, взмахнул руками, точно стараясь удержаться за воздух, и грохнулся наземь. И тут Пашка Сучок и его сподручные поняли, что все кончено. Из размозженного бритого черепа джигита била фонтаном густая кровь. На коричневом лбу его выступила предсмертная испарина.

— Подыхает. Собаке — собачья смерть. Пошли по коням, господа станичники...— с притворным спокойствием заключил Пашка Сучок.

Пока четверо станичников возились с раненым Яковом, укладывая его в бричку, остальные продолжали гоняться за разбежавшимися по степи кочевниками. Настигая в густой траве казахов, разошедшиеся станичники сбивали их с ног и полосовали плетьми и кнутами. Но, узнав об убийстве джигита и о ранении старшего сына Егора Бушуева — Якова, казаки сразу утратили воинственный пыл. Притихшие, подавленные, неразговорчивые, вернулись они к своим лошадям и, забыв про раздел сенокосных угодий, погнали карьером в крепость.

4

Не убийство степного джигита, а ранение Якова Бушуева — вот что вызвало переполох в станице. Узнав о случившемся, станичный атаман Архип Муганцев призвал к себе церковного звонаря Моську Шевелева и приказал ему бить в набат.

Станичники сбежались на тревожный зов колокола. Одни прискакали на крепостную площадь верхами, другие явились пешими. Одни были в полной форме, другие — в опорках на босу ногу и полосатых нательных подштанниках,— видать, были подняты набатом с постели. Ходуном заходила и, точно озеро в бурю, загудела большая площадь.

Рослый седобородый атаман, взойдя на церковную паперть, постучав булавой, призвал собравшихся к тишине и порядку.

Казаки замерли, как в строю. И атаман, выдержав паузу, глухим и торжественным голосом произнес:

— Господа станишники и госпожи бабы! Случилось неслыханное. Азиаты напали на казаков и ранили старшего сына Егора Бушуева — потомственного казака линейного Сибирского войска. Что вы скажете на это мне, братцы?! А я лично думаю так, что пробил наш час. Настала пора проучить нам как следует эту степную сволочь. Правильно, господа станишники и госпожи бабы?

Атаман умолк. И казаки гаркнули хором, что было мочи:

— Правильно судите, восподин атаман!

— Правильно. Пробил час!

— Давно пора рассчитаться нам с киргизней звонкой монетой.

— Дай только команду, восподин станичный... Мы в один секунд всех служилых сынов на стремена поставим...

— Не впервой нам соборовать степных конокрадов...

Когда наконец на площади установилась относительная тишина, атаман, снова постучав булавой, сказал:

— Я сегодня же в ночь снесусь с атаманом второго военного отдела их высокоблагородием полковником Саранским и доложу ему о случившемся. А пока мой приказ таков: всем казакам, подлежащим отправке в полк, привести себя и своих строевых коней в полную готовность. Я уверен, господа станичники, что атаман отдела разрешит нам выслать в степь для усмирения бунтовщиков вооруженную конную сотню.

— Это уж как пить дать — разрешит!— крикнул Егор Павлович Бушуев.

— Правильно. Их высокоблагородие понимают, што с киргизами делать...

— Известно што. Мы пороть азиатов плетями ишо, слава богу, не разучились...

— Так точно. Постоять за честь линейного войска сумеем...

— Тут одной конной сотней не отыграешься. Полк выставить надо против азиатов, господа старики!— крикнул фон-барон Пикушкин.

— Слишком много чести для дикой орды — полком выступать. Полагаю, господа станичники, хватит для них и одной лихой сотни,— возразил атаман под одобрительный рев большинства станичников.

Распорядившись привести в боевую готовность сотню молодых казаков, атаман приказал станичникам разойтись. И площадь вскоре опустела.

Притихший народ разбрелся по домам. Над окутанной мглою крепостью нависла гнетущая тишина. Не слышно было в этот вечер ни девичьих песен, ни лихих переборов двухрядной гармоники Трошки Ханаева, ни озорного ребячьего пересвиста. Станица затихла, насторожилась, точно прислушиваясь к таинственному тревожному безмолвию окрестной степи.

Тихо было в этот темный, душный вечер и в доме Бушуевых. Перевязанный станичным фельдшером Яков лежал неподвижно на широкой старинной софе и тупо смотрел в потолок. А рядом с ним также неподвижно и мол-

ча сидела жена его Варвара, смуглолицая и не по-бабьи тонкая станом.

Егор Павлович Бушуев пил в кухне чай, исподлобья поглядывая на сидевшего против него Федора. Тут же за столом сидела, разливая чай, молчаливая и строгая лицом старуха Егора Павловича Агафьевна. Чаепитие проходило при тягостном безмолвии. Наконец, опорожнив пятую чашку густого и крепкого, как смола, чаю, Егор Павлович тщательно вытер багровое, потное лицо полотенцем и, не глядя ни на кого, сказал:

— Не иначе — завтра в поход отправляться придется...

— Это кому же? — глухо спросил Федор.

— Полагаю, не нам, старикам... Найдутся в станице усмирители бунтовщиков и помоложе нашего брата.

— Это каких же бунтовщиков? — спросил Федор, впервые за вечер подняв на отца глаза.

С удивлением взглянув на сына, старик ответил ему вопросом:

— А ты што же, сынок, не знаешь?

— Не пойму, тятя.

— Вот как?!— продолжал старик.— С каких это пор стал ты у нас такой непонятливый? Слава богу, в полк нынче идешь. Пора бы иметь тебе кое-какие понятия.

— Я не пойму, при чем тут бунтовщики? — сказал, тяжело вздохнув, Федор.

— Здравствуйте, я вас не узнал!— насмешливо воскликнул старик.— А братеника твоего кто на тот свет чуть было не отправил? Не бунтовщики? Не кыргызы?!

— Сами же затеяли, кого же винить тут?...

— Слава богу, договорились. Азиаты среди белого дня казаков вырезать начали, а он виноватого потерял!— воскликнула, всплеснув руками, молчавшая до сего Агафьевна.

— Ну, это ишо не резня — пончушки...

— А ты что же хочешь, чтобы они, подлецы, поголовно все наше войско вырезали?!— сорвавшимся голосом проговорил Егор Павлович.

— Я к тому говорю, что рана-то у брата шутейная. А вот джигита-то Пашка Сучок с одного маху шкворнем ухайдакал. За что убил человека — не знаю.

— А я знаю!— крикнул, стремительно поднявшись из-за стола, старик.

— За что же?— спросил Федор, посмотрев в упор на отца.

— За то самое... Туда этому кыргызу и дорога... И не тебе об этом судить, как да за что,— отрезал поперхнувшимся от злобы голосом Егор Павлович. Вплотную приблизившись к сыну, он добавил:— Ты вот что, придержи язык за зубами. Рановато начал в этих делах лишнее кумекать. Не забывай, тебе в полк уходить. Приказ станичного атамана слышал?

— Не глухой. Слышал.

— А коли слышал, то смотри у меня в оба. Я страмиться из-за тебя перед обществом не хочу. Сегодня же в ночь приведи из табуна жеребца и приготовь полную амуницию к походу.

— Хорош поход — с пастухами сражаться!— криво усмехнулся Федор.

Но старик или не расслышал язвительных слов сына, или сделал вид, что не слышал. И, давая понять Федору, что разговор окончен, он поспешно вышел из кухни, хлопнув дверью так, что заговорили на столе чайные чашки и тонко и жалобно задребезжало в оконных рамах стекло.

Оставшись наедине с сыном, Агафья долго скорбно вздыхала и вдруг, прослезившись, вполголоса начала уговаривать Федора:

— Опомнись, сынок. Подумай, што ты говоришь... Не наводи, ради Христа, на грех старика. Богом прошу. Не куражься. Али забыл ты, кто ты такой? Али ты не казак? Али ты не станишник?!

Федор сидел поникнув, не отвечая на увещевательные речи матери. Нехорошо у него было на душе: тревожно, пусто и холодно. Но ласковый и проникновенный голос матери тронул его, и он, ощутив в себе прилив нежности и жалости к матери, порывисто обнял ее хрупкие старческие плечи и поцеловал заиндевевший сединой висок.

Появившийся в это время в дверях сынишка Якова Тараска, возбужденно блестя глазами, спросил:

— Дядя Федя, а ты клинок точить будешь?

— Это зачем?

— Как зачем?— удивился Тараска.— Скоро поход. Все казаки клинки точат. Твой наряд дядя Митя Неклюдов, который в полк с тобой вместе пойдет, и клинок на-

точил, и стремена кирпичом начистил. Я сам видел. Красота посмотреть, какие стремена,— как зеркало!

— Ну, если Митя Неклюдов стремена начистил, то и нам с тобой, Тараска, придется за это дело взяться,— проговорил притворно озабоченным тоном Федор. Взяв за руку племянника, он привлек его к себе и нежно погладил рукой по светлым и мягким, как пух, волосам.

Тараска, прижавшись горячим и хрупким телом к большой плотной фигуре Федора, шепнул ему на ухо:

— Возьми меня с собой, дядя Федя...

— Это куда же?

— В поход.

— Ну нет, погодишь. Рановато тебе думать о таких походах,— сказал, тяжело вздохнув, Федор.— А вот стремена надо почистить. Тут ты мне первый помощник... Тащи-ка сюда каленый кирпич и давай приниматься за дело...

— А клинки тоже будем точить?

— Клинок? Нет, клинка мы точить, пожалуй, пока не будем...— многозначительно улыбнувшись, сказал Федор.

5

Варвара, несмотря на уверения фельдшера, что ранение у Якова не опасно, двое суток просидела возле него. Она не оставляла мужа ни на минуту, беспрестанно заботливо укрывала его, поправляла подушки, поила яблочным взваром. И уговоры Агафьевны прилечь на часок-другой вздремнуть только сердили ее. Варваре казалось, что, стоит ей отлучиться ненадолго от Якова, с ним случится какая-либо новая непоправимая беда.

...Варвара росла в станице круглой сиротой. И единственный человек, к кому она прикипела всей душой, был Яков да теперь дети. Она была незаконно рожденной дочерью бывшего войскового старшины хорунжего Брандта и вывезенной им из Фирюзы наложницы, имени которой в станице никто не знал.

Говорили, что Брандт без ума был от этой маленькой, хрупкой, как подросток, ни слова не говорившей по-русски, пугливой и необычайно красивой женщины. Около трех лет прожила она затворницей на войсковой квартире Брандта, в старом особняке, за наглухо закрытыми на железные болты с уличной стороны ставнями. Она избегала попадаться на глаза станичному люду не толь-

ко из-за болезненной ревности Брандта, но и из страха перед старыми казаками, не раз открыто угрожавшими Брандту расправиться с его иноверкой, которую считали они виновницей всех бед в станице.

Знойное, суховейное лето 1891 года; страшный пожар, уничтоживший в том же году добрую половину старинной крепости и оставивший без крова сотни душ; небывалый мор на рогатый скот и, наконец, голод, охвативший всю степную полосу Западно-Сибирского края,— все эти лишения и бедствия многие из станичных старожилов приписывали грехопадению хорунжего Брандта, а больше всего — колдовским наваждениям его дикарки.

Но не миновал в тот памятный год роковой беды и наглухо закрытый от станичных старожилов, похожий на крепость дом Брандта. Внезапно скончалась от горячки совсем уже, казалось, оправившаяся после трудных родов любимая им иноземка, оставив на руках потрясенного вдовца беспомощное, крошечное существо, нареченное ими — без крещения в церковной купели — Варварой.

А неделю спустя после похорон внезаконной супруги покончил с собой и хорунжий Брандт, застрелившись из старого карабина на могиле любимой своей иноверки.

По приговору станичного общества над маленькой Варварой решено было учредить опеку. Так как львиная доля средств, вырученных от распродажи с молотка движимого и недвижимого брандтовского имущества, поступала в полное распоряжение опекуна — а средства были немалые,— то и охотников взять на себя воспитание ребенка было хоть отбавляй. Однако верх на опекунских выборах взял состоявший в родстве с попом и станичным атаманом самый жадный до чужого добра, самый смиренный и благообразный на вид старик в станице, школьный попечитель Анемподист Никоныч Иконников. На его-то попечение и была передана маленькая Варвара, которую он торжественно обещал на миру вспоить и вскормить до совершеннолетнего возраста.

Варвара росла замкнутым, необщительным, дичившимся и взрослых, и своих сверстников ребенком. С малых лет она тянулась к уединению, чуралась тех игрищ и забав, которые свойственны были детям казачьей станицы. Знойные летние дни любила она проводить в степи, вдали от чужих глаз.

Шли годы. Варвара выравнивалась в высокую, гибкую станом, не по-здешнему стремительную в движениях, легкую на поступь девушку. Тогда на диковато-яркую, бросающуюся всем в глаза красоту ее стали заглядываться молодые казаки, и, чувствуя это, она нередко доводила их одной своей сверкнувшей на смуглом лице улыбкой до несвойственной им застенчивости и робости.

Не было в Варваре присущего всем девушкам ее возраста обычного пристрастия к нарядам. Однако одета она была и в будни и в праздники всегда одинаково чисто, опрятно, к лицу.

И только однажды напала на нее вдруг страсть к дутым стеклянным бусам. Было это во время летней Ильинской ярмарки в станице. Бесцельно бродя в яркий праздничный день по базару, увидела она в палатке ирбитского татарина целый ворох жарко играющих на солнце разноцветными огоньками стекляшек. Варвара неожиданно до того прельстилась бусами, что накупила себе целую дюжину связок. А потом, уединившись в горнице, она долго прихорашивалась у зеркала. Обнажив тонкую смуглую шею, Варвара примеряла то одни, то другие яркие бусы и жадно любовалась собой. Цветные стекляшки, окольцевавшие шею и плечи Варвары, тускло отсвечивали в скупом сумеречном свете порозовевшей от вечерней зари горнице. И, присмотревшись к своему отражению в зеркале, Варвара решила, что она и на самом деле хороша собой. А когда надела она вместе с самыми яркими бусами любимое свое расшитое бисером на груди и на буфах кубовое платье, то тут вдруг охватило ее такое непривычное волнение, такой беспричинный трепет, что впервые за всю свою девическую юность потянуло ее выйти в таком убранстве на народ, на улицу, к сверстницам и вместе с ними в песнях, в игрищах и забавах провести короткую летнюю ночь вне этой душной, пропахшей кожей и воском, давно опостылевшей ей иконниковской горницы. Впервые захотелось ей вихрем ворваться в хоровод и закружиться среди веселого девичьего гульбища под высоким звездным небом.

6

Сияющая и нарядная, вышла Варвара за ворота и вступила в девичий хоровод так легко, непринужденно и просто, словно появлялась в нем не в первый раз. Ра-

зомкнув собою цветную хороводную цепь, встала она между высоким смуглолицым казаком Яковом Бушуевым и маленькой, пухлой казачкой, соседкой своей по дому, сверстницей Варей Румянцевой. Разъединив эту нареченную в народе пару — жениха с невестой, Варвара молча и властно взяла их обоих за руки и, не нарушая медлительного хороводного ритма, легко и плавно пошла по его течению, тотчас же запев со всеми высоким голосом:

Плыла лебедь,
Плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами...

Неожиданное появление нарядной, возбужденной и необычайно веселой Варвары в кругу молодых казаков и казачек до того поразило всех, что вокруг хоровода скоро собралась толпа станичников, стариков, подростков и пожилых казачек. Все они с изумлением смотрели на внезапно разгулявшуюся затворницу, теряясь в догадках, что произошло с этой нелюдимой девушкой.

А Варвара, словно не замечая глазевших на нее зевак, не обращая внимания на присмиревших от удивления и зависти сверстниц, продолжала кружиться с хороводом по станичной площади. Опередив запевавшую ранее в хоре Варю Румянцеву, она сама уже выводила высоким, страстным голосом эту взволновавшую ее девичью песню:

Отколь ни взялся,
Отколь ни взялся,
Отколь ни взялся, млад сиз-орел.
Прилетел — ушиб,
Налетел — зашиб,
Он зашиб — убил крылом лебедь белую,
Легок пух пустил,
Белы перышки распустил,
Распустил пух по поднебесью,
Белы перышки — по синю морю...

Нет, никогда еще так не трогала душу, никогда еще так не волновала эта печальная песня Варвару. И странное чувство овладело девушкой: вместе с грустью, навеянной скорбным напевом о гибели белой лебеди, ощутила она прилив бурной радости, и сердце, переполнившееся этой радостью и невыразимой нежностью к кому-то, готово было разорваться на части. Чуть приоткинув назад гордую голову, уронив с нее на плечи бирюзовый кашемировый платок, точно в каком-то забытьи двига-

лась Варвара по кругу следом за умолкшей вдруг Варей Румянцевой, двигалась и вела за собой уже не сводившего с нее глаз молодого казака Якова Бушуева.

Ей было стыдно и радостно ощущать в своей маленькой горячей ладони тяжелую, сильную мужскую руку,— стыдно потому, что одно прикосновение к этой руке казалось Варваре началом заговорщически тайного сближения с чужим, но отчего-то встревожившим ее человеком. А между тем ей было приятно и лестно знать, что рядом с ней был именно этот, а не какой-то другой казак, хотя она никогда в жизни не думала о нем, не искала с ним встречи и очутилась бок о бок с ним совершенно случайно.

Нет, все это было каким-то сплошным наваждением! И чисто женским чутьем Варвара знала уже, что даром это ей не пройдет, что случилось нечто такое, что перевернет всю ее былую жизнь. Но что это такое — она не знала. Однако, несмотря на испытываемое ею волнение, мысль ее была предельно проста и ясна: нет, теперь она уже не сможет больше оставаться одна, как прежде, без подруг, без хороводов, без песен, а может быть,— и без этой сильной мужской руки, крепко стиснувшей ее пылающую маленькую ладонь.

А тут еще, как на грех, в хоровод вошел знаменитый гармонист, красивый собой и всегда как будто слегка хмельной казак Трошка Ханаев. Вишневый корпус расцвеченной по бортам перламутром, дорогой стобасовой гармони его утопал в пышных, как завитки майской сирени, бантах. Атласные ленты заменяли ему наплечные ремни.

Это был тот самый Трошка, который так исполнял марш «Переход Суворова через Альпы», что вгонял в слезы старейших в станице георгиевских кавалеров. А однажды на благотворительном балу в доме атамана военного отдела полковника Шайтанова Трошка до того очаровал своей игрой гимназистку Таню Саранскую, что она у всех на глазах приколола к его гармони пышный маркизетовый бант от собственного бального платья.

Но Трошка знал себе цену. Не очень-то был он податлив на обольстительные девичьи приманки и речи и часто, захмелев, среди молодых казаков говаривал, что полюбит только такую писаную красавицу, ради которой не жалко станет ему при встрече грохнуть оземь свою гармонь.

Многие признавали, что так он при случае и поступит. Однако, как ни старались станичные девчата, а прельстить гармониста ни красотой, ни нарядами, ни подарками не могли. Оттого-то и входил он в девичий круг их рассеянный и задумчивый, что не трогали его ни восторженные девичьи улыбки, ни устремленные на него сияющие глаза.

Неожиданно очутившись с гармонью в руках в самом центре замедленно вращавшегося, ярко пестревшего цветными девичьими нарядами круга, Трошка повел скучным, равнодушно прищуренным взглядом, лукаво подмигнул вскользь Машке Байджигит — самой бойкой и восторженной из девчат. И стоило ему только чуть дотронуться пальцами до отзывчивых, звонко прощебетавших ладов, как грустная хоровая песня мгновенно оборвалась на полуслове. Затем стало так тихо, что все услышали вздох рывком зажатых Трошкой оранжевых мехов гармони и скрип начищенного до блеска Трошкиного сапога.

— Здравствуйте, я вас не узнал!— насмешливо сказал Трошка, кивая по сторонам.— С праздничком, девушки. С веселым днем вас, красотки!

— И вас также, Трофим Ананьич,— хором ответили девки.

— А и скушные, послышу я, песни што-то у вас сегодня, барышни! Или загрустили за кем?

— А за кем нам грустить, как не за вами, Трофим Ананьич?— полушутя-полусерьезно сказала со вздохом Машка Байджигит.

— Но-о!— деланно изумился Трошка.— Неужто и в самом деле за мной так наскучились?

— Ишо бы не заскучать! Сколько лет, сколько зим, можно сказать, не видались — смерть, как натосковались...— призналась, не оробев, Даша Шебанова.

— Ох, сумлеваюсь я што-то за чудные ваши речи, барышни! Плохо я верую вам, извиняйте меня на этом, красотки...— явно напрашиваясь на любезности, продолжал все в том же насмешливом тоне балагурить с девками небрежно перебиравший перламутровые лады Трошка.

— А вы уж поверуйте...

— Иcделайте нам такую милость.

— Не сумлевайтесь в нас, Трофим Ананьич!— заглушая лады гармони, защебетали вокруг Трошки девки.

— Прелестно, сударыни. Однако поете вы сегодня определенно не согласно моему вкусу.

— С нашими кавалерами не то ишо запоешь!— опять, перебивая друг друга, защебетали девки.

— Без музыки-то у нас што-то и песня не поется, и голосок не тянется...

— Хоть бы вы развеселили нас ради праздничка, воспоидин музыкант.

— Не оставьте без уважения просьбы.

— Фунт монпасье «Ландрин» вскладчину на ярмарке для вас купим...

— Коробочку папирос «Зефир»... Наивысший сорт... С духами... Четвертак десяток... Ароматические!

— Бухарской халвой попотчуем.

— Шадринскими пряниками. С изюмом!.. На чистой патоке!..

— Только сыграйте нам на все шесть фигур кадрель. Уважьте.

— Лучше бы казачка!

— Польку «Бабочку». Польку! Польку!— послышались со всех сторон требовательные заказы.

Но Трошка уже плохо слушал, о чем шумели девки. Увидав в хороводе Варвару, он почувствовал, как у него онемели с разбега остановившиеся на клавишах пальцы.

При первом же взгляде на эту высокую, диковатую на облик девушку мгновенно забыл он обо всем на свете: о хороводе, о горячих девичьих просьбах и даже о тяжко повисшей у него на груди стобасовой гармони. И гармонист долго не сводил с Варвары изумленно раскрывшихся, потемневших глаз.

Наконец, словно придя в себя от непривычной для него растерянности и замешательства, он лихо тряхнул своим пышным пепельным чубом и, решительно шагнув в сторону Варвары, с такой страстью и удалью рванул гармонь, что могучий, густой рокот ста ее басов уподобился торжественным и грозным звукам целого духового оркестра. И грянула подхваченная вслед за гармонью всем вновь пришедшим в движение хороводом, подняла на цыпочки всех старых и малых зевак просторная, переполненная тревогой и радостью песня:

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Медлительный в движении и яркий, как карусель, хоровод плыл, кружился в глазах Варвары, и сердце ее при звуках этой новой песни билось так сильно, что она уже не только не могла петь, но ей даже трудно было дышать. Она почувствовала, как Яков Бушуев, перехватив тонкую ее руку в запястье, крепче сжал ее в своей широкой, жесткой ладони, и Варваре казалось, что только благодаря этой сильной, надежной руке казака и удерживалась она еще в хороводе и кружилась вместе со всеми по этому заколдованному кругу.

А Трошка шел уже с Варварой совсем рядом, плечом к плечу, и целый ураган восторженных и в то же время призывных, грустных звуков бушевал в утробе его гармони. С удивительной четкостью и проникновением выговаривали под стремительными пальцами гармониста перламутровые лады:

На твою ли на приятну красоту,
На твое ли столь на белое лицо...

Варвара понимала, что это ее требовательно уговаривал с помощью гармони и всего поющего хоровода обворожительный гармонист:

Ты постой, постой, красавица моя,
Дозволь наглядеться, радость, на тебя!

Тем временем Яков Бушуев, не выпуская Варвариного запястья, следовал за ней молча. Он, считавшийся в станице одним из лучших песенников, никогда бы не утерпел прежде, чтобы не подхватить дружной песни, и потому безмолвием своим на этот раз немало удивил всех казаков и девок. Между тем Варваре казалось, что это о его стремлении вдоволь наглядеться на нее говорилось в песне и именно за него так горячо и взволнованно уверял ее гармонист:

Красота твоя ль с ума меня свела,
Иссушила ль добра молодца меня...

...Но что случилось?

Почему вдруг оборвалась на полуслове разбушевавшаяся, как пожар, хоровая песня? Смолкла, поперхнувшись отчаянным воплем, гармонь. Взвизгнули пронзительно девки. И опять на мгновенье стало так тихо, что слышен был шелест кашемировых оборок на чьем-то по-

доле да короткий, стремительный свист промелькнувших над головой птичьих крыл.

Варвара видела, как девки, разомкнув хороводную цепь, сбились в кучу, а некоторые из них испуганно шмыгнули за спины своих кавалеров. На месте остались только парни — рослые, в ухарски заломленных набекрень форменных казачьих фуражках, с буйными чубами, заслонявшими черные лакированные козырьки.

Многие из присутствующих на площади видели, как Трошка с ревущей в руках гармонью долго выкруживал около девушки, норовя обольстить Варвару собственной внешностью, громовым рокотом всех ста басов гармони и хоровой песней. Однако, заметив, что девушка, погруженная в свои думы, даже ни разу не подняла на него глаз, Трошка, приблизившись к ней вплотную, попытался было тогда на ходу втереться в хоровод между ней и Яковом. Но Варвара, инстинктивно прислонившись плечом к Якову, вынудила податься назад гармониста.

Трошкину неудачу заметили в толпе, и Трошка скорее почувствовал, чем услышал, ехидное улюлюканье и озорные свистки пришедших по этому случаю в неописуемый восторг станичных зевак, в особенности близнецов Карауловых.

Однако Трошка был парень не из робких и теряться в таких случаях не привык. Поэтому, притворившись равнодушным к свисткам и улюлюканью, он решил, что ему, однако, ничего не осталось больше делать теперь, как только идти напролом, разъединить у всех на глазах эту пару и хотя, может быть, и силой, и пусть даже не навсегда, а девушкой сию минуту и во что бы то ни стало завладеть. И, приняв такое решение, он, с невиданным остервенением и выкрутасами варьируя на басах «Метелицу», снова приблизился к Варваре и вдруг с таким расчетом рванул левой рукой гармонь, чтобы вышибить одним как бы нечаянным ударом локтя из хороводной цепи Якова. Но Яков, заранее, видимо, угадав коварное намерение гармониста, был настороже: еще крепче стиснув Варварину руку, он и на сей раз сумел защитить девушку от пылкого кавалера.

Вслед за этой второй неудачной попыткой Трошки в толпе зевак раздался громкий взрыв хохота. Казаки, столпившиеся за цепью хоровода, предвкушая уже неминуемое побоище, для затравки азартно кричали Трошке:

— Трусишь, господин музыкант. Трусишь!

— Робеешь, подлец! Робеешь!

— Это тебе не на гармошке тинь-тилили тиликать!

А некоторые, приняв сторону Трошки, подогревали его с другого боку так:

— Не уступай ему крали, Трошка! Не уступай!

— Эх, за свою барышню, варнак, при случае постоять не умеешь!

— Не позорь ты, ради бога, своей музыкальной нации!

— А там девка-то, девка-то, воспода станишники,— прямо персидская княжна чисто!

— Кровь с молоком!

— Патрет!

Казаки не скупились на масло, расточительно выплескивая его на огонь, и он бушевал в Трошке, перекаляя бешенством расширившиеся его зрачки, напрягая до дрожи каждый нерв его, каждый мускул.

Он вдруг остановился, как ошарашенный ударом бык, и так свирепо, с размаху захлопнул растянутую на все мехи гармонь, что она дико рявкнула и дала некоторый перекос в палисандровом своем корпусе.

Хоровая песня оборвалась на полуслове. Наступила та страшная тишина, при которой услышала Варвара шелест кашемировых оборок и короткий свист птичьих крыл.

На секунду задержав помутневший, невидящий взгляд на слегка побледневшей и от этого еще более похорошевшей Варваре, Трошка весь напружинился, высоко занес над головой поднятую обеими руками, как глыбу, гармонь и ринулся на Якова.

Вскрикнув, Варвара вырвалась из рук Якова и бросилась бежать по направлению к своему дому, точно за нею гнались.

Яков же, ловко ускользнув от удара Трошки, так хватил взбешенного гармониста, что тот грохнулся наземь вместе с простонавшей в его руках гармонью.

Когда Трошка с большим трудом поднялся на ноги, Якова на площади уже не было. Покинутая своим нареченным, Варя Румянцева стояла в стороне от подруг и, испуганно глядя на побитого гармониста, пыталась улыбнуться ему, но лицо ее было растерянно и жалко.

Так закончился первый выход Варвары на уличное девичье гульбище, и первая же попытка ее войти в круг своих сверстниц наделала больших бед.

Мало того, что из-за нее впервые в жизни так недостойно осрамился на глазах у всех прославленный гармонист, он еще и надолго лишился сдуру изуродованной им роскошной гармони.

Постигла беда также и Варю Румянцеву.

7

На другой день после рокового появления Варвары в хороводе и публичного столкновения из-за нее Якова с Трошкой Ханаевым станицу молнией облетела весть о том, что Яков Бушуев наотрез отрекся от высватанной за него невесты. Большего позора и бесчестия для просватанной и уже приготовившейся к венцу девицы, разумеется, нельзя было придумать. И событие это до того поразило станицу, что многие из казаков и казачек долго не хотели поверить в скандальную правдивость такой новости, о которой только и было разговору на всех перекрестках и у всех ворот.

Да и трудно было поверить этому.

Невеста была далеко не дурна собой, девушка работящая, приветливая, а главное — с достатком. И, наоборот, когда прошел слух о храбром сватовстве Бушуевых к единственной румянцевской дочке, то большинство из станичных жителей были убеждены, что Варю за Якова, конечно, не отдадут.

Отец Вари, Никанор Романыч Румянцев, занимавший пост станичного атамана в прошлом, был человеком более состоятельным, чем отец Якова. По сравнению с Румянцевыми Бушуевы были бедняками: двенадцать десятин посева, пять рабочих лошадей да столько же дойных коров, имевшихся в хозяйстве,— это для сибирского казака еще не ахти какое богатство.

У Румянцевых же ходило по осени около полутора тысяч шленских овец, не считая стада рогатого скота и сравнительно обширных посевов. Кроме того, они являлись совладельцами новой паровой мельницы, построенной в станице на паях с династией скотопромышленников Боярских.

О выдаче единственной своей дочери за Якова Бушуева отец Вари на первых порах даже слышать не хотел, и сватов, засланных бушуевским домом, принял, говорят, недостойно, молча указав властным перстом сначала на грузный от бронзы и золота киот, потом — на порог.

Но Варя, связанная с Яковом давней близостью, слезами и угрозами в случае отцовской немилости наложить на себя руки уломала-таки смолоду слабого на женские слезы старика и добилась от него родительского благословения.

После длительного торга с Румянцевым сваты, вдоволь поломавшись друг перед другом при определении суммы запроса, ценой в конце концов сошлись, и в доме Румянцевых состоялось рукобитье.

А цену набил Никанор Романыч Румянцев своей дочке немалую. И согласно обоюдно принятому сторонами условию Яков обязался справить невесте: модный сак с отделкой из темной шелковой тесьмы, шубу на кенгуровом меху под темно-синим сукном или мягким плюшем, остроносые гамбургские ботинки со шнурком и парой глубоких калош, семь аршин кашемиру и пять бирюзы для подвенечного и воскресного платьев, фату и сто двадцать пять рублей наличными деньгами.

Узнав о таком запросе, Егор Павлович Бушуев со своей старухой ахнули в один голос — вот это заедет сношка в копеечку! Батюшки-светы, да слыханное ли это дело — такая дороговизна! Нет, такой цены на девок в станице еще не набивали. И не по карману был такой запрос для Бушуевых, не по достатку...

Однако невестынька приходилась бушуевским старикам по душе. А кроме того — и это главное — уж очень лестно было им породниться с таким состоятельным и почетным станичником, каким был у всех на счету Никанор Романыч Румянцев. К тому же и приданого за будущей снохой, по слухам, было немало. Помимо всего прочего, Егор Павлович со своей Агафьевной втайне надеялись, что как там ни скуп был и ни прижимист старик Румянцев, а уж на брачном-то вечере авось ради единственной дочки расщедрится и благословит, глядишь, молодым с сотняшку овец или выложит некоторый капиталец наличными деньгами. Ну, а тогда и Якову можно будет самостоятельно встать на ноги, и родительское хозяйство нетрудно будет поправить...

Словом, пораздумав да пораскинув умом-разумом, старики решили, что Варя такого запроса стоит, и выбором сына остались они премного довольны.

Две недели, недоедая и недосыпая, метался Егор Павлович, загоняв всех своих лошадей, между городом, станицей и станцией. Как угорелый мыкался он вдвоем

со старухой по городским базарам, по степным ярмаркам, по купцам, по магазинам, но все до нитки, что было выговорено Румянцевым при запросе, как одну копейку,— все вручил Егор Павлович своему дорогому сватушке точно в обусловленный срок.

Изрядно выпив по этому случаю, сваты, обнимаясь, лобызали друг друга, хвастались каждый своим дитем, крикливо и вызывающе пели всю ночь напролет полузабытые войсковые казачьи песни и, упав на колени перед позолоченным румянцевским киотом, прослезившись от восторга, клялись во взаимной любви и преданности до гробовой доски.

А поутру — бах!

Совсем породнившихся сватушек хватил такой удар, от которого они после ночного шумного пиршества и бдения протрезвели оба разом. Узнав об отречении Якова от Вари, сваты почувствовали себя так, словно их при всем честном народе окатили с головы до ног из-за угла ушатом ледяных помоев.

Не ушла от позорища и Варвара.

Спустя несколько дней после того как весть о расстроившейся свадьбе Якова с Варей облетела всю станицу, в одну из непогожих, грозовых ночей были облиты смолой новые, только что выкрашенные в канареечный цвет тяжелые резные ворота иконниковского дома.

И если Варвара до своего рокового появления в кругу сверстниц имела в станице только недоброжелателей и завистниц, то после этого случая она нажила себе прямых и непримиримых врагов.

И Варвара поняла, что все пути к девичьим радостям, к ярким уличным гульбищам и шумным забавам для нее теперь заказаны навсегда.

8

Нет, ни сплетни досужих сверстниц, ни грозные, пророческие вопли кликушествовавших старух, ни упреки ее опекуна — не это, а совсем другое волновало и тревожило теперь Варвару. На смену беспричинной тоске и неопределенным желаниям, прежде часто тяготившим ее, пришла к ней тоска по человеческой близости, тоска по чьему-то заботливому участию и ласке.

Варвара не понимала, что происходит с ней. И только одним обостренным наитием, свойственным каждой

женщине, она ощущала все нарастающее тревожное чувство ожидания.

Может быть, она тогда еще не хотела признаться самой себе или, может быть, она еще не знала, а только лишь чувствовала, что ждала не кого иного, а одного, странно близкого и в то же время совсем чужого для нее человека. А человеком этим был Яков.

Потому и не могла Варвара по ночам сомкнуть воспаленных от бессонницы глаз. Потому и прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку.

Но не те шаги раздавались вблизи палисадника. Не тот желанный голос звучал вдалеке. Не тот окрыляющий душу смех раздавался в сонном ночном переулке...

Между тем Яков как в воду канул. После столкновения с Трошкой Ханаевым и разрыва с Варей Румянцевой, он, как и Варвара, перестал показываться на людях, совсем скрылся с глаз, исчез. Стороной Варвара слышала, что разгневанный решительным отказом сына от нареченной невесты Егор Бушуев сгоряча выгнал его из дому вон. Говорили, что Яков, опасаясь отцовской немилости, пропадал недели три в степной стороне, в одном из аулов гостеприимных кочевников. А затем, выждав, пока немного отошло горячее родительское сердце, он вернулся в дом и тут же вскоре ушел со своим полком в лагеря на полуторамесячные строевые конные учения.

Но вот минули и эти два долгих месяца. С походными песнями возвратился в станицу оттрубивший на лагерном сборе казачий полк. Завершилось шумное пиршество по этому случаю среди казаков и казачек. А Варвара по-прежнему не могла дождаться, дозваться, докликаться сердцем Якова, хотя и не переставала ждать его по ночам у окна, не переставала гадать на бубнового короля и еще болезненней и ревнивей прислушиваться к каждому неясному шороху, к каждому звуку.

Наконец однажды — это было уже поздней осенью — снова случайно свела их судьба лицом к лицу. Но в этот раз встретились они без свидетелей, один на один.

Как-то в сумерках привела Варвара на водопой к озеру выездного иконниковского коня.

Стоял один из тех погожих, необычайно прозрачных и уже прохладных вечеров, какие бывают в конце октября. Это был один из тех вечеров, когда в канун первых заморозков и близкого снегопада наступает в при-

роде великая, умиротворяюще-торжественная тишина, и мир, безмолвный от бесстрастия и покоя, заставляет тревожней биться молодое, не знавшее еще равнодушия и усталости человеческое сердце.

Обнажен, дик и пустынен был в эту пору озерный берег. Только одинокая белая, как лебедь, гусыня, не то отставшая от стаи, не то подраненная каким-то охотником, сиротливо сидела неподалеку от мостков на песке и, дремотно охорашиваясь, часто перебирала пощелкивающим клювом свои жемчужно лоснящиеся на оттопыренном крыле перья.

На большой высоте проходил над озером в этот час подгоняемый заоблачными ветрами месяц.

Варвара стояла в самом конце далеко уходящих в озеро, зыбко колеблющихся под ногами мостков и, придерживая за повод по колено забредшего в воду коня, зачарованно смотрела на отраженный озером лунный осколок. Противоположного берега, затерявшегося в полумгле, не было видно. И Варваре казалось, что ее, окруженную бездной воды и неба, понемногу относило в глубь озера все дальше и дальше. И точно не мостик, не жердочки колыхались у нее под ногами, а дно утлой лодки, незаметно отчалившей от берега и медленно уносимой в этот студеный, таинственно поблескивающий водяной простор. Это было совсем необычное для нее, полухмельное, до головокружения приятное и в то же время немного жуткое, тревожное ощущение. Оно передалось, должно быть, и коню, потому что и он, чуть касаясь воды бархатистыми губами, только притворялся пьющим, а на самом деле, навострив уши, косил алмазным зрачком и что-то слушал.

Может быть, от этого непривычного ощущения, а может быть, и от внезапно возникшего предчувствия не то близкого счастья, не то беды, у Варвары заныло сердце и уже по-настоящему закружилась голова. Закусив губы, прикрыв глаза, она едва удержалась на ногах.

И не удержалась бы, пожалуй, не подоспей к ней в эту самую минуту Яков.

Варвара не слышала его приближения. Но она узнала его по одному прикосновению рук, властно взявших ее сзади за локти. Неожиданное появление Якова нисколько не напугало, не встревожило и даже ничуть не удивило ее, точно они заранее условились об этой встре-

че на таких неверных, предательски колеблющихся под ногами мостках.

Варвара не сразу открыла глаза.

Странная слабость вдруг овладела ею. Она ощущала только одно — горячее дыхание Якова над пылающим своим виском, жесткий, прохладный его подбородок, касавшийся ее щеки. И ничего, ничего больше не чувствовала, не понимала, не видела и не слышала в эту минуту Варвара, бессильно повиснув на надежных руках Якова...

А в конце ноября в одну из первых вьюжных ночей подлетела к воротам иконниковского дома глухо позвякивающая бубенцами шальная тройка. И не успел сидевший на козлах за кучера молодцеватый собой и бравый на вид казак Корней Шебанов осадить очумевших от восторга и вьюги лошадей, как из распахнутой в эту минуту калитки стремительно бросилась навстречу тройке высокая, закутанная в оренбургскую шаль женская фигура. Едва не попав под копыта привставших на дыбы лошадей, женщина по-птичьи легко и проворно впорхнула в темный зев наглухо крытой степной ямщицкой кибитки. Затем раздался ухарский гик кучера. И тотчас снежный вихрь, объявший кибитку, мгновенно слизал следы сгинувшей в воющем мраке неуловимой, как привидение, бешеной тройки.

В ту же самую ночь в маленькой церковке, что стояла в степи на отшибе от недавно осевшего верстах в тридцати от станицы переселенческого хутора, затеплились под утро немощные огоньки дешевых восковых свечей. И степной путник, застигнутый непогодью в дороге, заметив эти похожие на волчьи зрачки далекие огоньки, никак не мог подумать о том, что там, в холодной и сумрачной церкви, стояла в этот глухой, непогожий час под венцом беглая чета новобрачных. Нет, никому никогда и в голову не пришли бы такие мысли. До венчания ли в такую погоду!

9

Кружатся, кружатся безмолвные птицы с ржавыми перьями над выжженными солончаками. Дрожит крыльями пустельга. Весело пляшут на дальних караванных дорогах смерчи. Тонко и грустно посвистывают в знойный день суслики, привставшие у своих нор на дыб-

ки. Облако, похожее на беркута, проплывает над головой одинокого всадника, дремлющего в седле. Медленно перебирает ногами под всадником его неказистая поджарая лошадь. И звучит в окрестной степи протяжный и одинокий гортанный напев:

Где у белого света край?
Где степным дорогам конец?
Мне не скажет об этом орел,
Не ответит на это мудрец,
Не шумит в озерах вода.
Я тоски своей не таю.
Сам не знаю — еду куда,
Сам не знаю — о чем пою!

Собака, рыжая, как закат, бежит по краю дороги. На минутку умолкнув, всадник смотрит на степь, на собаку и вновь запевает свою бесконечную песню.

Бежит за мной моя собака,
Запылилась ее белая нога.
Хорошо в степи одному,
Если нет у тебя врага.
А враги у казаха есть,
А врагов у джатака — не счесть,
Враг у джатаков — джут и пурга,
Если нет страшнее врага.
Но страшнее лютой пурги
Есть у нас еще враги.
Кто они — это знаем мы —
Дети горя, нужды и сумы!

Вечер.

Угасают вдали багровые, колеблющиеся мечи заката. Ветер напевает негромкие песни в сухой полыни. Глухо гукает в камышах незримая выпь. Где-то далеко-далеко трубят над озером лебеди. И пастух Сеимбет, прислушиваясь к лебединому крику, говорит пастуху Сыздыку:

— Ты слышишь, Сыздык, как кричат над озерами лебеди?

— Я слышу все, что делается в нашей степи, Сеимбет,— говорит Сыздык.— Я слышу, как кричат лебеди. Я слышу, как вздыхают коровы. Я даже слышу, бывает, как растет трава...

— Значит, ты степной человек, значит, ты настоящий пастух, Сыздык,— говорит Сеимбет.

И пастухи сидят некоторое время молча, зорко наблюдая с пригорка за огромным табуном байского ско-

та, мирно пасущимся в привольном степном просторе. Затем, немного помолчав, Сеимбет вполголоса говорит:

— Я слышу, как кричат над озерами лебеди. И я хочу рассказать тебе, Сыздык, одну интересную историю. Нет, это не история, это — песня. Я слышал ее в детстве, и, значит, это было давно. Это было в год мыши. Мне тогда минуло двенадцать лет, но я уже был неплохим пастухом и хорошим джигитом. В тот год мы гоняли с отцом большие гурты баранов бая Итбая на ярмарку в Куянды. Уйбаяй, как давно это было, Сыздык, если я был тогда мальчишкой! Но у меня ведь хорошая память — ты знаешь об этом... А сейчас я услышал крик лебедей и вспомнил про песню, которую пел нам однажды бродячий акын. Я запомнил, как мы ночевали с гуртом баранов в урочище Кучумбай, и как мы сидели с пастухами у ночного костра на берегу Черного озера — Кара-Су — и как мы слушали тогда эту песню. Ее пел нам в ту ночь великий певец степи. Он был родом с далеких гор, которыми кончаются наши степи...

— Что ты говоришь, Сеимбет?!

— Так вот, слушай меня, Сыздык,— продолжал все тем же негромким, проникновенным голосом Сеимбет.— Это было в год мыши на берегу Черного озера — Кара-Су, у ночного костра над далекими Куяндами. Как сейчас, вижу я этот вечер. Как сейчас, чувствую я запах кизячного дыма. Как сейчас, слышу я глухие звуки домбры и серебряный голос великого акына. Он пел песню о нашем народе. Это была такая песня, что мне кажется, будто слышал ее я не в детстве, а только вчера.

Была темная ночь. Мы сидели вокруг костра. И мы были голодны. Но, слушая песню акына, мы даже забыли про скудную пищу пастухов — сухой творог, лежавший у наших ног. Все затихло и замерло внутри нас. Молчала душа, не трепетало сердце. А бродячий певец степей пел нам в ту ночь о том, как ограбил нас русский царь, отняв у нас самое дорогое — наше имя.

— Погоди, погоди, Сеимбет. Не пойму, о чем говоришь,— поспешно схватив его за руку, сказал Сыздык.

— А ты слушай меня. Ты будь терпелив, Сыздык, к слову певца, как к слову гостя и друга. Так нас учит древний обычай степи. Я расскажу тебе все по порядку, как в песне акына. Я расскажу тебе его песню своими словами.

— Слушаю, слушаю тебя, Сеимбет.

— Это было давно,— продолжал взволнованным голосом Сеимбет,— это было в те отдаленные от нас времена, когда степь наша была свободной и вольной, как ветер. И ветер вольный, как степь, распевал веселые свои песни и кочевал в великих степных просторах из края в край, как кочуют под небом птицы. И никому не покорные беркуты, и степные орлы гордо парили тогда над травами, и никем не устрашаемые звери резвились в лесах, не тронутых топором, и в камышах, не выжигаемых человеком. И рыжие лисы мышковали в ковылях, и ковыли были, как майский кумыс, густы и ароматны. И вот однажды — это было раннею весной, умирал в час заката на берегу Балхаша человек, по имени Колчан Кадыр. Это был великий батыр степей и храбрейший воин. Он умирал, смертельно израненный стрелами. Это был последний, единственный из всех наших предков, оставшийся в живых после кровопролитной битвы с врагами. Несметные полчища иноземных пришельцев нахлынули тогда в нашу степь. Подобно грозовым тучам, двинулись они на владения нашего народа из какого-то отдаленного, немирного и жестокого нравами царства. Подобно страшному джуту, опустошали они аулы, истребляли скот и умерщвляли людей. Все это было ранней весной, в год, которому даже нет названия...

Рассказчик умолк, переждал, пока уляжется в нем все возраставшее внутреннее волнение. Он перекусил горький стебель бессмертника, вздохнул и продолжал:

— ...После битвы, которую принял бесстрашный народ наш вблизи Балхаша, умирал Колчан Кадыр — храбрый воин предков нашей степи и неустрашимый их предводитель. Семь вражеских стрел торчали в могучем теле его. Но умирал он не столько от тяжелых ран, сколько от смертельной жажды. У пронзенных стрелами ног его, говорливые, тихо плескались о берег голубые балхашские воды, но умирающий воин не в силах был протянуть ослабевшей руки к воде и смочить горькой влагой свои спекшиеся от страдания и жажды губы. Напрасно пытался взывать он о помощи. Никого не мог потревожить немощный крик его. Ибо батыры храброго войска Кадыра все были перебиты, а коварный враг, устрашившись покрытого трупами бранного поля, поспешно покинул непокорную нашу степь. Великое запустение воцарилось в степной стране, и знойные ветры

подули из-под облаков, и превратились цветущие степи в пустыни. Стали сохнуть и вянуть степные травы и умирать, задыхаясь в огне и дыму, потерявшие запах цветы. Даже птицы и звери стали покидать страну запустения, скорби и смерти. И умирающий воин понял, что час его пробил. Великая печаль затмила его лицо. Он закрыл веки, обуглившиеся от скорби. Горько было встречать ему смертный час в одиночестве на песке пустынного берега. Так умирал предводитель храбрых воинов, бесстрашно сражавшийся с врагами за свой народ, так умирал воспетый в сказаниях и песнях акынов человек по имени Колчан Кадыр.

— Печальная песня,— сказал Сыздык.

Пастухи помолчали. Они присмотрелись своими по-степному зоркими глазами к привольно пасущимся окрест табунам. И затем Сеимбет продолжил рассказ:

— И вот, когда пришел его час, и губы, спекшиеся от жажды, разомкнулись для последнего вздоха, он услышал над собой шум птичьих крыльев. Он напряг последнюю волю и открыл глаза. И сердце его запело от радости, потому что он увидел живое существо — белую, как лебедь, гусыню. Тихо покружившись над умирающим воином, птица неслышно опустилась к нему на грудь и напоила его из клюва водой, прохладной, как утренняя роса, и ароматной, как кумыс в майскую пору. И батыр, утоливший из птичьего клюва смертельную жажду, ослабел, как слабеет после дальнего странствия путник от чаши крепкого кумыса; а ослабев, он забылся глубоким сном. Никто не знает, какое число часов, дней и ночей проспал он на горячем прибрежном песке. Но вот, проснувшись однажды с рассветом, он почувствовал себя исцеленным от ран. Он не испытывал больше жажды. Он поднялся, огляделся вокруг, и сердце его затрепетало от радости. Он увидел в эту минуту рядом с собой девушку неземной красоты. Его ослепило лунное сияние ее лица и блеск глаз ее, звездам подобный. И спросил тогда батыр девушку:

— Послушай, красавица, а не видала ли ты гусыни, белой, как лебедь, и если видела, то в какую сторону улетела она? И не слыхала ли ты ее крика?

И, смеясь, девушка ответила воину:

— Храбрый мой батыр, а не так ли светла я лицом своим, как светлы были перья белой гусыни, и не похожи ли руки мои на два гибких и легких ее крыла?

Тогда воин снова спросил девушку:

— Как же мне звать тебя? И откуда ты? И какой твой род? И далеко ли аул твой отсюда, красавица?

И ответила девушка воину:

— Если светла я лицом моим, как светлы перья белой гусыни, если руки мои похожи на два гибких ее крыла,— то и зови меня, батыр, отныне по имени этой птицы — Каз-Ак!

И понял тогда храбрый Колчан Кадыр, что это сама судьба плененного врагами его народа вернулась к нему в образе белой гусыни Каз-Ак. Она напоила его из клюва живой ключевой водой, исцелила его от смертельных ран. Она, превратившись в красивую девушку, стала его женой, для того чтобы продолжить павший в неравной битве с врагами свой род...

На минуту снова умолкнув, рассказчик перевел дыхание и затем опять продолжал:

— Прошло много лет. И великое числом потомство оставили после себя Колчан Кадыр с прекрасной Каз-Ак после самого долговечного и счастливейшего на земле их брака... А в честь этой белой, как лебедь, красавицы Каз-Ак и было потом дано их потомству имя — казахи.

— Значит, имя наше — казахи?— спросил взволнованным полушепотом Сыздык.

— Значит, так. Значит,— казахи, а не киргизы,— сказал Сеимбет.

— И обо всем этом пел тебе акын?

— Да, от него я услышал впервые настоящее имя нашего народа... Я рассказал тебе песню великого акына, как умел. Но я сберег в своем сердце и в памяти несколько слов из этой песни. И хоть нет у меня под руками домбры, я спою тебе эти слова. Ты ведь знаешь меня. Голос мой неплохой, а вторить мне будет вот этот тихий вечерний ветер.

И Сеимбет, дремотно раскачиваясь из стороны в сторону, негромко запел:

Много ханов ты знала, степь моя!
Был хан Аблай. Как голодный шакал,
Он по аулам добычу искал.
Баям с Аблаем привольно жилось.
Много их в наших степях развелось...
А тем, чьи плечи давила сума,
Хан был как злая степная зима.
Все туже на шее народной петля

Баев и русского злого царя...
Как волки, зубами степь они рвут,
Пастбища наши и скот наш берут,
Лучшие выпасы наши забрали,
Лучших коней у нас увели.
И нет нам приюта у нашей земли...
Взамен нам остались пустыни, пески,
Раздолье да горе, простор для тоски.
Страшно народу на степи смотреть.
И горько акыну про все это петь.

10

Весна.

Припекает жаркое солнышко. Желтый пушок ветродуек усыпал увалы. Глядя на них издали, можно подумать, что это желтеют не ранние полевые цветы, а только что вылупившиеся и разбежавшиеся по траве гусята. Степные курганы покрылись кремовыми коврами подснежников. Пахнет подвяленной на припеке прошлогодней полынкой и горьковатым ароматом еще не успевшей просохнуть дымящейся земли. В низинах стоят озера полой воды. Над степью повис полог зыбких, мерцающих марев.

Заливаются, купаясь в волнах тепла и света, жаворонки. Бьют в набат на закате перепела. Трубят в часы рассвета розовые от зари лебеди. И днем и ночью идут над великим степным простором — крыло к крылу, косяк к косяку — косые станицы диких гусей и казарок. Кривой, разорванной цепью тянутся с немилого юга к родному северу журавли, и на журчанье прозрачных весенних ручьев походят их гортанные переклики. Стонет степь от птичьих гимнов благотворному степному теплу и голубому небесному свету. А проснувшиеся от зимней спячки сурки наперебой приветствуют раннюю дружную весну озорным свистом.

Весна.

Поднимается над степью страстное лошадиное ржание. Раздается ленивый верблюжий рев. Звучат гортанные крики одетых в цветные халаты джигитов. Бесконечная вереница арб, груженных коврами и войлоком. Праздничным, ярким и красочным выглядит караван кочевников, тронувшихся с зимовок в глубинную степь с табунами скота и домашним скарбом.

А из ветхих, почерневших от времени юрт в этот час выглядывают полуголые казашата, одетые в лохмотья

женщины и пробковые от векового загара скуластые лица джатаков. Люди эти молча смотрят вслед богатому красками байскому каравану, уходящему в далекую степь, золотую от яркого весеннего солнца.

— Хабар бар ма?— спрашивает молодой джигит в голубом нарядном бешмете старого пастуха-джатака.

— Жок,— отвечает джатак, поникнув.— Хабар жок. У джатака нет новостей. Новость ушла вместе с богатыми в степь. Новость ушла по следам гордых белых байских верблюдов.

— Хабар бар ма?— снова спрашивает джигит встречного старца, слепого Чиграя.

— Хабар бар,— отвечает слепой Чиграй.— Хабар бар. Сильные и богатые люди нашей степи ушли на джайляу и угнали свои табуны на летние пастбища. А джатаки остались здесь, около байских зимовок. Джатаки будут стеречь здесь добро богатых.

Замирали над степью далекие крики гарцующих на злых и горячих конях джигитов. Уходил караван в далекую степь. А джатаки продолжали стоять в молчании около жалких своих кибиток, с тоской, гневом и завистью глядя вслед уходящим в степную даль. Это были те бесправные и обездоленные, кому было сказано на родовом совете так:

— Если нет у тебя выносливого верблюда, если нет у тебя коня и десятка овец — оставайся на месте и не ходи за богатыми.

— Ие,— соглашались джатаки.

— Каждый джатак может тоже стать богатым, если он хорошо поработает в летнюю пору на бая,— говорили аксакалы джатакам.

— Жарайды, жарайды,— отвечали джатаки.

Терпеливо и молча выслушивая своих аксакалов, джатаки думали о невеселой, скупой на радости, горькой своей судьбе. Они знали — придет жаркая пора сенокоса и поднимутся тучи гнуса, от которого будут судорожно биться тощие лошади и плакать, как дети, козлята. Они знали — высохнет вымя единственной кобылицы и не будет у них в турсуках кумыса. Не будет у них ни пресной лепешки, ни крошки бараньего сыра, и нечем им будет кормить в знойное лето своих детей.

— Ах, какой ты казах, если юрту твою изрешетило время, если встречного путника — гостя аула — ты не можешь напоить кумысом и угостить баурсаками! Ах,

какой ты казах, если жена твоя не имеет масла для того, чтобы вылить его на очаг отцовской кибитки в честь новорожденного, как этого требует обычай степей! Нет, ты не казах. Ты — бишара, освистанная богатым и осмеянная сильным.

И джатаки, слушая аксакалов, знали — минует жаркое лето, проведенное ими в труде, в нужде и в поту. А баи, вернувшись под осень с джайляу к своим зимовкам, скажут им на своем родовом совете:

— Вы хорошо поработали летом. Вы сохранили наши зимовки, вы накосили нам сена, и скот наш не будет страдать от бескормицы. Все это — хорошо. И за все это каждый из вас может теперь рассчитывать на приют в наших жилищах, на чашку айрана и на кость баранины.

Так скажут осенью баи джатакам. Но они умолчат об обещанной пригоршне серебра и о пяти золотых монетах. Они умолчат о жеребенке с белой звездой на лбу, о трех тайншах, о двух нетелях и пяти баранах, обещанных джатакам в награду.

И джатаки, выслушав баев, скажут, поникнув:

— Жарайды. Жарайды, аксакалы...

Вечер.

Пахнет дымом кизячных костров, овечьим пометом и шерстью. Угасает вдали над озерами пышный закат. Тихо звенит в ковылях бесприютный, засыпающий ветер. Медленно кружится над курганом коршун. Все вокруг полно дремотного, предвечернего покоя и тишины.

Старейший из рода джатаков, слепой Чиграй, сидит в своей дырявой юрте возле угасающего очага и прислушивается к чему-то. Невольно прислушиваются и все остальные, сидящие вокруг очага.

— Я слышу топот конских копыт. Из степи в наш аул скачет всадник,— говорит Чиграй.

— С доброй ли вестью?— спрашивает слепца такой же древний, седобородый старик Юсуп, сидящий с ним рядом.

И не успел ответить Чиграй, как в юрту вихрем ворвался спешившийся на полном скаку джигит Садвакас. Он был бледен, и губы его дрожали.

— Хабар бар ма?— хором спросили его насторожившиеся джатаки.

— Хабар бар,— ответил джигит прерывающимся голосом,

— С доброй ли вестью ты, джигит?— спросил Садвакаса Чиграй, подняв на него свои давно потухшие глаза, равнодушные к солнцу и свету.

— Нет, я пришел к вам с недоброй вестью,— ответил джигит.— Двадцать верст я скакал сюда, чтобы сообщить вам черную новость степи. Слушайте и мужайтесь. Там, на урочище Узун-Куль, лежит наш Бектурган.

— Что ты сказал?! Опомнись, джигит!

— Что там случилось?

— Отвечай скорее...— зазвучали тревожные голоса джатаков.

И Садвакас, переведя дух, сказал:

— Русские из крепости Капитан-Кала продали наше урочище барину, имени которого я не знаю. Мы не хотели отдать им своей травы. И нет у нас теперь нашего Бектургана.

Вопли матери Бектургана, Айманкуль, заглушили последние слова Садвакаса. Разрывая руками свой ветхий джаулык, задыхалась старая женщина от нечленораздельных криков, полных невыразимой тоски и отчаяния. Вместе со старой Айманкуль надрывались от крика и плача и все остальные женщины, в смятении заметавшиеся по ветхой юрте.

Но старый Чиграй, поднявшись, властно протянул вперед руки и глухо сказал:

— Остановитесь! Пусть скажет свое последнее слово джигит, прискакавший к нам с урочища Узун-Куль с черной вестью.

— Мое последнее слово будет клятвой,— сказал Садвакас.— Я клянусь твоей ветхой священной юртой, старый Чиграй. Я клянусь именем нашего рода отомстить за убитого Бектургана!

— Один ли ты готов к этому?— спросил Чиграй.

— Нет, не один, аксакал. Со мной поклялись над прахом убитого все джатаки аула,— сказал Садвакас, и голос его вновь заглушили душераздирающие рыдания старой Айманкуль и окружавших ее женщин.

...Всю следующую ночь пылали в ауле джатаков яростные костры. Всю ночь стекались в аул из окрестной степи конные и пешие джатаки. Всю ночь оплакивали женщины мертвого Бектургана и раздавались гневные, клятвенные крики толпившихся возле костра джигитов,

А на рассвете, когда плоское тело покойника вынесли на руках из юрты и положили в степь, чтобы мертвец в последний раз взглянул незакрытыми глазами в сторону священной Мекки, старый Чиграй спросил притихший народ:

— Был ли безгрешен джигит Бектурган?

— Да. Он был безгрешен, наш Бектурган.

— Был ли он храбрым и сильным джигитом?— снова спросил Чиграй.

— Да. Он был храбрым и сильным джигитом,— вновь хором ответили люди.

— Любил ли он степь и родной народ?— опять помолчав, тихо спросил толпу джатаков Чиграй.

— Да. Он любил свою степь и любил народ,— ответили в один голос джатаки.

— Бектурган был джатаком. Джатаки и мы,— сказал Садвакас.— У нас даже нет охрет — одежды конца света, чтобы завернуть тело покойного, провожая его в последний путь. Мы хороним его в старом войлоке. И за это нас никто не осудит.

— Никто,— сказали джатаки.

— Все ли джигиты нашего рода готовы будут вместе со мной отомстить убийцам из крепости Капитан-Кала за смерть Бектургана?— спросил Садвакас.

— Клянемся именем нашего рода, что готовы вместе с тобой, Садвакас, отомстить за смерть Бектургана,— ответили в один голос джигиты.

И когда запылало над степью гневное зарево заката, воротились джатаки в скорбном молчании в аул, оставив в степи погребенное тело джигита.

Погасли последние блики жаркого, как степной пожар, заката. Погасли в ауле джатаков костры. Померкли в вечерней мгле далекие и близкие озера. Глухо и тихо было в безлунной, беззвездной ночи. И только где-то далеко-далеко звучала чуть слышно протяжная, печальная пастушья песня:

Много на небе звезд.
Много дорог в степи,
Машет саблей казак,
Хочет джатака бить.
Месяц зайца пройдет.
Малый зверь станет большим.
Вернется с джайляу бай,
Станет джатака бить.

Слушай, пастух, не спи:
Волчьи глаза горят.
Скоро заря загорится,
Козлята запросят пить.

11

Не великой, но и не малой была в прошлом семья у Егора Павловича Бушуева. Четверых сыновей — молодец к молодцу, да троих дочерей — не последних в станице песенниц и красавиц, вспоил и вскормил он в союзе с Агафьевной на своем веку. И нечего было зря бога гневить старикам: ни на сынов, ни на дочерей жаловаться не приходилось. Не беспутными мотами и отпетыми варнаками росли бушуевские ребята, и не вольными ветрянками слыли дочери в девках. Причиной тому была известная строгость родителя, умевшего в оба смотреть за детьми и не баловать их с малого возраста вредной потачкой. И как бы там туго ни бывало на первых порах кормить их и нянчить, а всю эту ораву родители сберегли и, несмотря на былую нужду, урону в ребятишках не знали. С годами взявшие силу ребята были поставлены на ноги. Вывели в люди Бушуевы и двух своих старших дочерей, вовремя выдав их замуж в надежные и порядочные дома.

Всех своих чад сберегли и взрастили под отчей кровлей Бушуевы, но не всех их вольны они были уберечь от лиха позднее, когда развеялись старшие дети по далекой чужой стороне. В первый же год русско-японской войны сложили буйные свои головы в боях под Мукденом первенцы Егора Бушуева — Ефим и Андрей. Гибель сыновей подсекла железные силы Егора Павловича и сразу же, за год, состарила нерослую и хрупкую на вид Агафьевну. Материнская скорбь по погибшим сынам обрядила ее голову в седину и навсегда запечатлела в страдальческих прищурах глаз невыплаканную горечь утраты.

Но со временем притерпелись к этому горю старики Бушуевы, оставшиеся теперь при троих детях. Стариков не покидал пока отслуживший положенный срок в полку и обзаведшийся своей семьей старший из оставшихся сынов — Яков. Красовалась еще в родительском доме, как запоздалая астра в осеннем саду, последняя из дочерей — восемнадцатилетняя Настя. Кроме того, росли теперь на поглядку старым Бушуевым и двое малых вну-

чат, дарованных старикам Яковом и снохой Варварой. Старшему из внуков — Тараске — шел девятый год, младшему — Силке — минуло недавно только четыре.

Старики души не чаяли в своих внуках, и не было меры и границ дедовской нежности к этим малым ребятам.

Редкие семьи на Горькой линии живали в таком ладу и согласии, как жили Бушуевы. Егор Павлович строго соблюдал под крышей родного дома все обычаи и порядки прадедовской старины и сумел привить такую же любовь ко всему этому вековому укладу и всем своим детям. Только с одним из них — Федором — не всегда ладил старик. Такой же нетерпеливый и вспыльчивый, как и родитель, Федор часто ввязывался в пустячные споры со стариком. И сплошь и рядом какое-нибудь мимолетное возражение Федора на занозистое слово батюшки завершалось между ними ожесточенным словесным боем. Старик сердился на Федора, но спорил с ним охотно, и нередко втайне даже скучал по тем перепалкам, которые возникали меж ними обычно в часы семейной трапезы.

В канун троицы — за месяц до убийства станичниками джигита в урочище Узун-Куль — съехались домой из степи все бушуевские дети. Первым нагрянул Федор. Черный от пыли и копоти, подвижной, беспричинно улыбающийся, он похож был на цыгана, подгулявшего на ярмарочных магарычах. За ним точно с неба свалилась и закружилась по дому и по двору, как заводной, звонко жужжащий волчок, вся золотистая и пшеничная от загара Настя. И совсем уже удивил Егора Павловича не без форсу подкативший к воротам отцовского дома на строевом рысаке, запряженном в пролетку, похожий на бравого гвардейского офицера Яков вместе со своей супругой, гибкой и волоокой Варварой.

— В бане, папаша, попариться всем семейством решили,— встретив недоуменный взгляд свекра, весело сказала Варвара, объясняя неожиданный их приезд. И она, подоткнув выше колен свою старенькую кубовую юбку, тотчас же загромыхала ведрами у домашнего колодца, вырытого в глубине двора.

— В баню — это дело хорошее. Милости просим,— приветливо отозвался Егор Павлович, невольно любуясь расторопной и бойкой снохой. Ему по душе была эта строгая деловитость Варвары.

«Нет, детушки, дело тут, должно быть, не только в бане!»— подозрительно насторожился старик. В этом дружном и раннем даже для предпраздничного дня появлении в доме всего семейства предугадывал Егор Павлович некий скрытый от него сговор и замысел. И это обидело старика. Он хотел было тут же придраться к Федору, но сдержался, смолчал. «Потерплю,— решил Егор Павлович,— все равно Настя выболтает, что они задумали стороной от меня!»

Между тем, пока Варвара с помощью Насти и непоседливой Агафьевны хлопотала с баней, Яков с Федором, вооружившись роскошными метлами, подмели всю широкую улицу перед домом и весь просторный и без них, положим, опрятный при стариковском догляде двор. Затем братья так же легко и проворно, словно играючи, накололи звонких березовых дров. Потом, торопливо перекурив в сторонке и на ходу перешепнувшись о чем-то, принялись за ремонт завозни. Они в момент заменили две подгнившие стойки и без всякой видимой надсады забросили на них десятиаршинный переклад. И все это делалось ими как будто между прочим, с веселой усмешкой и присказкой, с озорными прибасками, шутя.

Егор Павлович, сам трудолюбивый и непоседливый в другое время, на этот раз уклонился от вмешательства в ловкую суету ребят. Набросив на плечи поношенный миткалевый бешмет и барственно заложив за спину руки, долго сновал он с безучастным видом туда и сюда по двору и молча искоса поглядывал на сыновей. Хоть и сердил старика нынче Федька, заподозренный в каком-то тайном сговоре с братом, сестрой и снохой, но прилежная возня братьев в родном поместье смиряла стариковское сердце. Ему было приятно подумать о том, что Федор даже в канун отправки на пятилетнюю службу в полк проявляет в устройстве родного гнезда такое ревностное хозяйственное участие. Хмуря свинцовые от седин брови, старик ревниво поглядывал за каждым движением жадных до труда сыновей, радуясь их прилежности и завидуя их здоровью, силе, молодости и ловкости,— словом, всему тому, чем когда-то богат был и он, Егор Павлович Бушуев, и что с такой поразительной ясностью повторялось теперь в каждом из его сыновей.

Вечерело. Через настежь распахнутую калитку ввалилось во двор большое стадо гусей. Белый, как лебедь, гусак, презрительно полусмежив веки, замыкал нето-

ропливое, торжественное шествие обильного своего потомства. Важно, высокомерно выступая за длинной цепью гусят, шел он, надменный и неприступный предводитель своего племени. Гуси, столпившись у корытца, полного свежей воды, блаженно упивались ключевой колодезной влагой и наперебой болтали между собой о чем-то неразборчивыми, дремотными голосами. Огромный черный цепной кобель Бисмарк сидел на перевернутой кверху дном бочке и наблюдал за движением во дворе.

Тихо было в этот час в станице. Ароматный теплый июньский вечер неслышно крался по улицам, и все живое прислушивалось в эти мгновения к неземной, заколдованной тишине. Прислушивалась неподвижно сидевшая на бочке собака. Прислушивался гусак, вытянув упругую шею и забыв подобрать опущенное крыло.

Прислушивался не то к окрестной умиротворяющей тишине, не то к самому себе и Егор Павлович. Озадаченно став посредине двора, смотрел старик на присмиревших гусят, на Бисмарка, на выбегавших во двор внучат — и удивительно хорошо, светло и покойно было у него на душе. Да ему и в самом деле незачем и не из-за чего было волноваться. И не так уж плохо, оказывается, сложилась у него жизнь на старости лет. Вот и родному углу веку не будет — такой пятистенник добрую сотню лет простоит. Вот и деревья под окнами так возмужали, что никаким ураганам они не подвластны. Вот и сыны, как дубы: любую бурю примут на грудь — не пошатнутся. Да и внучата растут под надежной опекой деда и бабушки не какими-нибудь вертопрахами. Нет, дай бог всякому такую покойную старость, какую заслужил у нещедрой в прошлом к нему на дары и милости жизни он, Егор Бушуев.

12

После бани ужинали в этот вечер Бушуевы поздно — около полуночи. Огня не вздували. Огонь в летнюю пору в дому — головня в хлеву. И старики, свято веруя в эту издревле бытующую среди степных хлеборобов примету, не дозволяли зажигать даже восковой свечи.

Впрочем, и нужды-то большой в огне не было. По вечерам чаевничали под открытым небом, во дворе, куда выставлялся из сенок стол. А здесь, как бы там ни запа-

здывала семья с ужином, можно было свободно управиться с едой и без лампы. Молоко из чашки хлебать — не шитьем заниматься: мимо рта ложки не пронесешь. Благо не дружат с аспидной мглой короткие летние ночи на Горькой линии. Подолгу здесь пышут и тлеют жаркие весенние зори, и ночь не в силах погасить их златоокий, немеркнущий свет. Не успеет в такую пору поблекнуть обручальная позолота заката, как ложится на степи неяркий отблеск трепетно порозовевшей у кромки неба утренней зари.

Не темно было за столом и теперь. Высоко стоял над станицей новорожденный месяц, и приблудное облако бездумно жалось к нему.

Федор больше глазел на месяц, чем занимался едой. Есть ему не хотелось, но и вылезать из-за стола до тех пор, пока не перекрестится, отложив в сторону ложку, сам Егор Павлович, тоже было нельзя. К тому же у Федора предстоял такой рискованный разговор с родителем, при мысли о котором у не привыкшего робеть в других случаях Федора застревал теперь в горле комом каждый кусок пшеничного калача. Федору и в голову не приходило, что можно так оробеть при разговоре с отцом о таком деле и что разговор этот потребует столько душевной стойкости, храбрости и самообладания.

«А што, в самом деле, я перед ним тушуюсь? Парнишка я ему, что ли? Слава богу, осенью в полк ухожу. Объявлю ему с ходу, что женюсь, и баста. Поздравляй меня, тятя, с законным браком — и вся коротка!»— храбрился мысленно Федор. Но легко было об этом думать, да труднее — сказать. И Федор, лениво захлебывая молоком плохо прожеванный кусок хлеба, все томился, все набирался духу, ждал подходящего момента.

Поглядывая на месяц, Федор с тревогой и нежностью думал в эту минуту о семнадцатилетней казачке — Даше, которая должна была стать его женой. Жена! Никогда не задумывался о ней Федор прежде. Никогда не искал он ее среди станичных девчат, в паре с которыми лихо отплясывал «казачка» и все двенадцать фигур кадрили. Все до этого было бездумно и просто в его отношениях с подружками. Он воровски обнимался по закоулкам с ними в темные ночи. Он целовался с ними на вечерках или уединившись где-нибудь за войсковыми амбарами станицы. Девки дарили ему роскошные с кружевами кисеты или расшитые шелком фантики. Прини-

мая эти дары, Федор так же легко и просто растеривал их потом, как, впрочем, легко и просто забывал он назавтра о тех, кто вчера еще без ума и без памяти не скупился для него на столь обольстительные подарки... Он не обманывал их, давая им клятвы в любви и с обожанием заглядывая в зеркальные их очи. Он не умел и не мог говорить неправды, потому что сердце его не было лживым и холодным; рассудочных слов не знал покорный сердцу его язык. И девки, чуя это наитием, с такой же бесхитростной простотой и легкостью прощали своему кавалеру его ветреность и непостоянство...

Нет, ни в одной из станичных девчат, с которыми сводила его судьба, не искал Федор прежде ни жены, ни невесты. Но как статься могло, что семнадцатилетняя Даша теперь его невеста, он не понимал этого и сам. Он запомнил только, как однажды, при неожиданной встрече с Дашей в степи, у него вдруг точно оборвалось что-то в сердце, и он, нечаянно заглянув в большие, полные тепла и света глаза девушки, чуть не ахнул — до того они были прекрасны.

Все это случилось весенним вечером, после шумного и теплого ливня, после первой веселой и жуткой весенней грозы. Федор возвращался пешком с пашни в станицу. Даша шла по той же дороге из хутора в крепость. Случайно встретившись, они пошли вместе. По пятам за ними катился, погрохатывая в глуби степей, черный, как вороново крыло, гигантский вал грозовой тучи. И Даша, смертельно боявшаяся грозы, все беспокойнее, все чаще и чаще оглядывалась и при каждом новом ударе грома доверчиво жалась к Федору.

Пройдут годы, отбушует на вольном ветру молодость. Невесомая, как августовская паутина, неслышно осядет в волосы седина, и в тумане прошлого исчезнут неверные очертания былого. Но никогда не забудет Федор озорной грозы в мае и ливня, загнавшего их с Дашей в придорожный стог. Навеки запечатлеется в памяти озаренное голубой вспышкой молнии перепуганное, влажное от дождевых капель ее лицо.

Все он помнил. Помнил, как при взгляде в серые глаза ее, на мгновение замирая, буйно затем колотилось его сердце, как шли они потом, после дождя и грозы, по размытой ливнем, розовой от заката дороге. Помнил, как шумно и весело шлепала Даша босыми ногами по встречным ручьям и лужам, по-детски жмурясь и вздра-

гивая от наслаждения, какое доставляла ей эта прогулка по умытой дождем степи. Помнил, как, смеясь и сияя посиневшими глазами, выжимала Даша полурасплетенные косы, и дождевые капли стекали с ее лица на грудь, скатываясь за вырез измокшей до нитки светленькой батистовой кофточки. Помнил Федор маленькие, обнаженные по локоть, пробковые от загара руки, от которых пахло и солнцем, и ветром, и какой-то горьковатой степной травой,— золотые, упругие девичьи руки, без ума заласканные и без памяти зацелованные им. Все он помнил в этой необыкновенной встрече. Но какие дивные и необыкновенные, какие неповторимые и восторженные слова говорил он в эти мгновенья Даше,— об этом Федор не помнил.

Не охотник был Федор Бушуев болтать кому бы то ни было о своих отношениях с девушками. Тем более долго не говорил он никому ни слова о Даше. Редкие свои верховые набеги на казачий хутор, где жила Даша, он совершал по ночам. И свои встречи с девушкой он ревниво оберегал от огласки, суеверно страшась недоброго ока завистливых на чужое счастье людей. Даже Насте, с которой привык он делить сокровенные тайны с детства, от острого глаза, от чутья и сердца которой вообще не умел он и не мог ничего скрывать, даже ей не говорил он до вчерашнего дня про свои воровские свидания с Дашей и про ту душевную тревогу, которую впервые в жизни испытал он от счастья, от близости к этой девушке, без раздумья и оговорок доверившейся ему.

Федор понимал, что обо всем этом легче и проще было рассказать Якову или Варваре, Насте или даже матери. Но он положительно не знал, как заговорить об этом с отцом. А между тем, оставшись наконец с Егором Павловичем наедине, Федор с неожиданной для самого себя простотой и непринужденностью сказал:

— А я ведь жениться надумал, тятя.

Ко всему был готов старик, оставаясь с глазу на глаз со своим нескупым на выдумки сыном, но такого трезвого и решительного заявления он от него, конечно, не ожидал. Ибо ни рассудительные родительские советы, ни шутливые намеки, к которым не раз уже прибегали в прошлом старики Бушуевы, норовя образумить парня и принудить его подумать перед уходом в полк о женитьбе — старикам нужны были в хозяйстве лишние рабо-

чие руки,— ничто это ни к чему путному не приводило. То злым, не терпящим возражения отказом, то оскорбительной для старых людей насмешкой, то безобидной или легкомысленной шуткой отвечал Федор на все намеки и речи о его женитьбе. И старики совсем было уже решили — пусть, мол, сходит в полк и отслужится, а потом уж волей-неволей и сам подумает о женитьбе. А тут — на тебе!— Федор вдруг ни с того ни с сего заговорил с отцом об этом. И Егор Павлович, посмотрев изумленно и недоверчиво на сына, с заминкой ответил:

— Жениться?! Ну что же... В добрый час.

— Вот так... Решено, тятя,— сказал Федор.

— Решено — слава богу...— глухо проговорил старик, все еще плохо веря своим ушам.

— Стало быть, дело теперь только за сватами и свахами, тятя,— сказал, немного помешкав, Федор.— Время сейчас самое свадебное. Сеять мы кончили. До сенокоса ишо далеко. А до похода в полк — ишо дальше.

— Так-то оно так, сынок. Время, конешно, для такого дела самое подходящее. За сватами дело не станет. Только свадьба-то што-то у тебя больно скоропостижная,— подозрительно покосившись на сына, сказал старик.

— Так уж пришлось. Из терпления вышел...— сказал Федор без всякой улыбки.

Помолчали. Затем, распалив погасшую за разговором трубку, Егор Павлович сказал:

— Ну ладно. Супорствовать не хочу, ежели уж так тебе, сынок, приспичило... Хорошее дело, благословясь, начать можно. Только смотри, маху не дай сгоряча. Повострее присмотреться к невесте бы не мешало.

— А я присмотрелся. На это времени у меня хватило.

— Ты-то, может, и присмотрелся, не спорую. Да ведь и нам, старикам, показать бы нареченную перед сватовством не грех.

— Покажу. Таиться не стану, если обличьем она вам ишо не знакома...

— С обличья не воду пить,— сказал старик.— По обличью-то я всех наших станишных невест знаю,— сказал Егор Павлович, все еще не решаясь спросить сына о том, на кого же в конце концов пал его долгий выбор.

Но Федор и тут ушел от прямого ответа. Теперь ему просто было приятно поиграть на любопытстве терявшегося в догадках отца, и потому, неясно улыбнувшись родителю, сын неопределенно ответил:

— Ну, это не нашинска.

— Вот как! Королева из иноземного царства?!— незло пошутил старик, и в прищуренных глазах его мелькнула озорная, странно помолодившая на мгновенье его лицо улыбка.

— Королева. Настоящая королева!— сказал Федор, не поймешь как, шутя или серьезно.

Они опять помолчали. Наконец Федор решил раскрыть тайну.

— Тятя,— сказал он с редким для него в разговоре с отцом душевным проникновением.— Я хочу посвататься за Дашу Немирову.

И старик, невольно отпрянув при этих словах сына назад, присмотрелся к нему сурово и испытующе — не шутит ли парень?! Нет. Не шутит. И вот, выдержав отвечающую моменту паузу, Егор Павлович проговорил, поднимаясь из-за стола, тихим, чуть дрогнувшим от волнения голосом:

— Ну что же, благословляю, сынок. Дай вам бог счастья. Дай бог. Благословляю...

Тронутый теплотой и сердечностью, с какой прозвучало в ночной тишине родительское благословение, Федор быстро встал вслед за отцом со скамьи и замер, точно в строю, слегка опустив перед стариком покорную свою голову.

С минуту или, может быть, только несколько недолгих мгновений стояли они друг против друга молча. Было так тихо, что Федору казалось, будто слышал он частый бой своего сердца. Скупо светил месяц, подернувшийся легкой облачной фатой. Где-то далеко-далеко зазвучали дремотные звуки гитары, и чистый девичий голос запел:

Окрасился месяц багрянцем,
Где море шумело у скал.
Поедем, красотка, кататься —
Давно я тебя ожидал.

Великая тишина и покой этой мирной июньской ночи, смирение покорно принимающего родительское благословение сына, и эти знакомые с далекой молодости слова, и напев звучавшей в ночи старинной песни — все это так растрогало Егора Павловича, что на глазах выступили слезы, и старое сердце его забилось рывками, вскачь.

А девичий голос все звенел в ночи под серебряный переклик гитарного перебора:

Спасибо, я еду охотно,
Я волны морские люблю,
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю!

Все тусклей и скупее светил клонившийся к горизонту месяц. И все дальше уходила в ночную мглу девичья песня:

Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам,
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам!

Долго еще звучала в ночи эта песня. Но вот, подобно последней вспышке далекого ночного костра в степной стороне, неярко блеснул на прощанье и бесследно погас вдали девичий голос. И Федор сказал отцу:

— Спасибо, тятя. За родительское благословение и доброе слово твое спасибо,— и, замявшись немного, добавил:— А сейчас мне надо отлучиться по одному неотложному делу...

Минут пять спустя, ловко махнув в новое свое полковое седло, пулей вылетел Федор на гнедом резвом метисе за ворота и, как привидение, тотчас же исчез в призрачной полумгле.

Егор Павлович догадывался, куда держит путь Федор, и от всего сердца пожелал ему счастливой встречи с невестой. Взволнованный всем случившимся, растроганный до глубины души, старик долго стоял у ворот.

Мирно спала утонувшая в лунной дымке станица. Ни звука, ни шороха не слышно было более на пустынных улицах. Жемчужными зернами блестела под месяцем роса на уличном конотопе. Высокое, почти по-дневному ясное, безоблачное небо покоилось над мирной землей. И только там, за мерцающими степными озерами, вставала с запада траурно-черная грозовая туча. Распластав гигантские, косо усеченные, с белым подбоем крылья, она тяжело подымалась из-за горизонта, и алмазные звезды меркли и гасли в ее кромешной мгле. Внезапно раздался глухой и далекий, зловеще замирающий на перекатах троекратный грозовой удар. Удивленно взбросив глаза, старик увидел громаду словно спрессованных и обуглив-

шихся глыб. И что-то похожее на недобрую дрожь и оторопь на мгновение сковало его. Но тотчас же, откинув беспричинно возникший суеверный страх, Егор Павлович размашисто осенил себя крестным знамением и поспешил в дом, поведать радостную весть жене.

13

Сватовство прибывших на первый день троицы в немировский дом расторопных, надменных и пылких бушуевских свах прошло в строгих рамках неписаных правил и благополучно завершилось в одиннадцатом часу до полудня согласием родителей и невесты.

А во второй половине дня прибыли на хутор Подснежный на тройке белых как кипень выездных полукровок разодетые в пух и прах, важные и сумрачные с виду родители жениха. Несмотря на знойную духоту, Егор Павлович Бушуев обрядился в наглухо застегнутый на крючки однобортный бешмет из тонкого синего сукна, а на пропитанных ворванью опойковых сапогах старика красовались во всем своем блеске глубокие резиновые калоши. Маленькую же Агафьевну куда солиднее делала накинутая на плечи тяжелая ковровая шаль.

Вместе с родителями жениха прибыли на хутор Подснежный в немировское поместье и остальные приглашенные на рукобитие гости. Очумевшие от звона бубенчиков и залихватского гиканья подвыпивших кучеров тройки и пары взмыленных лошадей пролетели по хутору на полном карьере и, только лихо развернувшись в другом конце улицы, подошли затем на рысях к гостеприимно распахнутым немировским воротам.

Сам жених с еще большим шиком лихо подлетел к дому тестя верхом на строевом коне. Спешившись против немировского дома, Федор походкой завоевателя прошел сквозь шпалеры праздных зевак к высокому, как трон, устланному гарусными коврами крыльцу.

И вот с утра еще тихий и мирный немировский дом загудел теперь, заходил ходуном.

Дорогих гостей Немировы принимали в горнице. В превеликой тесноте разместились сородичи жениха вперемежку с родными невесты. Гости сидели почти впритирку вокруг составленных, до отказа заваленных разной снедью столов. Над штабелями кремовых вафель поднимались вороха воздушного хвороста. Золотые туши

гусей и бронзовые окорока, лоснясь от жира, лежали на расписных блюдах. И дымились набитые серебряными карасями, уснащенные лавровым листом, перцем и рисом горячие пироги. Остро пахло укропом, хреном, уксусом и анисом. Туеса извлеченных из погреба соленых груздей стояли, как башни. И над всей этой прополосканной в масле снедью и перетертой в меду и сахаре сластью возвышались жерла запотевших на погребу четвертных бутылей водки, настоек и вин. С гулом, созвучным ружейной пальбе, вылетали из жбанов с пивом тугие, залитые варом пробки. И белая накипь хмеля клокотала в фарфоровых чашах, тяжко колеблющихся в шатких руках дружек и свах.

— Сватушки! Гостенечки вы наши нежданны-негаданны!— все с руладами, все нараспев заливалась сладкозвучной степной птахой суетливо хлопотавшая у стола не старая с виду, но седая головушкой Якимовна — мать невесты.— Потчуйтесь. Кушайте. Да уж извиняйте вы нас, ради истинного Христа, на нашем угощении. Не побрезгуйте наших кушаньев и вареньев. Не обессудьте нас, грешных... — как по нотам, выводила Якимовна.

— Ой, да господи, сватьюшка! Да што же это, милая ты моя, так убиваешься!— молитвенно всплескивая в ладоши, смиренно клоня при этом к плечу голову, восклицала в тон ей Агафьевна.— Да куда же нам ишо этих ваших кушаньев-то! И так неча бога гневить. Ведь живой воды у вас на столах не видать, а остальное чисто все налицо имеется.

— Ох ты, разлюбезная моя сватьюшка!— с разбегу присев на краешке стула рядом с Агафьевной, продолжала на высокой ноте свою песню Якимовна.— Ну ни сном ведь, ни духом не знали мы и не ведали такого дела. А знатье — так уж так ли бы мы припаслись, так ли бы мы приготовились!

— Да годнее некуда приготовленья, милая сватьюшка...— стойко отстаивала честь стола Агафьевна.

— Нет, не говори, сватья. Правда, не в укор восподу богу живем. Што напраслину говорить. И хлебец в сусеках есть. И скотинка и птица на нашем дворе пока водится. Не стану, сватьюшка, хвастать. Ну, дорогих гостей не бесчестим. Знаем, как приветить и чем попотчевать.

— Што ты, разлюбезная моя сватьюшка!— восклицала утомленная застольным шумом и духотой Агафьевна.— Што ты, голубушка! Да ведь самостоятельных-то

людей за версту видно. А тут, погляжу я, от одной солонины столы ломятся...

— Ох, уж извиняйте меня, любезная моя гостюшка, ежели чем по первинке не угодила я тебе али не уважила.

— Ах, уж чисто всем я довольна. Так довольна, так довольна, что и сказать не умею, и словесно выразить не могу. Покорнейше благодарствуем вас, сватушки, за все ваши хлопоты да угощения...

— Пирога-то бы рыбьего, сватья, отведала.

— Успем ишо. Отведаем. Да я и не шибко промялась, сватьюшка...

— Ватрушечек покушайте. Крупичатые. С ванилью.

— Благодарствую вас. Так и быть, одну скушаю...

— Да возьми, сват, хоть парочку.

— Уволь, сватья. Дорога не дальняя, не шибко проголодался...

— А ты бы, сватьюшка, вареньица помакала,— снова переметнувшись от Егора Павловича к Агафьевне, завела нараспев Якимовна свою обедню:— Отведай, любезная, клубничного. Попробуй и костяничного. Это ведь доченькино изготовленье. Чисто все ее белыми рученьками припасено и к столу подано. Уж извиняйте, не засидится она у вас без делов. Не таковска. Не загуляется... А уж как она, сватьюшка, на все мастерица-то, так ведь таких поискать только на всей Горькой линии. Ну за што ни возьмется, то у нее в руках огнем и горит. И попрясть, и связать, и любой тебе узор гарусом выложить... А уж такая там чистотка да обиходка, так уж и лишних слов пущать не приходится — сама, придет время, сватья, увидишь.

— Ой, да, сватья, да ведь обиходного-то человека сразу насквозь видно. Ишо бы — от такой родительницы да доченьке нечистоткой слыть! Слава богу, в казачьей семье росла. А уж наш ли брат, линейные казачки, не чистотки да не обиходки,— рассудительно разводя руками, заключила Агафьевна.

— Ну да, тоже мне, сватья, и у нас не в каждом доме и не в каждой семье,— возразила Якимовна.

— Она и тут чистая твоя правда, сватья. И тут я с тобой согласна...

— Сама посуди, сватьюшка, времена-то пошли ныне какие,— продолжала, не унимаясь, Якимовна петь свою песню.— Не успеют другие детушки на ноги встать, а уж,

гляди, и волюшку в руки взяли —ни сговору с ними, ни сладу. А уж моя-то ведь доченька така послухмянна, така послухмянна — всему хутору на диво. Ну не радошно ли тако дитятко материнскому сердцу, не болько ли?

— Ишо бы не больно, ишо бы не радошно!— чуть не всхлипывая от умиления, растроганно откликалась Агафьевна.— Вот и я, сватья, опять же про своего Федю теперь тебе доложу. Уж такой он у нас обходительный из себя да такой приветливый, што, скажи, ни старого, ни малого не обойдет — с каждым душевно поговорить во всяко время сможет.

— И опять же я тебе, сватьюшка, скажу,— плохо слушая Агафьевну, продолжала самозабвенную песню свою о дочери захмелевшая Якимовна.— Хоть и не из кистей у меня Дашенька выпала, а ни умом, ни душевной приятностью нашу породу она не обидела.

— Про породу што зря говорить. Немировы спокон веку — казаки по всей Горькой линии на славе...

— То-то и оно, сватьюшка... А уж про приданое я и не говорю. Хвастать не стану, а сундуки-то не скоро подымешь,— проговорила почему-то полушепотом Якимовна, жарко дыхнув в ухо сватье. И, метнувшись с подносом в сторону, она снова залилась своим чистым и звонким голосом, обхаживая то одну, то другую, то третью сваху.

— Ах, уж чем же это ишо я попотчую вас, голубушка?! Чем вас, сударушка, ишо прибалую,— продолжала напевать Якимовна...

Молодые, как и было положено, занимали за столом центральное место — в простенке, под украшенным утиными перьями и дешевыми дутыми бусами старинным зеркалом. Выпив по первой рюмке огненной, настоянной на вишне водки, Федор и Даша продолжали теперь каждый раз чокаться со всеми гостями. Чокнувшись, но не пригубив своих рюмок, молодые деликатно отставляли их в сторонку и сидели, потупив взоры, строго и молча. В первые минуты пиршества, до тех пор пока еще хмель не развязал языков даже самым словоохотливым, но сию минуту надменно поджавшим губы свахам, пока полутрезвые гости увлечены были опробованием соблазнительных блюд, Федор и Даша чувствовали себя несколько стесненными, неловкими и даже как бы подавленными. А тут еще черт принес под самые окна целый букет разряженных в кашемир и шелка хуторских девок. Забрав-

шись в немировский палисадник, девки бесцеремонно пялились в створные окошки, глазели на станичного жениха. Они без особого стеснения, довольно оживленно, хотя и вполголоса, обсуждали между собой все достоинства и недостатки Федора.

— Женишок-то, девоньки, как аршин проглотил,— не ворохнется!

— Ой, да и на обличье-то он — кыргыз кыргызом.

— На цыгана тоже смахиват...

— Ну нет. Русское, девки, обличье.

— Правильно, русское. Только нос подгулял маленько: на семерых рос, а одному достался...

— Зато чуб табашный — из кольца в колечко!

— Дура. Да это он его плойкой подвил...

— Не барахлите, ветрянки. Кудри природные.

— Батюшки-светы, да он при часах!

— А станишные кавалеры без карманных часов не ходят.

— Может, это не часы, а цепочка для красы.

— Милый мой, часы при вас? Расскажи, который час!

— А ну-ка, подвиньтесь. Встанут, язви их, как коровы. А другим чисто ничо не видать,— сказала басом, протискиваясь к окну, рослая и толстая девка.

— А ты тут кого не видала?!— окрысилась на нее шестнадцатилетняя модница с подкрашенными сурьмой бровями.

— Не на тебя же, бубнову кралю, пришла смотреть.

— Ну ладно. Не ломись, Физа. Ослепла — местов больше нет у окошка.

— Замри, Капа. Дай я на станишного казачка полюбуюсь,— сказала примиряющим басом толстая девка.

— На чужих-то женихов нечего зенки пялить. Своего пора бы тебе, Физа, заиметь годов тому назад с десяток,— не унималась модница с подрисованными бровями.

— А у меня был свой, да весь вышел. А нового для меня завели, да што-то долго, подлец, киснет...— басила, отшучиваясь и упорно пробиваясь к окошку, толстая девка.

Федор сначала злился на зубоскаливших за его спиной девок. Отлично слыша их издевательские насмешки и зная, что все это слышит и Даша, он сатанел с каждой минутой и сидел теперь как на иголках. Наконец, улучив

удобный момент, он высунулся в створки и прицыкнул на чертовых просмешниц, пустив даже сквозь зубы по матушке. Но это нисколько не смутило линейных красавиц, а наоборот, только подзадорило их. И они, снова валом прихлынув к окошкам, принялись донимать разгневанного жениха такими на этот раз прибасками, от которых даже у Федора глухо горели темные щеки и ныло где-то в коренном зубу, как это случалось с ним только в минуту великого ожесточения...

В самый разгар пира в горницу ввалился знаменитый не только в станице, но и на всей Горькой линии гармонист Трошка Ханаев в сопровождении Дениса Поединка. Как правило, Трошка никогда не ходил по пирам и беседам без своего закадычного друга. Федор, завидев в дверях приятелей, просветлел, забыв о зубоскаливших под окошком девках.

В пояс откланявшись молодым и поздравив родителей жениха и невесты «с начатым делом», Трошка с Денисом выпили по стакану поднесенной им на подносе водки. И Трошка, не закусывая и не морщась при этом, рывком развернул на ходу канареечные мехи гармони. Затем, важно опустившись на услужливо подсунутую чьими-то руками табуретку, он прогулялся всеми пальцами сверху вниз по басам и потревожил слегка лады для пробы.

На мгновенье в горнице стало тихо. Одна из свах — это была двоюродная сестра жениха, бойкая, востроглазая бабенка Павочка Ситникова,— открыв набитый капустой рот, с изумлением посмотрела на гармониста. Подмигнув разомлевшей от жары и хмеля бойкой бабенке, Трошка крякнул и, сбочив голову, уронил ее, как отрубленную, на лакированный корпус гармони.

Рявкнули басы. И вдруг такая пулеметная очередь дьявольских вариаций вырвалась из-под промелькнувших над клавишами Трошкиных пальцев, что свах, словно вихрем, сорвало с места.

А минуту спустя ничего уже нельзя было распознать в этом калейдоскопе всеобщей пляски. В радужном сиянии стремительно кружащейся перед глазами красочной карусели порхали белые фантики и пунцовые, как пламя, бабьи подолы. Все слилось и смешалось в бешеном ритме пляски: кашемировые подшалки, кружевные передники, ситец, бисер и чесуча. Бесстыже скаля в медовой улыбке сахарно-белые зубы, свахи, беснуясь и взвиз-

гивая, наседали на крутящихся заводными волчками танцоров. Все в поту, в чаду духоты и в хмельном дурмане, чудом выкручивались лобастые сибиряки из-за бушующего пламени бабьих подолов. И было похоже, что вконец осатаневшие от хмеля и пляски свахи так и норовили смести напрочь с круга своими разбушевавшимися подолами этих уже близких к обмороку плясунов.

И только в центре этого наглухо замкнувшегося в бесовском верчении круга, совсем будто чуждые всей этой неистовой праздничной кутерьме, плавали павами друг против друга помолодевшие и сияющие, как божий майский день, сватьи. Не теряя общего ритма пляски, смиренно сбочив увенчанные кружевными наколками седые свои головушки, сватьи с великим и близким к райскому блаженству умилением смотрели друг дружке в лицо и бойко приговаривали, ударяя в ладони:

— Уж ты,
    хмелюшко-хмелек,
Что не развивался?
Где казак ночевал,
Что не разувался?
Где,
    варнак, пировал,
У какой сударки?
С кем ты зорю зоревал?
За каки подарки?
— Не за перстень-талисман,
Не за злат сережку
Открывала молода
Ночью мне окошки.

Ходуном ходил древний немировский дом, растревоженный ревом стобасовой гармони, озорными припевками свах и буйной пляской. Стонали под коваными подборами плясунов вековые, в пол-аршинную ширину, половые плахи. В скороговорку, наперебой переговаривались между собой тарелки на столе и оконные рамы. Порожние рюмки, озоруя, приплясывали на подносе. Под столом, не поделив жирного окуня, дико ревели дымчатые коты.

14

Во дворе, под крышей прохладного в этот час немировского сарая, уже назревало нечто вроде кулачного боя. Двое полуобнявшихся или полувцепившихся — не

поймешь — друг в дружку пожилых казаков тупо топтались вокруг здоровенной стойки. Один из них — Кирька Караулов, другой — бывший гвардеец, не уступавший ростом Кирьке, Феоктист Суржиков — дядя невесты. Кирька Караулов, взявшись всей пятерней за ворот сатинетовой рубахи Феоктиста Суржикова, рычал что-то нечленораздельное. А Феоктист, пытаясь вырваться из крепких Кирькиных рук, говорил ему почти со слезой, умоляюще:

— Освободи без греха мои руки, сват. Дай хоть раз я те наотмашь вякну. Уважь. Богом тебя, варнака, прошу: иделай ты мне такую милость!

— Нет! Не могу я, сват, в этом тебе уважить...

— Ага. Не можешь?!

— Никак нет, сват. Отрицаю.

— Отрицаешь? А пошто?

— А по то, сват, не за што бы тебе в такой час личность мою соборовать.

— Хе! Ишо как усоборую. За один удар все грехи тебе оптом отпущу.

— Не кощунствуй, сват. Ты же не поп меня исповедовать!

— Хоть не поп, а в звонарях состою — кайся.

— В чем же мне каяться, сват? Чем я перед тобой грешен?

— Ага. Стало быть, все скрозь отрицаешь?

— Отрицаю, сват.

— Так. А то, што я при одном ухе двадцать с гаком лет состою, это ты тоже отрицаешь?

— При одном ухе — это так точно, сват. Это факт налицо. Не спорую.

— Ага. Ну вот за этот факт я сейчас тебя и брякну.

— Што ты, опомнись, сват!

— А я не больше четверти выпил — в своей пока памяти. Богом прошу, давай, ради Христа, подеремся, пока я сознанья не потерял. А напьюсь — мне тебя тогда не осилить...

— Драться я всегда, сват, с полным моим удовольствием. Ты меня знашь. Не в том дело. Ты мне скажи, за што ты меня губить на свадьбе собрался?

— Как так за што?! Вот тебе на. А кто мне левое ухо перед полковым походом напрочь железной тростью отсек? Не ты, сват?

— Ну мало ли что там бывало у нас по холостяцкому делу...

— Нет, ты не виляй. Говори мне кратко, как на словесности, ты лишил меня уха? Твоя работа?

— Ну, был грех... Не спорую, сват. Дело прошлое. Правильно. Благословил я как-то раз тебя на фоминой неделе тростью. Каюсь.

— Ага! Каешься?! Ну, вот, за это-то раскаянье я те сейчас и лупану...

— Одумайся, сват,— почти рыдая, увещевал Феоктиста Суржикова Кирька Караулов.— Опомнись, я тебе говорю. Ведь мы теперь вроде родни с тобой после сегодняшней свадьбы. Нам бы только пить-пировать, а ты грех заводишь.

— А пошто ты мне не коришься, сват?

— Я корюсь, сват.

— А коришься, ослободи мои руки.

— Ну как же я тебе их ослобожу, сват? Ведь ты же меня в один момент можешь изувечить.

— Вполне могу. Определенно, сват, изувечу.

— Што ты, бог с тобой, сват. Опомнись.

— Знать ничего не знаю. Все равно я обязан тебя ударить.

— Смирись, сватушка. Четверть поставлю.

— Ага, боишься?!

— Не боюсь, сват. Дело родственное. Грешить не хочу.

— Врешь, подлец. Ты моего удару, а не греха боишься. Сам знаешь, кака рука у меня тяжелая. Али забыл, как я японцев клинком соборовал?!

— Бранное дело не забывается, сват...

— Ага. Стало быть, признаешь во мне силу?

— Не отрицаю, сват.

— Хвали меня, Киря. Я люблю, когда меня хвалят.

— Одно скажу — настоящий ты сибирский казак, сват. А выше этой похвалы у нас на Горькой линии не было и нету.

— Правильно, Киря. Ты знаешь, наш брат-сибиряк не чета донскому казаку. Верно я говорю?

— Што про них, про донских, говорить. У них войска — одни чубы, похвальба да песни.

— Во, во, во! На это они мастера. А в песнях тоже пусть извинят нас, сибирских казаков. Грозней наших песен ни в одном войске нету. Што пожар али бури степ-

ные, то и песни сибирские — стеной ходят! Если грянет наш полк: «Появился в Сибири славный русский казак»,— у донских горлохватов и чубы завянут...

— Так точно, сватушка. В песнях нам тоже ни перед каким войском робеть не приходится.

— Сват! Сослуживец! — вдруг воскликнул высоким, рыдающим голосом встрепенувшийся Феоктист Суржиков.— Давай, сват, я тебя публично облобызаю. Давай, станишник, по-братски. В уста. Помнишь, как под Мукденом на позициях перед рукопашным боем лобзались...

И, тотчас бросившись при этих словах друг к другу в объятия, замерли казаки в долгом поцелуе.

Затем, так и не разняв переплетенных рук, казаки побрели в дом, гудевший от песен. Там они скрепили свою давнюю боевую дружбу еще одним стаканом остуженной на погребу водки, а потом помогли осоловевшим от духоты, хмеля и пляски свахам вывести на простор никак не ладившуюся у них проголосную песню.

15

Во дворе, в сторонке от кутерьмы и веселой сумятицы пированья, мирно посиживали под навесом уединившиеся в тени сваты — отцы жениха и невесты. Перед ними прямо на земле, среди щепок и древесного мусора, стоял уже наполовину опорожненный ими бирюзовый лафитник с вишневой настойкой. На коленях у Петра Петровича лежал кусок рыбного пирога, луковка и половинка груздя, поочередно надкусываемого стариками при закуске.

Одетые в одинаковые по покрою и цвету бешметы, с дымчатой проседью в окладистых бородах, старики походили один на другого. Оба выглядели сейчас несколько моложе своих лет. Лихо сдвинув на макушки подзаношенные казачьи фуражки, обнажив завьюженные сединой чубы, сидели сваты друг против друга верхом на дровосеке, молодцевато подбоченившись, как приучены были смолоду сидеть в походном седле. Оба они деликатно придерживали меж пальцев бочкообразные рюмочки и, то и дело осторожно чокаясь ими, забывали меж тем выпить и продолжали говорить.

— Нет, сват,— говорил Егор Павлович,— я своего хвалить не стану — варнак. Ты скажи, и воли как будто

я ему с малых лет не давал, а вырос — сладу иной раз нету. И все бы еще туды-сюды, сват. Ну уж больно спорвать он со мной, сукин сын, лют. Ни в одном слове тебе не уважит. Лучше не связывайся — забьет.

— Это насчет чего же, сват?

— А вот хотя бы насчет той же, скажем, рыбалки. Вспомнишь другой раз к слову, дескать, крупный окунь в станичных озерах в прежние времена водился, а нынче и мелюзги в другом водоеме не найдешь. Ну не дай бог, если он, варнак, такое воспоминание услышит, непременно встрянет. Привяжется. На смех тебя подымет. Над стариной казачьей начнет изъезжаться. И зимы лютей нонешних были. И жарища, мол, в летнюю пору в степи, как в бане, стояла — не продыхнешь. И дожди, говорит, у вас в былую пору, по вашим словам, как из ведра лили — с нонешними не сравнишь. Прихвастнуть, дескать, любите вы, старые казаки, на склонности лет своей жизни... Ну, я — на него. А ты, подлец, видел, што и как было прежде? Ты окуней-то десятиперстных едал? Ты в прежние морозы-то по извозам в город Атбасар али на Куяндинскую ярмарку хаживал? Тебя, сукина сына, под сугробами, как твоего родителя, заживо в буран хоронило? У тебя, варнака, ливнем последнюю десятину смывало?! Нет?! Ну, прижмешь его таким манером к стене. Другой бы тут и с ответу сбился, а этот и ухом не поведет. Стоит и над тобой же, бывалым родителем, зубы точит. И ни одному слову твоему не верует. И всего тебя вскрозь под сумление берет. Ну, не беда ли с таким спорным дитем, сват?

— А беды в этом, сватушка, я большой не вижу. Молодо-зелено. Все по молодости такие,— философски отвечал свату Петр Петрович Немиров.

— Не, не все, сватушка. Мой — особенный...

— Не скажи, сват. Не во всем, я думаю, он тебе и перечит.

— Да это понятно, не походя... Одна беда — горячи мы с ним оба. Но родительской власти я пока над ним не теряю. Потому и радошно, сват, што и свататься-то за твое дите он без моего благословения не поехал.

— Вот то-то и дорого, сват... И бог их благословит. А за совет да любовь наших детушек не грех нам с тобой и еще по чарочке выпить,— заключил Петр Петрович мир-беседу со сватом. И старики, деликатно чокнувшись, выпили свои рюмки.

Пир был в разгаре.

Валом вывалив из душной горницы на просторный двор, гости снова ожили и повеселели. Снова гулко загрохотали грозовые октавы ханаевской гармони. И, как пожар, занялась и пошла гулять над пирующим немировским домом старинная русская песня:

У церкви стояли кареты —
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше цвела!

Совсем потеряли от приступа буйной веселости, от хмеля и бражных песен бедовые свои головы сватьи и сваты. Утратили дар речи безмолвно лобызавшиеся между собой сватовья. И теперь уже пирующему по колено во хмелю и в песнях рукобитью было не до молодых. У каждого из гостей были пригоршни собственных прелестей и полные горсти забав.

И только Федору с Дашей не очень весело было среди ликовавших вокруг гостей. И молодые, покинув в разгар гульбища это шумное, красочное, как карусель, торжество, незаметно убрели по берегу озера в глухую и жаркую от полдневного солнца степь. Там, на гребне закрытого ковылями увала, стоял шестикрылый ветряк. Высокий, слегка осевший набок бревенчатый его корпус с молитвенно простертыми к знойному небу крыльями безмолвно маячил над млеющей в зыбком мареве степью и горько волновал своим видом каждого путника, привлекая к себе проходящих мимо людей. Всех привечала и всем давала приют эта древняя мельница: и пыльному путнику, и влюбленным, и малым ребятам, и дряхлым казакам, любившим уединиться в тени крылатого стража степной тишины в часы бренных и трезвых своих раздумий...

Сюда же пришли и Федор с Дашей.

Шли они, скрестив свои руки, медленно, молча. А вокруг было столько света, тепла и радости, и небо над их головами было такое чистое и синее, а на душе у них было так спокойно и хорошо, что не только разговаривать, но и думать-то даже ни о чем не хотелось. И шли они, ни о чем не думая, целиком отдав себя ощущению взаимной близости. Ни слова они не сказали друг другу и сидя на вросшем в ковыльную щетку жернове у подножия старой мельницы.

Удивительно хорошо было здесь в этот глухой час жаркого полдня. В неземном, безмятежном покое томилась окрестная степь. Неподвижным и плотным был воздух, пропитанный густым ароматом цветов и трав. Голубым огнем пламенело над степью великое небо. И не тихо, а глухо было вокруг. Только где-то высоко-высоко плавал, то замирая, то вновь возникая, неясный и сонный звон насекомых. На тысячу ладов прославляли они своим дремотным жужжанием невыразимую прелесть и благодать милосердного лета. Ожесточенно работали в травах кузнечики. Тройка огненно-бархатных мотыльков трепетала над венчиком дикой ромашки. И в несложном однообразии их мелькающих крыльев, казалось, звучала все та же едва уловимая музыка животворящей радости жизни.

А там вдали, над сверкающими под жарким солнцем железными крышами хутора, продолжала по-прежнему бушевать приглушенная пространством и зноем песня:

На ней было белое платье,
Цветок был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо взирала сквозь слез.

И Федор, невольно прислушиваясь к словам этой песни, ощутил в себе новый прилив такой любви и нежности к Даше, что, казалось, вот-вот выпорхнет наружу крылатое его сердце. Решительно все бесконечно близко и дорого было ему в эту минуту. И милая, присмиревшая рядом Даша. И старая мельница. И эта томящаяся в дыму полуденных марев навеки благословенная степь с ее седыми курганами, пыльными трактами и проходящими стороной веселыми смерчами. Все принимал, все любил теперь Федор в этом огромном сияющем мире той спокойной и чистой любовью, от которой так светло у него было сейчас на душе и так знойно в сумасшедшем от счастья сердце...

Молодые молчали. Они молчали, словно прислушиваясь к тишине, к дремотному шелесту согретых полуденным солнцем цветов и трав. И вдруг, оба насторожившись, они услышали глухой и далекий, точно идущий из подземелья, стремительно нарастающий копытный стук. А через минуту, оглянувшись в сторону тракта, Федор и Даша увидели, как мчался к хутору недобрым галопом всадник с багровым флажком на пикообразном древке.

Не сказав ни слова один другому, Федор и Даша почти бегом бросились вслед за всадником к хутору. И спустя несколько минут, когда они, встревоженные, запыхавшиеся, пыльные, подбежали к немировскому дому, обоих их поразила тревожная тишина, повисшая над хутором. Толпа высыпавших из немировского дома гостей, замкнув в глухое кольцо верхового казака с алым флажком на пике, стояла вокруг неподвижно и молча.

— Што случилось?! — спросил почти вполголоса Федор, узнав во всаднике своего одногодка Митьку Неклюдова.

— Беда. Кыргызы бунтуют. Табун отгульных коней угнали. Казачьи сена в займище подожгли. В редуте Кабаньем поселкового атамана чуть не убили... От станичного приказ — сформировать сотню молодых казаков и быть начеку для усмирения кыргызов. Давай падай на вершную, Федя, и поскачем в станицу.

— А ну вас к черту. Обойдетесь и без меня,— отмахнулся Федор.

Вечером, когда после разъезда гостей опустел и притих весь немировский дом, притихла и Даша, оставшаяся одна в горнице. Наведя былой порядок в доме, она села у настежь распахнутых створок, где еще в полдень сидели они рядом с Федором, и прислушалась к далекой девичьей песне, доносившейся с другого конца хутора.

Приезжал казак на хутор —
Всадник бравый, молодой;
Я встречала его часто,
Как ходила за водой.
Попросил воды напиться,
Я дала ему воды.
Что-то бьется мое сердце —
Кабы не было беды!
Мать увидит — будет худо.
Что мне делать, молодой?
Лучше б я сидела дома,
Не ходила за водой!..

Полный, литой из чистого золота месяц стоял высоко над хутором. И Даша, заглядевшись на этот месяц, вдруг ощутила такую беспричинную боль и тревогу в сердце при мысли о Федоре, что у нее на мгновение потемнело в глазах. Боже мой, как далеко еще было до

венца, до свадьбы — целая неделя! И Даша уже не знала, не понимала теперь, как это жила она до сих пор без Федора, одна. Она совсем не задумывалась сию минуту, как будет жить без мужа, когда проводит его по осени в полк. Ей казалось, что до этого так же далеко, как до той неяркой звезды, что рано зажглась в зеленоватом от лунного света вечернем небе...

16

Атаман второго военного отдела линейного казачьего войска полковник Скуратов зиму и лето жил в своем небольшом имении. Усадьба Скуратова была расположена на границе казачьих земель с киргиз-кайсацкими степными владениями Средней орды. За какие-то особые заслуги при штурме Коканда полковник Скуратов был пожалован землей в двести пятьдесят десятин из земельных фондов кабинета его величества. Спустя два года после окончания русско-японской войны Скуратов, получив назначение на должность атамана отдела, выстроил на пожалованном ему участке дом и поселился там на постоянное жительство.

Усадьба Скуратовых стояла в стороне от большого скотопрогонного тракта. К северу от имения лежали тучные земли линейного казачества, а к югу — простиралась бескрайняя, издревле обжитая кочевьями Средней орды, не тронутая ни косой, ни лемехом степь. Край богат был ветрами, озерами, солью, рыбой и птицей. Можно было вволю жить здесь и радоваться тому, кто умел дружить с владетельными степными князьями, с феодалами киргиз-кайсацких кочевий, кто умел не чураться ни заезжих в эту глухую сторону российских купцов, ни грабителей ярмарочных караванов. Покойно и тихо было в усадьбе Скуратовых под надежной защитой вековых деревьев в зимние и летние дни. Небольшой, в шесть комнат, но уютный белый каменный дом с мезонином стоял над самым обрывом высокого, живописного озерного берега. С трех сторон окружала этот одинокий скуратовский особняк заповедная роща. Огромные, в два обхвата, березы заслоняли усадьбу от страшных степных буранов и вьюг.

Уединившись в своей усадьбе, старый полковник умело совмещал высокую должность атамана отдела с бойкой торговлей лошадьми. Он вошел в какие-то, по слу-

хам, не совсем чистые взаимоотношения с окрестными казахскими феодалами и не гнушался в своих торговых делах общением ни с известными степными конокрадами, ни с бродячими цыганами, ни с ярмарочными маклерами и жуликами. Благодаря этим связям полковник вскоре присвоил себе монопольное право на поставку строевых лошадей для молодых казаков, отправляющихся каждую осень в конном строю на действительную службу в Джаркент и Верный. Возглавляя войсковые смотровые комиссии, атаман без зазрения совести браковал коней, купленных казаками на стороне. И народу волей-неволей приходилось платить втридорога за коней, часто худших, чем те, которые были забракованы, но купленных в одном из многочисленных конских косяков, принадлежащих полковнику.

Отношения между линейными станицами и усадьбой Скуратова портились с каждым годом все больше и больше. Полковнику было отлично известно, что некоторые станичники не раз подавали прошения наказному атаману войска, жалуясь на беззаконные действия атамана отдела. И хотя все эти жалобы, как правило, оставались без последствий, тем не менее Скуратов мало-помалу стал остерегаться подчиненных ему казаков и со многими из них избегал лишней встречи. Вот почему последние годы атаман проводил почти безвыездно в своей усадьбе, а на окрестных ярмарках и линейных станицах не рисковал теперь появляться, как прежде, один, без верного драбанта — старшего урядника Авдеича — и без шестизарядного кольта в кармане.

Дружбу поддерживал полковник Скуратов со станичным начальством. В его усадьбе нередкими гостями были станичный атаман Архип Муганцев, благочинный отец Виссарион, пристав Касторов и мировой судья Лиходзеев. В летнее время в усадьбу Скуратова съезжалась учащаяся молодежь — сын Скуратова Аркадий, бывший воспитанник омского кадетского корпуса, и дочь гимназистка Наташа. Здесь же нередко гащивал в юные годы и племянник Скуратова — есаул Алексей Алексеевич Стрепетов, рано осиротевший, взятый на воспитание дядей и с грехом пополам окончивший омский кадетский корпус на скудные казенные средства войска.

Весной 1914 года есаул Стрепетов был назначен начальником эшелона молодых казаков, призываемых в этом году на действительную службу. Есаулу было по-

ручено провести в конном строю полк молодых казаков от сибирских линейных станиц до города Верного. Путь предстоял казакам нелегкий. Маршрут проходил через голодные степи, через мертвые просторы Бетпак-Далы, через шафранные пески и горячие смерчи пустыни, через быстрые реки, темные леса и крутые горы. Тертый, каленный на всех четырех ветрах требовался в таких походах молодым казакам вожак-командир. Знала станичная молодежь, по рассказам своих отцов и дедов, что не страшны ей будут в пути никакие невзгоды, если пойдет впереди эшелона такой командир, какой был воспет в старинных походных казачьих песнях.

Есаула Стрепетова знали на Горькой линии как отличного армейского офицера. И казаки, прослышав о его назначении начальником нового эшелона служивых, призванных в полк, даже прокричали на сходке трижды «ура» в честь есаула.

Между тем до похода было еще далеко — целых три месяца. И есаул, бегло ознакомившись в линейных станицах с личным составом своего полка, решил воспользоваться близостью скуратовской усадьбы и отдохнуть там перед походом.

Алексей Алексеевич недолюбливал дядюшку, а еще больше — тетушку, дородную, ленивую полковницу Милицу Васильевну Скуратову. Но тем не менее, уединившись в усадьбе Скуратовых, Стрепетов наслаждался степной тишиной и одинокими, бесцельными прогулками по приусадебной роще.

Алексею Алексеевичу приятно было думать, что вот угодно было судьбе свести его с похорошевшей восемнадцатилетней Наташей Скуратовой. Снова был он тут, где когда-то провели они вместе столько светлых, тихих дней юности. Было это давно... Очень давно. И теперь, когда есаул, бесцельно слоняясь по роще, пытался воскресить в памяти те далекие дни, то ему сделать этого не удавалось. Он не мог представить себя ни кадетом, ни вдохновенным сочинителем пылких сонетов, которыми заполнял он когда-то голубой альбом Наташи.

«Да и было ли это когда-нибудь?!» — спрашивал себя Алексей Алексеевич.

Все прошло. Но остался только по-прежнему нетленный пряный запах лесной травы, горький запах березовой коры и листьев. Остался и этот нежно тревожный и смутный на исходе дня шум высоких древесных вершин.

И не потому ли вновь привлекала его теперь к себе Наташа Скуратова, что была она самым реальным, самым чистым и ярким отражением его собственной юности? И не потому ли в часы своих одиноких блужданий в окрестностях этой степной усадьбы думал он, в сущности, только о ней и, сам того, быть может, не замечая, искал везде и всюду только ее?

За обедом, когда старый полковник особенно нудно и много говорил о своих лошадях, а полковница деловито и горячо поддакивала во всем мужу, Наташа сидела молча напротив Стрепетова. И Алексею Алексеевичу казалось, что Наташа совсем не слышит, о чем барабанит, с трудом пережевывая свое вегетарианское блюдо, болтливый ее отец. Но в то же время Наташа держалась за столом легко, просто, непринужденно. И есаулу в такие минуты думалось, что девушка чутьем, свойственным женщине, угадывает его мысли. Не дай бог, если она догадается, что он в нее влюблен! Это, разумеется, рассмешит ее. Впрочем, ее уже смешит, кажется, совсем неприличная для армейского офицера робость Стрепетова. Смешит, наверное, и чудовищная непоследовательность есаула в суждениях о коневодстве во время застольной беседы с ее отцом. Да и не может не смешить девушку та странная, почти ребяческая неловкость, которую стал с некоторых пор испытывать в ее присутствии есаул.

Как правило, Наташа появлялась в столовой в белом ситцевом платьице, сияя свежестью, легкостью, чистотой. Яркое полуденное солнце жарко горело в короне золотистых ее волос, дробилось и вспыхивало в прозрачных мочках маленьких ее ушей. И, как всегда, она пахла степными горькими травами, солнцем. Она поднимала на есаула свои большие, насмешливые, притворно холодноватые глаза, и он видел, как мелко трепетали темные ее ресницы, будто никогда не затихал в них полевой вольный и легкий ветер.

Всем, решительно всем смущала его эта девушка: и неяркой своей красотой, и острым умом, и молодостью, и непосредственностью, и тем, что была она удивительно не похожа на своих родителей. Глядя на нее, было странно думать о том, что могла она вырасти здесь такой чужой и далекой от всего, что окружало ее в быту и нравах отцовского дома.

17

Месяц спустя после появления есаула Стрепетова в усадьбе Скуратовых сюда же прибыл и сын Скуратова — сотник Аркадий Скуратов. Аркадий Скуратов был назначен помощником начальника эшелона молодых казаков, призванных на действительную службу, то есть оказался теперь в прямом подчинении у своего родственника, есаула Стрепетова.

На второй день троицы старый Скуратов устроил в честь сына и племянника большой прием, на который съехались из соседних станиц все высокопоставленные знатные гости, в числе которых из станицы Пресновской были атаман Архип Муганцев, благочинный отец Виссарион, мировой судья Селиверст Лиходзеев и пристав Касторов.

За хлебосола старый полковник не слыл: мешала скупость, и гостей принимал он у себя редко. Но закусить и выпить в компании был не дурак. Однако, встретившись после долгой разлуки с единственным сыном и с племянником, старик вдруг раскошелился и поразил неслыханной расточительностью всех присутствующих. Стол ломился от различных закусок, шампанского и доброй дюжины бутылок редких коллекционных вин.

За столом становилось все шумней и оживленней. Разговор между мужчинами мало-помалу стал приобретать тот подчеркнуто серьезный и, несмотря на кажущуюся логичность, беспорядочный характер, который сопутствует первой стадии опьянения.

Побагровевший от подбородка до выбритой головы Аркадий вдруг начал умолять Наташу позволить ему рассказать вслух какой-то несколько вольный армейский анекдот.

— Ну, позволь, сестрица. Честное слово, ничего особенного. Казарменный фольклор. Ребенок ты, что ли? Слава богу, невеста! — говорил Наташе Аркадий.

— Оставь, Аркадий. Не желаю слушать анекдотов, требующих женской цензуры. Слышишь, я рассержусь...— обрывала Наташа брата.

— Эх, сентиментальное воспитание! Вот что значит степное имение. Киргизы. Азия. Провинциальная гимназия...— брезгливо морщась, иронизировал с упрямством пьяного человека Аркадий.

— Ну хватит. Не надо. Брось, Аркадий!— пробовал остановить его Алексей Алексеевич.

— Нет. Извиняюсь. Я расскажу. Обязан рассказать. Да-с. Обязан...— упрямо твердил Аркадий, тупо глядя на сестру.

— Отлично. Рассказывай. Только я буду вынуждена в таком случае оставить вас, господа,— сказала Наташа. И она резко поднялась из-за стола.

Аркадий схватил ее за руку.

— Ну, не сердись же, Наташенька. Не надо. Не буду. Ей-богу, молчу. Молчу. Молчу, сестра,— выпалил скороговоркой Аркадий, прикрывая ладонью собственный рот.

— Не уходите...— тихо попросил Наташу Алексей Алексеевич.

Наташа подняла на Стрепетова свои холодные, странно потемневшие глаза и медленно, словно завороженная, вновь опустилась на стул.

Старый Скуратов, наполнив бокалы искрящимся коллекционным вином, предложил тост за армейских офицеров.

И неведомое вино соблазнило даже Наташу. Она охотно приняла из рук отца наполненный бокал из дымчатого хрусталя и впервые в жизни, поочередно чокнувшись со всеми гостями, пригубила его, пристально посмотрев при этом на Стрепетова. Вино Наташе на вкус не понравилось: густое, как сусло, вяжущее рот, терпкое. И едва пригубив вино, Наташа поспешно отставила бокал в сторону. Но она с удовольствием смотрела, как кипели в массивном хрустальном сосуде каскады золотисто-огненных искр, как играли, дробясь в нем, неправдоподобно яркие краски и отблески...

Иное дело — шампанское! Наташа пила его с передышками, небольшими глотками. Пила и чувствовала, как приятный озноб овладевал телом. Потом понемногу стали неметь, точно примороженные, кончики пальцев и странно тяжелели, становясь совсем чужими, руки и ноги, а к пылающим вискам будто кто-то прикладывал холодные льдинки. Но, выпив незаметно для себя самой полбокала, Наташа вдруг ощутила, как вместе с ознобом разгорался внутри нее, буйно плясал, подступая к сердцу, веселый огонь. Уже ярко пылали щеки и точно сквозь марево смотрели на окружающих блестящие глаза.

Полковник в расстегнутом кителе, грузный, хмельной и потный, сидел на стуле верхом, как в седле, и, потрясая багровыми кулаками, горячо доказывал сыну:

— Как старый солдат, я утверждаю, что успех любого сражения решает только кавалерия. Да-с. Храбрый командир и эскадрон лихих кавалергардов — вот ключ к блестящим решениям любой операции. Все зависит от умелого маневрирования и стремительных кавалерийских маршей.

— Устарелое представление, папа,— покровительственно похлопывая отца по плечу, говорил Аркадий.

— Ну нет, извините. Я знаю. Знаю. Опять ваш брат начнет меня просвещать насчет этой самой вашей техники и умелой организации тыла. Слышал. Старая песня. Да-с, милостивые государи... А вы читали блестящие мемуары Фердинанда Фожа? В чем усматривает он, скажем, причины поражения французской армии во время франко-прусской войны, которая закончилась миром, перекроившим карту Европы?.. В чем? Отвечаю, господа офицеры. В бездарном управлении войсками со стороны тогдашнего французского командования...

— Добавь, папа: и в отсутствии лишнего эскадрона кавалергардов...— ввернул в тон полковнику порядком захмелевший Аркадий.

— Правильно. Совершенно верно изволили заметить, господин сотник,— горячо подхватил старик.— Прошу не иронизировать. Да-с. Если хотите, то и в отсутствии лишнего кавалерийского эскадрона. Ибо известно, что очень часто этот самый лишний кавалерийский эскадрон может решить судьбу всей армии.

— Знаю, знаю, папа, почему ты так ратуешь за кавалерию,— сказал Аркадий, и тонкие губы его искривила улыбка. Он не любил своего отца за скупость, и теперь, захмелев, решил поиздеваться над стариком. Аркадий отлично понимал, о чем мечтал старый полковник, тревожась якобы за боеспособность русской армии, и потому посоветовал:

— А знаешь, папа, говорят, война нынче неизбежна. А при войне — все карты в твои руки. Почему бы тебе не снестись с военным министерством и не послать рапорт с рецептом на спасение России?

— А что же ты думал?! И снесусь. Я, господа, все девять казачьих полков на Горькой линии в кратчайший срок на стремена поставлю... Конечно, само собой разу-

меется, пусть мне спустят сначала из военного министерства сообразный с порученным делом кредит.

— Вот уж чего там другого, а кредита-то я тебе, папа, на месте военного министра не доверил бы,— сказал Аркадий.

— Вот как?! То есть... отчего бы это, сотник? — опешил старик.

— Очень просто. Боюсь — проворуешься, папа...

— Ого! Однако неважного же вы мнения насчет родительских способностей, сотник! Не ожидал. Не думал...

— Нет, отчего же неважного? Наоборот...

— Ошибаетесь, сударь. Ошибаетесь. Да-с. На сей счет в министерстве за меня могут быть абсолютно спокойны. Я шесть казачьих эшелонов на Горькой линии строевыми лошадьми снабдил. А в отчетах перед войсковой управой пока еще, бог миловал, не напутал.

— Ну еще бы! У тебя же всегда была тут, папа, чистая работа! — насмешливо воскликнул Аркадий.

— Так точно. Опыт, сотник. Опыт!

И когда разговор полковника с сыном начал обретать все более враждебный и взаимно издевательский характер, грозя под конец перейти в прямой скандал, на выручку пришла Милица Васильевна. С помощью драбанта Авдеича она выволокла на террасу граммофон и завела первую попавшуюся под руки пластинку. Из огромного оранжевого рупора грянули звуки печального и торжественного вальса:

Тихо вокруг. Ветер туман унес.
На сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез.

Гости умолкли. Замолчали и оба Скуратовых — старый и молодой. Молчал, задумчиво покусывая мундштук, и Алексей Алексеевич Стрепетов. Притихла в кресле и Наташа. Утомленная, печальная и от этого еще более похорошевшая, она сидела, полусмежив веки, изредка поглядывая на Алексея Алексеевича. Непривычное возбуждение, охватившее ее в минуты первого опьянения, сменилось теперь усталостью, ощущением слабости и теплоты, приятно разливающейся по всему телу.

Пусть гаолян вам навевает сны!
Спите, защитники русской земли,
Отчизны родной сыны!..

Каждый из присутствующих по-своему воспринимал эти знакомые, горько волнующие слова и звуки печального вальса. В каждом воскресали свои воспоминания. Одному вспоминались пустынные сопки Маньчжурии. В глазах другого вставал знойный, ветреный день, пыльная степная дорога и далекий, стремительно уходящий в безлюдные просторы смерч. Старому Скуратову представился вдруг Петербург лета 1913 года, парад лейб-гвардии гусарского полка на Семеновском плацу, высокие чопорные кареты и белые кители императорской свиты.

И только у одной Наташи не вызвала эта музыка ничего, кроме странной тревоги и каких-то смутных, мучительно неясных желаний. Она не знала, что ей, собственно, хотелось. Может быть, надо было тотчас же вскочить с кресла и убежать от этих людей бог весть куда, а уединившись, дать простор беспричинным горячим девичьим слезам. А впрочем, может быть, было бы лучше подойти сейчас к Алексею Алексеевичу, посмотреть доверчиво, открыто и просто ему в глаза, а еще проще и лучше сказать приблизительно так: «Милый, милый Алексей Алексеевич! Разве вы не видите, разве вы не чувствуете, что я, кажется, люблю вас? Да. Я, кажется, люблю вас. Вы хороший и добрый. Вы совсем не похожи ни на моего отца, ни на моего брата. Вы — умница. У нас с вами, понимаете, совершенно одинаковые мысли. Какое это странное совпадение, не правда ли?.. Не смейтесь, я же ведь еще ничего не знаю. Я не знаю, можно ли мне любить вас. Я еще не понимаю, за что вас любить. Но я не хочу оставаться больше без вас в этой усадьбе. Я не хочу потому, что мне было всегда здесь плохо одной, без вас, и будет еще хуже теперь, когда вы снова уйдете со своим эшелоном. В тысячу раз хуже. Не перебивайте меня. И не отговаривайте, если я убегу вслед за вами. Куда? Не все ли равно куда? Я убегу вслед за вашим эшелоном. Я совсем неплохо держусь в седле. Однажды отец похвалил меня за посадку и подарил мне настоящее кабардинское седло. Если хотите, я пойду вместе с вами в строю. Нет, я сама не понимаю, зачем я все это вам говорю. Я ничего не понимаю. Алексей Алексеевич. И мне ничего не объяснить вам. Ничего».

Так готова была сказать и мысленно говорила уже в эту минуту Наташа Скуратова Алексею Стрепетову. Но,

едва подняв на него глаза, она тотчас же устрашилась своей решимости. А минуту спустя, сославшись на головную боль, Наташа поспешно удалилась с террасы.

Между тем граммофон умолк. Перепивший Аркадий, откинувшись всем корпусом на спинку венского стула, задремал. И станичный атаман Муганцев решил воспользоваться этой минутой для делового разговора с атаманом отдела.

— Ваше высокоблагородие! — обратился к полковнику Муганцев, почтительно приподнявшись со стула.— Позвольте мне спросить вас о том, как вы изволите расценивать инцидент с убитым на днях киргизом?

— Какой инцидент? Какой киргиз? — точно очнувшись от забытья, спросил полковник, тупо глядя на багровое лицо станичного атамана.

— Позволю напомнить вашему высокоблагородию,— продолжил Муганцев,— что мною был подан на днях на ваше имя соответственный рапорт о происшествии на урочище Узун-Куль...

— Ах да, рапорт?.. Припоминаю... припоминаю... Помоему, господин атаман, не следует придавать значения этому обоюдному побоищу с киргизами.

— Убийство азиата, ваше высокоблагородие, может осложнить положение. По слухам, в аулах назревает волнение. Это тем более неприятно перед предстоящим визитом на Горькую линию наместника Степного края, акмолинского генерал-губернатора Сухомлинова,— проговорил пониженным голосом станичный атаман, теперь уже вытянувшись перед полковником в струнку.

— Не знаю, станичный. Не думаю,— откликнулся полковник, зевая.

— Осмелюсь заверить вас, ваше высокоблагородие, что азиаты крайне возбуждены.

— Возбуждены?! А что казаки? Слава богу, мы не бедны с вами силой. А шашки, а плети — на што?! Командируйте, батенька, одну лихую сотню с плетями в аулы, и вот вам полный порядок. Совершенно не понимаю, чем вы так озабочены, господин станичный,— бодро крякнув, сказал полковник.

— А как же насчет убитого азиата, ваше высокоблагородие?— осведомился Муганцев.

— Што как? О чем разговор? Киргизы его, надо думать, предали земле. Стало быть, и вам волноваться нечего...

— Но они могут возбудить уголовное дело против станичников. Тем более что убийство-то произошло при не совсем благоприятных для наших станичников обстоятельствах...

— Бросьте, бросьте, господин станичный. И слушать не желаю. И думать об этих печенегах не хочу,— брезгливо отмахнувшись от станичного атамана, проговорил полковник. И он, поспешно наполнив бокалы какой-то огненной смесью, предложил Муганцеву тост за здоровье линейных казаков.

Они чокнулись. Но полковник, не успев пригубить своего бокала, ошарашенно вытаращил бесцветные маленькие глаза на появившегося в дверях крайне взволнованного драбанта.

— Ты што?!— с тревогой спросил его старый Скуратов, почувствовав неладное.

— Разрешите доложить, ваше высокоблагородие,— пробормотал запыхавшийся драбант.— Беда. Барымтачи напали на косяк ваших отгульных коней и угнали их в степь.

— Что? Что ты сказал?! Как — барымтачи?! Как — угнали! Ты в своем уме, старый дурак?— крикнул побледневший полковник.

— Так точно. Угнали косяк лошадей. И ишо хотели подпалить на нашей заимке скирд сена. Сейчас оттуда наш табунщик Касымка верхом прискакал. Лица на нем нету. Двух слов азиат с перепугу связать не может...— отрапортовал драбант.

— Где он?! Давай его сюда!— приказал полковник.

Через минуту в дверях террасы показался рослый немолодой казах в рваном бешмете, едва прикрывавшем его худое, бронзовое от векового загара и грязи тело. Грубо толкнув казаха кулаком в спину, Авдеич встал позади него и свирепо шепнул ему:

— Докладывай по артикулу...

Но казах, выпрямившись, как в строю, неумело вытянув руки по швам, молчал, глядя своими черными глазами на полковника.

Очнувшийся в это мгновение Аркадий Скуратов, устремив дикий, хмельной взгляд на казаха, вдруг сказал:

— Ага. Вот кому с удовольствием я дам в морду!

— Что случилось на заимке? Что ты молчишь, дурак, отвечай!— прикрикнул на казаха полковник.

— Косяк лошадей угнали,— вымолвил наконец казах.

— Кто угнал?

— Не знаю. Барымтачи, полковник,— ответил казах.

— Ага. Барымтачи, говоришь. Твои тамыры? Твои сородичи? Правильно?— спросил притворно спокойным голосом Аркадий Скуратов. И он, стремительно поднявшись со стула, вдруг бросился на казаха и со всего размаха ударил его.

Глухо охнув, казах покачнулся, но устоял на ногах. Тогда Скуратов вновь размахнулся, норовя ударить его вторично. Но в это время вскочивший с кресла есаул Стрепетов ловко перехватил на лету руку молодого Скуратова и властным жестом отстранил его от казаха.

Произошло минутное замешательство. Все притихли. Старый Скуратов судорожно передернул плечами. Он брезгливо отшвырнул наотмашь скомканную салфетку и застегнул китель на все пуговицы. Замерли, повскакав со стульев, и все гости. Оба офицера стояли теперь друг против друга в таких позах, точно они ждали чьей-то команды, чтобы броситься друг на друга. Спекшиеся, ребячески припухшие губы есаула Стрепетова были полуоткрыты и слегка искривлены гримасой не то страдания, не то негодования. Не спуская своих больших, чуть косивших от гневной решимости глаз с молодого Скуратова, Алексей Алексеевич негромко сказал:

— Вы это бросьте. Я не позволю этого!

Бледное, одутловатое лицо Аркадия Скуратова нервно перекосилось.

— Ах, вот как?! Надежный защитник, вижу, нашелся у степных номадов. Браво, браво, есаул!— сказал он с усмешкой.

— Я никогда не дам в обиду простых смертных людей, кем бы они там ни были — русские или киргизы,— с вызывающей твердостью проговорил Стрепетов.

— Подобная филантропия не делает чести армейскому офицеру.

— Стало быть, разные у нас с вами понятия об офицерской чести, сударь!

— Да-а... При таких разговорчиках я бы на месте высшего воинского начальства тебе, есаул, не только сотни, но и казачьего взвода не доверил.

— Зато мне мои казаки доверяют, и я горжусь этим,— с достоинством отпарировал Стрепетов.

— С нижними чинами заигрываешь?

— Не заигрываю — уважаю в рядовом казаке человека.

— Ясно. Отца-командира из себя корчишь!

— Я не балаганный актер. Не забывайтесь, сотник!

— Юпитер, ты сердишься?.. А между тем это ведь в твоей, кажется, сотне, коей ты командовал в Верном, пятеро казаков под полевой суд угодили?

— Так точно. Было такое. Но я и сейчас на своем стою. То были лучшие мои казаки. Вся их вина в том, что они научились думать...

— Горе будет Российской империи, есаул, если наше казачье войско научится думать!

— А я, впрочем, уверен, что дело к этому и идет, голубчик.

— То есть к чему? Договаривай.

— Я уже сказал, к чему...

Между тем полковник, быстро оценив обстановку, прикрикнул на драбанта:

— А ты что, старый дурак, глаза вылупил? Уведи этого подлеца отсюда вон. В завозню его. Под замок. А там — разберемся!..

И Авдеич, вытолкнув с террасы казаха, осторожно прикрыл за собою дверь.

Тогда, придя наконец в себя, старый Скуратов, деланно улыбаясь племяннику, проговорил:

— Ну, бросьте, бросьте, господа офицеры. Не хватало еще, чтобы вы у меня подрались здесь из-за этого печенега... Прошу, господа, к столу. Пир еще не закончен. И вообще все это пустяки. Никуда мои лошади от меня не уйдут. Угнали один табун, возвратят — два. Стоит ли из-за таких пустяков волноваться?— философски заключил старый полковник. И он широким и властным жестом пригласил растерянных гостей к столу.

Все присутствующие, покорно повинуясь жесту хозяина, снова заняли за столом свои места. Полковник налил трясущимися руками бокал вина, предложил тост за здоровье всех присутствующих и выпил свое вино с закрытыми глазами, как пьют отраву — жадными, порывистыми, злыми глотками.

Выпив вино, хозяин и гости сделали вид, что никто из них не заметил исчезновения есаула Стрепетова. Но разговор за столом уже не клеился. Заведенный вновь граммофон охрип, и звуки бравурного марша, вырывавшиеся

из оранжевой трубы, теперь уже никого не трогали и не волновали...

А глубокой ночью, когда порядком подвыпивший станичный атаман Архип Муганцев воротился на тройке саврасых в станицу, его встретил около правления школьный попечитель Корней Вашутин.

— Беда, восподин атаман!

— Што опять за новости?!— с тревогой спросил Муганцев, на мгновенье трезвея.

— Разбой, ваше благородие.

— Снова киргизы?

— Так точно. Сено жгут в степи. Одного их джигита скрутили. В крепость доставили. Што прикажете делать с ним?

— Ага. Одного скрутили? Вот и отлично. Запереть подлеца в амбар. Да бить у меня с умом, чтоб никаких следов не оставить. Понятно?

— Так точно. Все ясно,— ответил атаману попечитель. И он, лихо козырнув Муганцеву, побежал выполнять наказ атамана.

18

Верстах в трех от станицы, на берегу большого горько-соленого озера, стояли, горбясь почерневшими крышами, корпуса салотопенного завода. Осенью 1913 года на станичном базаре скоропостижно скончался дряхлый хозяин завода — немец Альфред Гаутман. Скоро его доверенный, тучный и несловоохотливый Фриц Гарнер, бесследно скрылся со старшей дочерью покойного заводовладельца, уродливой, высокой и плоской Эльзой. А глухая вдова заводчика продала за баснословно дешевую цену полуразрушенное предприятие курганскому мещанину с двойной фамилией — Хлызов-Мальцев. Об этой сделке в станице ходили самые разноречивые толки. Одни утверждали, что бежавшая с доверенным Эльза похитила тридцать тысяч отцовского капитала и на такую же приблизительно сумму ценных бумаг, а родного отца отравила эссенцией. Другие уверяли, что немцы занимались шпионажем, получили волчьи билеты, а полусумасшедшую старуху заставили подписать купчую под дулом револьвера. Новый владелец завода станицу не интересовал. Но скоро к нему привыкли, и станичники мало-помалу начали принимать на сходках Венедикта Павловича

как станичного старожила. Новый хозяин полукустарного завода оказался более предприимчивым и деловым человеком, чем немец. Вскоре завод, не дававший больших прибылей, был перестроен Хлызовым-Мальцевым на большую вальцовую мельницу со слесарными мастерскими. Венедикт Павлович выписал откуда-то из Центральной России пятерых слесарей и механиков. Один из этих рабочих, резко отличавшийся от товарищей своей неуклюжей, медвежьей походкой, сразу же получил у станичников странное прозвище «Салкын». В станице скоро узнали, что Салкын — мастер на все руки. И казаки валом валили к нему, испытывая большую нужду в ремонте сенокосилок, сеялок, самосбросов и другого сельскохозяйственного инвентаря.

Спустя некоторое время в станице прошел слух, что Салкын переоборудовал на мельнице топку, благодаря чему мощный мельничный двигатель будет теперь работать не на нефти, а на навозе.

В один из воскресных дней владелец мельницы Венедикт Павлович Хлызов-Мальцев, явившись на сходку в станицу, торжественно объявил:

— Господа станичники! Вы имеете полную возможность разбогатеть. Покупаю у вас навоз — по пятаку воз.

Казаки, удивленные и обрадованные легкой наживой, тут же, сбросившись по гривне, выпили на радостях ведро водки. Затем, окружив Венедикта Павловича, они долго качали его, кричали «ура» и лезли к нему спьяна целоваться.

Егор Павлович Бушуев, вернувшись с этой сходки домой подвыпившим, собрал всю свою семью и, прослезившись от умиления, объявил:

— Назьмом торговать, сынки, начинам. Вот до чего додумались умные люди. А все — Салкын. Голова! Золотые руки!

А на другой день, чуть свет, потянулись на мельницу из станицы вереницы телег и бричек, груженных навозом. Возили навоз и Бушуевы. Поправившийся от легкого ранения Яков работал с особым воодушевлением, за четверых, быстро нагружая навозом бричку за бричкой. С увлечением работал и Федор.

В сумерках, когда Федор привез на мельницу последнюю бричку навоза, к нему подошел Салкын и попросил подвезти его до станицы.

— С полнейшим удовольствием. Садись. В кой миг домчу,— весело сказал в ответ ему Федор.

И, усевшись рядком в бричку, они поехали в станицу. Федор и в самом деле хотел было припугнуть задремавших на ходу лошадей, но Салкын придержал его за руку и сказал:

— Не надо, станичник. Куда торопиться? Успеем доехать. Пусть лошади отдохнут. А мы с тобой перекурим да погутарим.

И Федор, придержав лошадей, ответил:

— Ну, а коли так, то потчуй меня папиросами...

— Пожалуйста, закуривай,— сказал Салкын, протягивая Федору тощую, как соломинка, папироску.

Закурили. Долго ехали молча. Вечер был тихий, светлый, месячный, располагающий к раздумью. Помолчав, Федор спросил наконец Салкына:

— Ты что же, сам дальний будешь?

— Как тебе сказать? Пожалуй, да. Дальний. Я из-под города Тулы,— ответил Салкын.

— Мастеровой, стало быть?

— Выходит, так...

— Добро мастеровому жить на свете...

— Это почему же?

— Ну как — почему? Не наше дело — в земле, как кротам, всю жись рыться.

— Не знаю, как кому. А казакам, по-моему, жить куда вольготнее.

— Тоже не всем и не каждому.

— Вот как?! Это почему же?

— Очень просто. Хорошо тому казаку, у которого скота полный двор и от хлеба амбары ломятся...

— Так, так...— задумчиво проговорил Салкын.— Стало быть, и средь вашего брата не все живут одинаково?

— Ну ишо бы все одинаково. Возьми меня. Я десять лет из работников не вылазил. Десять лет чертомелил на добрых людей. А теперь вот осенью в полк уходить и в долги залезать по уши...

— Как же так?

— А вот как. Коня строевого купить — двести рублей выкладывай. Оно можно было и подешевле лошадь найти, да атаман отдела Скуратов не дозволит. Не возьмешь коня в его табунах, все равно забракует. Ну, конь конем. А к коню-то ишо и седло, и шашка нужны, и вся

протчая амуниция. А ведь это все в золотую копеечку въедет.

— Зато земли у вас много,— загадочно улыбаясь, сказал Салкын.

— А на кой мне эта земля? Мой надел родитель на пять лет в аренду отдал за гроши. Пока я служу в полку, из этой земли разночинцы все соки вытянут. Вернешься со службы, и сеять не на чем. Не на чем, да и не на ком. На одном строевике не много напашешь. Вот и выходит, што из полка да снова в работники...

— Да-а. Незавидная жизнь получается,— сказал со вздохом Салкын.

— Куда там — завидная! Слезы одне... А тут вот ишо с азиатами дружба наших станишников не берет.

— Это из-за чего же? Опять из-за земли, что ли?

— Какой из-за земли! Не в земле соль... Слыхал небось, как недавно ихнего джигита наши ухорезы уложили. А все, можно сказать, из-за твоего хозяина.

— Как же так — из-за моего. А мой хозяин причем?

— А притом, что казачки ему киргизское урочище за три ведра казенки пропили.

— Не зевают, смотрю, господа станичники!— сказал с усмешкой Салкын.

— Правильно. Не зевают ермаковцы. Смелы они на разбой. А чуть что — прячутся за нашу спину.

— Это за чью же — вашу?

— А за нашего брата — за соколинца. За беднейшего казака.

Помолчав, Салкын многозначительно произнес:

— Да, дружок. Вижу я, парень ты с головой. Со своим умом. Со смыслом.

— Это ты к чему?— спросил, не уразумев последних речей Салкына, Федор.

— Да вот вижу, что ты всерьез думать о житье-бытье можешь. И это мне в тебе нравится.

— Ну, не знаю. Ничего особого я тебе как будто бы не сказал,— смущенно пробормотал Федор.

— Особого ничего. А интересного много...— все тем же многозначительным тоном произнес Салкын.

Они вновь замолчали, раскурив по новой папироске. За разговором путники не заметили, как въехали в станицу. И Салкын, на ходу выпрыгнув из брички, сказал Федору:

— А ты вот что, дружок, заглядывай как-нибудь ко мне вечерком на мельницу. Найдем, о чем погутарить.

— Благодарствую. Не обходи и наш дом — всегда гостем будешь,— откликнулся из темноты Федор.

Так, не сказав в этот вечер ничего как будто значительного друг другу, Федор с Салкыном расстались почти друзьями.

19

Проникновение первых русских людей в казахские степи относится к восьмидесятым годам шестнадцатого века. Это были боевые дружины ратников, коим доверено было, согласно царевой грамоте, окончательно «подвести непокорных кочевников под высокую царскую руку». Ермак, разгромив в прииртышской битве Кучума, не добил его. И некогда грозный татарский хан с остатками потрепанного своего войска, как свидетельствует об этом знаменитый сибирский летописец Михайло Ремезов, «утече тогда на калмыцкий рубеж Ишима, где и стал живяше сокрыто и омерзительно пакостише русским и ясачным людям зельне». Этим «калмыцким рубежом Ишима» и явились плодороднейшие степные просторы казачьих станиц, возникших позднее на Горькой линии.

В 1598 году боевые дружины русских казаков окончательно разгромили и покорили бывшее Кучумское царство. Сам Кучум, бежав в южную глубь ногайских степей, погиб. Но кровопролитные битвы за эту богатую рыбой, солью и зверем землю не затихали потом на протяжении почти двух столетий. Так, вскоре после бесславной гибели татарского хана русским воинам пришлось сражаться с ногайцами, у которых нашли себе приют сыновья грозного татарского властителя — Канай и Алей. Затем на завоеванные русскими дружинниками степные рубежи хлынули с юга несметные полчища диких джунгар. Они стали грабить ясачных татар и опустошать при набегах воеводские остроги русских людей, охранявших обширные, завоеванные ими владения. И только вспыхнувшие вскоре среди джунгарских орд междоусобицы помогли России удержаться в орбите покоренных владений. Когда же в долине Иртыша и Ишима был открыт принятый за слюду алебастр, сибирский генерал-губернатор князь Гагарин донес Петру I о необходимости воздвигнуть в завоеванном крае несколько военных укреплений. Царь незамед-

лительно откомандировал сюда для этой цели три тысячи конных и пеших войск под командованием бригадира Бухгольца, кои, прибыв на место, вскоре и заложили основание сначала Омской, затем Семипалатинской и Усть-Каменогорской крепостей.

В 1752 году генерал Киндерман построил на правом берегу Ишима крепость Петра и Павла — нынешний Петропавловск. В этом же году Киндерман воздвиг и целую цепь укреплений, земляных городищ, маяков и редутов, что пролегли близ горько-соленых озер от Яика до Иртыша. И линия этих военных укреплений была названа Горькой. К этому времени значительная часть кочевников Средней Орды уже признала над собой власть России, и русское правительство стало проявлять заботу об организации оседлого населения в воздвигнутых форпостах. С этой целью и было образовано в 1808 году линейное Сибирское казачье войско. Правительство наделило военных колонизаторов землей, жалованьем, фуражом и продовольствием. А спустя лет двенадцать казаки с Горькой линии захватили все окрестные степи от Петропавловска до Кокчетава, от Акмолинска до Каркаралов, завершив этим первый тур военной колонизации Россией бывшего Киргиз-кайсацкого края.

Первые военные колонизаторы края были и первыми его земледельцами. В 1753 году командир всех сибирских пограничных линий генерал Киндерман, желая удешевить продовольствие подчиненных войск, приказал ввести казенное хлебопашество. А через год после киндермановского приказа на Горькой линии были уже организованы так называемые казенные пашни. Из шестисот линейных казаков, снабженных из казны земледельческими орудиями, каждый обязан был засевать ежегодно по три десятины ржи и по три десятины ярицы. Однако казенное или, как его называли позднее, «палочное» хлебопашество большой пользы не принесло. Вместо ожидаемого урожая в сам-одиннадцать — двенадцать, казаки получали только сам-три. Затем дело пошло еще хуже. Почти ежегодно командиры линейных крепостей доносили Киндерману о том, что «во многих местах был великий недород за жарами и морозами, а в некоторых укреплениях и семена едва возвратились». Таким образом, казенный хлеб обходился значительно дороже привозного. Этого хлеба не хватало не только для пропитания линейных войск, но и самих хлебопашцев. Только в 1770 году «па-

лочное» хлебопашество на Горькой линии было отменено.

Спустя пятьдесят лет после отмены сенатом казенного хлебопашества прибывший в линейное укрепление генерал Капцевич ввел общественные войсковые пашни. От киндермановских казенных пашен общественные отличались тем, что казаки, засевая положенные по приказу сто двенадцать десятин ржи и овса на эскадрон, стали пользоваться теперь известной нормой урожая.

Но время было на Горькой линии тревожное. Линейным земледельцам то и дело приходилось превращаться в воинов. Часто в полдень неожиданно грохотал над редутом выстрел ядерной пушки, и казаки, тотчас же побросав свои немудрые сошки в бороздах, в мгновение ока слетались под свои пробитые вражьими стрелами боевые знамена. И над крепостью гремела боевая походная песня:

Чу, не в нас ли палят?!
Не идет ли супостат?
Не в поход ли идти нас заставляют?!
Вдруг мелькнул белый флаг
У высоких палат
Удальца-молодца атамана.
Живо стройся в ряды —
Атаман едет сюды,—
Предстоит нам поход небывалый.

А спустя полчаса, сомкнувши свои боевые колонны, уходили казаки в конном строю от линейных редутов в глубинную степь на очередное усмирение немирных своих соседей.

...Лет семьдесят тому назад щеголеватый акмолинский почтмейстер Филарет Сухоруков заштемпелевал в присутствии губернаторского письмоводителя Аникея Сувалкина и отправил в далекий Петербург с фельдъегерем особо важное, строго секретное письмо за сургучной печатью губернаторской канцелярии. Это был увесистый казенный пакет, адресованный в личные руки императора. А месяц с лихвой спустя царь Александр III, вскрыв упомянутый пакет, нашел в нем всеподданнейший отчет на свое имя, подписанный великолепным, тонким, изящным росчерком степного генерал-губернатора Казнакова. Наместник Степного края писал царю:

«Положение степных областей требует особого внимания. Со времени принятия киргизами русского поддан-

ства успехи, сделанные оными в гражданственности, весьма ничтожны. Попытки же перехода инородцев к земледелию также не заслуживают внимания. Между тем доколе киргизы будут одиноко совершать в пустынных пространствах степей огромные орбиты своих кочевок, вдали от русского населения, они останутся верноподданными лишь по названию и будут числиться русскими только по переписям. Сопредельные же с ними по Горькой линии казаки по малочисленности своей не могут принести оному делу большой пользы, но сами поголовно обучились киргизскому наречию и переняли некоторые, впрочем безвредные, привычки кочевого народа».

Мысли эти были высказаны акмолинским генерал-губернатором царю Александру III в канун второго тура уже не военной, а крестьянской колонизации Киргиз-кайсацкого края. Отчет Казнаковым был послан в 1875 году, через пятнадцать лет после окончательного завершения военной колонизации. Россия к тому времени уж продвинула свои границы до Туркестана, и нужды в приумножении боевых сил линейного казачества здесь уже не ощущалось.

Тяжелые это были времена для казаков Горькой линии. Правда, правительство щедро наградило их землей — по тридцать десятин на служивую душу. А для того чтобы превратить былых воинов в примерных и мирных хлеборобов, оно шло на разные льготы для них и ссуды. К тому же под боком были даровые рабочие руки казахской бедноты, да и земля родила из года в год не то что в старину — на славу. Но, невзирая на все эти явные блага, примерных земледельцев из линейных старожилов не выходило. Не помогали тут ни грозные губернаторские приказы, ни многословные проповеди гарнизонных попов. Казаки явно отлынивали от непривычной и тяжкой для них земледельческой работы. Издревле свыкшиеся с боевой, полной тревог и лишений, но зато вольной походной жизнью, они не в силах были изменить своему нутру и превратиться по высочайшему повелению из воинов в хлеборобов. Романтика былых сражений и навсегда ушедшая в прошлое полная увлекательных приключений пора — все это не давало покоя хмельным от вольности казачьим душам. Вот почему не сбылись благие надежды правительства, и линейные воины не превратились, согласно приказам, в земледельцев.

Тогда генерал Казнаков и поднял перед императором вопрос о втором туре гражданской колонизации края, предложив Александру III открыть доступ в доселе запретные казахские степи для переселенцев из губерний Центральной России. Но, получив казнаковское донесение, Александр III не очень-то поспешил с ответом. И только спустя четырнадцать лет, в июле 1889 года, Петербург откликнулся наконец на акмолинские предложения. В это время в России было обнародовано «высочайшее уведомление» о том, что отныне акмолинские степи объявляются открытыми для вольного крестьянского переселения. Был на исходе девятнадцатый век. Но Россия уже успела насчитать за это пока еще не полное столетие сорок голодных лет. Со страшной закономерностью каждые два-три года страна терпела неурожай, за которым следовал голод. Если в начале столетия в центральной полосе империи одновременно голодали по шесть и по восемь губерний, то в сороковых годах минувшего столетия их было уже восемнадцать, а в девяностых — шестьдесят.

Вот почему, прослышав о том, что Петербург открыл доселе замкнутые на двенадцать засовов ворота в далекую хлебородную степь, десятки тысяч изголодавшихся на родине, отчаявшихся мужиков тотчас снялись с родовых насиженных мест и тронулись в неведомые акмолинские степи. По тернистому, по каторжному пути шли в те годы переселенцы, колеся по градам и весям обширной Российской империи. История дореволюционного переселения российских мужиков в казахские степи — это целая поэма страшных, почти неправдоподобных бедствий, неисповедимого народного горя, вынести которое был способен только один русский мужик.

Особенно усиленный наплыв переселенцев в акмолинские степи начался с девяностых годов прошлого века и продолжался вплоть до первой мировой войны. Летом 1890 года на территории Акмолинского края скопилось свыше семнадцати тысяч никуда не причисленных переселенцев. Тамбовские, курские, пензенские мужики наводнили все казачьи станицы. Они блуждали по Горькой линии в тщетных поисках пристанища. Уездные власти, не видя возможности как-нибудь устроить новоселов и опасаясь волнений и эпидемий, употребляли все силы, для того чтобы выдворить переселенцев за пределы степного генерал-губернаторства.

В грозную осень 1890 года только девятьсот пятнадцать семей из семнадцати тысяч переселенческих душ, мечтавших найти в казахских степях обетованную землю, были с грехом пополам определены на земельные участки. Поземельно-устроительные партии селили пришельцев где попало: то в безводной степи, то на непригодных для пашен солончаковых почвах. Переселенцы, не имевшие возможности «позолотить ручку» начальникам поземельно-устроительных партий, через год снова вынуждены были сниматься с отведенных для них участков и трогаться в поисках новых, более пригодных земель. Судьба же нигде не приписанных новоселов была еще ужаснее. Очутившись к зиме без крова, без куска хлеба, без расколотого гроша за душой, тысячи бесприютных семей кружились в окрестной степи, бродили по линейным казачьим станицам. Но казаки, видя в новоселах врагов, посягающих на священную линейную землю, и чувствуя в них опаснейших конкурентов в земледелии, не только не давали приюта обездоленным мужикам, но гнали их вон из станиц. Измотанные бесконечными скитаниями, отчаявшиеся и изголодавшиеся переселенцы вынуждены были искать защиты в пустынных степях, у затерянных в них редких зимовок кочевников. Однако казахи, сами вытесненные с прежних богатых угодий, не могли сочувственно относиться к русским новоселам. Аткаминеры, влиятельные степные князьки и баи натравливали казахскую бедноту на блуждающих по степям бездомных русских крестьян; и национальные, и классовые отношения обретали здесь самые острые формы.

Нет, негде было приклонить голову в этом просторном краю затравленным пензенским мужикам, попавшим под перекрестный огонь национальной, сословной и классовой ненависти. На суровом чужестранном ветру, под проливными дождями ютились они в жалких своих шалашах и, простужаясь и голодая, равнодушно умирали здесь среди глухих дорог, цепляясь окостеневшими пальцами за жестокую, неласковую к ним землю.

20

По широкому пыльному скотопрогонному тракту тянулась бесконечная вереница прикрытых лохмотьями переселенческих повозок. Тощие, худые, как скелеты, лошаденки брели, едва-едва переступая ногами по жест-

кой, утрамбованной конскими копытами дороге, почти с человеческой тоской косясь на придорожные овсы и травы. Скрипели давно не мазанные колеса телег на деревянном ходу. Дымились загорающиеся еловые и сосновые оси. Тупо поникнув, брели за повозками оборванные, загорелые, пыльные мужики и бабы. Звучал над степью безысходный, глухой детский плач.

А встречные казаки, гарцующие на откормленных лошадях или важно восседающие в легких пролетках, не сворачивая с дороги, орали:

— Эй вы, Расея!

— Желторотые!

— Кацапы!

— Вороти в сторону. Ослеп, подлец, што казаки едут!

— Это тебе, дядя, не лапотная твоя Расея...

— Вот и именно. Не дома — в сибирском войске находитесь!

— Чего, варнак, зенки-то выпялил? Казаков не видал? Сворачивай в сторону, пока я из тебя твой чалдонский дух не вышиб!

— Вороти, вороти, сукин сын, с дороги, пока я по твоей спине плетью не съездил.

Дряхлый мужик в лаптях, с давно не чесанной, скатавшейся комом седой бородой, в пояс кланяясь встречным станичникам, тянул:

— Подайте, Христа ради, родимые. Девять ден во рту крохи не было. Смилуйтесь, господа хорошие...

— Бог подаст, дядя!

— Проезжай подальше в степь. Там, слышь, калачи пшеничные в ковылях растут.

— Пряники вяземские на березах вешаются.

— Там кисельные берега, молочные реки!..— кричали, издевательски похохатывая и размахивая руками, встречные господа станичники.

Спешившись с лошадей и пролеток, казаки окружали оробевшего новосела и, брезгливо хватая его за лохмотья, продолжали орать, как всегда, норовя перекричать друг друга:

— Эх вы, дармоеды, туды вашу мать!

— Путешественники — пупы набок!

— На даровые хлеба пришли...

— Казаки за эту степь своей кровью басурманам пла-

тили, а вы чем будете с нами расплачиваться — вшами да гашниками?

— Блинов, язви их, захотели!

— Мы накормим!

— Лихо станет!..

— Масло другим местом пойдет!..

— Чего на их смотреть, воспода станишники, всыпать им плетей — и в расчете!— кричал, свисая с седла, Пашка Сучок, воинственно размахивая плетью.

Вахмистр Максим Дробышев, схватив дряхлого мужика за грудки, закричал:

— Ты зачем, сукин сын, на Горькую линию прешь? Отвечай мне кратко. Зачем на чужую казачью землю хайло пялишь?

— Мы — не сами. Не по своей воле, господа казачки. Мы по выправленной бумаге суды пришли...— лепетал перепуганный насмерть мужик.

— Я тебе, желторотый чалдон, покажу бумагу. Я тебя проучу, как на чужое добро пасть разевать!— сатанея от злобы, кричал вахмистр Дробышев под одобрительные выкрики станичников.

А группа мужиков, встретившись на дороге со станичным атаманом Архипом Муганцевым, сорвав с голов драные, выцветшие картузы и шапки, упала перед ним на колени. Просительно вытянув вперед руки, новоселы все разом заговорили:

— Не дозвольте, вашескородие, души погубить...

— Ослобоните нам мужика...

— Чего? Чего это они бормочут?— презрительно покосившись в сторону стоявших на коленях мужиков, спросил у фон-барона Пикушкина Архип Муганцев, точно и в самом деле не понимал русского языка новоселов.

— Не могу знать, восподин атаман. Видать, насчет какого-то своего желторотого буровят,— ответил ему фон-барон.

А мужики продолжали хором твердить:

— Смилуйтесь, вашескородие. Защитите. Не дайте в обиду...

— В чем дело? Говори кто-нибудь один толком,— сказал атаман.

— Докладывай вот ты, долговязый, все по порядку восподину станишному!— крикнул фон-барон, ткнув рукояткой плети в тощую, настежь распахнутую грудь моложавого на вид, но болезненного лицом новосела.

И мужик, не поднимаясь с колен, сказал, умоляюще глядя на гордого и недоступного станичного атамана:

— Казаки у нас старика плетьми отодрали.

— Ну и што ж тут такого? Отодрали, значит, за дело,— сказал атаман.

— Отодрали и в каталажку закрыли...— продолжал мужик.

— Ну и это, стало быть, заслужил,— спокойно отвечал атаман.

— Что вы, бог с вами, вашескородие! Старик совсем обоюдный. Безобидный старик. Он в дороге всю свою семейству потерял и последнего коня вчера лишился. Пала лошадь у старика. Куда деться? Вот и отправился он по станице попросить кусок хлебушка, Христа ради. А казачкам не пондравилось это. Ну и давай они его пороть...

— Знам мы, как вы ходите по нашим дворам и канючите Христа ради. Знам. Можешь не рассусоливать,— оборвал мужика Муганцев.

— Богом клянусь, вашескородие, старик ни в чем не повинен. Честный старик, ему чужого не надо,— клятвенно скрестив на груди руки, продолжал твердить новосел.

— Все вы честные, пока смотришь за вами в оба,— сказал атаман и, повернув своего коня, поскакал прочь.

В сумерках, возвращаясь на бричке с пашни, Егор Павлович Бушуев заметил вдали целый хоровод костров и сказал сидевшему позади него Якову:

— Смотри-ка, никак, новоселы табор разбили.

— Видать, они...

— Давай подвернем. Не подыщем ли там работника по дешевке.

— И то дело, тятя. Подвернем, пожалуй.

И старик свернул с дороги к озеру, на берегу которого разбили табор переселенцы.

— Бог помощь!— сказал Егор Павлович, подъезжая к мужикам, сидевшим вокруг костра.

— Милости просим, господа казачки.

— Милости просим, ваше степенство,— прозвучало несколько голосов в ответ.

— Вижу, никак из Расеи?

— Оттудова.

— Дальние?

— А с разных концов. Всякие есть. Есть из-под Пензы, есть курские, есть из Рязани.

— Далеконько вы забрались...— проговорил, сочувственно вздохнув, Егор Павлович.

— Што говорить — на край света. Сами ничему не рады. Не успеешь разминуться с горем, а тут беда на пути. Вот так и крутимся по белому свету,— сказал один из новоселов, глядевший на пламя костра.

— Обманули нас. Вот какая притча,— пробасил здоровенный мужик, не совсем ласково посмотревший при этом на Егора Павловича.

— Как обманули, кто?— спросил Яков.

— А все те же самые господа начальники. Управа наша, растуды ее в пух и прах. Смутили народ, насулили, набрехали с три короба, а мы и сорвались сдуру, поплелись за тысячи верст за хорошей жизнью. Вот и приехали — хоть стой, хоть падай.

— Стало быть, много соблазну было?— спросил Егор Павлович.

— Соблазну — хоть отбавляй,— откликнулся все тот же здоровенный мужик.— И земля, говорили, в ваших краях, как масло, и травы, мол, по брюхо.

— Правильно говорили,— с живостью отозвался Егор Павлович.— Правильно. Земли в нашем краю невпроворот. Сплошной чернозем. Правильно. Не земля — масло. Пятьсот пудов одна десятина родит, ежели обработать ее руками да по́том своим полить.

— Там чего другого, а поту-то у нас хватит,— прозвучал недобрый бас мужика.

И Егор Павлович, подозрительно покосившись на этого мужика, вдруг ощутил в себе приступ беспричинного озлобления к новоселу.

— А ты вот что, дядя,— сказал Егор Павлович.— Чем языком-то впустую молоть да бог знает на кого жаловаться, айда-ка лучше ко мне в работники.

Мужик, не спеша повернувшись к Егору Павловичу, присмотрелся к нему и, помешкав, спросил:

— К тебе? В работники, говоришь?

— Ну да, в работники...

— А што у тебя за работа?

— Известно — што. Сенокос подходит. Страда не за горами. Словом, дело найду.

— Да это мы понимаем. Без дела у тебя сидеть не будешь... А какая цена твоя будет?— спросил мужик, продолжая в упор смотреть на Егора Павловича.

— Цена по работе. Обыкновенная цена. Харч мой.

Одежда твоя. Проробишь до покрова, три целкача накину. А может, ишо и опойковые сапоги пожертвую.

— Во как. Три целкача?! Ну, порадовал ты, брат, меня, казачок. Благодарствую,— ехидно усмехнувшись, сказал мужик, презрительно повернувшись спиной к Егору Павловичу.

— Хе. А тебе што, мало?

— По моим рукам — да. Мало.

— Вот ты какой! Любопытствую, што у тебя за руки. Небось золотые?

— Золотые. Моим рукам цены нет,— вполне серьезно и веско сказал мужик.

— Это почему ж так?

— А потому, что этими руками я из такой жилы, как ты, в один бы момент дух выжал.

— Што? Што он сказал, чалдон?!— крикнул Егор Павлович, обращаясь при этом почему-то к присмиревшему за его спиной Якову. И, суетливо заработав вожжами, старик с таким остервенением хлестнул кнутом по своим лошадям, что перепуганные кони, рванувшись вперед, едва не сбили зазевавшегося на пути мужика и понеслись что есть мочи по степной целине в сторону станицы...

Выскочив на дорогу, Егор Павлович придержал лошадей и, оглянувшись на мерцавшие позади костры переселенческого табора, сказал не то Якову, не то самому себе:

— Ну, баста. Подальше надо держаться от таких работничков... Упаси бог...

И, прикрикнув на лошадей, старик погнал в станицу. Теперь он уже не оглядывался назад и ни словом больше не обмолвился с сыном.

21

После приказа станичного атамана о приведении в боевую готовность казачьей сотни казаки свели своих строевых и полустроевых лошадей в общий табун и пустили их на выпас, неся поочередно наряды на пастбище. Дошла очередь дежурить по табуну и до Федора. И Федор, оседлав бойкого саврасого меринка, выехал во второй половине дня в степь.

Неторная, заросшая повиликой дорожка увела его от шумной станицы в глубь отгороженной цепью стороже-

вых курганов безмолвной и тихой степи. Сдерживая застоявшегося строптивого своего конька, ехал Федор не спеша, шажком. Поднявшись на гребень крутого увала, огляделся. Перед ним простиралось до самого горизонта безбрежное море ковылей, а вправо волновалось забуревшее поле ржи. Зыбкие опаловые волны катились по густым и рослым хлебам, бесследно, как в море, исчезая вдали. А на другом конце поля Федор заметил гарцевавший в хлебах конный косяк. Это были кобылицы, пущенные в отгул казаками станицы. Оставленные пастухами на попечение властного и жестокого диктатора — чистокровного производителя с ущербленным полумесяцем на вороном лбу,— кобылицы вольно и дико озоровали теперь во ржи.

Пришпорив коня, Федор ринулся на рысях к вольному табуну и долго потом не без удовольствия гонялся за кобылицами по степи, пока не сбил их в косяк. Кружась около табуна, Федор погнал его в глубь целинной степи, где паслись полковые кони.

Строго покрикивая на разбалованных, вздорных и легкомысленных кобылиц, Федор начал мало-помалу входить в роль табунщика, подчиняя их своей воле. Это вскоре, кажется, начали понимать даже самые озорные и непокорные кобылицы, почувствовавшие по властным окрикам и выразительным интонациям нового их табунщика, что с ними не шутят. А Федору и в самом деле было приятно гоняться за какой-нибудь капризной, одуревшей от воли маткой и ощущать свою нераздельную, деспотическую власть над табуном, похожим на вольную птичью стаю. Как закадычный друг его гармонист Трошка Ханаев был без ума от всех собак, так и Федор души не чаял в хорошей конской породе. Он любил этих полудиких, зачастую не знавших запряжки красавиц за обворожительную прелесть их молодого, сильного, прекрасного тела, за пленительную стройность их резвых, тонких, точеных ног, за блеск огненно-рыжей, золотисто-гнедой или карей масти. Нельзя было не залюбоваться и их черным, как вороново крыло, с белым чулком на задней ноге производителем. Этот необыкновенно сильный, упрямый, самонадеянный и обидчивый властелин табуна держал себя в окружении блестящих своих пленниц крайне независимо, нагло и вызывающе. Нервный, всегда настороженный и отзывчивый на малейший шорох и звук, он то и дело прислушивался к чему-то и прядал острыми,

как мечи, ушами. Он вдвойне был хорош в минуты этой тревоги со своей великолепной, гордо поставленной головой и с похожими на горящие угли дьявольскими глазами.

Любуясь капризно пощипывающими на ходу траву лошадьми, Федор не заметил, как достиг берегов густо заросшего камышами озера, где паслись и строевые кони. Это было громадное займище — скопление больших и малых озер, покрытых дремучими, труднопроходимыми, а местами и совсем недоступными человеку зарослями гигантского тростника, чакана и черной осоки. Многочисленные, в беспорядке раскиданные по камышиным дебрям плесы и чистые водоемы кишмя кишели рыбой, а тростниковые джунгли славились неслыханным изобилием гнездующей в этих местах птицы. По окраинам займища неслись на камышиных наносах тысячи нетребовательных к теплу и уюту гагар. А там, в глуби этих мрачно-зеленых джунглей, выводила своих серокрылых птенцов осторожная казара, хоронились в девственных камышах со своими несмышлеными выводками чуткие гуси, и полоскались в зеркальных заводях лебеди.

Днем и ночью стоял над зеленым царством этих таинственных камышей тот сложный, торжественный и животворящий шум, какой могут поднимать в эту пору только одни прославляющие свое изобилие вольные птицы. Независимая и равнодушная к человеческим судьбам жизнь торжествовала в мире пернатых. И казалось, никакие социальные бури, мировые катастрофы и потрясения не вольны были властвовать над этой жизнью, столь же вечной, прекрасной и загадочной, как и весь окрестный мир...

Припекало солнце, поднявшееся в зенит. Покрикивали беспокойно кружившиеся над плесом чайки. Вкусно похрустывала прибрежная сочная травка на молодых зубах лошадей. И Федор, сидя в седле, щурясь от солнца, полудремал. Глядя прищуренными глазами на эту полную золотистого света, тепла и покоя окрестную степь, на зеленые джунгли займища, он продолжал сейчас думать о Даше. Сложное чувство глубокого душевного покоя и в то же время глухой, беспричинной грусти полонило его. Он ощущал физическую близость ее горячих, трепетных рук. Он слышал запах смутно золотящихся, плывущих из рук волос и видел перед собой ее большие, чуть-чуть трепещущие ресницы. Все его впечатления от близости с

Дашей были теперь настолько свежи и остры, что он, оглушенный и сбитый с толку такой почти неправдоподобной полнотой счастья, теперь даже тяготился им, что-то, похожее на тоску, тревожило и травило неспокойное его сердце...

«Зачем я женюсь на ней?»— впервые трезво подумал Федор. Он удивился, отчего такого вопроса не задал он себе раньше. Ведь через два месяца он должен будет расстаться с Дашей на целых пять лет полковой службы в далеком Верном. Что будет с Дашей? Как она будет жить без него одна среди чужой для нее семьи? Уживется ли она со сварливым, горячим на руку свекром? Как будут относиться к ней после его ухода в полк в его семье — мать, брат и сестра? И, размышляя об этом, Федор не находил на свои вопросы ответа.

«Сдуру, сдуру, должно быть, погорячился я с нашей свадьбой!»— с горечью подумал Федор, ощутив при этом новый прилив беспредельной нежности к Даше. Но, вспомнив о первой их встрече в степи под дождем, о своих сумасбродных речах, о глазах девушки, полных тепла и света, Федор вновь просветлел и тотчас же позабыл о минутном горьком раздумье насчет дальнейшей своей судьбы.

Наконец, точно очнувшись от короткого забытья, Федор подтянул опущенные поводья и, привстав на стременах, огляделся вокруг в надежде заметить вблизи какие-либо признаки местонахождения табунщиков. Присмотревшись попристальнее к окрестности , он действительно увидел вдали шалаш, покрытый осокой. Подъехав к этому шалашу, Федор крикнул:

— Эй вы, орлы! Хватит дрыхнуть!

Но на его окрик никто не откликнулся. Федор хотел было спешиться и заглянуть в шалаш. Но в это время в шалаше раздался глухой старческий кашель. И через минуту, к великому своему удивлению, Федор увидел перед собой выглянувшего из шалаша деда Богдана.

— Здорово бывал, служивый,— сказал Богдан. И старик, с несвойственной его возрасту резвостью вынырнув из шалаша, выпрямился во весь рост перед Федором.

— Ах, это ты, Богдан?! Здравия желаю, здравия желаю...— смущенно забормотал Федор.— Я ведь думал, что здесь пастухи от солнца хоронятся. Тут, смотрю, на твой дворец напоролся.

— Милости прошу к нашему шалашу. Спешивайся. Чайком попотчую. Погутарим,— сказал Богдан и тотчас же начал хлопотать около погасшего костра, прилаживая к козлам закопченный чугунный чайник.

— Благодарствую, дед. Чайком, пожалуй, не худо побаловаться,— ответил Федор, спешившись.

Расседлав и оприколив коня, Федор прилег в теневой стороне шалаша и, полусмежив глаза, стал наблюдать за Богданом.

Высокий, гвардейского роста, кряжистый старик был в просторной холщовой рубахе, подпоясанной широким, украшенным медной оправой азиатским кушаком. Такие же просторные и тоже холщовые штаны на нем были заправлены в полосатые шерстяные чулки, а ноги обуты в кожаные, сработанные на степной манер башмаки. Сбоку на кушаке у него висел запрятанный в грубый сыромятный чехол большой, похожий на меч, кондратовский нож, какие носили только степные коновалы и ярмарочные торговцы съестным. На обнаженной голове старика покоилась корона похожих на мыльную пену уцелевших кудрей, а развернутая, как знамя, борода имела пепельно-серебристый оттенок. Лицо же все было покрыто будто налетом лебяжьего пуха,— так наглухо от бровей и до щек заросло оно чистой старческой сединой, украсившей в дни заката этого сильного на вид и прочно державшегося на родной земле человека.

Приглядываясь к Богдану и к окружающей обстановке, Федор не смог сдержать невольной улыбки при виде валявшегося вблизи шалаша старинного дробового ружья — «фузеи». Это было очень древнее по модели, непомерно огромное курковое ружье с чудовищно длинным и толстым стволом, покоившимся на грубо обработанном из березового корня ложе. По размеру, по внешнему виду и весу это оружие было чуть ли не близко к мелкокалиберной пушке. И ни один из молодых казаков в станице не понимал, как можно было стрелять из такой оказии, если только за один заряд богдановская «фузея» пожирала около четверти фунта пороху и полные пригоршни крупной, как картечь, дроби. Молодые служивые казаки не раз подшучивали над Богданом, что пальба из такого дробовика немыслима, мол, без специально приставленного к нему расчета...

Так подшучивала над заветным стариковским оружием станичная молодежь. А вот он, обладатель этого уди-

вительного ружья, приняв его в юности в дар от родителя, беспечно орудовал им всю долгую жизнь, успешно охотясь на птицу и зверя. Правда, охота эта даром ему не давалась. Почти что за каждый выстрел из прадедовской «фузеи», как правило, платился Богдан ушибами, контузией, увечьями и синяками. При каждом выстреле Богдана отбрасывала дьявольская сила отдачи на косую сажень от засады, и старик даже терял иногда сознание. Не один раз находили станичники его полумертвым вблизи охотничьих скрадков, раскинутых по берегам окрестных озер и займищ. А однажды — был и такой грех — сорвавшимся при выстреле курком деду снесло начисто правое ухо, а струей пороховых газов, ударившей через капсюльную щель, спалило половину роскошной дедовской бороды, которой по праву очень Богдан гордился.

Но, несмотря на опасность и риск, сопряженные с пальбой из этой ручной «пушки», невзирая на все пережитые физические страдания, контузии и даже увечья, расставаться с заветным дробовиком Богдан и не думал. Да и немыслимо было расстаться ему с таким ружьем, за один залп из которого он нередко собирал по озерным плесам до полусотни штук попавшей в зону его убийственного огня водоплавающей дичи! С трудом отдышавшись и придя в память после выстрела, Богдан долго потом колесил по озеру, собирая бесчисленные трофеи. Какой только птицы не собирал он с одного такого удара! Тут были кряквы и черняди, кулики и чирушки, лысухи и красноглазки,— словом, все обильное разнообразие царства пернатых: от золотисто-сизого селезня до белолобой гагары. Богдан с неделю отлеживался потом в шалаше, давая должный отдых старым костям и в то же самое время готовясь к новому залпу.

В станице Богдана видели редко. С первых дней вешней оттепели и до поздних осенних заморозков пропадал он в открытой степи, скитаясь по окрестным займищам и озерам. Летом давали Богдану приют рыбачьи шалаши и любые кусты прибрежного ракитника. А зимовал он в собственной избе — тоже очень древнем деревянном сооружении.

Жил старик бобылем, не желая идти ни к одному из трех своих сыновей, обзаведшихся семьями и домами. Не имея в хозяйстве ни скотины, ни животины, Богдан про-

мышлял заветным дробовиком. И нельзя было сказать, чтобы промыслом этим занимался старик из каких-то корыстных целей. Нет. Добычей своей Богдан никогда не торговал, бескорыстно раздавая подбитую птицу станичникам в дар налево и направо. Несмотря на преклонный возраст — ему подкатывало под семьдесят,— старик продолжал дорожить своей свободой и независимостью.

Федор, любуясь суетившимся возле костра Богданом и его не по годам проворными движениями, с грустью думал: «Нет, нашему брату такой старости не видать. Не такие времена. Не такие мы люди!»

А спустя полчаса, балуясь горячим, густым, как смола, чайком, Федор и Богдан сидели у догорающего костра и мирно беседовали.

— Смотрю я на тебя, дед, и диву даюсь,— сказал Федор с чувством искреннего восхищения здоровьем и силой Богдана.

— Это как так?

— Ну как же? Доживаешь седьмой десяток, а двух молодых за пояс заткнешь.

— Ах, вот о чем речь!.. Ну нет, и мое время, служивый, чую, уходит.

— Дай бог нам так бы провековать, как ты векуешь.

— Вам нет. Вам, брат, до меня далеко. Не дотянете.

— Это пошто так?

— А по то, что жила не та...

— Не пойму.

— Вашему брату и понять трудно.

— А ты расскажи, Богдан. Научи, как жить.

— Наука простая...

— Видно, водкой смолоду не шибко баловался,— сказал Федор.

— Это кто, я-то водкой не баловался?— удивленно, почти с возмущением воскликнул Богдан. — Правильно. Я ей не баловался, а всурьез занимался. Я в твои годы по четверти зараз на спор без закуски выпивал. Это теперь мне больше бутылки в один присест не осилить. А было время — с четвертью делать нечего. Я на ярманке в Куяндах полторы четверти выпил. А потом полез сдуру бороться со знаменитым кыргызским богатырем Балуан-Шолаком. И што ты думаешь? Взял его в замок и брякнул на обе лопатки. Правда, каюсь, что это только спьяна. Трезвым бы я против него не полез... Словом, не в водке, выходит, дело.

— В чем же, дед?

— Не знаю. Не могу объяснить,— признался Богдан.

— А не скушно тебе торчать одному как перст в степи целое лето?

— Откуда ты взял, что я один?! Совсем не один. В степях миру много.

— Ну, какой же тут мир? Вот торчишь в своем шалаше целый божий день и ни слова, ни речей по неделе не слышишь.

— А птицы — это тебе не мир?! А звери — это тебе бездушные твари?! Нет, служивый. Ежели есть душа у тебя, то ты и среди травы сам стеблем будешь. Я так понимаю.

— Это пожалуй, твоя правда, Богдан,— согласился Федор.

— То-то... А мне на людском миру иной час ишо потоскливей, чем в этом степу. Тут я — кум королю, брат — царевне. А в станицу другой раз придешь да послушаешь, что буровят на сходках воспода станишники,— жить становится неохота. А я жить люблю. Потому и помирать не собираюсь. Да разве мысленно мне помереть и расстаться с такой красотой навеки?!— сказал Богдан, поведя вокруг рукой, обращая внимание Федора на окрестную степь.

— Красота-то тут, дед, не ахти. Говорят, есть места покрасивше наших,— возразил Федор.

— Ну нет. Такого раю ни в одном краю света нет. Тут-то со мной не спорь. Я тебя больше видел всяких мест. Слава богу, поколесил на своем веку по нашей империи, побродяжничал,— тоном, не терпящим возражения, почти сердито проговорил Богдан.

— Ну и што? Неужели в Семиречье хуже, чем на нашей Горькой линии? Да там, говорят, от одних фруктов земля стонет. Там — арбузы с конскую голову. Винограду — невпроворот. Ни зимы, ни буранов.

— Вот то-то и оно, что ни зимы, ни буранов. Не край — последнее дело, ежли снегу на святках не увидишь... А ты знашь, што в твоих Семиреках ни травой, ни землей, ни деревом не пахнет? Вот уж где я бы помер давным-давно от тоски. Едва выстоял пять лет в полку. Чуть рук на себя по молодости сдуру не наложил. Чуть под полевой суд не попал — бежать собирался... Нет, ни в каких странах я тебе не жилец, ежли там нашей степью не пахнет. Ни рыбалки тебе в том краю, ни охоты. Вме-

сто дичи — одни бульдуруки,— презрительно махнув рукой, сказал Богдан.

— Это што за бульдуруки?

— А так себе шибздики, вроде наших куличков — ни пуха, ни мяса. На што рыба, и та в их речках не водится. А как же жить тогда там мне, степному человеку?! Нет, благодарствую. Видывал я теплые эти края. Меня теперь туда твоим виноградом не заманишь,— почти с ожесточением проговорил Богдан.

— А вот я на крыльях бы в теплый край улетел,— закрыв глаза, мечтательно проговорил Федор.— Надоело мне все тут, Богдан. Глаза бы мои на наших станичников не смотрели.

— А ты не смотри,— благоразумно посоветовал Богдан.

— Никуда, дед, не денешься. Приходится...

— Это чем же тебе станишники насолили?

— Многим,— уклончиво ответил Федор.

Помолчав, Богдан задумчиво проговорил:

— Неспокойная у тебя душа, вижу, служивый. Неспокойная. А вот это и хорошо. Мне такие люди по сердцу. Сам смолоду был таким. Понимаю... Ничего, придет и твое время. Сходишь ты вот в один поход, потрубишь пять лет в полку на чужбине и сам кое-чего без меня уразумеешь. Так-то, служивый,— заключил Богдан, не расположенный к продолжению разговора.

Не расположен был к этому разговору и Федор.

— Ну, бывай здоров, дед. Спасибо за хлеб, за соль, за беседу. А мне пора к табуну,— сказал Федор.

— Пора и мне фузею свою заряжать да скрадок оборудовать. Облюбовал я себе хороший плес. Чернедей — тучи. Решился сегодня выстрелить,— сказал Богдан, любовно разглядывая взятую в руки «пушку».

Распрощавшись с Богданом, Федор долго кружился верхом на своем коне вокруг мирно пасущегося в прибрежной осоке конского косяка и, временами удаляясь от него далеко в сторону, ездил шажком по окрестной степи, любуясь дремучими джунглями займища.

А в сумерках, спешившись возле плеса для того чтобы напоить коня, Федор столкнулся лицом к лицу с точно вывернувшимся из-под земли Салкыном. За плечами Салкына покачивалась двустволка, сбоку — ягдташ, битком набитый птицей.

— О, Салкын?! Здоров бывал!

— Здорово, станичник.

— Ты што, домой?

— Нет. Не думаю. Хочу дождаться утра. Хороший перелет открыл. На заре еще бы пострелять надо.

— Правильно. Переночуем вместе. Котелок у пастухов найдется. Дичатиной меня угостишь. Пошли,— предложил Федор, дружески касаясь рукой локтя Салкына.

— С премногим удовольствием. Пошли. Я не только тебя дичатиной угощу, а еще кое-чем покрепче,— весело сказал Салкын.

— Брось баловать?!— удивленно воскликнул Федор.

— Всерьез говорю. Я без шкалика охотиться не хожу. Это, брат, не охота — без рюмки водки...

— Ишо бы!

А часа через два, распив у костра салкыновский шкалик и закусив вареной дичатиной, Федор с Салкыном лежали бок о бок около шалаша и, не спуская затуманившихся глаз со звездного неба, продолжали разговор, начатый еще за ужином.

— Чудак ты, Федор. Определенно чудак. Вот что я тебе скажу по-приятельски,— сказал Салкын.

— Это почему же — чудак?— спросил Федор.

— А потому, что норов, я вижу, в тебе не казачий.

— Здравствуйте, я вас не узнал. Договорились,— обиделся Федор.

— Факт — не казачий,— повторил Салкын.

— Ну, это ты брось,— проговорил с глухим раздражением Федор.— У меня дед, слава богу, полным георгиевским кавалером был. При полном банту. Понял? Ему на полковом смотру все есаулы козыряли. И отец до старшего урядника дослужился...

— Согласен. Дед — кавалер. Отец — урядник. А тебе это, видно, не написано на роду. Не обижайся. Я тебе по-дружески сообщаю — не написано.

— Брось каркать. Мы — потомственные казаки.

— Не в этом честь, Федор...

— Вот как? Здорово ты толкуешь.

— Да, да. Не в этом, Федор.

— Больно грамотен ты, я посмотрю. Много шибко знаешь.

— Чего знаю, того не таю. И обижаться тебе на меня не за что,— сказал Салкын тепло и проникновенно.— Эх, Федор, Федор. Противоречивая, посмотрю я, твоя душа... Мечтаешь вот ты о Семиречье, о какой-то райской стране.

А ведь дело-то в конце концов не в стране — в людях. И потом ты гордишься своим казачьим сословием... А зря гордишься. Казаки думают, что только они настоящие люди, а все остальные — трын-трава. Одного ты понять не хочешь, что губит ваше сословие страсть до генеральских подачек и всяких сомнительных милостей государя. Вас, как маленьких ребят, всякими побрякушками да лоскутками тешат, а вы готовы и лоб за эти побрякушки и лоскутки разбить. Да и сам ты мне говорил, что не все казаки одинаковы. У одних от хлеба амбары ломятся, а другие с рождества до нового урожая зубами чакают. У одних скота полный двор, у других — хоть шаром покати. Правильно?

— Ну, правильно. Против этого я не спорую.

— А посмотри, как стесняет ваше казачество тех же киргизов.

— А чего на орду нам глядеть?! Земля-то ведь наша!— с неожиданным ожесточением вступился за станичников Федор.

— Откуда же она ваша?

— Оттуда. Вам, расейским, этого не понять. Мы тут землю собственной кровью у басурманов покупали.

— Вы?

— Мы... Деды и прадеды наши.

— Знаю, знаю и это. Вольные ратные люди с Дона и с Яика поселились когда-то на вашей Горькой линии. Хорошо. Правильно. Но почему же они считают себя хозяевами всей степи? А куда деться теперь российским переселенцам и тем же кочевникам, скажем? Вам что, тесно здесь? Земли не хватает?

— Если так матушка-Расея к нам валом попрет, так и не хватит.

— Мало тебе твоих тридцати десятин?

— Мне што. Не обо мне речь...

— А о ком же? О фон-бароне Пикушкине? О станичном атамане Муганцеве? Вот этим-то, может, и мало земли. А таким, как ты, ее за глаза хватит.

Федор молчал.

— Ты подумай о переселенцах, Федор,— продолжал после некоторой паузы Салкын.— Ведь народ за тысячи верст тащился сюда не от сладкой жизни на родине. А как его встретили здесь казаки? Видел, что делается в станицах? Хорошо это, по-твоему?

— Этого я не хвалю,— глухо проговорил Федор.

— Я думаю, что не хвалишь. Сам ты все это видишь. Сам понимаешь не хуже меня. Это ведь ты только из упрямства не хочешь сейчас со мной согласиться. А вообще парень ты — хоть куда. Одна беда — с грамотой у тебя не ахти. Но это дело наживное. Захочешь — подучишься.

— Поздновато,— мрачно, но уже примирительно сказал Федор.

— И это бубнишь из упрямства. Отчего же поздно? Я пятнадцати лет начал по букварю читать.

— Это пошто же так?— заинтересованно спросил Федор.

— По очень простой причине. Капиталу у отца не хватило в школу меня отдать. А вот когда я сам поступил на Тульский оружейный завод да стал зарабатывать себе на кусок хлеба, тогда и о грамоте пришлось подумать. И ничего. Не стыдился. Днем по двенадцать часов трубил на заводе. А ночью садился за букварь. И вот, как видишь, осилил не только один букварь... Я читаю теперь книжечки и потруднее. А если хочешь, то и тебе могу некоторые из этих книжечек показать. Хочешь?

— Не знаю... Почитал бы и я, ежели интересно. Читать-то я тоже могу. Зимой, бывало, целые ночи напролет старикам про Шерлок Холмса читал,— не без тщеславия заметил Федор.

— Ну, Шерлок Холмс — это чепуха,— сказал Салкын, улыбнувшись.

— А у тебя што, есть еще интереснее книжки?

— Кабы не было, не заводил бы с тобой речи об этом. Вот заходи ко мне как-нибудь на мельницу вечерком, мы с тобой почитаем. Я тебе кое-что расскажу. Не всем эти книжки читать можно...

— Вот как?! Интересно!

— Да. Очень даже не всем...

— А мне, стало быть, можно?

— Тебе — да. Тебе можно. Хоть ты и упрямый казак, а тебе я доверюсь. И промаху тут, сдается, не сделаю...

— Ну, насчет этого будь спокоен. Я могила. Ежли дело тут потайное — умру, ни слова никто от меня не узнает.

— Есть, приятель. Договорились,— сказал Салкын, и, нащупав в потемках руку рядом лежащего Федора, он крепко, по-дружески пожал ее.

А на рассвете, когда, очнувшись после недолгого за-

бытья, Салкын вскочил на ноги и, боясь прозевать утренний перелет, стал торопливо собираться в дорогу, проснувшийся Федор сказал ему на прощанье:

— Ну ладно. Ни пуха тебе, ни пера... А насчет нашего уговора не забывай. Я к тебе вечерком как-нибудь на огонек заверну.

— Жду. Жду, товарищ,— ответил Салкын, как всегда тепло улыбнувшись при этом.

22

В связи с бродившими на Горькой линии слухами о предстоящем визите наместника Степного края, наказного атамана линейных войск генерал-губернатора Сухомлинова, в станицах началась лихорадочная подготовка к возможному инспекторскому смотру сформированного перед походом эшелона молодых казаков, призванных на действительную службу.

В канун петрова дня открылась в степной стороне традиционная на Горькой линии конская ярмарка. Ежегодно в эти издревле облюбованные кочевыми народами места сгонялись из глуби окрестных степей тысячные конские косяки. И великая равнина глухо звенела от их некованых копыт. И от трубных звуков тревожного ржания полудиких, зачастую не знавших узды степных лошадей стонала земля, хоронились в камышовых джунглях окрестных займищ присмиревшие звери. На десятки долгих, как песни кочевников, чертом мерянных верст простиралось это необозримое торжище. Пыль, поднятая на скотопрогонных дорогах и трактах, вставала косой стеной и, клубясь под конскими копытами, плыла, поднимаясь кругами в заоблачные высоты. Словно в сорок тысяч бубнов били окрест — такой гул, не умолкая с утра до заката, висел над степью. И земля, содрогаясь от этих ритмических ударов, будто плыла из-под ног, как плывет она у захмелевших всадников, возвращающихся под вечер домой с веселой ярмарочной карусели.

Кого только не привлекало в пустынную степь это шумное и красочное торжище! Здесь ходили толпы крикливых и возбужденных, как дети, казахов. Метались, как угорелые, от коня к коню, от косяка к косяку, азартно пощелкивая кнутами, пыльные и шумные цыгане. Полисьи шустро и хитро шныряли в толпе тертые ярмарочные барышники и конокрады.

И только одни линейные казаки прогуливались здесь не спеша, степенно и важно, как на параде. Держась на особи от прочего ярмарочного люда, они бродили группами, равными примерно взводу, и, как правило, всегда блюли строгий строевой порядок — впереди шли, лихо поблескивая сединой, старики. За стариками — подтянутые, готовые к далеким походам, надменно улыбающиеся встречным девчонкам молодые служаки.

Вели здесь себя линейные старожилы, как наказные атаманы на армейском смотре. Без непристойной и подозрительной суетни, без присущей всему ярмарочному миру горячности,— деловито, строго и почти торжественно осматривали они приглянувшихся лошадей. А прицепившись, казаки отходили прочь, притворно равнодушные к окрикам барышников, прасолов и цыган. Торопиться станичникам было некуда, да и не к лицу. Ведь речь шла о выборе боевого друга молодому казаку. А строевого коня купить — не девку высватать. Уж кто-кто, а господа станичники, вдоволь показаковавшие на своем веку, знали толк в конской науке и в лошадином характере разбирались не хуже цыган, барышников и конокрадов. По одному только беглому взгляду на круп, на щетки, на постав конской шеи и головы мог безошибочно определить старый казак: годен ли такой конь для великих испытаний и боевой жизни, способен ли он пронести сквозь огонь и воду всадника и сможет ли сказать про него потом казак так, как говорится об этом в песне:

Мой конь болезни не боится,
Всегда здоров и громко ржет.
Ему на месте не стоится —
Копытом грозно землю бьет!

Вот такого коня, бродя в этот день с одностаничниками по ярмарке, и искал для Федора Егор Павлович Бушуев. Старики, сопровождавшие Егора Павловича, шли — как полагается — сомкнутым строем, и за ними следовали их сыновья, в числе которых был и Федор Бушуев. В отличие от цыган и конокрадов, станичники вооружены были кручеными армейскими плетями, а молодые казаки — шашками. Этого требовали неписаные ярмарочные порядки. Мало ли что может случиться в минуту решающего торга за строевую лошадь: то цыган сдуру цену начнет набивать, то какой-нибудь барышник со своей клячей привяжется — не отстанет.

А в таких случаях верная плетка с обнаженным клинком в секунду любое дело решить могут. Тут уже зевать не приходится — дело ярмарочное.

Теплый и ветреный день был близок к закату. Уже не так резво и лихо плясали под цыганами с утра хватившие по шкалику водки, но протрезвевшие к вечеру их хваленые рысаки и вышколенные иноходцы. Теперь уж трудно было заставить такую лошадь крутиться под всадником на одном копыте, взвиваться свечой в кольце прослезившихся от азартного рева ярмарочных зевак или стлаться в безумном карьере над вбитыми в пыль ковылями. Ни черта уже не получалось под вечер ни у опохмелившихся всадников, ни у отрезвевших лошадей.

Вот в такой час и встретил Федор Бушуев знакомого ему цыгана Яшку Черного. Яшка тащился, заметно поблекший и поникший, навстречу казакам, с трудом волоча за собой на поводу еще недавно отбивавшую под ним трепака саврасую клячу.

— Эй, цыган! Ты пошто рановато нынче пары спустил? Али весь завод у твоей кобылы вышел?!— насмешливо крикнул Федор Бушуев Яшке.

— Так точно, господин казак. Весь завод кончился. Погорел я на шкалике водки сегодня,— признался цыган без обиды.

— Худо твое дело, Яшка.

— Худо, худо, Федор. А почему худо — знаешь?

— Никак нет, Яша.

И цыган, приблизившись к Федору, горячо зашептал ему в самое ухо:

— Водку теперь подлецы хохлы в харчевнях водой разбавляют. Понял? Если бы ей, христовой лошадушке, выпоил я шкалик первого сорту, так ведь она бы подо мной целые сутки, как карусель, на одном копыте ходила. Не конь тогда — пламя под тобой, и сам ты такой — в момент сгореть можешь. Ты понимаешь, Федор, што значит водка с водой! Просто невозможно стало торговать из-за этих сволочей честному человеку!

— Подлецы, подлецы хохлы. Согласен с тобой, цыган,— сказал Федор, дружески хлопнув по плечу Яшку.

— Ну, куда же еще подлей. Сплошное нахальство,— с искренним возмущением сказал цыган.

Позубоскалив на ходу с Яшкой, Федор нагнал своих стариков и однослуживцев и, пристроившись к ним, снова

тронулся с ними, приглядываясь на ходу к лошадям и крутившимся вокруг них барышникам.

Длительное скитание по ярмарке утомило Федора. И, может быть, от усталости, а может быть, и от кружки залпом выпитой при магарыче водки,— бог ведает от чего, но овладело Федором тупое равнодушие ко всему на свете: и к великолепной вороной полукровке, на которой все время гарцевал у него перед глазами молодой сотник Скуратов; и ко всей этой беспорядочной ярмарочной суете, которую любил он до самозабвения в детстве.

И странное дело, даже к коню, которого разыскивали они с родителями целый божий день с таким рвением,— и к нему охладел Федор. Только об одном не мог он думать и сейчас без душевного волнения, без светлой волны нежности — о Даше.

Федор шел вслед за стариками в строю своих сверстников, все время поглядывая почему-то на то и дело попадавшегося ему на глаза молодого сотника Аркадия Скуратова. Поглядывая на сотника, Федор вспоминал, как Скуратов ощупывал на смотру переметные сумы, как он проверял привычным и ловким движением холеных рук прочность подпруг и чумбуров. И, представив это, Федор вдруг ощутил наплыв глухой нарастающей в нем злобы против Скуратова, он чувствовал такую к нему неприязнь, словно были они исконными врагами. Но какая же могла возникнуть вражда между ним, нижним чином, и офицером, если офицер этот не только не оскорбил его, Федора, а даже похвалил перед строем? Так, к примеру, произошло на предыдущем полковом смотру, когда сотник Скуратов в присутствии начальника эшелона Стрепетова расхвалил Федора за превосходное армейское снаряжение и, больше того, даже поставил его в пример перед более зажиточными и состоятельными казаками Ермаковского края. Это обстоятельство так растрогало Егора Павловича Бушуева, что он, прослезившись, поклялся перед одностаничниками приобрести для Федора такого строевого коня, которому могли бы позавидовать даже господа офицеры.

Греха таить нечего, по сердцу пришлись офицерские речи самому Федору. А теперь, может быть, просыпалась в сердце у Федора обида за своих оскорбленных Скуратовым одногодков, у которых было забраковано чуть ли не все снаряжение на первом смотру. Может быть, раздражала нижнего чина эта несколько по-барски

певучая и манерная офицерская речь. А впрочем, Федору ли было размышлять в такую пору о том, что именно раздражало его в Скуратове?! Не до этого было молодому казаку в дни, предшествующие походу, в дни недалекой разлуки с Дашей. И вообще, такое творилось у него на душе, в чем немыслимо было разобраться.

«Только бы скорее все это, к чертовой матери, кончилось!»— тоскливо думал Федор при мысли о предстоящем инспекторском смотре в присутствии наказного атамана линейного войска генерал-губернатора Сухомлинова. Непривычное, томительное безделье за все эти суматошные дни после приказа станичного атамана о переводе сотни на боевое положение угнетало Федора. А прощальные пиршества и бесшабашные гульбища с молодыми однослуживцами тоже утратили для него прелесть, после того как судьба столкнула его с Дашей. И только горячие слезы украдкой плакавшей по ночам перед разлукой с сыном старой матери, только они причиняли такую боль, что он готов был покинуть родительский кров как можно скорее. Скорей бы настал день похода! Молодые казаки истомились в ожидании неизбежной разлуки с тем, что стало для каждого из них вдруг близким, неповторимым и дорогим, чего не замечали они в пору уже уходящей в прошлое своей юности...

23

Во второй половине дня большинство одностаничников, с которыми бродили Егор Павлович и Федор Бушуевы, лошадей для своих сынов уже приобрели. Купленные строевые кони были сданы на попечение специально приставленным к ним коневодам, а казаки, распив оговоренный магарыч, следовали всем скопом дальше на поиски новых строевиксв.

Старики были уже навеселе и рядились теперь за облюбованного коня развязнее и рискованнее, чем утром, хотя присущего им разума, выдержки и природной осанки перед барышниками не теряли. Между тем довольные купленными строевиками старики, захмелев, так азартно расхваливали каждый своего, словно норовили перепродать их один другому.

И только Егор Павлович с Федором безучастны были к хвастливым спорам и возбуждению станичников. Омраченный безрезультатными розысками заранее облюбо-

ванной в байских табунах аткаминера Кенжигараева строевой лошади, старый Бушуев совсем загоревал к вечеру и упал духом. Исколесив за день не один десяток верст, он так и не находил ни приглянувшейся ему лошади, ни именитого в степной стороне ее владельца. И, крайне огорченный своей неудачей, старик, грешным делом, подумывал, что коня этого, видимо, перехватили у аткаминера подкараулившие его на дороге пронырливые барышники или, что еще хуже, маклеры старого Скуратова. И Егор Павлович совсем уже решил было, горестно махнув рукой, вернуться не солоно хлебавши в станицу. Но тут, где-то совсем рядом, в толпе казахов, новоселов и разночинцев прозвучал чей-то по-бабьи певучий изумленный голос:

— Ох, мать твою так! Вот это я понимаю — конь. Вот это — картина!

Насторожившись, Егор Павлович тотчас же увидел по правую руку от себя окруженного народом темного ликом знакомого всадника. Старик сразу же признал в нем аткаминера Кенжигараева и подал одностаничникам команду:

— За мной, воспода станишники! Окружай со всех сторон вершного восподина кыргыза! Не давай рта разинуть барышникам...

И станичники, встрепенувшиеся от командного окрика старика, ринулись за ним, как в атаку. На всякий случай трое из захмелевших молодых служак обнажили клинки, а старики подняли над головами плети.

— А ну, поберегись, воспода разночинцы и кыргызы. Дорогу казачеству!— прикрикнул Егор Павлович Бушуев.

И разноплеменная толпа пугливо шарахнулась в стороны, покорно расступилась перед казаками.

Окружив всадника, станичники с минуту неподвижно и молча любовались на тревожно пофыркивающую под ним лошадь. Это был жеребец получистокровного склада, со всеми внешними признаками присущей ему горячности, природного, чисто степного одичания и унаследованного от прародителя благородства. Превосходный постав гибкой шеи и красивой, с белой прошвой на лбу, искусно обточенной головы; развитый мускулистый затылок, сухие и строгие формы ног со слегка изогнутым упругим путовым суставом и длинной бабкой — все это

говорило о строевых качествах лошади, столь ценимых армией и служивыми казаками.

Если по силе порыва, по вспышкам энергии, по тонкости движений степной полукровный конь несколько уступает чистокровному, то зато он способен вынести такие боевые невзгоды и походные лишения, перед которыми никогда не устоят чистокровные экземпляры. Из истории Крымской кампании 1853—1856 годов было известно, что английская армия, имевшая в кавалерийском строю подавляющее большинство лошадей высококровной породы, потеряла их всех во время переходов и кровопролитных сражений на Крымском полуострове. И только немногие тяжеловесные лошади англичан, так называемые «першероны», продержались до конца кампании.

Казаки, разумеется, не подозревали о горьком опыте англичан, из которого впоследствии сделан был соответствующий вывод военными историками. Однако у станичников был свой, унаследованный от предков боевой опыт, и они смело руководствовались этим опытом при выборе строевых лошадей перед проводами своих сыновей в длительные походы.

Вопреки расчетам Егора Павловича Бушуева, строевик, облюбованный для Федора, с первого взгляда будто не нравился ему. Старик заметил, что Федор смотрел на коня несколько безучастными, равнодушными глазами. Но затем, приглядевшись к нему попристальней, он заинтересовался мастью лошади: она была светло-гнедая, золотистая. И эта мягкая, приятная на глаз окраска коня увлекла Федора, он смотрел на лошадь, уже не сводя с нее слегка прищуренных глаз.

Наконец, ощутив притаившуюся в зрачках своих сверстников глухую зависть, с которой глазели они на строевую полукровку, Федор вдруг проникся решимостью овладеть конем ценой любых средств. Правда, в строевых достоинствах лошади сам он как следует еще не разбирался. Он еще не знал толком, как знавали старики, ни значения ширины и длины конского предплечья, ни соразмерности в соотношениях берцовой кости и бедра. Он не знал еще, что от совокупности всех этих внешних признаков зависит строевая годность коня. Зато Федор почувствовал, что конь дорог, скорее всего, не породой, не складом, а скрытыми в нем внутренними качествами. Вот почему, внимательно присмотревшись

к коню, он немедля решил проверить его под седлом, в езде.

С трудом подавив в себе волнение, Федор решительно направился к всаднику. И аткаминер, без слов поняв намерение казака, услужливо спешился и, вручив ему крученный из конского волоса грубый чембур, почтительно отступил в сторону.

Приблизившись вплотную к коню, Федор осторожно взял его под уздцы, затем коснулся ладонью упругой, трепетной его шеи, ласково похлопал ладонью по широкой груди, коснулся пальцами морды и гривы, вдруг ощутил в себе такой прилив горячей любви и нежности к лошади, что едва сдержался от желания поцеловать ее теплые замшевые губы. Чуть дрогнув всем корпусом от прикосновения незнакомой руки, жеребец упруго перебрал передними ногами и, сбочив голову, строго и испытующе глянул на Федора блеснувшим под бархатными ресницами агатовым оком.

Тем временем старики, обступив жеребца, занялись обычным в таких случаях придирчивым осмотром не на глаз, а на ощупь. Поочередно берясь то за одну, то за другую тонкую конскую ногу и приподнимая ее на руке в полусогнутом положении, старики деловито заглядывали под раковину, под угол стрелки и словно пробовали на весу свинцовую тяжесть мглисто-голубоватого копыта.

Остерегаясь, как бы строптивый жеребец не ударил задом, соколинец Архип Кречетов осторожно приподнял пышный траурно-черный хвост коня и, бог весть зачем, осмысленно посмотрел даже под самую репицу. Затем, одобрительно кивнув улыбнувшемуся при этом Федору, Архип сказал:

— Конь несумнительный. При полном строевом артикуле. В форме. Так я его понимаю.

Станичный десятник Буря, подозрительно долго возившийся с осмотром горячих жеребячьих ноздрей, вдруг встрепенулся, как птица, и, с изумлением взглянув на стариков, почему-то вполголоса проговорил:

— Братцы, воспода станишники! Первый раз на роду подобну картину в конских ноздрях вижу. Дух у меня захватывает...

— Что за притча, восподин станишник?!— с тревогой и также вполголоса спросил его Егор Павлович.

— Тут не притча, а целое происшествие...— ответил Буря.

— Брось ты нужать нас, Буран.

— В чем дело?

— Докладывай кратко, коновал.

— Како тако опять там открытие Америки в конском храпу иcделал?— тревожно зашумели вокруг станичники.

— А тако открытие, што у этого жеребца по четыре продуха на ноздрю, воспода станишники, падат!— объявил торжественным голосом Буря.

— Врешь, варнак!— крикнул Трошка Ханаев.

— Богом клянусь, о восьми продухах жеребец,— сказал Буря, запальчиво перекрестившись при этом.

И старики, хором ахнув, присели от удивления. Уж кто-кто, а они-то понимали, что это значит. Шутка сказать — по четыре продуха на ноздрю!

— Воспода станишники! Братцы! Да ведь такому коню ни в бою, ни в походе цены не будет! — восторженно закричал Архип Кречетов, почему-то зажмурясь.

— Так точно. На таком коне скачи сотни верст — ни одышки у него, ни поту,— подтвердил фон-барон Пикушкин.

Федор, ничего не понимая в этих открытиях Бури, спросил стоявшего рядом отца с усмешкой:

— Што это они про продухи буровят, тятя? Да он что, двужильный, што ли?

— Не двужильный, а вроде этого...— ответил старик сурово.— Там сотню не сотню, а пятьдесят верст карьером на таком коне пролетишь, на выстойку его ставить незачем. Ты знаешь, у него весь жар из внутренней организмы скрозь эти самые продухи в ноздри выходит!

— Это же не конь, а паровик с клапанами!— крикнул, захлебываясь от восторга, довольный своей находкой Буря.

Между тем станичники до того были ошеломлены открытием Бури, что с минуту стояли как вкопанные. Затем, давя и опережая друг друга, они ринулись все разом к морде встревожившегося коня. Остервенело цепляясь в пылу горячки за поводья, хватая коня за нахрапник и под уздцы, старики поочередно принялись осматривать тревожно раздувающиеся, порозовевшие конские ноздри. Да. Так и есть, Буря не врал. Знатоки убедились в этом. Действительно, все восемь продухов

были налицо. Кто на глаз, а кто ощупью, но все станичники лично убедились теперь в неожиданном открытии. И, загоревшись небывалым азартом, старики навалились на Егора Павловича, подбивая его на немедленную покупку редкостного коня.

— А ну, крой, Павлыч. Бей, благословясь, по рукам с господином кыргызом да станови магарыч.

— Крой ва-банк, ежли капитал позволит.

— Рискуй, станишник...

— Правильно, сослуживец. Отчаивайся. Тут недосуг мешкать.

— Куда там мешкать! Не дай бог, цыганы в ноздри заглянут — с руками ведь такого жеребца оторвут,— сказал полушепотом фон-барон Пикушкин.

— Што говорить! Они, варнаки, любу красну цену сразу перешибут. В момент оставят казака пешим...— также полушепотом прошипел над ухом Егора Павловича Буря.

— Ну насчет «перешибут» — бабушка надвое сказала. Были б денежки в кармане — будут девушки в долгу! — заносчиво отозвался на подзадоривающие голоса одностаничников Егор Павлович.

Но подзадоривать его уже, в сущности, было незачем, а тем более теперь, когда старик воочию убедился, с каким нескрываемым восторгом смотрел на строевого коня Федор. А этого уже было вполне достаточно для того, чтобы, мысленно сотворив краткую молитву в честь Николая-угодника, осенить себя крестным знамением, а затем открыть торг.

Так Егор Павлович и сделал.

Вопреки ярмарочным правилам, старик на сей раз пренебрег даже непременной в таких случаях пробой строевого коня под седлом и сразу же после осмотра жеребца на месте приступил к сложным переговорам с надменным аткаминером о цене.

Между тем аткаминер Кенжигараев, окруженный группой степных аксакалов, волостных управителей и биев, стоял все время несколько поодаль от занятых осмотром коня станичников. Он, видимо, был уверен, что его жеребец таким покупателям будет не по карману, и потому не особенно тревожился за смотровый исход. Но теперь, заметив выступившего из казачьего круга покупателя, Кенжигараев тоже, в свою очередь, подался вперед и на вопрос Егора Павловича о цене ответил не

сразу. С присущей степному человеку медлительностью этот именитый и важный владелец полукровного жеребца сначала не спеша почесал, приподняв тюбетейку, бритую голову. Затем искусно сплюнул сквозь зубы в сторону и только тогда сказал с деланным равнодушием:

— Цена без запросу. Два ста с четвертной.

— Ого, крепко завернуто,— не то испугавшись, не то восхищаясь, сказал Егор Павлович и оглянулся на стариков.

— Недешево. Понимаю. Но цена, как говорится у русских, по товару, а товар налицо...— ответил на великолепном русском языке именитый владелец лошади.

— Товар товаром. Про товар спорить не стану. Товар, можно сказать, подходящий... Но вера у нас, восподин кыргыз, с вами разная, а ведь бог-то один. Под одним господом всем миром ходим...— начал было издалека Егор Павлович, не зная, как подступить к делу. Но, тут же сбившись и не сумев закончить своей сложной дипломатической мысли, он отрезал:— Бога ты, видать, не шибко боишься, восподин бай. Надо же, таку цену заломил и не охнул!

— На бога надейся, а сам не плошай. Так ведь, кажется, говорится у русских.

— Ну ладно, ладно. Как у нас ни говорят — все наше... Только вот что скажу, восподин кыргыз, нам с тобой попусту-то калякать здесь нечего. Ты давай говори мне делом.

— Я же чистым русским языком сказал, кажется. Моя цена без запросу.

— Стало быть, две с четвертной?

— В обрез.

— Без уступу?

— Ни копейки.

— Не раскаешься?

— Погожу.

Они замолчали.

Насторожились за спиной старика Бушуева одностаничники. Притихли и баи с белобородыми степными патриархами, стоявшие позади аткаминера.

Станичникам было уже ясно, что ни на какие уступки аткаминер не пойдет, а у их покупателя таких бешеных денег, разумеется, не найдется. По карману ли такой конь Егору Бушуеву?! Если бы даже старик, поддавшись соблазну, и решился из присущего ему

упрямства устоять перед этой неслыханной ценой и наградить полюбившимся конем сына, вряд ли он сумел бы расплатиться с каткаминером кредитными билетами на такую сумму.

Наступила минута крайне напряженного и очень тягостного для всех безмолвия. Тертые ярмарочные завсегдатаи и зеваки затаив дыхание ждали с секунды на секунду провала скандального торга. Скандал, как всегда, возникал со словесной перепалки между покупателем и владельцем. Затем — что часто бывало на ярмарках — он переходил в бранный ураган между многочисленными сторонниками того и другого; и нередко все это завершалось грандиозным побоищем, в котором больше всего перепадало казахам, новоселам и цыганам.

Насторожившиеся станичники мысленно готовы были уже к такому всеярмарочному бою, а некоторые из них даже и желали его. Старики, окружившие Егора Бушуева, крепко, до хруста в суставах, сжали в руках витые из таволги черни армейских плетей. А молодые служаки еще крепче держали в ладонях рубчатые эфесы шашек.

Но к огромному разочарованию ярмарочных зевак все вышло на этот раз по-иному. В эту решающую минуту Егор Павлович, оглянувшись на одностаничников, вдруг высоко занес над головой прямую, как меч, руку и, на полушаг приблизившись к аткаминеру, сказал:

— Ну, в добрый час. Рискую, тамыр.— И старик с такой яростью ударил своей пятерней по протянутой к нему ладони Кенжигараева, что именитый аткаминер пошатнулся. Удар двух ладоней, прозвучавший ружейным залпом, решил дело. И строевой конь Кенжигараева перешел в руки Егора Павловича Бушуева.

Под одобрительный гул и изумленные восклицания одностаничников принял Егор Павлович из рук Кенжигараева узаконенную на купленного коня расписку. Огласив во всеуслышание конский паспорт и сверив с конем обозначенные в расписке приметы, старик бережно свернул драгоценный документ и солидным жестом заложил его во внутренний карман потертого своего парадного мундира. Затем, не спеша, старик извлек из-за широкого опойкового голенища старательно завернутый в красный плат старенький, видавший виды бумажник и, поплевав на пальцы, принялся на глазах у всех отсчитывать кредитные билеты.

24

Федор, стоявший все время несколько поодаль от толпы, окружавшей его отца и аткаминера, занят был теперь обласкиванием строевика. Он уже скормил лошади половину пшеничного калача и кусок завалявшегося в кармане сахару. Конь с покорной доверчивостью тянулся умной мордой к новому хозяину. И Федору было приятно ощущать на ладони щекочущее прикосновение теплых, мягких, ласковых губ коня.

Забавляясь с конем и вполголоса наговаривая ему всякие ласковые слова, Федор насторожился, услышав позади себя знакомый, по-барски певучий голос сотника Скуратова.

— За мной, господа. За мной!— крикнул кому-то Аркадий Скуратов.

Обернувшись на этот оклик, Федор увидел сотника. В щегольской военной форме, гибкий и подтянутый, офицер не шел, скорее всего бежал, размахивая стеком, прямо на Федора. По пятам за Скуратовым следовало трое, по всем признакам, залетных городских людей в штатском.

«Что им от меня надо?»— с тревогой подумал Федор, машинально стиснув в руке волосяной чумбур. Затем он повернулся лицом к коню и сделал вид, что не заметил ни сотника, ни его спутников.

Между тем Скуратов тоже как будто не сразу заметил Федора. Явно взвинченный чем-то и необыкновенно возбужденный сотник еще более взволновался при виде коня, очаровавшего его и всех его спутников формой и мастью. Это обстоятельство, с одной стороны, и льстило Федору, но в то же самое время и встревожило его. Федору известно было, что Скуратов толк в лошадях знал и восхищаться конем зря, конечно, не стал бы.

— Нет, вы обратите внимание, господа, на удивительную гармонию форм и линий!— запальчиво проговорил Скуратов, скользя ладонью по атласному крупу коня и по подрагивающему его бедру.

— Да. Красиво, изящно...— неопределенно промычал один из трех его спутников, толстяк с потухшей сигарой во рту.

— Нет, нет, господа, я положительно влюблен в эту лошадь. Я положительно влюблен...— запальчиво твердил Скуратов.— А еще утверждают, что природа не тер-

пит совершенства. Болтовня. А это разве не пример воплощения классической красоты и полнейшего совершенства?!

— Эта лошадь напоминает мне толстовскую Фру-Фру из «Анны Карениной»,— сказал тот же полусонный толстяк.

— Извините, у Льва Толстого — кобыла, а это — жеребец!— возразил толстяку один из спутников сотника.

— Вот именно...— с живостью подхватил Аркадий Скуратов, хотя он никогда не читал «Анны Карениной» и не имел никакого представления о Фру-Фру.

— Нет, господа, конь недурной. Определенно, недурной...— опять промычал толстяк, приподнимая свои сонные веки.

— Да. Да. Да. Превосходный экземпляр!— с восторгом воскликнул Скуратов.— Собственно, если хотите — даже не конь. Это сплошной звук, господа. Понимаете — музыкальное произведение! Конечно, такой жеребец не годится для рыцарских турниров под лонжирным седлом. Но я, армейский офицер, ценю в нем прежде всего его очевидные боевые качества. Именно такими лошадьми рекомендовал комплектовать кавалерийские части сам Джемс Филлис...

— Позвольте, позвольте, сударь. А кто такой этот ваш Джемс Филлис? — опять, как бы проснувшись, пробормотал толстяк с потухшей сигарой.

— Боже, вы не знаете Джемса Филлиса?

— Не имею понятия...

— Но как же можно не знать этого величайшего в мире английского мастера верховой езды? Да ведь он же создал собственную систему выездки, признанную лучшей в мире,— тоном глубокого эрудита пояснил, кокетничая своими познаниями, сотник Скуратов.

— Ну и черт с ним, с вашим Джемсом,— сказал толстяк.— Я вижу одно. После долгих скитаний по этому азиатскому торжищу мы, кажется, нашли то, что искали. Так в чем же дело? Деньги на бочку. С хозяином — по рукам. А засим и копыта строевому коню можно обмыть шампанским...

— Совершенно верно. Совершенно верно, господа. Обмыть... И именно шампанским,— поддержал толстяка один из скуратовских спутников.

— Надеюсь, вы не против того, чтобы приобрести такого коня, сотник?— учтиво спросил Скуратова толстяк.

— Разумеется, нет. Я же сказал. Я же от него без ума...— проговорил с горячностью Скуратов.

— В таком случае открываем торг,— бойко объявил толстяк, почему-то распахнув при этом свой легкий мышиного цвета плащ и лихо сдвинув набекрень широкополую фетровую шляпу.

— Я готов торговаться,— суетясь вокруг жеребца, ответил Скуратов. Но затем, с недоумением оглядевшись вокруг, он спросил:— Позвольте, а где же хозяин?

— Я здесь, ваше благородие!— отозвался на вопрос Скуратова Федор Бушуев. И он, не выпуская из левой руки обмотанного вокруг запястья чембура, выступил из-за головы коня, став перед сотником во фронт, вытянув по швам руки.

— Бушуев?!— близоруко прищурив глаза, спросил с изумлением сотник, вглядываясь в окаменевшее лицо Федора.

— Так точно, я, ваше благородие.

— Интересно. Интересно... С каких же это пор ты стал хозяином этой лошади?

— С нонешнего дня, ваше благородие.

— Позволь, позволь, голубчик. Да ведь этот конь, если я не ошибаюсь, принадлежит аткаминеру Кенжигараеву?

— Так точно, принадлежал, ваше благородие, Кенжигараеву. А теперь эта лошадь моя.

— Вот как?! Это каким же образом?

— Очень просто, ваше благородие. Конь куплен за наличный капитал моего родителя...

— Гм... Любопытно, это на какие же дивиденты?

— За два ста с четвертной кредитными билетами, ваше благородие.

— Ого! Да у тебя родитель-то, видать, с капитальцем?

— Никак нет, ваше благородие. Он теперь по случаю проводов меня в полк при двух коровенках на семь душ семейства из-за этого коня остался и в долги ишо по горло залез...

— Ага. В долги по горло залез, а сына — нижнего чина — на офицерского коня решил посадить. Похвально. Похвально.

— Рады стараться, ваше благородие,— ответил Федор не моргнув глазом.

Холеное, слегка припухшее от хмеля лицо молодого

Скуратова, покрывшись мертвенной бледностью, обрело вдруг строгое, сосредоточенное выражение. И только тонкие, мелко подрагивающие в уголках губы да тяжелая неподвижность полусмеженных век говорили о последней грани внешнего спокойствия и самообладания, за которой мог уже последовать неизбежный взрыв.

Глядя потемневшими от тревоги глазами на сотника, Федор чувствовал, что встреча эта к добру не приведет, и, ко всему готовый, стоял, вытянувшись, перед офицером, твердо решив про себя одно: удержать в своих руках купленного строевика любой ценой. Он ждал, что после минутного оцепенения, в котором находился сейчас Скуратов, офицер схватит его за горло или, может быть, ударит наотмашь по лицу, как бил он на смотру казаков, у которых обнаруживал непорядок в снаряжении...

И вот, как бы очнувшись от забытья, сотник бросил на Федора удивленный, яростный взгляд, а затем с такой стремительностью приблизился к нему вплотную, что Федор отступил назад и, слегка побледнев при этом, замер.

Однако Скуратов вдруг весь как-то обмяк, и подобие жалкой улыбки на мгновение как бы осветило его одутловатое лицо.

— Послушай, Бушуев, нам с тобой ссориться не к лицу,— вполголоса, мягко и примирительно сказал сотник.— У нас впереди с тобой длинная и нелегкая дорога. Мы оба пойдем с тобой в Верный в конном строю. И я — твой командир — хотел бы пройти по этому маршруту вместе с тобой, нижним чином, душа в душу: без неприятностей, бед и обид... Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Так точно. Вникаю, ваше благородие.

— Так вот, Бушуев... Во имя благополучия в нашем походе и ради братского моего отношения к тебе — об этом я очень прошу тебя — можешь ли ты уступить мне коня?

На этот вопрос ответил Федор не сразу. Помедлив, пожевав запекшимися губами, не сводя лихорадочно блестевших темных глаз с лица Скуратова, он наконец сказал:

— Никак нет, ваше благородие. Не могу...

— Послушай, голубчик. Я предложу взамен тебе одну из лучших строевых лошадей из табунов моего отца.

Да. Да. Одну из лучших. На выбор. Согласен?— взволнованно, не переводя дыхания, проговорил Скуратов.

— Никак нет. И на менову несогласный. Лучше не просите. Не могу, ваше благородие.

— Золотом?!

— Ни золотом, ни кредитками...

— Четыреста?!

— Я, ваше благородие, не барышник. Не цыган. И не прасол. И тыщи не возьму...

— Так... Стало быть, это твое окончательное слово?— глухим подавленным голосом спросил Скуратов, пополам согнув в руках свой упругий стек.

— Так точно, ваше благородие. Я бросаться словами на ветер непривышный...

— А не передумаешь?

— Никак нет. Мы люди самостоятельные...

Они замолчали.

Скуратов стоял потупясь. И Федор, не спуская с сотника своих по-азиатски сузившихся и чуть-чуть косивших от гневной решимости глаз, видел, как снова мелкая дрожь прошла по тонким, бескровным губам Скуратова, как дрожали фиолетовые его веки. Федор понял, что надо было уходить, и смело спросил:

— Разрешите ехать домой, ваше благородие?

Скуратов ответил не сразу. Он помолчал, поспешно, нервным движением руки коснулся зачем-то своих висков и только потом очень глухо, вполголоса протянул:

— Ну что ж... Можешь ехать. Можешь...

Федор, браво козырнув сотнику, лихо взметнул на коня, дал ему шенкелей и тронулся прочь, не оглядываясь на Скуратова и его спутников.

25

Как-то под воскресенье, вернувшись с неудачной беркутиной охоты, организованной волостным управителем Альтием, пристав Аникий Касторов запил. Спьяна он продал за полцены Венедикту Павловичу Хлызову-Мальцеву своего саврасого иноходца, подарил ни с того ни с сего своему денщику Дениске старую гармошку-ливенку и тут же выгнал денщика из дому. Дениска в тот же вечер продал дарованную ему ливенку подгулявшему новоселу с одного из прилинейных отрубов, а на вырученные деньги жестоко напился в шинке у бабки Жичи-

хи. Пропьянствовав дня три, Дениска пришел наконец в себя и, поселившись в Соколинском краю, в избе Кирьки Караулова, стал терпеливо выжидать выздоровления своего барина. Дениска знал, что пристав по окончании запоя вновь вытребует его к себе, и все начнется сначала.

Станичники при встрече с Дениской, сочувственно покачивая головами, спрашивали:

— Ну как, драбант, не выздоровели их благородие?

— Никак нет, господа станишники. Девять ден, как кобель, водку лачет,— отвечал мрачный денщик.

— Ух ты, сукин сын. Как ты смеешь не почитать начальство?!— сердились станичники.

— Черт его не почитал, пьяницу.

— Смотри, варнак. Держи язык за зубами. А то добарахлишься — век плакаться будешь.

— А я не из боязливых,— беспечно отмахиваясь от назойливых стариков, отвечал денщик.

Не впервые он слышал эти стариковские угрозы. Не впервые выгонял его вон страдавший запоями барин. И, как правило, все это завершалось благополучным возвращением драбанта на свое место, где он чистил по утрам ваксой высокие щегольские сапоги пристава, а по вечерам играл с барином в подкидного дурака и рассказывал плоские армейские анекдоты.

На десятый день беспробудного пьянства пристав начал приходить в себя. Как всегда по окончании запоя, чувствовал он себя хуже некуда. И вот утром, проснувшись от тяжелого сна, полного дурных сновидений, Касторов, еще не совсем придя в себя, увидел появившегося в дверях станичного десятника Бурю.

— Разрешите доложить, ваше благородие,— сказал, вытянувшись перед приставом в струнку, Буря.

— Что опять там такое? Докладывай.

— В крепости нарочный из войсковой управы, ваше благородие!

— Ну и что? Говори, дурак, толком...

— Так что их высокопревосходительство наместник Степного края, наказной атаман линейного Сибирского казачьего войска генерал-губернатор Сухомлинов изволили выехать со свитой на Горькую линию!— не переводя дыхания, отрапортовал Буря.

Это известие до того ошеломило пристава, что он тот-

час протрезвел и, вскочив, как ужаленный, заметался по комнате в поисках парадного кителя, забыв о Буре.

— Денис! Драбант!— кричал пристав.

— Разрешите доложить, ваше благородие, что драбанта вы выгнали и его в вашем доме нету,— осмелился напомнить Касторову Буря.

— Пошел вон, дурак, и доставь мне немедля драбанта!— заорал Касторов и, наскоро натянув на себя белый парадный китель и пыльные, давно не чищенные сапоги, ринулся со всех ног к станичному управлению.

Известие о выезде на Горькую линию наместника края всполошило станицу. Казаки, побросав в степи брички, сенокосилки, полузаметанные стога и весь свой нехитрый скарб, попадали на своих лошадей и карьером слетелись в станицу. Народ, поднятый набатом, заполонил площадь. Потные, запыленные всадники — одни в седлах, другие на нерасхомутанных лошадях, только что выпряженных из конных граблей и сенокосилок,— спешно выстраивались во фронт перед станичным правлением, стараясь принять относительный боевой порядок. Площадь гудела от людского говора, от восторженных воплей казачат, примостившихся на деревьях станичного сада, от звонких, как серебряные колокольчики, девичьих голосов.

А когда на высоком крыльце станичного правления показался высокий, необыкновенно важный и представительный станичный атаман в своем парадном мундире, а за ним нахохлившийся пристав Касторов, несметная толпа, забившая просторную площадь, притихла и замерла, как бы привстав на цыпочки.

Трижды ударив булавой с серебряным набалдашником о пол крыльца, атаман торжественно произнес:

— Господа станичники и госпожи бабы! Объявляю вам радостное известие. Сего дня их высокопревосходительство наместник Степного края, наказной атаман наших войск генерал-губернатор Сухомлинов изволили выехать со свитой из города Омска на предмет инспекторского смотра по Горькой линии.

И слова атамана потонули в дружном вопле выстроившихся во фронт всадников:

— Ура-а-а!

Возбужденные боевым кличем всадников кони тревожно запрядали ушами, заперебирали ногами, взвились под некоторыми казаками на дыбы.

— Доблестное сибирское казачество!— продолжал торжественным, засекавшимся на высоких нотах голосом атаман.— Прославленные усачи с Горькой линии! Ветераны ферганских и кокандских походов! Только мы с вами достойны такого высокого визита, коим соизволил осчастливить нас с вами наш наказной атаман. Встретим же их высокопревосходительство, как требует того их чин и как положено встречать нам нашего наместника согласно артикула...

— Ура!— рявкнули во всю силу своих прокаленных степными ветрами глоток старые казаки.

А после того как атаман отдал деловые, строгие приказания о форме и порядке встречи наместника, бросились казаки и казачки по своим домам выполнять распоряжения властей, наводить образцовый порядок в домах и на пыльных, давно не метенных улицах.

Несмотря на циркулярное распоряжение наместника края, потребовавшего лет пять тому назад всеобщего озеленения линейных станиц, садов и палисадников за это минувшее пятилетие в станицах не прибавилось. И атаман Муганцев, вспомнив сейчас об этом циркуляре Сухомлинова, пришел в отчаяние.

— Как же нам быть?— озабоченно спросил он пристава Касторова.— Вы представляете, чем может кончиться визит наместника, если он вспомнит о своем приказе?!

— Представляю. Уж нам-то с вами, господин атаман, тогда несдобровать...— согласился пристав.

— Какой же выход?

— Выход один. Обязать казаков немедленно организовать искусственное древонасаждение,— быстро нашелся пристав.

— Это каким же образом?

— Очень просто. Нарубить берез и украсить ими улицы, как это принято делать на троицу. Уверен, что губернатор не станет разбираться, настоящие это деревья или липовые.

— Вы в этом уверены? Имейте в виду, что наместник придирчив...

— Я это знаю. Но в данном случае он просто не додумается о нашем фокусе. Зрение у него — не ахти, к счастью. А на ощупь, надеюсь, он пробовать наши березки не станет.

— Черт его знает, а вдруг взбредет ему в голову про-

верить...— усомнился атаман, но тут же, оживившись, добавил:— Впрочем, это идея, пристав. Идея. Вообще я заметил, что вы с перепою легки на выдумки.

— Гм... Да. Это со мной бывает,— согласился пристав.

А на другой день все прямые и широкие станичные улицы потонули в густой зелени «выросших» за ночь роскошных садов. Перед каждым домом шумели теперь на знойном ветру огромные полувековые березы, раскинувшие могучие свои ветви над железными крышами пятистенников и крестовых домов станицы.

На площади, поодаль от станичного правления, спешно достраивалась братьями Кирькой и Оськой Карауловыми новая уборная, предназначенная, по замыслу пристава Касторова, для генерал-губернатора и блестящей его свиты. Станичники, окружив плотников, судачили:

— Это же не нужник, воспода старики, а прямо дворец!

— А ты што думал, генерал-губернатор при нужде, как мы, грешные, за наземку спрячется?!

— Это, конешно, не генеральское дело — на денник за нуждой бегать.

— Хороша будочка. Засядешь в такую — и вылезать не захочется...

— Нужник по чину — генеральский,— заметил солидно Буря.

— Правильно,— подтвердил Кирька Караулов, украшавший в это время фронтон уборной искусно вырезанным из фанеры коньком.— Только прежде генерал-губернатора я сам лично в нем опростаюсь.

— Ну, это ты брось, Кирька! Там на што другое, а на это тебя, варнака, хватит. Смотри, и в самом деле не настрами, подлец, в генеральском ватере!— грозно прикрикнул на Кирьку престарелый георгиевский кавалер дед Арефий.

— А в иноземных царствах все крестьянство давным-давно при собственных нужниках состоит. Не то што мы — Азия! — сказал дед Конотоп.

— Правильно, дед. Вот проводим наместника и тебе такой же нужник построим,— сказал Кирька Караулов, подмигивая одностаничникам.

На крепостном плацу вахмистр Максим Дробышев гонял строем маленьких казачат, вырядившихся в пол-

ную войсковую форму: синие миткалевые шаровары с алыми лампасами, защитные гимнастерки с погонами и фуражки с красными околышами, надетые набекрень. Дружно и ловко работая обнаженными деревянными клинками, казачата маршировали перед грозным вахмистром в пешем строю, перестраиваясь на ходу в развернутый фронт, в сдвоенные и строенные колонны. Они репетировали свое церемониальное выступление перед наместником края на предстоящем параде линейных полков.

Они замирали в строю по команде «смирно», ели, как могли, глазами вахмистра Дробышева, который разыгрывал теперь перед ними самого генерал-губернатора.

Грозный на вид, неестественно раздувшийся и напыщенный вахмистр Дробышев приветствовал молодых казачат, шагая вдоль фронта:

— Здорово, орлята!

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!— дружно орали в ответ казачата, багровея от натужного крика.

Подскочив к одному из левофланговых казачат, неуклюже державшемуся в строю двенадцатилетнему Арсе Караулову, вахмистр орал на парнишку:

— Как стоишь?! Подбери брюхо, подлец. И не разевай рот, а то вмиг тебе за душой слажу!

А вечером измученные строевыми учениями казачата дежурили на станичной каланче и на колокольне, зорко приглядываясь к широкой трактовой линейной дороге, ждали — не покажется ли на ней конный разъезд, выставленный за десять верст от станицы, для того чтобы вовремя предупредить станичников о появлении в степной стороне поезда с генеральской свитой.

26

Шестые сутки томились в степи от вынужденного безделья и зноя казаки, занявшие выставленные за станицу сторожевые пикеты. День и ночь дежурили близ линейного тракта всадники, не спуская глаз с широкого, подметенного большака. А генеральского поезда не было видно. Свободные от дежурства казаки валялись целыми днями в палатках, смастеренных из самотканых половиков и попон, изнемогая от духоты, от пота и скуки.

— Он поди ишо из своих генеральских хором не вылазил, а ты тут мучайся, жди его каждый секунд всю неделю.

— Беда, братцы. Подумать надо, сколько золотых ден потеряли в сенокос...

— То-то и оно, что оставит нас нынче наместник без корму.

— Это как пить дать — оставит.

— Рапорт бы станишному атаману подать. Што он нас тут без дела держит. Губернатор, может, через двадцать ден явиться, а ты тут валяйся...

— Попробуй-ка, сунься сейчас к атаману с таким рапортом, он тебе покажет кузькину мать.

— Куды там, об этом, братцы, лучше не заикайся.

— А вот кыргызам — тем, воспода ребята, сейчас лафа. Они и сена вдоволь накосят, и лошадей нашим овсецом откормят,— сказал Пашка Сучок.

— Ясное дело — откормят. Сторожить-то теперь овсы некому,— откликнулся рябой казачишка из соколинцев Афоня Крутиков.

— Ну и пусть кормят на свою башку. За потраву-то мы перед кыргызней, братцы, в долгу не останемся.

— Да уж об этом-то толковать нечего — станишники у азиатов в долгу никогда не были и не будут.

А по вечерам, усевшись вокруг костра, отводили станичники душу в просторных, как родимые степи, песнях. Пели, уронив на плечи чубатые головы, горестно прикрыв глаза. О, как горько волновали их в такую пору нехитрые узоры слов, как тревожили их сердца рыдающие переливы подголосков... Не песни — целые поэмы знавали наизусть старые казаки, и ладно подпевали им хором молодые.

Соберемтесь-ка, казаченьки, во единый во кружок,
Запоем про девку красную, про лазоревый цветок.
Эх ты, молодость игровая — буйный ветер в ковыле!
Эх ты, девка чернобровая, в кашемировой шале!
Вот идет она, качается,—горький стебель-полынок,
За ковыль-траву цепляется расписной ее платок.
Вот идет она, пригожая, а за нею — сотня вскачь.
На снега лицом похожая, а губами — на кумач.
Казаки в строю беснуются, да ребятам невдомек:
Кем она интересуется, кто ж собой ее завлек?
— Где ты, суженый да ряженый?!— Прокатился в сотне гул.
Карабин его разряженный ей подносит есаул.
Подвели коня горячего — вихрем пыль из-под копыт.
— Это што тако бы значило?!— вдруг красотка говорит.

— Сотня, смирно!— Приосанился есаул и ей в ответ:
— Разрешите вам, красавица, передать поклон-привет.
Из похода, из сражения не вернулся лишь один...
Приказал он с уважением передать вам карабин;
Саблю гнутую, точеную, со степным тавром коня;
Плеть из таволги крученную, серебром отороченные полковые вензеля.
Вот седло его печальное с медной птахой на луке;
Вот колечко обручальное, что носил он на руке.
Все доспехи, все отличия приказал он передать
Вам — за чудное обличие, вам — за косы за девичие,
За походку и за стать...
Только он уж вам не встретиться: свянул кудерь, чуб зачах...
Темной ночью не засветится жар в косых от зла очах.
Он лежит плашмя, подкошенный пулей в битве роковой,
Запыленный, запорошенный иноземною пургой.
Он лежит один. И бесится чертом меченым пурга,
Ни друзей вокруг, ни месяца, ни подруги, ни врага...
Он один. Под окрик ворона над ним вьюги голосят.
Волчьи стаи в его сторону глазом огненным косят.
Без поры и безо времени наш товарищ боевой
Ногу выбросил из стремени, в снег зарылся головой...
Ты ж, подруга его верная, нас прости за горький сказ,
Красоту вашу, наверное, видим мы в последний раз...
Потому что ранней зорькою мы в поход уйдем опять,
Чтобы жизнь казачью горькую в чистом поле растерять...—
Полк уходит. А девичие затуманились глаза;
Словно молнией, обличие озарила ей гроза.
Вот стоит она, печальная. На губах — вишневый сок.
И слеза ее прощальная глухо падает в песок.
Вот стоит она былинкою — краше песни и вина,
На груди под перелинкою брошка-бабочка видна.
Прошумели птицы-стрепеты. Поднялась прострел-трава.
Нет, не всех, казачки, встретите нас вы утром у двора!

А когда кончалась длинная песня и замирали на высоких нотах затерявшиеся в вечерней мгле подголоски, заводил один из бывалых казаков армейскую прибаску и побывальщину.

Стояли это мы, братцы, в казармах за городом Верным. Как сейчас вижу — ночь месяшна, белым-то бела. Лежу это я после конных учений на нарах, и так у меня что-то свербит на сердце, так свербит. Чего, думаю, это у меня свербит? Смотрю, а в створку белый клубочек — шмыг, и давай по казарме крутиться, и давай крутиться. Крутится и подпрыгивает, крутится и подпрыгивает, как мяч. Во думаю, притча кака получается... Сел я, вылупил на клубок глаза и вижу: это не клубок, братцы, а неземной красы барышня. Такая красавица — маленько не королева!

— А ты што?

— Ну што. Я, конечно, к ней...
— А она што?
— А она — от меня...
— Настиг?
— Ну, как же настигнешь ее! Настиг, кабы слово из черной магии знал. А я в те поры в этой магии — ни тиньтилили.
— Жалко, што там Трошки Ханаева не было. От этого варнака никакая бы краля не ушла, даже в привидении...
— Воспода станишники,— проговорил, как сквозь сон, Пашка Сучок,— а правда, што при губернаторской свите сам Шерлок Холмс находится?
— Все может быть. Наказной атаман без сыщиков на Горькую линию не поедет...
— Пошто так?
— А по то, што труса празднует...
— Кого это он испугался?
— Как так — кого? Политиков.
— Ну, забарахлил. Откуда они у нас, политики-то?
— А вот из тех самых мест. Ты думаешь, мало их пришло в наши края теперь из Расеи?
— Насчет Расеи — не скажу. А вот в станице они у нас, говорят, водятся,— сказал приглушенным голосом Афоня Крутиков.
— Брось буровить, станишник.
— За што купил, за то и продаю,— сказал Афоня.
— Откуда же они в станице-то? Уж не среди казаков ли?— прозвучал тревожный голос до сего молчавшего вахмистра Дробышева.
— Насчет казаков пока не знаю. А вот на хлызовской мельнице, говорят, есть такие,— произнес шепотом Афоня.
— Уж не Салкын ли?— тоже шепотом спросил вахмистр.
— Похоже на него. Говорят, он беглый. С каторги на линию к нам подался. С золотых приисков. С Байкала.
— Стало быть, беспашпортный?
— Пашпорт — што. Он тебе этих пашпортов сам, сколько ты хошь, наштемпелюет. Не в пашпорте дело. А дело в том, што он, варнак, кое-которых казаков сомущать начинат. Понял?!
— Брось ты. Это, к примеру, кого же?
— Попались такие ему, подлецу, на удочку...

— Кто?— горячо дыхнув в самое ухо Афоне, спросил вахмистр.

— Федька Бушуев, восподин вахмистр, у меня на подозрении. Зачастил он к Салкыну по вечерам неспроста. Сами знаете, я на таких делах ишо в полку собаку съел. Я их, этих политиков и смутьянов, за версту чую. Даром бы меня за такие дела ни с того ни с сего вне очереди в урядники не произвели и медали б не дали,— тщеславно заметил Афоня Крутиков.

— Это правильно. Я про твою верную службу в полку помню... А насчет Федьки Бушуева — намотай на ус, Афанасий Иваныч. Приглядись. Прислушайся. А надо будет — приставу стукни,— посоветовал вахмистр.

— На сей счет будьте спокойны, восподин вахмистр. Придет время — стукнем и приставу, и станишному атаману,— самонадеянно заявил Афоня.

Было уже за полночь. Оставленный без призора костер угасал. Казаки, свернувшись кто и где как сумел, заснули. Дремал и вахмистр. Вдруг до слуха его донесся глухой, дробный копытный стук. Насторожившись, вахмистр понял, что из степи шли на полном карьере всадники, держа, видимо, направление к казачьему биваку. Растормошив задремавших казаков, вахмистр приказал им принять боевую готовность. Нацепив на себя офицерскую с посеребренным эфесом шашку, вахмистр насторожился, всматриваясь в лунную полумглу, откуда доносился нарастающий конский топот.

А спустя несколько минут перед вахмистром и окружившими его казаками выросла, как из-под земли, группа всадников. Это были шестеро казаков, несущих сторожевое охранение на одном из дальних степных пикетов; в числе казаков вахмистр, к великому своему удивлению, увидел рослого казахского джигита.

— В чем дело, братцы?— спросил вахмистр подъехавших казаков, окруживших со всех сторон верхового джигита.

— Так что разрешите доложить, восподин вахмистр, о происшествии,— отрапортовал, привстав на стременах, один из казаков — Сашка Неклюдов.

— Што там опять такое?

— Да вот азиаты на наш пикет напоролись. Их человек двенадцать вершных там было. Одного вот мы сумели скрутить. А остальные ушли, собаки.

— Кто они такие? С какой целью шляются по ночам на линии?— спросил строго вахмистр Сашку.

— Не могу знать, восподин вахмистр. Пытали мы этого азиата — молчит, как воды в рот набрал. Только и слов и речей от него, что — бельмейм. По-русски — ни тяти, ни мамы. А на нашем пикете по-ихнему никто ни гугу. Толмача тоже не нашлось под руками. Вот и решили доставить лично к вам этого конокрада. Уж вы-то, восподин вахмистр, с ним на любом языке поговорите,— сказал Сашка, хихикнув.

— Уж я-то поговорю,— повысив голос, самодовольно крякнул вахмистр. И он, приблизившись к верховому джигиту вплотную, грозно спросил по-казахски:— Вы чего здесь шляетесь, псы, по ночам? За казачьими лошадями охотитесь?! Отвечай, подлец, кратко!

— Уй-бой, атаман! Какие такие лошади?!— воскликнул джигит по-казахски.— Мы к вам в станицу по делу ехали. Нас народ пяти аулов в станицу послал. А казаки открыли пальбу. Джигита Бейсека клинком в правую руку ранили. Едва мы живые от них ушли.

— Жалко, што ушли...

— Уй-бой, атаман! Как ты можешь так говорить? Мы с бумагой в станицу ехали.

— Кака така бумага? Подай мне ее сюда!— прикрикнул на джигита вахмистр, требовательно протянув руку.

— Уй-бой, атаман. Бумага осталась у джигита Бейсека. Нет у меня бумаги.

— Врешь, сукин сын. Давай.

— Нет у меня бумаги...— твердил джигит, испуганно вобрав голову в плечи.

— Ага. Все ясно, воспода станишники. Все ясно, братцы,— сказал вахмистр, обращаясь к окружавшим его казакам.— Ведь они, варнаки, с доносом на нас к наказному атаману ехали. Понятно?

— Ясное дело — с доносом,— сказал Афоня Крутиков.

— Ты из какого аула?— спросил, обращаясь к джигиту, вахмистр.

— Я из аула Муланы,— ответил всадник.

— Джатак?

— Джатак. И со мной были все джатаки...

— Ага. Стало быть, это ваши головорезы на Узун-Кульском урочище резню учинили?

— Уй-бой, атаман. Какая резня?! Там нашего джигита убили...

— Вашему джигиту туда и дорога. А вот вы казака у нас косой запороли. Да и на нашего же брата жаловаться наказному атаману вздумали. Видали вы их, воспода станишники?!— возмущенно воскликнул вахмистр, обращаясь к казакам.

— А што на его, собаку, смотреть. Стаскивай его с седла, братцы!— крикнул фальцетом Афоня Крутиков.

— Правильно. Дай ему раз по уху!

— Спешивай его, варнака, с коня!

И казаки, вдруг остервенев, кинулись с молчаливым ожесточением к съежившемуся в седле джигиту и в мгновение ока сбили его с седла.

— Атаман!— только и успел крикнуть джигит, камнем рухнувший к ногам взбеленившихся казаков и судорожно вцепившийся пальцами в землю. Его гибкое, сильное тело извивалось под градом пинков и кулачных ударов, и он, лежа лицом ниц, не кричал, не стонал, не просил пощады, а только глухо хрипел сквозь стиснутые зубы. И то, что джигит не кричал, не молил о пощаде и не сопротивлялся, это как раз все больше и больше ожесточало казаков.

— Тихо, тихо, братцы. Бить надо тоже с умом!— прикрикнул наконец на распоясавшихся станичников вахмистр, с трудом растолкав их от неподвижно лежавшего на земле джигита.

— Ухайдакать его, и концы в воду!— запальчиво крикнул Афоня Крутиков.

— Вот именно. Озеро рядом. Точило на шею — поминай потом, как тогда этого конокрада звали,— сказал приемный сын фон-барона Пикушкина, сутулый и неповоротливый Терентий Пикушкин.

— Нет, нет, воспода станишники. Это вы зря. Погорячились, и хватит. С одним грехом ишо не разделались, а вы уж и другой на душу принять готовы,— урезонивая расходившихся станичников, сказал вахмистр.

— Конокрада отправить на тот свет — не великий грех,— заметил Афоня Крутиков.

— Грех-то не велик, а расплачиваться нам за него с азиатами еще неизвестно как придется,— отозвался вахмистр.

— Расплата известная. Плетей да сабель на их головы у нас хватит.

— Это правильно. Только повременить с этим делом надо... Неизвестно ишо, как наказной атаман на все это дело посмотрит. Ввяжутся баи, подмажут наместника — и пиши нам тогда, воспода ребята, пропало. Не кыргызы, а мы будем потом перед наказным в ответе.

— Это все может быть. Кого-кого, а наместника баям купить недолго,— прозвучал за спиной вахмистра чей-то глухой, простуженный голос.

— Так что приказ мой такой,— сказал верховым казакам вахмистр.— Скрутить этому выродку руки и немедленно доставить его в станицу. Атаман лучше нас с вами знат, куда его там упрятать. Понятно?

— Так точно, восподин вахмистр,— ответил, привстав на стременах, Сашка Неклюдов.

27

По ночам Егор Павлович Бушуев спал теперь худо. Не снимая своего потертого полкового мундира и суконных форменных шаровар с лампасами, он дремал на завалинке в полусидячем положении, то и дело открывая глаза и настороженно прислушиваясь к ночной тишине, повисшей над станицей. В каждом слабом шорохе и неясном звуке, возникавшем в ночи, чудился старику конский топот, звон бубенчиков и поскрипывание рессор генеральского экипажа. Вконец измученный затянувшимся ожиданием губернаторского поезда, Егор Павлович похудел за одну неделю так, словно перенес тяжкий недуг. Оба сына — Яков и Федор — несли караул на пикетах, и покос, бойко начатый было дружной бушуевской семьей, теперь приостановился. В степи выгорала под солнцем скошенная, но не убранная трава, при воспоминании о которой у старика разрывалось сердце. Словом, забот у него был теперь полон рот, и он вконец истомился душой и телом и мысленно поминал недобрым словом даже самого наместника Сухомлинова, о котором не мог прежде думать без душевного трепета.

Вечером, в канун воскресенья, когда старик сидел погруженный в горькие свои мысли на завалинке, к нему подошел незнакомый парень, в котором Егор Павлович сразу же признал переселенца: по подобию просторной рубахи из грубого выгоревшего на солнце холста, по лаптям, по волосам на обнаженной голове парня, подстриженным в скобку.

Почтительно, в пояс поклонившись Егору Павловичу, парень сказал:

— Бог в помощь, господин казак!

— Милости просим...— ответил Егор Павлович, не совсем дружелюбно посмотрев на новосела.

— А мы к вам в ножки,— сказал парень, помявшись.

— Слушаю...

— Все насчет работенки. Нет ли у вас нужды в лишних руках?

— Нужде как не быть. Нужда-то есть. Да ведь с вами не срядишься. Вы — народ капризный. Больно дорого себя цените,— осуждающе проговорил Егор Павлович, вспомнив о своем недавнем разговоре с переселенцами у ночного костра.

— Кто как. Я за всех не в ответе...— сказал парень.

— Да, это правильно,— отозвался, смягчившись, Егор Павлович и, помешкав, спросил:— Как зовут-то?

— Максим.

— Так, так, Максим... Ты ишо один али с бабой?

— Один, как перст...

— Ага. Это уже лучше... Сколько же ты возьмешь с меня до покрова вкруговую?

— Дело хозяйское, сколько положите.

— Ну что же тебе положить? Трех целковых да пары сапог опойковых хватит?

— Воля ваша...— покорно вздохнув, сказал парень.

— Ну, ежли так, то можешь заступать хоть сегодня. Проходи. Там старуха покормит тебя, переночуешь, а утром подумам, с чего начать,— сказал старик, довольный в душе сговорчивостью парня.

А на другой день, поднявшись чуть свет, старик разбудил работника, спавшего в сенках, и сказал ему строго:

— Ну, давай, дружок, поворачивайся теперь попроворнее. Поедешь с сыном на сенокос. Парень тебе объяснит, што там и как.

Максим, наскоро похлебав теплой простокваши, поданной ему Агафьевной, помог Федору запрячь пару лошадей в бричку. И они выехали в степь верст за десять от станицы, где вторую неделю лежало неубранное бушуевское сено.

По дороге разговорились.

— Издалека, приятель?—спросил Федор.

— Пензенской губернии.

— Это сколько же верст будет до вас отсюда?

— Говорят, тыщи три с гаком. А нашему брату за миллион показалось...

— Это пошто так?

— Не дорога — каторга...

— Вот как?! Што же тебя потянуло в наши края?

— Не от сладкой, конешно, жизни...

— А чем она слаще будет тут для тебя?

— То-то и оно, что и тут, вижу, придется хватить мне горького до слез. Тронулся из родных мест я каким-никаким хозяином, а у вас вот батраком оказался.

— Это каким же манером?

— А таким, что за дорогу и обоих родителей потерял, и последней лошаденки лишился. Старики в земской больнице в Челябинске в тифу померли. А тут последняя лошаденка пала. Беда-то, говорят, в одиночку не ходит... Вот и отстрадовался я. Покукуй теперь на новых местах без коня, без кола и без вола. Куда денешься? Одно прямое сообщение — в батраки!

— Да, незавидная твоя доля. Незавидная,— сочувственно проговорил Федор.— Знаю, знаю, браток, как работать на чужих людей. Сам чертомелил.

— Ты?! Неужели и среди вашего брата есть такие?!

— А ты думал как? Казаки тоже, брат, не все у нас одинаковы. Не все в масле катаются. Есть и у нас такие, что всю жизнь бьются, как рыба об лед, перебиваются из кулька в рогожку. Есть, браток, есть,— сказал Федор с ожесточением.

— Вишь ты, какая притча выходит. А я думал, што казакам всем, как панам, в этом краю живется.

— Кое-кто действительно пан паном живет. А есть и среди нашего брата холопы.

— Вот не думал...— признался Максим.

— Так-то, приятель!— заключил Федор, протягивая Максиму кисет с махоркой.

Они закурили и остальной путь до пашни ехали уже молча. Каждый из них погружен был теперь в свои думы. Невеселыми, горькими, угрюмыми были эти думы и у того и у другого.

Доставив Максима до места, где стояла среди степи брошенная на пустоши старенькая бушуевская сенокосилка, Федор объяснил ему несложные его задачи (надо было скопнить сгребенное в валки сено) и повернул лошадей обратно. С полдня ему надо было вновь засту-

пать в караул на пикете, и он поторапливался домой, чтобы успеть еще почистить коня и привести в порядок свое войсковое снаряжение.

Кони бежали ровной и бойкой рысью. Федор, намотав на руки вожжи, развалился на свежей траве, которую накосил перед выездом с пашни, и, глядя в голубое, безоблачное небо, вполголоса напевал, с тоской и нежностью думая о Даше:

— Куда, казак, едешь?
Куда отъезжаешь?
На кого ты, милый,
Меня покидаешь?
— Еду я, еду
В дальнюю дорогу,
Оставляю тебя я
На единого бога...

Не допев песни, Федор закрыл глаза и как будто задремал. Странное, не совсем уживчивое с его характером чувство покоя овладело им. Мерно постукивали колеса брички. Глухо звенели о твердый дорожный грунт конские копыта. Пряный и бражный запах свежей травы слегка кружил голову. Где-то далеко-далеко тревожно кричал в займище дикий гусь — не то потерявший самку гусак, не то подранок. И все эти звуки запахи и шорохи степи напоминали Федору о Даше. Не поднимая смеженных век, он видел, как в сновидении, открытое, светлое лицо девушки, ощущал запах золотящихся волос. Даже мягкий грудной голос Даши звучал в нем сейчас печально и глухо, как звучит басовая струна гитары, нечаянно задетая темной ночью...

Федор весь был во власти живых и почти физически осязаемых воспоминаний. Он видел сейчас перед собой немировский пятистенник с высоким резным крылечком, легкий тюль занавесок в окнах и розовые лепестки герани, а по ту сторону занавески плавно скользит златокосая девушка.

Все это и есть, наверное, счастье, и, подумав об этом, Федор удивился тому, как, в сущности, немного надо человеку в жизни, чтобы быть счастливым!

Открыв глаза, он, слегка приподнявшись, огляделся. Над степью висела легкая дымка жарких полуденных марев. Удивительно много было вокруг диких цветов. Словно рассеянные чьей-то легкой, беспечной и щедрой рукой, росли они в неслыханном изобилии, кружась по холмам и разбегаясь по балкам врассыпную, как разбе-

гается в праздничный день на станичной полянке веселый и яркий девичий хоровод. Желтые гроздья степной кашки никли, подрагивая под тяжестью повисших на них ос. Кремовые колокольчики затаенно выглядывали из венков голубых незабудок. Сухой, милый сердцу степного человека запах мелкой придорожной полынки растворялся в густом аромате не мятых конским копытом трав.

Все вокруг полно было в этот полуденный час покоя умиротворяющей тишины. Таким же покоем окрестного степного мира была сейчас полна душа Федора.

«Через пять ден к венцу!»— подумал Федор, и, представив Дашу в ее белом подвенечном платье с воздушной газовой фатой на плечах и себя рядом с нею, он почти ощутил прикосновение ее легких, трепетных рук...

То ли в самом деле вздремнул Федор, то ли был он во власти какого-то мгновенного забытья, но вдруг, очнувшись,— может быть, от рывка брички, слегка подпрыгнувшей на ухабе,— с тревогой осмотрелся вокруг.

Там вдали, над широким трактом, шел навстречу ему, то на мгновенье угасая, то вновь вспыхивая, словно повитый траурным крепом, смерч. Гигантский колеблющийся столб пыли стремительно мчался навстречу Федору. То извиваясь жгутом, то уподобляясь огромной птице, замертво падал он в придорожные травы, накрывая их аспидно-черным своим крылом.

И не успел исчезнуть, как привидение, из глаз у Федора этот встревоживший его смерч, как в то же мгновение вихрем вылетел из-за увала всадник. В казаке, привставшем на стременах, Федор тотчас признал своего одногодка и однополчанина Митьку Неклюдова. И по возбужденному лицу всадника, по алому полотнищу, прикрепленному к острию пики и развевавшемуся, как пламя, над головой всадника, Федор понял: случилось неладное.

Осадив на полном скаку коня, Митька, не переводя дыхания, выпалил:

— Мобилизация. Германец напал на Россию. Война!

Сердце у Федора остановилось.

28

Приезд наказного атамана Сухомлинова в станицу Пресновскую совпал со всеобщей мобилизацией девяти казачьих полков на Горькой линии.

В двенадцатом часу дня на крепостной площади открылось молебствие в честь отправляющихся на фронт казаков. Под оглушительный гул колоколов, под пронзительное конское ржание и тревожные звуки полковых труб были подняты и вынесены из церкви на площадь одетые в позолоченные ризы иконы и крылатые, тускло поблескивающие позолотой хоругви. Эту процессию церемониального, торжественного выноса к войску церковной утвари открыл прибывший вместе с наместником края архиерей Омской степной епархии, рослый и престарелый Никон. В сопровождении прибывших из окрестных станичных приходов двенадцати попов, пяти благочинных и целой свиты прислужников архиерей, утопая по пояс в кадильном чаду, проследовал вдоль выстроившихся на станичной площади войск.

Полк казаков стоял в полном походном снаряжении, образовав каре. Грозным и сумрачным выглядел частокол взметнувшихся над всадниками казачьих пик. Глухо гудели за плечами у всадников стволы трехлинейных винтовок. Пахло кожей, конским пометом, дорожной пылью и ворванью.

День выдался жаркий и ветреный. С юга дул горячий, овеянный дыханием азиатских пустынь порывистый ветер. Временами он поднимал на степных дорогах стремительные колеблющиеся столбы смерчей. Тоской и тревогой веяло от дикой пляски этих беснующихся вдали вихрей и от этого пышного поповского благолепия.

Престарелый архиерей, воздев к небу руки, замер в глубоком безмолвии над полковым походным престолом. Архиерей походил в эту минуту на огромного беркута, задремавшего на кургане. Попы кружились вокруг архиерея и, громыхая цепями тяжелых жарких кадил, взывали к богу, прося его грозно и требовательно о даровании победы.

Всадники стояли в строю с обнаженными головами. Азиатский ветер кружился над ними. Он путался в их волосах, дыбил их чубы и заунывно посвистывал в стволах винтовок, точно напоминая этим свистом о дальних дорогах, о бесплодных и знойных равнинах, по которым предстояло пройти казачьим эшелонам по пути на фронт.

Федор на своем строевом коне стоял первым с правого фланга. Затянувшееся молебствие утомило его. Сладковатый и приторный запах ладана навевал дурманящую дремоту. А при взгляде на неподвижные, гроз-

ные, во всеоружии шпалеры войск, на зеркальные вспышки обнаженных сабель и на стройную городьбу казачьих пик у него замирало от возбуждения сердце и, как в хмелю, кружилась голова.

Окруженный попами архиерей медленно следовал вдоль развернутого фронта всадников. В левой руке архиерея блестел позолотой крепко зажатый в восковом кулаке огромный наперсный крест, в правой — тяжелое кропило. Двое подростков, облаченных в голубые стихари, несли по левую руку от архиерея до краев наполненный святой водой шарообразный серебряный сосуд.

Первым, бегло перекрестившись, приложился к наперсному кресту, а затем к восковой руке архиерея командир полка есаул Стрепетов. За Стрепетовым — сотник Аркадий Скуратов, а потом все остальные офицеры — командиры сотен. Затем архиерей, медленно двигаясь по фронту, махал на ходу кропилом, обильно поливая брызгами святого рассола всадников и лошадей. Кони испуганно прядали ушами и, злобно грызя мундштуки, беспокойно перебирали отекшими от долгого стояния ногами да звучно отфыркивались от водяных брызг. Они, как и всадники, почуяли, должно быть, близкий исход парадного богослужения и, насторожившись, ждали первого условного звука полковой сигнальной трубы.

Наконец колокольный гул умолк. С молебствием было покончено. На площади наступила напряженная тишина. И Сухомлинов, выйдя на середину церковной паперти, пристально оглядевшись вокруг, пропел жестким старческим тенорком, отдавая команду:

— Кавалеры направо, дамы налево!

Произошло минутное замешательство. Станичное начальство, не сразу поняв смысл команды наместника, испуганно запереглядывалось. Наконец кто-то из сухомлиновской свиты скороговоркой объяснил атаману Муганцеву суть сухомлиновского приказания. Оказалось, что наместник требовал, чтобы казаки стали по правую руку от него, а бабы — по левую.

В толпе, пришедшей в движение, долго царила неразбериха, давка и сутолока. Наконец поднявшаяся сумятица улеглась, и угодный наместнику порядок был установлен.

Сухомлинов стоял на паперти, заложив правую руку

за борт своего белого кителя. Терпеливо выждав, пока затихла толпа, он начал наконец свою речь.

— Казаки!— крикнул наместник, напрягая свой жесткий старческий тенор.— Царю и богу угодно было сделать меня вашим наказным атаманом, вашим отцом и вашим господином. И нет над вами власти выше, чем моя власть.

Выдержав небольшую паузу, переведя дух, наместник вдруг выбросил над головой правую руку, сложив пальцы в крестное знамение, и сказал:

— Поднимите и вы, казаки, правую руку и повторите за мной слова присяги.

Станичники подняли руки.

— Мы, линейные казаки Сибирского казачьего войска, клянемся перед лицом своего наказного атамана,что отныне и вовеки не будем предаваться праздности, лени, разврату и пьянству,— торжественно зазвучал жесткий тенорок Сухомлинова.

И станичники вразнобой — кто громко, кто глухо — повторяли за Сухомлиновым клятвенные слова.

Кирька Караулов, стоявший рядом с десятником Бурей, шепнул ему:

— Вот ишо новую моду старый хрыч придумал — в трезвяков все казачество превратить!

— Ну, это дудки. Не выйдет,— сказал вполголоса Буря.

— Пили и пить будем,— сказал Кирька так громко, что слова его услышали многие казаки.

— Нашел тоже дурачков— клятву брать в трезвости!— ворчал фон-барон Пикушкин.

— Ну, нас не скоро одурачишь,— сказал Буря.

— Вот и именно. Не он нас, а пока что мы его одурачили, воспода станишники,— сказал Кирька Караулов.

— Это в чем же, станичник?

— Как в чем, а с садами! Сколько лесу за неделю погубили. Каждый день березы пришлось менять, а все же лицом в грязь не ударили. Он сослепу даже благодарность станичному атаману вынес.

— Что ты говоришь?!

— Богом клянусь. Так и сказал ему. Благодарствую, говорит, лично вас и всех воспод станишников за древонасаждение. Всю, говорит, Горькую линию проехал, а нигде такой красоты не видал.

Покончив с присягой и клятвами, наместник в сопро-

вождении свиты проследовал вдоль фронта всадников, проверяя на глаз и на ощупь их амуницию. Смотр подходил уже к концу, и все могло бы сойти хорошо, не принеси нечистая сила дюжины невесть откуда взявшихся мужиков, прорвавшихся сквозь толпу станичников и с ходу упавших перед Сухомлиновым на колени.

Станичный атаман Муганцев, увидев мужиков, возмущенно шепнул приставу:

— Вот скандал. Откуда взялась эта сволочь?!

— Не могу знать. Пикеты по всем дорогам расставлены. Сторожевые казачьи посты на своих местах вокруг станицы. Положительно не понимаю, каким образом пробрались они. Положительно не понимаю...— отвечал пристав.

Опешив при виде мужиков, Сухомлинов спросил наконец:

— Кто вы? И что от меня вам угодно?

— В ножки к вам, ваше высокопревосходительство!

— Смилуйтесь...

— Не дайте душе погибнуть...

— Не губите...

— Переселенцы мы. Новоселы,— все враз, хором, перебивая друг друга, заговорили мужики.

— Из Расеи мы тронулись, так нам в те поры земство всего насулило: и земли по десяти десятин на душу, и кредитов на обстрой, и протче. А сюды пришли — ни того, ни другого,— сказал похожий на цыгана, мрачный с виду мужик густым басом.

— И казаки нашего брата притеснять начинают,— сказал мужичишка, упавший ниц к ногам Сухомлинова.

— Это сущая ложь, ваше высокопревосходительство,— вытянувшись в струнку перед наместником, поспешил вмешаться станичный атаман Муганцев.

И Сухомлинов брезгливо сказал Муганцеву:

— Уберите их вон с площади.

Тотчас же пять верховых казаков, замкнув мужиков в глухое кольцо, подняли их на ноги и, подгоняя плетьми, погнали прочь.

Обойдя площадь, запруженную народом и войсками, Сухомлинов вновь поднялся на церковную паперть и стал рядом с архиереем. И тогда командующий эшелоном есаул Стрепетов, привстав на стременах, стремительно выбросил над головой обнаженную саблю, и светло-се-

рый его ахалтекинец затанцевал под ним, роняя пену с закушенных удил.

Взгляд казаков был устремлен теперь на есаула. Полковой трубач, стоявший на вороном жеребце несколько поодаль от есаула, вдруг приставил порывистым жестом к губам серебряную трубу, и пронзительные звуки походного сигнала загремели над площадью. Всадники с трудом сдерживали своих взволнованных кличем коней. А труба полкового горниста выговаривала заученные с детства слова:

Всадники-други! В поход собирайтесь,
Радостный звук вас ко славе зовет.
Храбро с врагами России сражайтесь,
За родину каждый, не дрогнув, умрет.
Да посрамлен будет тот малодушный,
Кто без приказа отступит назад!
Чести и долгу и клятве преслушный,
Будет он принят, как злейший враг!

Не опуская сабли, есаул, взяв коня в шенкеля, поставил его на дыбы. И над площадью зазвучало:

— Эше-е-елон, слу-у-шай ко-о-ман-ду! Справа по три!

И словно эхо есаульского голоса зазвучало затем в повторных приказаниях командиров сотен:

— Первая сотня, спра-а-ва по три!

— Вторая сотня, спра-а-ва...

— Третья сотня...

— Че-е-твер-ртая...

От пришедшей в движение конницы над площадью поднялись тучи пыли, и по земле прокатились многокопытный рокот и гул. Пришпорив коня, есаул сорвался с места и, огибая на полном карьере правофланговые колонны всадников, крикнул:

— Правое плечо вперед. За мной!

Тотчас же в голове эшелона, учетверив тройные ряды, выстроилось по двенадцать всадников в ряд шестьдесят прославленных в линейных станицах певцов. Выскочивший вперед строя на шустром саврасом жеребчике лихой запевала из казаков станицы Пресногорьковской высоко занес над головой собранную в руке плеть. Подав казакам условный сигнал, он закрыл глаза и, ритмично помахивая плетью, завел необыкновенно высоким, рыдающим голосом:

Ревела буря, дождь шумел.
Во мраке молнии блистали,

И вдруг, как буря, грянула по взмаху запевалы и забушевала над эшелоном войсковая песня сибирских казаков:

И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали...

Полк уходил, объятый пылью и плачем покидаемых жен и матерей. И, как в песне, поднимались в эту минуту с востока над степью глухо громыхавшие в отдалении аспидно-черные грозовые тучи. И, как в песне, полыхали вдали голубые росчерки молний, и глухо шумел проходящий степной стороной ураган. Не открывая горестно зажмуренных глаз, запевала, покачиваясь в такт песне, выводил:

Вы спите, спите — мнил герой,—
Друзья, под бурею ревущей.

И грозный, торжественный шквал песни, подхваченной на лету полковыми песельниками, поднимался все выше и выше над утонувшим в пыли эшелоном:

С рассветом глас раздастся мой,
На подвиг и на смерть зовущий.

Есаул Стрепетов раскрыл карманные часы и засек время: поход с полком мобилизованных казаков он начал в семнадцать ноль-ноль.

29

Свыше трех часов гремело в станичной дубраве прощальное гульбище уходящих на фронт казаков. Под просторными белыми шатрами походных палаток, под сенью вековых заповедных берез — везде и всюду, куда ни ступи, пировали вокруг раскинутых на земле самобранных скатертей семьи и родственники мобилизованных. Спешившиеся после выступления из станицы близ этой дубравы казаки последние часы проводили в кругу родных и знакомых.

В бушуевском застольном кругу, помимо немногочисленной своей семьи, было много родственного и просто знакомого народу. Федор собрал к родительскому столу всех своих товарищей — сослуживцев и тех из станичников, с которыми связан был дружбой с детства. Здесь были Трошка Ханаев и Денис Поединок, Андрей Прахов

и Игнат Усачев, Пашка Сучок и Салкын. С большинством из этих казаков сближала Федора равная в прошлом для всех них нужда, веселые и шумные осенние ночлеги в жарких и дымных балаганах на пашнях. Ведь совсем, казалось, недавно слыли в семьях своих они за озорных и резвых подростков. Ведь совсем недавно рыскали они сломя голову, задрав по колено штаны, по дождевым лужам, воображая себя и лихими конями, и всадниками... А теперь вот было им уже не до забав и не до игрищ... Появление в застольном кругу друзей так возбудило и обрадовало Федора, что он, до сего мрачноватый и несловоохотливый, просветлел и заметно оживился. И у Егора Павловича отлегло от сердца. «Ну, слава тебе богу, ожил. А то сидит как приговоренный. Ажно перед народом неловко».

Когда казаки, чокнувшись, подняли свои бражные чаши, Егор Павлович заметил в эту минуту проходящего сотника Скуратова и вполголоса сказал Федору:

— Видишь сотника? Встань во фрунт и пригласи их благородие к столу.

— Только его тут не хватало!— насмешливо сказал так же тихо Федор.

— Цыц ты...— прошипел в смятении Егор Павлович и, взволнованно теребя сына за рукав гимнастерки, проговорил почти угрожающе:— Стань во фрунт, тебе говорят. Не губи меня. Не нарушай обычая. Слышишь?!

— А ну его к черту! Пущай проходит себе своей дорогой...— с явной злобой и так громко отрезал Федор, что поравнявшийся с ними сотник не мог не расслышать этих слов, хотя, возможно, и не принял их на свой счет. Он прошел мимо.

Вся эта сцена так расстроила Егора Павловича, что он сидел, как пришибленный Стыдно ему было перед стариками за неслыханную дерзость сына и почему-то жалко вдруг стало самого себя. Осуждающе покачав седой головой, старик сказал Федору:

— Нет, как ты хошь, а не ндравится мне это, сынок.

Федор хотел было возразить отцу. Но его опередили дружно заступившиеся за него сослуживцы. Осмелев от хмеля, они наперебой зашумели:

— Правильно, наряд, поступил. Правильно.

— Нам с такими бражничать не с руки...

— Без его, бог милует, как-нибудь обойдемся...

— С таким офицером и кусок поперек горла встанет.

— Не офицер — шкура барабанная!
— Ну, братцы, хлебнем мы, должно быть, горя с этой гнидой.
— Это как пить дать — хлебнем.
— Выспится он, варнак, на нашем брате...
— Ведь это што тако?!— сказал громче всех Сашка Неклюдов.— Три раза низики у меня на смотрах браковал. То ошкур, говорит, против формы на полвершка обузили. То гашники, понимаешь, пришлись ему не по артикулу.
— Ну, ты хоть на подштанниках отыгрался. А я вон при родительском-то капитале на две четвертных из-за седла пострадал,— сказал Андрей Прахов.
— К ленчику придрался?— насмешливо спросил Федор.
— Сперва к ленчику. Потом на переметны сумы его сбросило: косину как-то нашел. Словом, забраковал, и баста. А седло у меня, ребята, вот те Христос, было в полном порядке,— поспешно перекрестившись, сказал Андрей Прахов.
— Што там говорить. Знаем...
— Мастер-то один у нас всех седла работал. Не мастер — золотые руки...
— И што это он взъелся на меня, братцы? Обличьем, што ли, я ему не пондравился? Шутка сказать, я за эти сборы родителя в таки долги вогнал, што ему до второго пришествия из них не вылезти...— продолжал Андрей Прахов.
Еле-еле утихомирив непристойно расшумевшихся казаков, Егор Павлович сурово сказал:
— Ох, неладно вы судите, ребята. Страм слушать. К хорошему таки разговоры не приведут... На то ты и нижний чин, чтобы офицера бояться. Так мы, стары люди, службу свою соблюдали — не в укор господу богу и отечеству... А вам страмить отцовску честь такими разговорами совсем не пристало бы. Не по-казачьи это у вас выходит, ребята.
Старик хотел было распечь на прощанье и сына, и всех его друзей-приятелей. Но охмелевшие казаки уже не слушали его и еще громче и непристойнее стали поносить ненавистного им офицера. Неизвестно, чем бы это могло кончиться, не загреми над рощей сигнал полковой трубы, возвестивший о последних минутах прощанья с уходящими казаками.

Невообразимая суматоха поднялась вокруг. В дубраве стоял теперь такой страшный гул от материнского плача, от пронзительного ржания строевых лошадей, от прощальных речей и криков провожающих, что казалось, сама сырая земля стоном стонала.

Простившись поочередно со всеми родными, Федор лихо вскочил в седло. Агафьевна, задыхаясь от глухих, похожих на смех рыданий, крепко уцепившись за вдетую в стремя ногу сына, удерживала его. И напрасно геройски крепившийся от застивших очи горьких слез Егор Павлович пытался уговором и силой оторвать от сыновнего стремени неразумную старуху. Ничего не хотела ни видеть, ни слышать она. Посиневшие от напряжения узловатые пальцы ее прочно держали стремя, а страдальчески искривленные губы жадно целовали и пыльный сыновний сапог, и холодную неласковую сталь стремени, и тяжелую пряжку подпруги...

Даша, безмолвно стоявшая в сторонке, не могла теперь уже пробиться к Федору сквозь плотно окольцевавшую его коня толпу родственников. Федор грустно и жалко улыбнулся ей и махнул рукой.

Грянул последний требовательный звук полковой трубы, строевик Федора заржал, у Даши похолодело и остановилось сердце.

Все было кончено.

Ослабевшие руки Агафьевны выпустили сыновнее стремя, и, обессиленная, она уже без рыданий упала на руки снохи Варвары.

Федор, бросив последний взгляд на Дашу, пришпорил коня.

Через четверть часа эшелона уже не было видно. И только оранжевое облако пыли долго еще висело над пустынной порозовевшей от заката дорогой, да все глуше и печальнее звучала далекая, затерявшаяся в предсумеречном степном просторе казачья песня:

Засвистали в поле казаченьки
В поход с полуночи,
Заплакала наша Марусенька
Свои ясны очи...
Ты не плачь, не плачь, наша Маруся,
Не плачь, не журися —
За своего боевого друга
Богу помолися...

Ты не плачь, не плачь, наша подружка,—
Мы возьмем тебя с собою,
Мы возьмем тебя с собою,
Ох, да только не женою,
Эх, да только не женою.
Назовем тебя ль, наша подружка,
А родной сестрою!

Меркла слабо озаренная последними вспышками заката убегающая в степной простор дорога. А женщины долго еще бежали за уходящим в степь эшелоном...

30

Спустя пять дней эшелон казаков под командованием есаула Стрепетова прибыл к месту сбора всех девяти полков, сформированных на Горькой линии. Казаки расположились биваками в бараках и походных палатках на берегу степной речки Чаглинки, вблизи города Кокчетава. Сюда же начали подходить эшелоны других линейных станиц: здесь им предстояло переформироваться в полк, пополнить недостающее холодное оружие и обмундирование, а одновременно и провести несколько строевых учений.

В воскресенье, тридцатого июля, в день, свободный от строевых занятий, казаки отдыхали. Одни резались в карты, другие валялись по палаткам, отводили душу в песнях, третьи просто шатались по лагерю, томясь тоской и бездельем.

В этот день Федор Бушуев с утра не находил себе места.

Проснувшись поутру и лежа еще в палатке, он все старался припомнить сон, наполнивший его какой-то непонятной тревогой. Но вспомнить ничего не мог, кроме того, что снилась Даша. Он долго лежал, не открывая полусмеженных век, и то с грустью затаенно любовался привидевшимся ему обликом Даши, то с тоской вспоминал плачущую мать, которую никак не могли оторвать от стремени его коня, то всплывала в его памяти толпа ринувшихся за эшелоном женщин, среди которых он все старался различить Дашу...

В таком тревожном состоянии провел Федор весь день, слоняясь по лагерю от палатки к палатке.

Часу в пятом вечера, когда Федор стоял с группой одностаничников у передней линейки, из-за бараков вылетел дорогой фаэтон, запряженный парой великолепных

рысаков светло-серой масти. Толпа казаков шарахнулась в стороны, дала фаэтону дорогу. В фаэтоне сидели два подвыпивших офицера. Один из них — сотник Скуратов, ловко выпрыгнув на ходу, обвел мутным взором казаков и, остановив свой взгляд на Федоре, крикнул:

— Как стоишь, сукин сын, перед офицером?

Федор вытянулся в струнку.

— Почему мне чести не отдал?— понизив голос, спросил Скуратов, приблизившись к Федору.

— Виноват, ваше благородие,— глухо проговорил Федор.

— Что значит — виноват?!

— Виноват. Не заметил, ваше благородие.

— Как ты сказал? Офицера, своего командира сотни, не заметил?! Ты скажи лучше прямо — не пожелал замечать!

Федор молчал. Лицо строгое, сосредоточенное. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом губ выдавали его смятение, обиду и гнев.

— Отвечай, когда тебя спрашивает офицер!— почему-то вполголоса проговорил, бледнея, Скуратов и, не дав Федору вымолвить слова, развернулся и наотмашь ударил его по лицу.

Пошатнувшийся от удара Федор закусил губу и на секунду прикрыл глаза. Вокруг стало так тихо, что было слышно, как заверещал в сухой траве кузнечик. И вдруг казаки, до сего неподвижно и молча наблюдавшие всю эту сцену, ринулись к Федору и в мгновение ока замкнули его и сотника в глухое кольцо.

— Это што же такое, братцы!— крикнул полурыдающим голосом Андрей Прахов.— Мы идем кровь за родину проливать, а они нашего брата ни за што ни про што по морде лупить будут!

— Как ни за што ни про што?! Ведь это он, сволочь, за коня Федьку ударил!— сказал Пашка Сучок.

И слова Пашки потонули в гневных выкриках казаков:

— Што ты на него смотришь, станичник, дай ему по уху!

— Бей его!

— Полыхни его шашкой — и вся недолга...

— Правильно. Давай я ему, варнаку, заеду...

Бледный, как полотно, протрезвевший Скуратов, за-

травленно оглядевшись вокруг, вдруг выхватил из кармана браунинг, изогнувшись, как для прыжка, бросился в сторону, сбил ударом плеча с ног Сашку Неклюдова и, прорвав кольцо казаков, пошел наутек к стоявшему в стороне офицерскому бараку.

Казаки с диким воем и улюлюканьем ринулись за сотником. Но Скуратов успел вскочить в барак и захлопнуть за собой на крюк тяжелую дверь. Казаки бросились было к окошку. Но в это мгновенье прозвучали три беглых револьверных выстрела — сотник стрелял из окна,— и раненный в ногу Сашка Неклюдов присел, обронив свой клинок.

Не помня уже себя от ярости, казаки, несмотря на револьверную пальбу сотника, начали бить оконные стекла, рубить клинками косяки и рамы, пытаясь ворваться в барак.

Вдруг кто-то крикнул:

— Давайте, братцы, сена с коновязи! Зажигай!

— Зажигай! Изжарим его живьем, гадюку!

— Так точно, ребята. В огонь его!

— В огонь!

— В огонь подлеца!

Все это произошло в одно мгновенье. Небольшой офицерский барак, обложенный охапками сухого сена, запылал со всех сторон, а казаки с обнаженными клинками столпились у выхода.

Между тем Аркадий Скуратов продолжал еще стрелять то в одно, то в другое окошко, убив при этом казака станицы Звериноголовской Зиновия Синельникова и ранив еще двух второотдельских казаков. Но когда бушующее пламя пожара прорвалось внутрь барака, Скуратов выскочил с браунингом в руках в одно из окошек и, почему-то пригнувшись, побежал в степь.

Толпа казаков, высоко занеся над головами клинки, бросилась вслед за сотником. Они бежали, настигая Скуратова, в том безмолвном и страшном ожесточении, какое мыслимо только при рукопашной атаке.

Не чуя под ногами земли, Федор бежал с обнаженным клинком впереди. Наконец настигнув Скуратова, он яростно простонал, больно прикусив губу, сделал последним усилием воли еще один рывок вперед и стремительным ударом клинка сбил с ног сотника. В сущности, Федор не знал и не помнил потом — задел ли он

своим клинком сотника, или тот рухнул снопом в траву, уклоняясь от его сабельного удара.

Но как бы там ни было, а через мгновение все было кончено. Казаки изрубили сотника в куски. Ни один из них позднее не мог сказать, чей удар был смертельным для сотника.

31

Офицеры казачьего полка, кутившие по случаю воскресного дня по шинкам и харчевням Кокчетавской станицы, узнав об убийстве Скуратова взбунтовавшимися казаками, притихли; и ни один из них, за исключением есаула Стрепетова, не рискнул явиться в тот день в полк. Перепуганный атаман второго военного отдела войсковой старшина Игнатий Шмонин тотчас же шифром телеграфировал наместнику Степного края генерал-губернатору Сухомлинову о начавшемся на Горькой линии бунте среди мобилизованных казаков и об убийстве сотника Скуратова, умоляя атамана о немедленной высылке войск.

Между тем есаул Стрепетов, проводивший этот воскресный день в доме Игнатия Шмонина за игрой в винт, узнав о случившемся, тотчас же собрался в полк. Несмотря на уговоры войскового старшины, истеричных дам и всех присутствовавших в доме Шмонина армейских офицеров, есаул приказал ординарцу подать коня. Алексей Алексеевич предусмотрительно снял с себя серебряную офицерскую шпагу и вручил совсем потерявшему голову атаману отдела даже собственный пистолет — полуигрушечный «смит-вессон».

— Вы с ума сошли, есаул! Как же можно являться в лагерь сейчас одному да еще без оружия?!

— Ничего. Ничего. Бог милостив, господин войсковой старшина. А уж ехать туда сейчас, так только без оружия...— заявил Стрепетов.

— Дело ваше, есаул. Но лично я не рискнул бы...

— Насчет вас — ничего не скажу. За себя — отвечаю,— сказал Стрепетов. И он, откозыряв столпившимся вокруг него во дворе офицерам и почтительно откланявшись дамам, ловко махнул в седло и поскакал в сопровождении своего ординарца в лагерь.

В лагере царил обычный порядок. Решительно ничего не говорило здесь о только что разыгравшейся драме.

Все строевые кони полка, как и всегда перед вечером, находились у коновязей, и казаки хлопотали с раздачей своим лошадям полученного от каптенармуса овса. По-прежнему стоял вблизи передней линейки навытяжку часовой, охраняющий полковое знамя. Мирно дымились походные кухни. Незлобно переругивались, как обычно, повара, готовившие нехитрый армейский ужин. Около взвода казаков, толпившихся на плацу, потешались над приблудным козлом, злым как черт и почему-то не выносившим свиста. Казаки свистели, поддразнивая козла, а он, злобно потряхивая бородкой, гонялся за ними.

Все здесь было по-прежнему. И только чуть дымящиеся груды пепелища на месте бывшего офицерского барака свидетельствовали о разыгравшемся здесь сегодня трагическом событии. Ко всему привык есаул Стрепетов за многие годы армейской службы. Но и его, тертого офицера, поразило необыкновенное, будничное спокойствие лагеря. Стрепетов не понимал, было ли оно выражением чего-то такого, что называется в медицине шоком, или же, наоборот, непритворным душевным равновесием этих людей, инстинктивно убежденных в безгрешности совершенного ими поступка. «Удивительное, удивительное дело — русский человек!»— подумал Стрепетов, отвечая легким взлетом правой руки к виску на приветствия встречных казаков, как всегда, открыто, простодушно, весело поглядывавших при этом на есаула.

Спешившись около своей палатки, есаул вызвал дежурного по лагерю вахмистра Катанаева и, вопреки обыкновению не приняв от него устного рапорта, приказал тотчас же выстроить полк в пешем строю на пустынном степном плацу, вблизи передней линейки.

Через пять минут весь полк, поднятый звуком сигнальной трубы, стоял в строю по команде «смирно», и есаул, выйдя к казакам, поздоровался с ними.

— Здорово, братцы!— прозвучал строже и грознее обычного низкий грудной голос есаула.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!— дружно грянули казаки все с тем же лихим душевным порывом, с каким они отвечали на приветствия только этого офицера.

Выдержав паузу, есаул пристально присмотрелся к развернутому фронту полка и отдал команду:

— Дежурный по лагерю вихмистр Катанаев — ко мне!

И Катанаев, на рысях подбежавший к есаулу с правого фланга, замер, молодцевато стукнув подборами и отдав честь.

— Рапортуйте, вахмистр!— коротко приказал есаул.

— За время моего дежурства, ваше высокоблагородие,— начал при гробовой тишине вахмистр,— в лагере произошел несчастный случай, в результате которого покойным сотником Скуратовым убит наповал посредством выстрела из револьвера казак второй сотни и ранено трое нижных чинов. Сотник Скуратов зарублен в полуверсте от данного лагеря неизвестными казаками, а офицерский барак сожжен...

— Все?— спросил есаул.

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Можешь идти,— сухо сказал есаул. И, не спросив затем ни у дежурного по лагерю, ни у самих казаков о подробностях этого чрезвычайного события, он отдал команду «вольно», приказал распустить казаков по казармам, а сам удалился в свой шатер.

Разойдясь по своим казармам и по палаткам, казаки притихли. Только сейчас, кажется, начали понимать они в полном объеме трагические события этого дня и задумываться над последствиями, которые неизбежно повлечет за собою этот из ряда вон выходящий случай.

Наступила тревожная ночь. Она была аспидно-темной и ветреной. Полыхали вдали голубые зарницы молний. Далекие грозовые удары звучали, как нарастающая артиллерийская подготовка перед приближением беглого и навесного огня.

Казаки не спали. Курили. Вполголоса переговаривались.

— Теперь — каюк, братцы, нашему полку.

— Это так точно. Отказаковали...

— Прямым маршем — в рай.

— Ну, всех не отправят...

— Дожидайся — помилуют.

— Помилуют не помилуют, а коли стена стеной встанем, не скоро к нам подкопаешься.

— Это как же так?

— Очень просто. Не выдавать им ребят — и баста.

— Резон, сослуживец. Один — за всех. Все — за одного.

— Правильно. Молчок — как воды в рот набрали.

— А што тут молчать? Не мы — он, шкура, начал.

— Пойди-ка докажи им теперь...

— Нет, братцы, стеной станем — не прошибут.

— Под пулеметами не настоишь...

— Забуровил — под пулеметами! Кто это тебе в казаков стрелять станет?!

— Те самые, в кого мы прежде стреляли...

— Брось каркать к ночи...

— Вот именно.

— Каркай не каркай, а маршрут один — поминай теперь, как нашего брата звали.

— Ну, это ишо посмотрим.

— Все ясно как божий день. Недаром офицерье глаз не кажет — струсили.

— А есаул?

— Есаул — што. Есаул сам вместе с нами за нас в ответе.

— Так точно. Они и его под статью подведут — хоть стой, хоть падай.

— А он-то при чем? Брякнет тоже.

— При том, што душу имеет...

— Насчет души — это другое дело. Душевнее есаула командира во всем полку нету.

— Што правда, то правда, братцы. Вот уж на такого офицера ни у кого рука не подымется. Это тебе не Скуратов — покойна дыра,— туды ему и дорога!

Федор лежал на попоне, положив в изголовье седло, между Пашкой Сучком и Андреем Праховым, прислушиваясь к приглушенному говору однополчан. Он знал, что разговор этот ведется для простого самоутешения. Не такие дураки атаманы и генералы, чтобы не отыскать в полку одну мелкую душу, заставить ее выдать с головой правых и виноватых...

Федор все это понимал сейчас настолько трезво и ясно, что разговоры однополчан казались ему ребяческой забавой — не больше. Понимали это и Пашка с Андреем Праховым. О том же, как они будут выпутываться из всей этой заварухи, Федор и оба его сослуживца сейчас вовсе не думали, ибо это было вне их возможностей. Странное, обезоруживающее равнодушие овладело ими после всего пережитого. Словно все силы, всю волю, весь гнев разом отдали они за один взмах клинка, раскроившего бритый череп Скуратова. А сейчас вот неподвижно лежали на жесткой армейской попоне, и непривычная

физическая усталость навалилась на них, сковав их тела и наполнив холодом сердца.

Между тем не спал в эту ночь и есаул Стрепетов в своей походной палатке. Набросив на плечи полевую шинель — его что-то знобило,— он долго сидел за столом, подперев подбородок руками и заглядевшись на трепетное пламя свечи. Его ординарец — вихрастый Санька Курташ — трижды напоминал ему о заваренном чае. Но есаул или не отвечал, или гнал его прочь. Просидев так около двух часов, есаул вдруг позвал ординарца и, приказав ему сесть против себя на складной брезентовый стульчик, вполголоса спросил:

— Слушай, братец, а не знаешь ли ты, чьих рук это дело с сотником?

— Никак нет. Помилуй бог, ваше высоко...

— Ну хорошо. Хорошо. Не божись. Верю,— перебил его есаул.— Впрочем, я этого от тебя не требую. Но дело вот в чем. Рано или поздно виновных найдут. Военно-полевой суд в таких делах крут на расправу... Словом, вот что, дружок. Валяй-ка сию минуту предупреди молодцов. Если не хотят под расстрел — пусть скроются. И немедля. А куда — это уж их дело.

Ординарец, изменившись в лице, хотел было что-то сказать есаулу — не то возразить в чем-то, не то сослаться на свое неведение. Но есаул повторил свои слова тоном приказания. Курташ, вскочив с походного стульчика, вытянулся во фронт.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Будет исполнено,— и тотчас исчез из палатки.

Многое передумал, о многом припомнил есаул Стрепетов в эту тревожную бессонную ночь. Заслонив воспаленные глаза сухой горячей ладонью, он словно пристально вглядывался в минувшее. И как это часто бывает в минуты душевного напряжения, картины былого возникали, чередуясь, с необычайной яркостью. Омский кадетский корпус. Друзья-однокашники, узкий полулегальный товарищеский кружок под эгидой землячества и душа этого кружка рослый, широкоплечий кадет с веселыми глазами Валериан Куйбышев.

Не все тогдашние кадеты — члены этого кружка — ушли вслед за своим вожаком Валерианом в профессиональные революционеры. Не ушел за ним и Алексей

Стрепетов. Однако, оставшись кадровым офицером в армии, он не утратил былой духовной связи с друзьями по корпусу. Впрочем, связь эта — с иными из них — была не только духовной. Так, с ушедшими вместе с Валерианом Куйбышевым в революционное подполье кадетскими воспитанниками — Сашей Виноградовым, Сергеем Рокотовым и Афанасием Елковым — Алексей Стрепетов не терял практически своих связей и поныне. Покинув армейскую службу, они перешли на нелегальное положение и жили — в разных местах Петропавловского, Кокчетавского и Акмолинского уездов — по подложным видам на жительство, под чужим именем.

Судьбе было угодно иной раз сводить Алексея Стрепетова с этими людьми. Навещая время от времени по долгу службы войсковых атаманов уездных степных городков, Алексей Алексеевич случайно наткнулся на одного из своих друзей — Сашу Виноградова, который свел его с остальными, и каждый из них впоследствии доверительно признался Стрепетову в истинном своем положении. И каждому из своих друзей он дал слово офицера молчать.

Встречаясь порою с тем или иным из троих бывших кадетских воспитанников, живших по подложным паспортам, Стрепетов избегал вызывать их на откровенный разговор, а они, в свою очередь, видимо, из соображений конспирации, проявляли по отношению к нему понятную осторожность. Однако из разговоров с ними Стрепетов сделал вывод, что за плечами этих людей стояло нечто большее, чем их революционно-пропагандистская работа среди казачьего сословия.

Чаще всего встречался Алексей Алексеевич Стрепетов с Сашей Виноградовым — по паспорту Михаилом Вдовиным, работавшим механиком на паровой мельнице в Кокчетаве — родине Валериана Куйбышева. И в последнюю их, прошлогоднюю, встречу Виноградов намекнул Стрепетову на свои связи с Валерианом Куйбышевым и с подпольщиками Томска. Он прямо сказал есаулу: «В случае нужды ты всегда, Алексей Алексеевич, можешь положиться на нас. У нас ребята надежные — выручат!»

Догадываясь, видимо, о назревавшем духовном кризисе Стрепетова, Виноградов участливо давал ему понять о том, что пути сближения его с революционным подпольем для него не заказаны. И Алексей Стрепетов, только теперь поняв это, вдруг просветлел душой и был благода-

рен не позабывшим о нем товарищам отмерцавшей юности.

Между тем о вольнодумстве есаула Стрепетова хорошо было известно не только в офицерской среде полка — знало о том и прямое его начальство рангом повыше. До Стрепетова не раз доходили слухи о том, что его личностью интересовался даже сам атаман второго военного отдела Сибирского линейного казачьего войска генерал от инфантерии Савранский. Со слов полкового штабного писаря хорунжего Мити Боярского — давнего и верного своего приятеля — Алексей Алексеевич знал о секретном письменном запросе атамана Савранского, адресованном командиру полка полковнику Няшину насчет политической неблагонадежности строевого есаула Стрепетова. Не было только пока известно, какую характеристику дал на генеральский запрос командир полка Няшин. Но на лестные отзывы о нем Няшина рассчитывать Алексей Алексеевич не мог: слишком хорошо ему было ведомо настороженно-подозрительное отношение к его персоне со стороны полкового начальства.

Словом, круг замыкался. Пора было принимать решение. И Стрепетов со свойственной ему непреклонностью, не колеблясь, принял его.

Он верил в доброжелательность друзей былой юности и знал, что любой из них окажет ему надежную поддержку в трудную для него минуту. Но в то же время он понимал, что с переходом на нелегальное положение ему придется искать убежище вне пределов городов и станиц Горькой линии,— слишком многие из ее старожилов лично знали его, чтобы мог он избежать провала.

Выходило, надо было подаваться куда-нибудь в глубь Восточной Сибири — хотя бы в тот же Томск, где, по намекам Саши Виноградова, ютилось ядро подпольной революционной организации.

Итак, отныне для армейского есаула Стрепетова начиналась иная — не скупая, надобно полагать, на риск, на лишения, на беды и грозы — жизнь.

Светало.

Есаул достал из полевой сумки толстую гимназическую тетрадь в плотном клеенчатом переплете, подаренную ему в канун похода Наташей Скуратовой. Бережно вырвав из этой тетради две развернутые страницы, он стал писать на них своим угловатым и резким почерком.

«Пишу в минуту большого душевного смятения и

огромной тревоги за Вас, далекая теперь от меня, степная моя птица! Судьбе и богу угодно было свести меня с Вами только для того, видимо, чтобы жить затем долгие годы теплом Вашего душевного света. Случилось так, что я вынужден буду покинуть полк и армию и уйти по доброй воле на все четыре стороны в поисках иных занятий и иного приюта. Не стану Вам объяснять причин, побудивших меня к этому. Все — сложно и длинно. Одно скажу — не из трусости, не из боязни быть разжалованным и посланным в штрафную роту: у трибунала могут найтись такие основания,— нет, Наташенька. «Познал я глас иных желаний, познал я новую печаль», если говорить словами нашего Пушкина. И если суждено еще будет нам когда-нибудь встретиться с Вами, я расскажу Вам многое, и Вы, надеюсь, поймете и оправдаете меня тогда, чего не сможете сделать сегодня,— и я понимаю Вас. Будьте же счастливы.

Преданный Вам *Алексей Стрепетов.*

30 июня 1914 г. Полковой бивак».

Над безлюдной, преисполненной тихой печалью, пепельно-мглистой от ковыльных волн степью вставало хмурое, не сулившее погожего дня утро.

...В седьмом часу утра, когда личный состав полка был выстроен на передней линейке для поверки, дежурный по казарме, где размещалась вторая сотня, доложил дежурному по лагерю подхорунжему Раскатову об исчезновении трех казаков вверенной ему сотни. Рапортуя подхорунжему об исчезнувших казаках, дежурный вполголоса назвал их фамилии. Но все уже знали, что это был Федор Бушуев с двумя своими приятелями, Андреем Праховым и Пашкой Сучком.

Об исчезновении же есаула Стрепетова и его ординарца в лагере еще не знали.

32

Спустя три дня после трагедийного воскресенья казаки мятежного полка были подняты чуть свет по сигналу сторожевой трубы и выстроены на передней линейке. Младшим офицерам полка, явившимся на лагерный плац при холодном оружии, было предложено оставить шашки в казармах и вернуться в строй без оружия.

Над степью занимался мглистый рассвет — предвестник знойного дня. Было что-то тревожное в этом сумном и трепетном свете неяркой утренней зари, в косых полетах чаек над озером, в мелком дрожании крыл пустельги. Тревожно вели себя и прибывшие в полк офицеры, толпившиеся вокруг войскового старшины Игнатия Шмонина. Вполголоса переговариваясь между собою, они настороженно озирались по сторонам, бросали воровато-косые взгляды на казаков, выстроенных развернутым фронтом. Тревожно было и на душе у казаков, почуявших неладное в этом раннем офицерском визите в полк и в приказании войскового старшины о разоружении урядников.

Когда полк замер по команде «смирно», войсковой старшина — вопреки войсковым правилам,— не поздоровавшись с казаками, скомандовал:

— Справа по шести, шагом марш!

Полк, развернувшись направо, перестроился, образовав колонны по шести казаков в каждой.

— Прямо, шагом марш!— скомандовал Шмонин.

И казаки тронулись в пешем строю на север от лагеря, в степь, туда, где ясно виднелись в утренней дымке вершины обнаженных и диких сопок, замыкавших большую долину, служившую отличным полигоном для учебной стрельбы. Вот в эту-то долину, замкнутую с трех сторон сопками, а с четвертой — перерезанную рекой, и привели казаков мятежного полка, выстроив здесь их снова развернутым фронтом.

Офицеры, окружавшие войскового старшину, выстроив полк на полигоне, тотчас скрылись за сопкой, и казаки остались одни.

Прошло битых три часа, а офицеры не показывались, и казаки продолжали стоять в вольном строю одни.

Между тем жаркое и яркое августовское солнце начинало палить яростно и немилосердно. Каменистый, почти лишенный растительности полигон накалился, как сковорода. На нем теперь было трудно стоять даже в армейских шагреневых сапогах — раскаленная кремнистая почва прожигала кожаные подошвы.

Наиболее дюжие и выносливые из казаков находили еще в себе силы сдабривать разговор невеселой шуткой.

— Вот говорили, что прямым маршем в рай пойдем, а выходит — с ходу в ад попали.

— И то правда — настоящая преисподня. Только чертей не видно.

— Черти не дураки. Они в холодке за сопкой сидят.

— Правильно. Главного сатану дожидаются.

Курносый, похожий на подростка, казачишка Михейка Сукманов то и дело всех спрашивал:

— Братцы, неужели в нас стрелять станут?

— А ты думал — мимо?! На то и полигон, штобы лупить по мишеням.

— Это мы-то — мишень?!

— Ишо какая — лучше не придумаешь!

А во второй половине дня, когда приумолкли измученные жарой, тревогой и жаждой даже ухари и острословы, полк, инстинктивно сомкнувшись в ряды, насторожился. Пристально присмотревшись к подернутой знойной дымкой степи, что видна была сквозь проем двух угрюмых сопок, казаки заметили идущую на рысях конную кавалькаду, в центре которой гарцевал на рослом белом коне такой же рослый и белый — от серебряной бороды и генеральского кителя — всадник. Почти одновременно с конной кавалькадой на склонах всех сопок показалась точно выросшая из-под земли пехота.

Все это произошло в одно мгновение. Солдаты, залегшие в цепь, выставили перед собой станковые пулеметы, замкнув казаков в кольцо и взяв их под прицел пулеметов.

Вынырнувший из-за сопки войсковой старшина, держась от казаков на довольно далекой дистанции, отдал команду:

— Сомкнуть взводы. Равнение направо. Смирно!

Казаки замерли, взяв равнение направо. Осадив своего белого, как лебедь, коня шагах в ста от казаков, всадник в белом кителе — это был генерал от кавалерии Усачев — вместо приветствия крикнул глуховатым старческим басом:

— Я требую немедленной выдачи виновников бунта!

Казаки молчали. Было тихо. Белый генеральский конь, закусив удила, бил копытом кремнистую землю полигона, и она гудела глухо, как бубен.

— Вы слышите?! Я требую выдать мне сейчас же виновных!— повторил генерал.

Полк молчал. Проскакав на полном аллюре вдоль фронта туда и обратно, генерал, привстав на стременах,

высоко поднял над головой белую из тонкого шелка парадную перчатку и крикнул:

— Даю вам пять минут на размышление. И если через пять минут виновники не будут мне выданы, я сотру вас с лица земли, как позорное племя бунтовщиков. Достаточно взмаха моей перчатки — и на вас обрушится ливень огня двенадцати пулеметов. Итак — пять минут!

Вдруг из дрогнувших рядов левого фланга выступил вперед пожилой, крепко сбитый казак с черной бородой. Не доходя до генерала пяти шагов, он стал как вкопанный и громко отрапортовал:

— Во всем виноват я, ваше высокопревосходительство. Принимаю всю вину на себя.

Остолбеневшие казаки узнали в бородатом однополчанине Авдея Ивановича Лузина — крестного дядю Федора Бушуева, пошедшего в действующую армию добровольцем.

Генерал, ошарашенный неожиданным рапортом престарелого казака, на мгновение растерялся. Но тут же, придя в себя, проговорил:

— Ага. Но этого мало...— И он тотчас же приказал толпившимся позади него всадникам в офицерских погонах убрать с полигона старого казака.

Офицеры, окружив Авдея Лузина, отвели его в сторону, передав затем подбежавшим с винтовками наперевес солдатам.

Между тем казаки, продолжавшие молча стоять в строю, знали, что Авдея Лузина и в лагере-то не было в день этого страшного происшествия. Старик прибыл в полк только на второй день после катастрофы, когда в полку уже было обнаружено исчезновение трех казаков и есаула Стрепетова, бежавшего, как поговаривали, вместе с казаками.

Спустя полчаса, когда по приказанию генерала был выведен из строя и взят под ружье каждый девятый, когда постигла такая же участь и всех казаков, дежуривших в сотнях в день убийства Скуратова, остальных казаков погнали под конвоем пехоты в лагерь. Черные от зноя и жажды, обреченно поникшие, они походили на арестантов.

33

В ту же ночь, когда стрепетовский ординарец Санька Курташ, вызвав Федора Бушуева из казармы, сказал,

что есаул советует им скрыться, Федор, посовещавшись с приятелями, решил-таки сделать, как предлагал есаул. А перед рассветом, когда замертво спал весь лагерь и ливень с ветром бушевал в окрестной степи, тройка беглецов, попадав на своих оседланных строевиков, покинула лагерь.

Решившись на побег, Федор сказал приятелям:

— Дорога у нас одна — к Салкыну.

— Будет ли прок-то?— усомнился Пашка Сучок.

— Попытка не пытка,— ответил Федор.

— А не податься ли нам в степь? Там на первых порах можно будет у тамыров укрыться. Есть у меня там на примете такие...— сказал Андрей Прахов.

— Нет, братцы. Без Салкына — я ни шагу. Да и уговор у нас был. Дескать, в случае чего — крой, мол, ко мне. Я, говорит, всегда тебя выручу,— сказал Федор.

И казаки, положившись на Федора, согласились с его резонными доводами, решившись на тайную встречу с Салкыном.

Совершив суточный марш,— день они провели, схоронившись с конями в дремучем сосновом бору,— беглецы на вторую же ночь достигли хутора Подснежного, расположенного в десяти верстах от родной станицы. Шли они переменным аллюром в стороне от торных дорог и трактов, по целинной глухой степи, в обход встречных сел и аулов. И только хутор Подснежный, где жила Даша Немирова, не мог Федор Бушуев обойти стороной и провел своих спутников по единственной его улице на рысях, не сбавляя аллюра. Ночь была темная — хоть глаз выколи. Но Федор, несколько приотстав от спутников, все же различил в темноте неясные очертания знакомого дома, в горнице которого горел свет. Придержав коня, Федор на секунду остановился около палисадника, густо заросшего кустами сирени и акацией. У него замерло сердце при взгляде на освещенное окно. Он привстал на стременах и затаил дыхание. Но как ни напрягал он свои по-орлиному зоркие глаза, ему ничего не удалось увидеть за наглухо закрытой занавеской. О, как дорого заплатил бы он сейчас, чтобы хоть на мгновение увидеть Дашу.

Но вот легкая, как крыло птицы, тень промелькнула за занавеской. Затем мелькнула поверх занавески обнаженная по локоть девичья рука. Огонь погас.

И Федор, пришпорив своего нервно подрагивающего строевика, поскакал во мглу вслед за своими спутниками.

За час до рассвета беглецы, спешившись на берегу озера, где стояла хлызовская мельница, оставили коней в камыше, связав их поводьями, а сами воровски прокрались к стоявшей на отлете саманной сторожке, где жил Салкын.

Спустя полчаса беглецы сидели у столика, заваленного книгами, с жадностью пили, обжигаясь, горячий чай, наскоро приготовленный расторопным хозяином. И Салкын, выслушав гостей, сказал после раздумья:

— Ну что ж. Никуда не денешься. Придется что-то придумывать, выручать из беды вас, товарищи...

Помолчали. Прислушались. Было тихо.

Салкын сказал:

— Прежде всего надо припрятать до света ваших коней.

— Куда же?— спросил Федор с тревогой.

— Найдем куда,— успокоил его Салкын.

— А мы?

— Переднюете у меня. Хозяина, кстати, дома нет,— шляется где-то по ярмаркам. Мельница на ремонте. Стало быть, посторонних здесь — ни души. Словом, вам повезло, ребята... Ложитесь и отсыпайтесь пока подобру-поздорову. Утро вечера мудренее.

И казаки, успокоившись, улеглись вповалку прямо на пол, на разостланное хозяином рядно.

Какие-то там минуты две-три они, увязая в нахлынувщем на них вязком и зыбком сне, бессвязно вполголоса переговаривались.

— Как-то теперь наш есаул?— вспомнил Федор о Стрепетове и глубоко вздохнул.

— Да-а, вот уж истинным был отцом он для нас с вами, братцы!— прошептал кто-то.

— Не говори, братец...— протянул сонным голосом Пашка Сучок.

— Спас он ведь нас, братцы, подбив на побег... Я в его верую!— утвердительно сказал Федор.

Они замолчали. Пережитое душевное потрясение, бессонная ночь накануне и, наконец, этот сумасшедший марш сквозь ночную мглу, когда каждую секунду ждали они погони,— все это было теперь уже позади. И беглецы, впервые за эти сутки почувствовав нечеловеческую усталость, тотчас же заснули как убитые.

...Разбуженные на рассвете вооруженным отрядом одностаничников, казаки долго не могли понять, где они и что с ними. И только увидев пристава Касторова, брезгливо роющегося в книжках Салкына, они наконец пришли в себя и все поняли — круг замкнулся.

Беглых казаков, арестованных в сторожке Салкына, временно заточили вместе с приютившим их хозяином в каталажке станичного правления, где кроме них сидело несколько казахов во главе с Садвакасом.

В камере было тесно и душно. Избитый казаками Садвакас, страдая от боли, сидел часами неподвижно в углу и, обхватив руками бритую голову, глухо стонал или шептал слова какой-то молитвы.

— Да замолчи ты, ради Христа, азиат. Дай покою. Не выматывай душу,— раздраженно ворчал Федор.

Садвакас умолкал на минуту. И Федор, участливо тронув его за руку, спрашивал по-казахски:

— Ну как, тамыр, очень больно?

— Уй-баяй, все тело горит,— отвечал Садвакас, покачиваясь, как маятник, из стороны в сторону.

— Да, здорово они тебя, подлецы, отсоборовали, а за што — одному богу известно.

— Вот именно, одному богу,— говорил Салкын.

Умолкнув, арестованные тупо смотрели в пропитанную духотой мглу, отдаваясь невеселым размышлениям о будущем. Федор отлично понимал, что следственная комиссия докопается до прямых виновников убийства сотника и что ничего, кроме расстрела, его в таком случае впереди не ждет. Но, понимая это, он не заводил об этом разговора с Салкыном. Им овладело какое-то равнодушие ко всему на свете. И даже Даша стала теперь для него какой-то чужой, отрешенной. Все было кончено для него. Он это знал. И, как ни странно, ему хотелось сейчас одного: скорейшей расплаты.

От одного из казахов, втолкнутого в камеру вместе с бушуевским работником Максимом, арестованные наслышались о том, что творилось сейчас в окрестных аулах. Джатаки, местами объединившись в конные отряды, совершали по ночам набеги на линейные казачьи станицы, отбивали и угоняли в степь косяки лошадей, выжигали скирды казачьего сена, а кое-где завязывали со станичниками потасовки, похожие на настоящие бои.

Салкын, внимательно выслушав рассказы казаха, задумался и долго сидел молча, невпопад отвечая на ред-

кие, бессвязные вопросы Федора. А глубокой ночью, когда все в камере забылись коротким и чутким сном, Салкын, тронув за руку Федора, шепнул:

— Не спишь, Федя?

— Ни в одном глазу.

Помолчав, Салкын сказал шепотом:

— Знаешь, друг, что я надумал?

— Говори, коли не секрет...

— Есть один у нас выход с тобой из этой ловушки — бежать.

— Это куда же?

— В аулы. В степь.

— Да ведь это только легко сказать — бежать, а как?

— Ну, это уж не твоя забота. Тут уж ты положись на мою сноровку. Не из таких казематов, было дело, мы с товарищами уходили. А уж из этой скворешни как-нибудь выберемся. Была бы только охота.

Помолчав, Федор спросил:

— Допустим, мы сбежали. Допустим, скроемся где-нибудь у степных тамыров. Ладно. Согласный. А дальше што?

— Там будет видно — что. Воля подскажет...

И странно, что Федор, до сих пор не думавший об этом, воспринял теперь эту простую мысль Салкына как некое откровение, сразу же проникнувшись горячим желанием во что бы то ни стало вырваться из-под стражи и уйти от суда. А вместе с этим как рукой с него сняло былое отупение и равнодушие. И ни следа не осталось от той покорности, которая возникла в нем с момента ареста и не покидала его до сей поры. Мысли о том, что он может оказаться на воле, дышать милым сердцу запахом горькой степной полыни, увидеть когда-нибудь Дашу, до того захватили его, что он уже не мог теперь спокойно лежать на нарах.

— Давай выручай, приятель. Заставь по веки богу молиться. Делай со мной что хочешь. В огонь и в воду за тобой пойду. Вернее меня друга не будет. Любую клятву дам — не подведу.

— Не клянись. Сейчас надо придумать, как нам отсюда выбраться. И потом — не одним же нам уходить. Если уж идти — идти всем скопом. Надо забрать с собой и казахов.

— А если они не согласны? — усомнился Федор.

— Придется уговорить.

— Я потолкую сейчас с Садвакасом. Он тут у них, видать, не из робкого десятка джигит, и они его слушают.

— Правильно. Попытай его по-казахски,— одобрил Салкын.

И Федор тут же, осторожно тронув за руку лежавшего рядом Садвакаса, разбудил его и поделился с ним идеей о побеге. Выслушав Федора, Садвакас горячо пожал ему руку, и Салкын услышал, как казах сказал по-русски и по-казахски:

— Правильно. Друс, тамыр.

А на вторую ночь все арестованные, посвященные в план побега, горячо принялись за работу. Перед рассветом, когда сторожившая их наружная охрана забылась в мирной дремоте, Салкын взялся за разбор печной трубы. Бесшумно вынимая кирпичи, Салкын подавал их Федору, а Федор осторожно и так же бесшумно передавал их в руки товарищей. Работали затаив дыхание, в абсолютной, настороженной тишине. Не прошло и четверти часа, как в открытое потолочное отверстие пахнуло сыростью непогожей, темной ночи; и Салкын, приподнятый Федором и Садвакасом, первым поднялся на потолочное перекрытие. За ним последовали друг за другом все остальные.

Очутившись на чердаке станичного правления, беглецы прислушались к ночи. Дождь шумел по железной крыше, и могучие тополя станичного сада гулко гудели.

— Золотая погодка!— шепнул на ухо Федору Салкын.

Вскоре они выбрались один за другим через слуховое отверстие на крышу здания и, следуя примеру Салкына, стали поочередно спускаться по водосточной трубе на землю.

Благополучно спустившись с крыши, они прошли цепочкой по темному саду; а затем, так же неслышно и ловко перемахнув через невысокую изгородь, подались в крепостные валы.

В степи царила кромешная мгла. Дождь поливал как из ведра. Не было видно ни зги.

Федор шел впереди. Голова кружилась от вольного степного воздуха; и он жадно глотал его, хмелея от этой прохладной ночи, от веселого проливного дождя, от порывистого встречного ветра, от ощущения простора, воли, свободы.

Беглецы уходили все дальше от станицы в глухую степную сторону, рассчитывая на дружеский приют в юртах джатаков.

34

После убийства сына казаками мятежного полка старый Скуратов, наглухо закрывшись в своем имении, в течение недели не допускал к себе никого даже из тех станичных властей, с которыми связан был в прошлом прочной и длительной дружбой. Однако, услышав о бегстве из-под ареста казаков, заподозренных в убийстве Аркадия, полковник как бы пришел наконец в себя — и вдруг проникся таким ожесточением против бунтовщиков, какого не испытывал даже тогда, когда услышал о гибели сына. Вызвав через своего ординарца атаманов подвластных ему линейных станиц, Скуратов напал на них.

— В рядовые разжалую! На каторгу запеку!— кричал, почернев от гнева, старый Скуратов на вытянувшихся перед ним в струнку атаманов.— Как вы смели допустить бегство этих головорезов?! Позор! Позор!— орал старый полковник, брызжа слюной в лицо побледневшего атамана Муганцева.

— Ваше высокоблагородие!— проговорил, улучив минуту, Муганцев.— Осмелюсь доложить, что прямое участие в убийстве вашего сына случайно задержанных нами казаков — Федора Бушуева, Андрея Прахова и Павла Сучка пока еще не доказано...

— Молчать! Это не давало вам права разевать рты и создавать им возможности для побега.

— Помилуйте, ваше высокоблагородие!

— Молчать! Никаких оправданий. Засужу. Головой мне ответите, атаман, за бегство изменников!— продолжал кричать прослезившийся от бешенства Скуратов.

Наконец, вволю набушевавшись, старый полковник опустился обессиленно в кресло и умолк, прикрыв ладонью глаза. После длительной паузы он, как бы очнувшись от забытья, совсем глухим, отрешенным голосом тихо проговорил:

— Ну, что там в степи? Докладывайте поочередно.

— Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие,— робко начал Муганцев,— что за последнее время участились набеги азиатских шаек не только на нашу станицу, но и на прочие казачьи поселения на Горькой линии вверенного вам военного отдела. Вчера на рассвете вблизи

станицы Пресноредутской казаками была перехвачена земская тройка, прискакавшая в станицу без ямщика и седока — акмолинского штабс-капитана Гриневича. А в районе хутора Становского вчера уже в полдень был найден труп пристава Боярского.

— Все это мне известно без вас, господа атаманы,— так же глухо проговорил Скуратов, не поднимая глаз.— Я желаю слышать от вас одно: какие меры приняты вами, во-первых. Во-вторых, мне угодно знать, что вами предпринято для немедленной поимки беглецов.

Переступив с ноги на ногу, переглянувшись с атаманами, Муганцев недоуменно пожал плечами и совсем неуверенно проговорил:

— Не имея на сей счет прямых указаний вашего высокоблагородия, мы, однако, выслали в степь на рекогносцировку два конных разъезда численностью в сорок сабель...

— Так. И каковы результаты?

— Сведений пока не имеем.

— А что делается в других станицах? Атаман Ведерников, докладывайте, как у вас,— обратился Скуратов к станичному атаману станицы Пресногорьковской.

— Положение в нашей станице, ваше высокоблагородие, такое же, как и на всей Горькой линии,— отрапортовал атаман Ведерников.— В аулах продолжается брожение умов...

— Ну, хватит городить мне об этом брожении,— раздраженно прервал Ведерникова Скуратов. И старик, вновь вскочив как ужаленный, забегал с несвойственной его возрасту прытью по кабинету и снова вспылил:— Что за вздор вы несете здесь, господа?! Где ваша смелость и собственная инициатива? Не разъезды — полки вооруженных до зубов казаков давно надо было выслать в степи. Это вам ясно?

— Так точно,— откликнулся атаман Ведерников.

— Да, да. Именно — полки. По крайней мере, не менее четырехсот сабель должны вы двинуть в степь из каждой станицы. Пора пройтись огнем и мечом по аулам. Пора проучить мятежные орды. Я приказываю: любой ценой доставить мне живых или мертвых изменников, бежавших из-под ареста. Это — раз. Доносить мне лично дважды в день — утром и вечером — о ходе боевых операций. Это — два. Не позднее сегодняшнего вечера выслать в мое личное распоряжение вооруженный взвод

казаков — три,— заключил Скуратов, обращаясь к Муганцеву.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Все будет исполнено,— отчеканил Муганцев.

И станичные атаманы, откозыряв полковнику, гуськом покинули его кабинет. Попадав на лошадей, они поскакали во весь карьер в свои станицы выполнять приказ.

А уже к вечеру этого же дня из пяти линейных станиц вышли в степь наспех сформированные, вооруженные огнестрельным и холодным оружием сотни казаков. Вышла в степь и сотня добровольцев под командой урядника Балашова из станицы Пресновской. Продвинувшись за ночь километров на двадцать в глубь степи, казаки, не рискнув показаться в немирных аулах ночью, спешились возле одного из курганов и решили дождаться рассвета. Выставив в направлении степи сторожевое охранение и вручив своих лошадей специально выделенным для этого коноводам, станичники уселись в кружок за курганом с подветренной стороны и, осторожно покуривая — огня зажигать не разрешалось,— вполголоса переговаривались:

— Вот ишо не было, братцы, печали, да черти накачали...

— Одно слово — беда.

— Беспокойное выдалось лето.

— Куды беспокойнее. Война, как снег на голову. Сена погорели. Хлеба крошатся. Словом — зарез.

— Вот так Касьян! Год-то ведь нынче високосный...

— Орду, говорят, политики смущают.

— Конешно, политики. Их работа.

— А откуда они взялись, политики-то?

— Как откуда?! Из Расеи. Понаперло их в наши края видимо-невидимо. Сплошное варначье — не люди. Без чалдонов-то мы, братцы, с ордой в мире жили.

— Тоже, сказал мне — в мире! Весь век на ножах живем с азиатами. Что тут греха таить... Недаром стары люди сказывают, что в прежние времена из станиц ни девке, ни бабе нельзя было показаться за линейной гранью. Как какая, слышь, баба разинет рот, подцепит ее своим арканом кыргыз — и поминай как звали... Вот тебе и в мире жили!

Маленький, подвижной и бойкий казачишка из соко-

линцев Агафон, по прозвищу Бой-баба, понизив голос, спросил:

— А правда, што будто ссыльный генерал от инфантерии возглавил Азию и ведет из Семиречья на нашу линию войско из варначья, кыргыз и переселенцев?

— Кто это тебе брякнул?

— Ходит слух...— уклончиво ответил Агафон Бой-баба.

— Ну хватит вам буровить, господа станишники. Перед делом вздремнуть надо,— сказал урядник Балашов.

И станичники приумолкли. Всех их теперь беспокоило одно обстоятельство: что-то долго не возвращались трое казаков, посланных урядником на рекогносцировку в сторону аула. До аула отсюда не больше пяти верст. С момента выезда казачьего разъезда прошло уже около двух часов, а разведчики не возвращались. И, почуяв в этом неладное, станичники притихли, настороженно прислушиваясь теперь к каждому звуку.

...Между тем казаки, выехавшие на разведку втроем, вдруг обнаружили исчезновение самого молодого и храброго из них разведчика Егорки Шугаева. Проехав версты три от казачьего бивака, двое из разведчиков, ехавших рядом, придержали коней, чтобы подождать замешкавшегося Егорку. Прошло пять, десять минут, а Егорка не появлялся. Он не ответил даже на их условный свист, похожий на рыдающий крик чибиса.

— Нет, тут, брат, что-то не то,— сказал шепотом седой бородач Матвей Ситохин.

— Да, тут какая-то притча...— согласился с ним сутулый и неповоротливый казак в годах Касьян Шерстобитов.

А в то время, когда разведчики терялись в догадках, куда делся казак, перепуганный Егорка лупил глаза на долговязого джигита и трясся, как в лихорадке. Егорка никак не мог понять, как случилось, что он, приотстав от своих товарищей, вдруг очутился в руках этих невесть откуда взявшихся людей, среди которых были как будто казахи и русские. Отстав от своих спутников по разведке, Егорка решил, вопреки запрещению урядника, побаловаться куревом. Придержав резвого своего конька-горбунка, он свернул папироску, набил ее разуполенной вишнячком махоркой и, хоронясь от ветра, хотел было прикурить. И вот в это-то мгновенье и приключилось с

ним то, чего он толком не мог понять с перепугу, стоя сейчас перед джигитом.

— А ловко, тамыр, спешил ты этого шибздика с вершной своим арканом,— сказал по-казахски кто-то из темноты, и Егорка понял, что это сказал русский.

— Да, прямо скажем — чистая работа!— сказал по-русски кто-то глуховатым голосом.

— Жаксы. Жаксы,— слышалось из темноты.

Егорка плохо понимал по-казахски, но все же кое-что понял.

— Шашку с него, не забудь, сними,— прозвучал все тот же глуховатый голос.

— Шашку снял. Конь и винтовка с патронами — все наше. А с ним что делать?— спросил джигит, деловито рывшийся при этом в переметных сумах Егоркиного седла.

— Снять с него штаны да отпустить с богом восвояси.

— Друс. Друс. Правильно,— сказал джигит, засмеявшись.

Егорка похолодел. Не хватало еще, чтобы он без штанов к казакам явился! Но все, слава богу, обошлось относительно благополучно. Спешив и обезоружив Егорку, неизвестные люди отпустили его на все четыре стороны, сами исчезли во мгле.

Незадачливые же разведчики, так и не дождавшись Егорки, вернулись на бивак и ничего не могли сказать толком уряднику ни о Егорке Шугаеве, ни об ауле, до которого они так и не доехали.

И только уже перед самым рассветом явился на бивак обескураженный, жалкий Егорка без коня, без винтовки и шашки. Даже новую касторовую казачью фуражку посеял где-то в степи Егорка и только теперь вспомнил о ней.

— Как же так, болван, ты им попался?— орал на него урядник Балашов, то и дело маяча своим пудовым кулаком под носом Егорки.

— Так что не могу знать, восподин урядник.

— Да они што, окружили тебя внезапно?

— Так, выходит...

— Сколько их было?

— Не могу знать...

— А зенки где твои были — во лбу?

— Так точно — на месте...

— Какой же ты, к черту, казак, если даже численности противника не заметил!

— Виноват, восподин урядник. В растерянных чувствах был. Виноват...— тупо бубнил Егорка, сгорая от стыда перед окружившими его одностаничниками.

После долгих и бестолковых допросов, учиненных Егорке, поняли только одно, что обезоружившие Егорку люди были не кто иные, как станичные беглецы во главе с Салкыном и Федькой Бушуевым.

— Под полевой суд тебя, сукина сына, тогда ты у меня узнаешь!— заключил урядник Балашов, все-таки наградив одним подзатыльником Егорку.

— Так точно. Теперь мне туды прямая сообщения,— согласился Егорка.

Посоветовавшись со старыми станичниками, урядник решил взять на всякий случай Егорку под стражу и отправить его с конвоем в станицу.

А на рассвете воинственная сотня урядника Балашова ворвалась с обнаженными клинками и с криками «ура» в сонный аул джатаков. К удивлению станичников, в ауле были только ветхие старики, женщины и дети. Спешив сотню и передав лошадей коноводам, урядник отправился с казаками по юртам.

— На колени, туды вашу мать!— кричал Балашов перепуганным старикам и казашкам, врываясь в юрту.

Не понимая ни слова по-русски, обитатели этих жалких жилищ бормотали, сбиваясь в кучу:

— Уй-баяй, капитан!

— Уй-бой, атаман!

— Отвечай мне по-русски, где хозяин?!— кричал Балашов, наступая на старую женщину в грязном и ветхом головном уборе — джаулыке.

— Мен бильмеймин,— бормотала старуха.

— Мен бильмеймин,— шепелявил старик с древней бородой в широкой и длинной рваной рубахе, едва прикрывавшей его тощее, костлявое тело.

— Бильмеймиз! Бильмеймиз!— лепетали вслед за старшими прятавшиеся за подолы матерей и бабушек полуголые казашата.

— Язык, подлецы, отнялся?!— ревел урядник Балашов, зловеще играя обнаженным клинком.

— Не верь им, собакам, восподин урядник. Врут они, что не знают, где их джигиты. Все врут. Я их наскрозь вижу! — кричал Касьян Шерстобитов.

Так и не добившись ничего от стариков и женщин о том, куда исчезли из аула джигиты, станичники решили расположиться на дневку. Выдворив из юрты, что была получше на вид, многочисленное семейство джатаков, урядник устроил здесь нечто вроде штаб-квартиры, приказав выбросить над юртой трехцветный флаг. А станичники занялись заготовкой свежего мяса для предстоящего пира. Засучив рукава, они, как дошлые маркитанты, свежевали бараньи туши, разжигали под казанами костры.

Джатаки притихли. Седобородый мулла успокаивал плачущих женщин.

— Не плакать — молиться надо,— поучительно и сурово говорил мулла.

— Как же не плакать мне, если они закололи последнюю мою овцу и козленка?! Кого же мне принести теперь в жертву на празднике курбанайт?— голосила старая женщина.

— А у моего ягненка уже вырастали рога. Мой ягненок был бы к осени настоящим бараном,— причитала другая казашка.

— Не плачьте,— строго и властно сказал мулла.— На том свете грешник переедет через ад на быке или лошади. Стоит ли плакать о баране?! Молитесь и ждите, когда аллах дарует вам настоящий скот — быка или лошадь.

Между тем урядник Балашов в своей штаб-квартире диктовал сотенному писцу Панфилке Карманову рапорт на имя станичного атамана. Развалясь в позе утомленного ратными подвигами воина, урядник говорил:

— Пиши так. Не доходя аула Билимбая на расстояние двух верст, киргизы встретили нашу сотню беглым оружейным огнем, и мы под ураганным дождем кидаемых в нас каменьев атаковали аул. Казаки вверенной мне сотни ворвались на плечах мятежников...

— Куды ворвались?— спросил Панфилка.

— Не перебивай, дурак,— оборвал его урядник.—Пиши дальше... Ворвались на плечах исчезнувшего, яко дым, противника в аул, где взяли некоторые трофеи...

— Какие трофеи?— спросил с простодушным удивлением Панфилка.

— Ну, об этом можно не писать. Атаман — не дурак. Сам понимает — какие, —заключил урядник.

35

На вторые сутки после ночного марша по безлюдной и пустынной степи — из предосторожности они шли только ночью, а днем отсыпались, хоронясь в густых озерных камышах,— беглецы достигли того аула, в который вел их Садвакас. Всадник, посланный ими в этот аул на резвом коньке-горбунке Егорки Шугаева, рассказал совету старейшин аула об обстоятельствах побега и о людях, которые шли теперь из русской крепости, рассчитывая на защиту и покровительство людей степи.

И совет старейшин аула, с радостью приняв добрую весть о бегстве Садвакаса и остальных джигитов, не очень обрадовался, что вместе с джигитами шли в аул и бежавшие из-под ареста русские люди.

— Как бы не было худа нам от этих русских,— предостерегающе сказал один из седобородых.

— Нет, аксакал, это наши друзья,—возразил ему джигит, прискакавший в аул с известием о побеге арестованных.

— Откуда ты знаешь это, джигит?

— Не верите мне, спросите у Садвакаса,— ответил джигит.

А в полночь, когда беглецы переступили порог юрты, в которой находился совет старейшин аула, их встретили здесь со всем присущим степному народу радушием и гостеприимством. Усадив Садвакаса, Салкына и Федора со спутниками на почетное место, их прежде всего угостили густым ароматным кумысом, чаем и свежими баурсаками. Таков обычай степи. Не накормив путника, нельзя с ним заводить делового разговора и спрашивать его о том, кто он и куда держит путь. И только потом один из старейшин спросил Садвакаса:

— Кто эти люди, которых привел ты в аул?

— Мои друзья, наши друзья,— сказал Садвакас.

— Русские наши друзья?!— со сдержанным удивлением воскликнул другой из старейшин.

— Да, эти русские — наши друзья,— сказал Садвакас.— Мы сидели вместе с ними под одним замком, и одна участь ждала нас с ними, если бы не удалось бежать нам вот при помощи этого батыра,— указал Садвакас на Салкына.

— Кто он такой, и много ли скота у него, и много ли

пашни?— спросил старейший из рода, указывая на Салкына.

— Он такой же джатак, как и я,— сказал Садвакас.— Ни скота у него нет, ни пашни. Ничего у него нет, кроме рук и головы на плечах.

— А за какие грехи посадили его вместе с тобой под замок в русской станице?— спросил все тот же старейший из рода.

— За то же, за что схватили в степи меня, избили и бросили за решетку,— ответил Садвакас.

— Но тебя же схватили за то, что ты сын степи — казах.

— Нет, аксакал, не за это.

— За что же, джигит?

— За то, что я джатак. За то, что нет у меня ни своей юрты, ни коня своего, ни своего очага...

— Друс. Друс,— сказал Федор, отлично понимавший по-казахски, и он тут же наспех перевел Салкыну смысл разговора Садвакаса со старейшинами.

— Да, прав Садвакас,— сказал по-русски Салкын.— Я такой же джатак, как и он, и нам, русским джатакам, незачем враждовать с вами. Враждуют не русские с казахами. Враждуют бедные и богатые. Враждуют баи с джатаками у казахов, а кулаки с бедняками — у русских. Пусть мне скажут старейшие, чего же делить русскому бедняку с джатаком. Переведи им, Федор, мои слова, пусть они ответят мне на мой вопрос,— заключил Салкын, испытующе посмотрев на старейшин.

Федор перевел слова Салкына. Впав в глубокое раздумье, старейшины долго молчали. Наконец один из них, самый древний и почтенный на вид старик, сказал:

— Он прав, наш русский тамыр. Я вижу, бог не обидел его разумом. Пусть же скажет он нам тогда, что нам делать теперь и где нам искать защиты.

— Трудный вопрос, аксакалы,— признался Салкын, выслушав перевод.— Трудный вопрос. И я на него так отвечу: защиты искать пока всем нам надо в степи.

— Как — в степи?— спросил, не поняв на сей раз Салкына, даже Садвакас.

— Сниматься аулом с насиженных мест и кочевать подальше от линейных станиц. Переждать там это тревожное время. Это — единственный выход пока. Другого ничего посоветовать не могу. Одно скажу — время для всеобщего народного мятежа еще не настало. А в одиночку

каждый аул с вооруженными казаками ничего не поделает. И кроме новых бед, эти лихие набеги ваших джигитов на русские табуны и станицы ничего вам не принесут,— сказал Салкын.

Наступило всеобщее тягостное молчание. Слабые отблески угасающего очага озаряли суровые, окаменевшие лица степных людей, неподвижно сидящих вокруг костра в юрте.

Тогда старейший из рода, не поднимая опущенных глаз, спросил Садвакаса:

— А ты как думаешь, Садвакас?

И, помолчав, Садвакас решительно ответил:

— О том, что я думаю, все сказал мой русский тамыр. Я ушел с ним вместе из русской крепости. Я пойду с ним вместе и дальше. Я знаю — это надежный мой друг, друг джатаков. Я знаю это,— убежденно повторил Садвакас, крепко пожав при этом руку Салкына.

— Друс. Друс. Правильно. Молодец, Садвакас,— горячо сказал Федор, и впервые за много дней лицо его просветлело от улыбки.

А на рассвете, погрузив разобранные юрты и весь свой несложный скарб, тронулись джатаки в глубинную степь следом за конной кавалькадой джигитов, среди которых ехали и все беглецы.

36

Строевые кони нетерпеливо крутились около коновязей нерасседланными. Полк, сформированный из двух запасных нарядов и стариков-добровольцев, стоял в крепостных казармах. Все дороги, ведущие в степь, были наглухо закрыты сторожевыми пикетами. Вокруг линейных станиц и днем и ночью рыскали лихие казачьи разъезды. Полковник Скуратов, перепуганный назревающим мятежом, окружив свое имение целым взводом вооруженных всадников, не вылезал в эти дни из усадьбы и посылал с нарочными рапорт за рапортом в адрес наместника края, докладывая Сухомлинову в таком тоне, словно мятежом и в самом деле была охвачена вся степная округа.

— Каюк нам пришел, воспода ребята,— сокрушались некоторые, не отличавшиеся храбростью казаки.

— Прямая гибель, станишники.

— Выбрали же время азиаты для бунта! То ли с ордой воевать, то ли хлеб убирать — не знаешь, за что взяться.

— Говорят, станицу Сандыктавскую в пепел сожгли...

— Правильно. Был слух. Сожгли.

— Ты скажи, сослуживец, што им, варнакам, от нашего казачества надо?

— Как што? Землю нашу отобрать норовят. Они спокон веков слободы добиваются,— говорил заросший никогда не чесанной бородой казак Викул Малыхин.— Прежде-то ведь орду не так с землей жали, как в нынешние времена. Подати, правда, были тяжки. Подать была покибитошна. Император предпишет своим воеводам: собрать, дескать, мне по два целковых с гривной с кибитки. А воеводы два целковых с гривной императору, а восемь гривен — в карман.

— Да, наживались. Позавидуешь!— откликались станичники.

— Ишо бы не наживались. Ить эта же голимый капитал, воспода станишники. Стары люди сказывают, што все ермаковцы и жить-то оттуда начали. Прадеды их на покибитошных податях разбогатели.

— Это фактура. От трудов праведных не наживешь палат каменных,— сказал Агафон Бой-баба.— Ты хвати меня. Я спустился с полка и с тех пор из работников не вылажу А што нажил? В одном кармане — вошь на аркане, в другом — блоха на цепе.

— О тебе разговору мало Пил был поменьше,—осуждающе говорил, отмахиваясь от Агафона, фон-барон Пикушкин.

— А много я пропил? Нет, господин фон-барон, на батрацку копеечку не шибко-то разыграешься. Ты вот сроду и сыт, и пьян, и нос у тебя в табаке, а пошто не беднешь?

— По то, што ум у меня не с дыркой...

...Яков Бушуев попал во вторую сотню, сформированную из запасных казаков, не подпавших еще под мобилизацию. Все эти дни он торчал от зари до зари на коновязи, чистил своего меринка, беспрестанно копался около своего седла, всячески избегая при этом встреч и разговоров с одностуживцами. Мало он разговаривал теперь даже и со своей собственной женой Варварой, приносившей ему поутру, в полдень и вечером еду, завернутую в скатерку: печеные яйца, шаньги, квашеное молоко.

— Ну, как там батя?— изредка справлялся Яков у Варвары об отце.

— Все так же, по-прежнему. Ни слова от него, ни речей. Хоронится целыми днями от людей в амбарушке.

— Небось захоронишься. В любу щель от такого позору залезешь,— говорил, тяжко вздыхая, Яков, вспоминая о Федоре.

После несчастья, свалившегося на бушуевский дом, Егор Павлович и в самом деле стал сам не свой. Он не горевал, не ожесточался, не проклинал и не жалел как будто бы сына. Целыми днями спасался он в пустом, пахнущем кожей и мышиным пометом амбаре, куда не смел войти к нему никто из домашних, и в том числе внуки, которым прежде доступен был дед в любом месте и в любую пору. Он не выходил бы, наверное, из амбара к семейным обедам и чаепитиям, если бы не кликала его властным голосом Агафьевна, к которой он относился теперь с непонятной для бушуевской семьи почтительной робостью. То, бывало, не было дня такого, в какой бы не пререкались и не поднимали шум до потолка сварливые старики. А тут — на тебе — старик, как малое дитя, не только ни в чем не перечил старухе, а наоборот, смотрел ей в глаза как будто виновато и заискивающе. Нехорошим выглядел этот мир между стариками. Нехорошая, тяжкая тишина царила теперь в бушуевском доме, где все ходили, словно на цыпочках, затаив дыхание, как ходят в доме тяжко больного или покойника.

В станице болтали о Бушуевых всякое.

— Старик-то с горя, говорят, рехнулся. Не ест, не спит, не пьет. Сам с собой по ночам разговаривает. Все Федьку кличет,— нашептывала бойкая, похожая на синичку бабенка Фанечка Серикова—соседка Бушуевых.

— А слышали, бабоньки, новость? Федька-то, говорят, у своей невестаньки, у Дашки Немировой, на хуторе скрылся,— тараторила сплетница Дуня Канахина.

— Врешь, кума.

— Лопните мои глазки. От верного человека своими ушами слышала...

— А што ты думаешь, такая укроет — не подкопаешься. Там не девка — оторви да брось!

Однако, как ни судили и ни рядили в станице о Федоре, а многие втайне восхищались его смелостью и решимостью и тоже плели всякие были и небылицы. Одни утверждали, что Федор, подавшись в степи, принял там под свою команду четыреста сабель казачьих мятежников, бежавших из расформированного полка после

убийства сотника Скуратова. Другие уверяли, что Федора и Салкына выручили какие-то таинственные друзья Салкына, тайно прибывшие в станицу из Петербурга. Третьи божились, что Федор, приняв магометанскую веру, перешел на сторону взбунтовавшихся кочевников Средней орды и принял от них ханский титул. И только об одном сотнике Скуратове не говорилось в станице ни худо, ни хорошо и не находилось людей, которые вслух припомнили бы имя его даже к слову...

Дни тянулись знойные, пыльные, полные тревоги и томительного безделья. Казаки, оторванные от своих дворов и пашен, ожесточались против всего на свете: и против немирных соседних аулов, и против станичных атаманов, державших их на исходном положении в тесных и душных казармах, и против друг друга.

— И кака така незавидна участь выпала нам, казакам, братцы, штобы веки вечные мирных жителей усмирять,— жаловался, валяясь на попоне, Агафон Бой-баба.

— Толкуй, тоже мне. Как это так — мирных?— откликался Спирька Саргаулов.

— А вот так. Ты слушай готовое, што я говорю. Мы в одна тыща девятьсот пятом году чалдонов в городе Усть-Камене плетями драли? Факт налицо. Драли. И за што драли? Убей меня, не знаю.

— А тебе и знать не положено.

— Это как так — не положено?!

— А вот так, што ты есть нижний чин. Скажут: дери — дери. Скажут: помри на этом месте. Помирай без разговоров.

— Ну, это, брат, не дело — скажут. Я сам понимать хочу.

— Ишь ты какой. Давно это тебя на понятие-то потянуло?!

— А когда бы ни потянуло...

— Не после Салкына ли?

— Салкын тут ни при чем...

— Брось, брось, восподин станишник, воду мутить. Помолчи лучше в тряпочку. А то больно понимать много лишнего начал...

— Разговоры?! Опять забуровили в неположенное время!— прикрикнул на казаков младший урядник Трифон Назаров, дежуривший по казарме.

Тяжело вздохнув, Агафон Бой-баба умолк. Казарма спала. Казаки храпели напропалую. Задремал и полный

сомнений Агафон Бой-баба. И вдруг над лагерем зазвучали тревожные сигналы горниста.

— По ко-но-вя-зям! Седлать лошадей!

А спустя пять минут казаки, выстроившись посотенно, тронулись вслед за станичным атаманом Муганцевым за древние крепостные валы, в безмолвную, окутанную мглой степь. Покачиваясь в седлах на мягко поскрипывающих седельных подушках, станичники перешептывались:

— Сам атаман повел, значит, будет дело...

— Неспроста, конешно, тревогу подняли.

— Жаркая, воспода станишники, будет нам, должно быть, експедиция.

Начинало светать. Над степью дымились туманы. Тянуло свежей прохладой от окрестных озер. А конная кавалькада станичников двигалась ровным аллюром вслед за своим атаманом вдоль пыльной дороги, держа направление в глубинную степь. Наконец, после трехчасового марша, поднявшись на высокий увал, Муганцев резко осадил своего серого в яблоках иноходца и знаком поднятой кверху руки остановил следовавшую за ним конницу.

Приподнявшись в стременах, атаман долго и пристально вглядывался в стекла цейсовского бинокля, озирая окрестную степь. Зорко приглядывались к окрестности и привставшие на стременах казаки.

— Вершный! Вершный, братцы!— крикнул один из казаков.

Из-за кургана и в самом деле выпорхнул всадник. Он шел, держа направление на станичного атамана, на полном карьере, и над его головой трепетал прицепленный к наконечнику пики белый платок. Подлетев к Муганцеву и осадив на полном скаку своего коня, всадник — это был вахмистр Дробышев — отрапортовал:

— В районе аулов Керге, Каратал, Кумак моей разведкой замечено подозрительное оживление. Имеется подозрение, што там скопилось около двухсот джигитов, вооруженных холодным и горячим оружием.

— И горячим?! — удивленно спросил атаман.

— Имеется подозрение...

— Подозрение или же факт?

— Похоже на факт,— уклончиво ответил вахмистр.

— Откуда же у орды горячее оружие?

— Оружейный склад ограбили, говорят, в станице Пресногорьковской.

— И опять же — только говорят?

— Ходят слухи, восподин атаман,— сказал вахмистр.

— Ну-с, как, господин урядник, ваше мнение?— спросил атаман Муганцев стоявшего рядом с ним на гнедом жеребце урядника Балашова.— Будем атаковать?

— Рискнем, господин атаман,— ответил довольно лихо, но не совсем в то же время уверенно урядник.

А через полчаса сотня Муганцева, с гиком рассыпавшись по степи, замкнула в кольцо аул Каратал. Спешившись, казаки залегли и, по сигналу Муганцева, дали по аулу три залпа. Грохот недружных выстрелов прошелся над озером, и жидкий пороховой дым закружился по берегу, мешаясь с туманом. Пули защелкали в прибрежных камышах, отсекая широкоперые листья. Затем казаки по команде Муганцева взметнули на своих лошадей, и атаман, взмахнув саблей, подал команду:

— За мной! С нами бог, казаки! Ура!

— Ура!— загремело над степью.

Лошади стлались над травами, прижимая уши, легко перепрыгивая холмы и овраги. Багровое солнце, поднявшееся из-за горизонта, окровянило обнаженные казачьи клинки и наконечники острых пик.

Вдруг один из вырвавшихся вперед всадников — это был запасной первой сотни Гранька Старков,— по-бабьи всплеснул руками и, точно выпорхнув из седла, ткнулся носом в землю. Казаки напоролись на встречный огонь джатаков.

Между тем джатаки, хоронясь за буграми и арбами, в самом деле палили из дробовых ружей в конницу, поранив под двумя казаками коней, выбив из седла легко раненного в левую руку Граньку Старкова. Но казаки в азарте атаки не заметили этого урона. Озверев от воинственных криков «ура», мчались они с обнаженными шашками на притулившиеся близ озерного берега юрты аула. Все смешалось в грозном шуме конной атаки: гулкий топот копыт и грохот выстрелов, воинственный рев казаков и гортанные крики охваченных паникой джатаков.

Дав несколько беспорядочных выстрелов из дробовых ружей по коннице, джатаки не выдержали стремительного броска кавалерии и ринулись всем скопом врассыпную под яр, к озеру. Следом за джигитами бросились и

выскочившие из юрт женщины с детьми на руках, дряхлые старики и полуголые ребятишки. Не помня себя от охватившего их ужаса, ничего не видя перед собой, кочевники кидались с разбегу в поросшее камышом и осокой, вязкое, топкое озеро. Это было не озеро, а, скорее, скопление многих озер с небольшими раскиданными по камышам островками, заросшими тальником и ракитой. И только коренные обитатели степи — кочевники — знали наизусть те потайные проходы и тропы к этим островкам, которые неведомы были линейным старожилам. Вот почему, ринувшись было сгоряча за джатаками в камыши, казаки сразу же осеклись. Лошади вязли в тине, и всадники, соскочив с них, едва выбрались потом сами и с трудом повытаскивали своих лошадей из этой ловушки.

Двое из запасных казаков — Серьга Сериков и Гриша Маношкин — выволокли из кустов молодую казашку. Заломив бронзовые, гибкие руки молодой женщины, Серьга тащил ее волоком к юрте. Четверо казаков, заприметивших эту добычу Серьги, тотчас же спешившись со своих лошадей, побежали вслед за Серьгой и Гришей Маношкиным. Но те уже втащили женщину в юрту и захлопнули за собою дверь. А четверо не успевших ворваться в юрту принялись остервенело бить кулаками и подборами в дверь и наперебой орать во всю глотку:

— Открой, варнаки!

— Пустите и нас, воспода станишники...

— Не одним же вам потешиться над кыргызкой!

— Я же ее первый в кустах приметил!

Казаки, закрывшиеся в юрте, не отвечали.

— Ломай дверь!

И станичники, навалившись всем скопом, мигом сорвали внутренний запор и с гиком ворвались в юрту...

Аул опустел. Только в одной из покосившихся жалких юрт наткнулся Муганцев на древнего старика — это был слепой Чиграй,— сидевшего прямо и вызывающе на циновке. Подняв на атамана свои незрячие, пустые зрачки, старик глухо спросил:

— Кто ты?

Муганцев вцепился дрожащими, белыми, как пергамент, пальцами в эфес своего клинка, но старик, точно заметив это судорожное движение атамана, спокойно сказал:

— Я остался один в степи. И я не боюсь тебя, злой человек, потому что я тебя, слава богу, не вижу...

37

В полночь конный разъезд вахмистра Дробышева задержал в районе аула Керге двенадцать джатаков. Джатаки переползали увал, волоча за собой связки винтовок старого военного образца, похищенных ими с оружейного склада станицы Пресногорьковской. Одного из джатаков, пытавшегося убежать, вахмистр лично зарубил клинком, снеся ему полплеча таким ловким, расчетливым ударом, какой только можно было наблюдать во время учебной рубки лозы наиболее лихими казаками. Остальных пленников казаки пригнали в аул Каратал.

Допрашивал захваченных пленников сам Муганцев. Разбуженный вестовым, атаман долгое время не мог прийти в себя. Хватив вечером после боевой операции шкалик неразведенного спирта, атаман проснулся вдребезги пьяным, с чудовищной головной болью. Он не сразу сообразил, где он и что с ним. Потирая виски, он ошалело пялил остекленелые зрачки на казаков и столпившихся в черном углу юрты джигитов. Наконец выслушав беглый рапорт вахмистра Дробышева, Муганцев пришел в себя. Он вскочил, застегнул на все пуговицы свой грязный и запыленный китель, пожевал бескровными губами и затем вполголоса сказал вахмистру:

— Вот что, вахмистр, одного из этих дикарей следовало бы вздернуть, так сказать, в назидание потомству. Понятно?

— Так точно... То есть никак нет,— поправился вахмистр.

— Эк ведь вы какая бестолочь, господин вахмистр,— сказал, болезненно поморщившись, Муганцев.— Разогнать мятежников по болотам,— это же не честь нашей операции. Как вы думаете?

— Никак нет. Это, конешно, не дело, восподин атаман...

— Ну, конечно, никак и, конечно, нет. Сегодня разгоним их по кустам, а назавтра они снова вылезут.

— Так точно. Могут вылезти,— подтвердил вахмистр, не совсем еще понимая, к чему клонит Муганцев.

— А поэтому я приказываю одного из этих мерзавцев повесить сегодня же,— сказал Муганцев, неопределенно указав при этом рукой в сторону джигитов.

Джатаки стояли прямо и вызывающе. В полусумрачной юрте сурово и холодно поблескивали их глаза.

— Вот так, вахмистр. Все ясно?

— Так точно. Все ясно. А куда прикажете остальных?

— Ну, это уж ваше дело. Отдаю их в ваше личное распоряжение.— Хотите — казните. Хотите — помилуйте. Ваша власть... Ваше дело...

— Благодарствую, господин атаман! — удовлетворенно воскликнул вахмистр и, козырнув атаману, тут же приказал казакам убрать вон джигитов.

Между тем разбуженному среди ночи хмельному атаману не спалось уже в эту ночь, и он чуть свет приказал поднять казаков, выстроив их в боевую колонну вблизи аула. Когда рассвело, атаман, подкрепившись остатками спирта, вышел из юрты и обошел пустынный, мертвый аул. Возле арбы с переломленным колесом атаман наткнулся на неподвижно лежавшего джатака. Почему-то на цыпочках подкравшись, Муганцев брезгливо коснулся его носком сапога, а затем сильным ударом ноги перевернул навзничь. Мертвенно-синее, искаженное предсмертной страдальческой улыбкой лицо глянуло на атамана неподвижными, бредовыми зрачками. На одном из незакрытых зрачков сидела зеленая жирная муха. И Муганцев, оторопело отпрянув назад, затем почти на рысях тронулся не оглядываясь от этого места к своему коню, которого держал под уздцы в стороне ординарец. Уже сев в седло и собрав в руки поводья, атаман заметил висевшее на кривом суку сухостойной осины прямое и жесткое тело джатака, одна нога которого была босой. Снятый с нее сапог с разорванным голенищем стоял около пенька, и жалкие клочья какой-то одежды ворошил под ногами казненного робкий предрассветный ветер.

Пришпорив своего жеребца, Муганцев подлетел к развернутому строю конницы и, обнажив на скаку клинок, отдал команду:

— За мной. С нами бог, братцы! Ура!

— Пики к бою!— мгновенно поняв намерение атамана, заревел во всю глотку, привстав на стременах, вахмистр Дробышев.

Строй дрогнул.

И сокрушительная стая ощетинившихся пик ринулась на юрты, срывая на полном скаку полуистлевший, черный и ветхий войлок. Иные из всадников, резко осаживая коней, крутились вокруг хижин кочевников, как на карусели, ожесточенно работая пиками и клинками. Под ударами сверкавших на утреннем солнце казачьих сабель

трещали и рушились легкие деревянные остовы казахских кибиток, разлетались над степью траурные клочья черных кошм. Остервеневшие от воинственных воплей всадников кони кружились, закусив удила, в дикой пляске. И было похоже, что стонала и выла под коваными копытами распятая, растерзанная, истоптанная земля.

Казалось, не прошло и мгновенья, а от былого стойбища не осталось ничего. Точно внезапным ураганом, какой иногда невесть отчего возникает в пору знойного лета в этих степях, начисто смело, перевернуло, искромсало в клочья и развеяло по степи непрочные кочевые жилища.

Вахмистр Дробышев, подлетев на своем шустром жеребчике к стоявшему в стороне Муганцеву, козырнул:

— Прикажете подпалить, восподин атаман?

— Жарь, вахмистр, если охота,— отводи душу!— утвердительно кивнул ему атаман.

— Поджигай, братцы!— прозвучала восторженная команда вахмистра.

И спешившиеся казаки с лихорадочной поспешностью принялись за веселую работу поджигателей. Костры из ворохов ветхого войлока и порубленных саблями остовов юрт закружились дымом и пламенем. В зловещей и жуткой тишине летел в огонь последний жалкий скарб кочевников: рваные одеяла, распоротые казачьими клинками подушки, помятые медные самоваришки, деревянные пиалы и прочая утварь. Огненные мечи рассекали густую дымовую завесу, закрывшую небо; и небо, играя хищными красками степного пожара, обретало зловеще-лиловый оттенок.

Муганцев сидел в седле подбоченясь. Свинцовые глаза атамана были прищурены.

А когда с аулом было покончено и в кострах догорал последний скарб кочевых людей, казаки, построившись по команде вахмистра в боевую колонну, тронулись походным порядком в степь. Сотенный запевала Серьга Сериков, вырвавшись вперед из колонны, взмахнул плетью, и песня, подобно птичьей стае, поднялась, заметалась над необозримым степным простором:

Вспомним, братцы, про былое,
Как мы в оны времена
У кокандцев брали с боя
Сабли их и знамена!

С присвистом, с ревом, с гиканьем врывались в припев подголоски:

Греми, слава, трубой!
Мы дралися за Дарьей,
По холмам твоим, Чиназ,
Разнеслась слава про нас!

Атаман Муганцев ехал впереди эшелона с полузакрытыми глазами. Он был по-прежнему во хмелю, но теперь уже не столько от выпитого спирта, сколько от пережитого воинственного возбуждения и тщеславных размышлений о собственном величии...

38

Степь томилась от немилосердного, желтого, стрекочущего зноя. Косые облачные башни поднимались вдали. Зыбкие, призрачные шлейфы марев колыхались над цепью курганов, над серебряной парчой ковылей. И текла, текла под копытами конницы сухая, потрескавшаяся земля. И падала с закушенных конских удил желтовато-мутная пена. Взвод за взводом, сотня за сотней проходили колонны всадников по широкому скотопрогонному тракту, возвращаясь из далеких владений кочевников в родные станицы. Казаки, утомленные длинным маршем, зноем и жаждой, полудремали в седлах. Тоской, равнодушием и скукой наполнены были их сонные глаза.

Но когда за цепью березовых перелесков блеснули на солнце золотые кресты колокольни и возникли в знойной и мглистой дымке очертания станичных крыш, сразу повеселели кони и люди. Оживленно переговариваясь, заерзали в седлах всадники. Подтянулись, выровнялись колонны. Начесали чубы выскочившие вперед запевалы. И песня, опережая конницу, ворвалась в станицу:

Из-за леса, леса
Копья мечей —
Едет сотня казаков-усачей.
Эх, да мы, да удалые усачи!
Шашки в ножны —
Да и по полю скачи!
Ведет нас есаул молодой,
Ведет сотню казаков за собой.

А сторожевой вал крепости кишмя кишел народом. Со всех концов станицы слетались сюда резвыми птахами бойкие и нарядные бабы и девки, шли вразвалку важ-

ные, сребробородые ермаковцы, расторопные и неспесирые обитатели Соколинского края. Толпа, завидев объятый пылью эшелон казаков и заслышав трубные голоса запевал, гудела от восторженных приветственных криков:

— Ура воcподам станишникам!

— Ура победителям!

— Браво ероям!

А залетный ветер, попутно завернувший со степной стороны в станицу, доносил издалека дружный и стройный хор казачьих глоток:

На завалах мы стояли, как стена.
Пуля сыпалась, летела, как пчела!

Кирька Караулов, хвативший на радостях встречи с целовальником станичного кабака Проней Стрельниковым по шкалику водки, кричал, толкаясь среди толпы:

— Братцы! Попируем в честь кошемного войска!

— Што ты сказал, варнак?!— набросился на него фон-барон Пикушкин.

— А то и сказал. Ура, говорю, кошемному войску!

— Это как так — кошемное?!

— А так. Ить они там с кошмами воевали. Пустые юрты штурмовали. Ура, братцы, ура! — надрывался от крика Кирька, косо поглядывая на фон-барона и чувствуя уже, что драки сегодня не миновать.

Но вот умолкла походная песня. Блеснул на солнце клинок атамана Муганцева. И казаки, тоже обнажив клинки, привстали на стременах и ринулись в карьер, как в атаку, вслед за своим атаманом. Подняв тучу пыли, всадники прошлись на полном карьере мимо беснующейся на крепостном валу толпы, проделывая при этом самые сложные и замысловатые номера джигитовки. Одни молниеносно ныряли под брюхо своих коней. Другие кружились волчками на седельных подушках, делая «стрижку». Третьи, выпав из седел, но зацепившись носком за правое стремя, срывали на полном карьере с земли кидаемые девками фантики.

Крепость стонала от воинственных воплей «ура», от восторженного бабьего крика, от озорного улюлюканья мальчишек, от серебряных, звонких девичьих голосов, от проливного дождя конских копыт, хлынувшего на дрожмя дрожавшую землю.

А час спустя около станичного кабака толпились спешившиеся казаки — участники усмирительного похода—

вперемежку со стариками Ермаковского и Соколинского краев. Пьяный целовальник Проня Стрельников, пошатываясь на крылечке, кричал:

— На водку запрет, воспода станишники, от государя императора поступил. Попили. Хватит.

— А ты давай, подлец, выкатывай миру остатки!

— Угости в последний раз победителей кошемного царства! — кричал Кирька Караулов, беспокойно озираясь вокруг в поисках, с кем бы затеять драку.

— Да вы што, очумели, воспода?! А про клятву-то наказному атаману забыли?! — кричал целовальник.

— Брось дурить, целовальник. Открывай казенку. Не откроешь добром, откроем худом! — ревела толпа казаков, наседая на целовальника.

И всю эту ночь бушевало в станице похожее на пожар гульбище.

Не спал всю эту ночь и атаман Муганцев. Немало пролил он поту, немало попортил крови и нервов над сочинением рапорта об итогах своего усмирительного похода. Но потрудился он, кажется, не зря. Истратив две дести лучшей бумаги, атаман все же составил рапорт и, разбудив на рассвете свою рыхлую, вечно почему-то икающую спросонок Олимпиаду Викентьевну, торжественно огласил ей свое сочинение стоя:

«Его Высокоблагородию Атаману 1-го Военного отдела Сибирского Линейного Казачьего войска Полковнику *Скуратову*.

Рапорт

Честь имею доложить Вашему Высокому Благородию нижеследующее:

После пятидневной операции вверенного мне полка, сформированного согласно Вашего указания из казаков крепости, линейных маяков и редутов, опасность, грозившая восстанием киргиз-кайсацких аулов, расположенных южнее западной линии, полностью устранена. Часть похищенного в ночь на 19 дня месяца августа 1914 года огнестрельного оружия из крепостного склада станицы Пресногорьковской отобрана. 28 главарей арестованы августа 27 дня с. г. Под усиленным конвоем, численностью в 80 сабель, арестованные бунтари отправляются

по этапу в г. Петропавловск на предмет заключения под стражу.

Одновременно смею обратить внимание Вашего Высокого Благородия на нижеизложенные обстоятельства:

Еще в 1875 году генерал Казнаков, в бытность свою Наказным Атаманом, Наместником Степного Края, в своем Всеподданнейшем отчете указывал, что без стеснения кочевого населения в смысле земельного и общественного порядка, без распространения на них строгих законов русского правительства и без подчинения оного населения в полную зависимость от линейного казачества ни в коей мере не будет возможным смягчить нравы и поднять уровень благосостояния этого полудикого народа, ибо со времени принятия киргизами-кайсаками русского подданства успехи, сделанные ими в гражданственности, ничтожны, и доколе они (киргизы) будут одиноко совершать в пустынных пространствах степей огромные орбиты своих кочевок вдали от русского населения, они останутся верноподданными лишь по названию и будут числиться русскими только по переписям.

Вспышка мятежа, подавленная доблестным казачеством вверенного мне полка, послужит достойным уроком для беспокойной орды, каковая, надо надеяться, не возымеет желания к организации повторных мятежей, и, при условии нажима со стороны русского правительства, от подобных неосмысленных полудиким племенем инородцев действий Бог оградит беспредельные степи Западно-Сибирской окраины и линейного войска 1-го Военного отдела, кое находится во всецелом подчинении Вашего Высокого Благородия.

Честь имею доложить Вашему Высокому Благородию еще об одном, весьма неблагоприятном обстоятельстве. А именно: во вверенной мне станице сын местного потомственного, кстати сказать, весьма примерного казака — Егора Павловича Бушуева, получившего в прошлом за свою угодную и честную службу Царю и Отечеству многие боевые отличия,— казак Федор Егорович Бушуев будучи призванный на действительную службу, а впоследствии мобилизованный с полком казаков на фронт, был замешан в казачьем бунте, весьма печальные последствия которого Вам известны, и заподозренный в нечистых сношениях с одним из политически неблагонадежных мастеровых, был направлен на доследствие в вверенную мне станицу, но бежал из-под ареста. Это

дает основание к подозрениям в связи части казачества и пришлого русского населения, окружающего линейную полосу, с киргизами-кайсаками. Смею обратить внимание Вашего Высокого Благородия на вышеупомянутый всеподданнейший отчет генерала Казнакова, в коем, между прочим, указывается и на эту опасность, ибо часть казачества, вместо благотворного влияния на полудиких инородцев, заразилась привычками кочевников и путем дружбы устанавливает тесные связи со степными обитателями, что ведет к результатам, очевидным для Вашего Высокого Благородия.

Смею поставить в известность Ваше Высокое Благородие о случившемся в тех целях, чтобы получить от Вас соответствующие сим изложениям указания при приеме станичных атаманов вверенного Вам Военного отдела, коий Вы изволили назначить в своем имении на 22 августа 1914 года».

Продекламировав нараспев свой рапорт, покосившись на Олимпиаду Викентьевну, спросил:

— Каков, матушка? А?

— Вполне сочувственно, — проговорила, икнув, Олимпиада Викентьевна и, сладко зевнув при этом, перекрестила рот.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Весна 1916 года на Горькой линии была тревожной и ранней. В разрушительных ураганах, ливнях и грозах прошла она по степи. Еще не оделись листвою березовые леса, а уже в них раньше обычного закуковали кукушки. По ночам плыл рокот за станицами, тяжкий, будто подземный гул. Это лопались льды на окрестных озерах. Ревела, кромсая льдины, дикая лесная вода. В степи еще лежал кое-где нерастаявший снег, а в небе вдруг сгущались кромешно-темные тучи и грохотал гром. Изломанное молнией на гигантские глыбы небо с треском обрушивалось на дрогнувшие кровли станицы. Над степью кружилась ледяная пурга, гибельная для застигнутого в пути человека и для тебенюющего на подножном корму скота. В аулах ждали джута — величайшего бедствия для кочевого народа. В линейных станицах и переселенческих селах страшились недорода и иных неминуемых бед.

Глухой и тревожной жизнью жили теперь станицы, проводив последние запасные резервы казаков на фронт. Радоваться было нечему. В большинстве хозяйств остались одни старики, малые дети и бабы. А между тем пришла пора сеять. И хоть погода не баловала вёдром, но земля властно звала к себе. Однако о былом посевном размахе думать не приходилось. Стариковскими да бабьими руками пашни не подымешь. К тому же невелики запасы зерна — минувший год был не ахти урожайный — многим соколинцам пришлось вконец разориться, ухлопав все до последнего на строевых коней и обмундирование для мобилизованных. Крепко подрезали линейный народ эти внеочередные сборы запасных казаков. Вот почему для доброй половины стоявших на грани полного разорения хозяйств вся надежда была только на войсковое вспомоществование.

Война затянулась. Безотрадные вести шли с передо-

вых позиций. А пошатнувшиеся без надежных сыновних рук хозяйства, непосильные войсковые поставки и сборы и, наконец, эта недобрая, полная дурных предзнаменований весна — все это порождало в душах старых станичников невеселые думы и мрачные размышления о грядущих еще более горестных днях.

Как и прежде, отсиживались старые станичники в непогожие вечера в станичном правлении. Хмуро косясь на бушевавшую за окнами непогоду, старики поговаривали:

— Ну, добра, воспода станишники, не жди...

— Што там говорить. Прогневали, видно, мы господа бога.

— Ишо бы не прогневать — грозы, как перед ферганским походом.

— Дела — хуже некуды. Войне — ни конца, ни краю. Всех большаков замели. А тут, зачем не видишь, и до малолеток доберутся.

Старики посиживали, кто как и где сумел примоститься. Одни — по лавкам, другие на подоконниках. Третьи — лежали вразвалку прямо на дубовом полу.

Двое престарелых георгиевских кавалеров — дед Конотоп и дед Арефий,— доверчиво прижавшись друг к дружке бочком, мирно подремывали у печки. Сладко, в тон похрапывали они, пуская на мятые бороды светлую, по-детски прозрачную слюну. Несмотря на преклонный возраст, кавалеры держались еще крепко. Прожив долгую и нелегкую жизнь, не растратили они в походах и битвах отпущенных им природой сил и сберегли на закате дней своих ясность мысли. Вот почему не пропускали деды ни одного станичного схода, принимая живейшее участие во всех спорных общественных делах. Как правило, кавалеры являлись в правление раньше всех, при первом же окрике десятника. Хватнув по цигарке суворовского самосада, от которого драло глотки, кавалеры усаживались к печке и уютно дремали. Просыпались они оба враз, как по команде, в разгар междоусобного спора одностаничников и тотчас же встревали в него.

Так же вот проснулись кавалеры и в тот мартовский вечер, когда в станичном правлении поднялись невероятный грохот и шум. С трудом протиснувшись сквозь сгрудившуюся вокруг писарского стола толпу, деды растерянно оглядывались вокруг, не понимая спросонок, чью им принять сторону. За столом, в густом табачном дыму, стоял во весь рост писарь Лука Иванов. Он потрясал ка-

кой-то бумагой, норовя утихомирить разбушевавшихся станичников. Но немощный голос писаря тонул в шуме травленых казачьих глоток. Почернев от крика, жмуря покосевшие от гнева глаза, не слушая и не понимая друг друга, старики вопили:

— Дожили, воспода станишники!

— Довоевались...

— Мало им, что сыны наши кровь третий год проливают, так они с нас последние подштанники содрать норовят.

— И сдерут. Разинь только рот.

— Мы ему прошение о помощи подавали, а он нас новой контрибуцией наградил.

— Не тот штемпель поставил...

— Усоборовал, туды его мать...

— Што?! Это кого туды его мать? Вы што, одурели, воспода станишники?! Кого материте? Это наместника-то края пушить так изволите в присутственном месте?! — закричал писарь.

— А што нам наместник!

— Правильно. Што он — у бога теленка съел?

— Молчать! Смирно! Под военно-полевой суд захотели?! — крикнул сорвавшимся голосом писарь.

— Ого, видали его, воспода станишники. Вот напужал, аж в коренном зубу заныло! — крикнул, прыгнув при этом на лавку, Кирька Караулов.

Станичники, придвинувшись к писарю, пригрозили:

— Ты шибко-то рта не разевай на нас, восподин письмоводитель. Как бы мы к тебе за душой в нутро не слазили...

— Нашел тоже, кого полевым судом пужать!

— Мы ить сами, ежли где лисой пройдемся, там три года не будут курицы нестись! — кричал стоявший на лавке рядом с Кирькой Карауловым и почему-то даже в обнимку с ним Касьян Шерстобитов.

— Правильно. Так вот наместнику и донеси.

— Отбей наказному атаману наш ответ по проволошному телеграфу.

— Донеси ему на нас на гербовой бумаге.

— Хватит. Ни гроша больше не дадим. Верно я реву, воспода станишники? — кричал Афоня Бой-баба.

— Куды ишо вернее — в лоб!

Дом содрогался от крика. Растерявшиеся кавалеры так и не могли понять толком, в чем дело и чью принять

сторону, то ли стать за писаря, то ли за стариков. Меркла и гасла от криков подпрыгивающая на писарском столе десятилинейная лампа. А за окном бушевал в ночи, кромсая обледеневшие ветви тополей, крутился, как бешеный конь на одном копыте, холодный ветер.

... Весь сыр-бор загорелся из-за полученной в этот вечер в станичном правлении депеши от наказного атамана и наместника края Сухомлинова. Это был ответ акмолинского генерал-губернатора казакам пяти станиц Горькой линии, рискнувшим в канун рождества минувшего года подать на его имя прошение о помощи. В этом прошении, скрепленном подписями пяти выборных казачьих старшин и пятью голубыми печатями станичных правлений, описали старики Сухомлинову незавидную свою жизнь. Они писали о том, что вот-де война затянулась, дотла выжжены суховеями прошлогодние посевы. Ушли на фронт последние наряды запасных казаков. Все это, говорилось в петиции, довело многие семьи до полного разорения. Снарядив на последние гроши и отправив на фронт на одном кругу по два, а то и по три сына, родители доблестных воинов не только не в состоянии платить теперь тяжкие войсковые сборы, но и сами нуждаются в незамедлительной помощи. А потом, писали станичники, зная о том, как неусыпно и ревностно печется их наказной батюшка-атаман о судьбе своего верноподданного войска, и порешили на межстаничном кругу покорнейше просить его высокопревосходительство уважить их следующую просьбу: освободить стариков — это раз. Снабдить из казначейских амбаров нуждающееся казачество семенной и фуражной ссудой — два. Принять за счет казначейства все снаряжение призванных из запаса казаков, снабдив их казенным конем и амуницией,— три.

Ответ Сухомлинова на это прошение был немногословный. В депеше, оглашенной станичным писарем Лукой Ивановым, говорилось буквально так:

«За подачу подобных прошений в другое время я бы вас, старых дураков, публично высек, главарей и зачинщиков лишил бы казачьего звания и сгноил на каторге. Сейчас же ограничиваюсь немедленным взысканием всех войсковых сборов в тройном размере, что и приказываю привести в исполнение атаманам военных отделов и линейных станиц в двухнедельный срок со дня получения на руки сей депеши».

— Ого! От такой речи зубы смерзнуться могут!— крикнул Кирька Караулов.

И старики хором гаркнули:

— Не подчиняться такому указу, воспода станишники!

— Правильно, сват.

— Нас на храпок-то не скоро возьмешь...

— Эк ведь пригрозил рыбе морем, а нашему брату — горем...

— Он, воспода станишники, думат, раз енерал от инфантерии, так на его и управы нету.

— Извиняйте, ваше высокопревосходительство!

— Не на таких нарвался...

— Мы и на тебя указы найдем.

— Ну, это вы лишку ревете, ребята!— сказал рассудительным басом веснушчатый коротконогий живой старикашка с Соколинского края Архип Кречетов.

— Как это так — лишку?!— опешил Агафон Бой-баба.

— А так лишку, что выше наместника над нашим казачеством власти нету,— заявил Архип Кречетов.

Тогда невеликий ростом Агафон Бой-баба, прыгнув на табуретку и почему-то зажмурившись, крикнул:

— Казаки! Воспода станишники! Кто сказал, что у нас с вами защиты нету? А про государь-императора вы забыли? А августейший атаман всех казачьих войск — наследник престола?! К им заказаны нам пути?!

— Правильно! Правильно! На то есть монаршая воля,— подал наконец свой голос и один из кавалеров — дед Арефий.

И станичники приумолкли. Стало тихо.

Тишина эта длилась недолго. Только минуту или две стояли смирно, точно загипнотизированные Агафоном Бой-бабой, старики, ошарашенные его догадкой. А потом вдруг, как по набату, снова все всполошились и заглушили рев заоконной пурги трубными голосами луженых глоток:

— Правильно, Агафон!

— Хабарыснем прошение государь-императору — вот это дело!

— Фактура — к самому августейшему атаману!

— Обойдемся и без наместника...

— Подадим приговор на высочайшее имя...

И только один Кирька Караулов неожиданно воспротивился новой затее одностаничников.

— Эх, язви те мать, воспода станишники!— воскликнул Кирька.— Век прожили, а ума, гляжу, ни на грош. Посулил нам наказной атаман плетей — неймется. Давай сунемся ишо к самому императору, не перепадет ли и там на орехи.

Но высокий бабий голос Кирьки заглушили разом:

— Не мути обчество, варнак!

— Он всегда, воспода станишники, во всем и всем поперечит.

— Не слушать его. Созвать сызнова казачий круг и составить прошение.

— А кто будет составлять?

— Кто ишо, как не Лука! Лучше его письмоводителя на всей Горькой линии нету. Он, язви те в душу, эти прошения аж сонный пишет!— кричал, стоя на табуретке, Агафон Бой-баба.

— Не буровь, ботало,— сонный!— крикнул, недоверчиво покосившись на Агафона Бой-бабу, Касьян Шерстобитов.

— Фактура, сонный. Богом клянусь. Своими глазами видел, как он одному богатому киргизу донос на волостного управителя сочинял!— клятвенно прижав руки к сердцу, кричал Агафон Бой-баба.

Затем, когда мало-помалу страсти наконец улеглись и в казарме установился сносный порядок, Лука Иванов, отозвавшись на требовательные просьбы одностаничников, сказал:

— Ну что ж, одно могу вам ответить, господа старики,— в добрый час. Затея великая... А за мной дело не станет. Всей душой буду рад послужить обществу. Прошение на высочайшее имя я, конешно, составлю по артикулу. Это мне — полбеды. Но у меня свой есть совет. Угодно послушать?

— Покорнейше просим...

— Сделай милость. Скажи.

— Я полагаю,— заговорил, многозначительно помолчав, Лука,— что наша петиция должна быть вручена императору лично.

— Это как же так — лично?— спросил, разинув рот, Агафон Бой-баба.

— Очень просто. Собрать круг выборных от пяти ста-

ниц и избрать из своей среды депутацию для подачи прошения.

— Вот это — да! Пошлите меня,— сказал не то в шутку, не то всерьез Кирька Караулов.

— Только тебя, долговязого, в городе Петрограде недоставало!— крикнул сердито на него Касьян Шерстобитов.

Егор Павлович Бушуев, до сего скромно посиживавший в углу и помалкивавший, наконец поднялся и всерьез спросил, обращаясь к Луке Иванову:

— Депутацию послать в Петроград не худо. Но кто рискнет принять на себя такое бремя?

— А это уж на кого падет выбор,— сказал Лука.

— А как ты сам-то думаешь?

— Я полагаю, что для исполнения подобной миссии надо будет избрать двух смышленых и тертых казаков. Конечно, чтобы они, явившись во дворец, вели там себя по артикулу с господами министрами и разными дворцовыми фрейлинами.

И вот, вопреки обыкновению, вопрос о составе депутации на сей раз был предрешен в канун созыва казачьего круга здесь, на станичной сходке, без обычных скандальных пререканий, взаимных угроз и рискованных кулачных жестов. Почему-то все разом сошлись на двух бесспорных кандидатах. Первым из них был письмоводитель Лука Иванов, вторым — Егор Павлович Бушуев.

Кандидатуру Егора Бушуева предложил Лука.

— Учтите, господа станичники,— сказал письмоводитель,— что Егор Павлович в бытность свою на действительной службе состоял три года в драбантах у бывшего нашего консула в городе Кульдже князя Трубецкого. А в сей момент князь Трубецкой является командиром императорского конвоя. Уж кому-кому, а Егору Павловичу тут и все козыри в руки.

И станичники, узнав об этой важной подробности, тотчас же согласились с письмоводителем, что лучшего кандидата для депутации, чем Егор Павлович Бушуев, на всей Горькой линии не найти.

Лука Иванов, поломавшись для блезиру, принял предложение станичников, согласившись выставить на казачьем круге свою кандидатуру. А Егор Павлович долго отнекивался не из скромности, а от страха. Отказываясь от высокой миссии, старик попробовал даже сослаться на Федора.

— У меня грех на душе. Я за младшего сына перед царем и богом в ответе. Не достоин я, господа станичники, такой чести,— взволнованным голосом сказал Егор Павлович.

Но старики дружно зашумели:

— Ну, это прошлое дело...

— Не к месту помянуто.

— Вот именно...

— За сына ты не в ответе. Один сын в бегах, а другой со всеми вместе третий год кровь проливает. О чем разговор? Нет, воспода станишники, это не причина,— заключил Агафон Бой-баба.

И Егор Павлович, тяжело вздохнув и благодарственно поклонившись, принял предложение.

Домой в эту ночь вернулся Егор Павлович таким просветлевшим и приободрившимся, каким не видели его в семье все последние два года. И старуха, и сноха Варвара, и девятнадцатилетняя дочь Настя, глядючи поутру на деда, диву давались виду помолодевшего за одну ночь старика. Но Егор Павлович, хитровато пощуриваясь на своих домочадцев, только покрякивал, поглаживая свою завьюженную сединой бороду, да помалкивал. О затее станичников он ни словом не поделился пока даже со своей старухой — считал, что не бабьего ума это дело.

2

Шумные и яркие, как карусели, бывали весенние ярмарки в станицах на Горькой линии. Валом валил народ, свободный по воскресеньям от полевых и домашних работ, на просторные базарные площади, где можно было покататься девчатам и ребятишкам на карусели, побаловаться дешевыми леденцами и вяземскими пряниками, полузгать семечки; а старикам — поторговаться от нечего делать с барышниками, при случае — выпить чарку водки или пиалу кумыса в ярмарочных харчевнях; а тем, у кого чесались руки, всегда можно было рассчитывать здесь на драку.

Вот в один из таких бойких ярмарочных дней, когда яркое солнышко по-весеннему припекало и ходуном ходила битком набитая площадь, гудевшая, как дремучий лес в непогоду, от людских речей, от азартных окриков барышников и яростных воплей балаганных зазывал,—

около старенькой, разукрашенной стеклярусом и цветными гирляндами карусели толпились девки и бабы, топтались от нечего делать хватившие первача старики. Повизгивала медными голосами ливенка и глухо вторил ей старенький бубен в руках хромого солдата с переселенческих хуторов. В это время и приволок к карусели вахмистр Дробышев какого-то неказистого мужичонку в лаптях, испуганно озиравшегося и без умолку бормотавшего:

— Смилуйтесь, ваше степенство. Богом клянусь, не виноват я. Ни сном, ни духом...

— Давай, давай. Не разговаривай. Разберемся,— рычал вахмистр.

И толпа базарных зевак, окружив мужика и вахмистра, тревожно загудела:

— Што тако, восподин вахмистр?!

— Не иначе опять чалдон с поличным попался?

— Видать, так.

Выпустив наконец из своих рук мужика, вахмистр расправил плечи, приосанился, одернул без нужды портупею и сказал:

— Воровинные вожжи спер у меня, подлец. И как ловко! Залюбопытствовался я на цыганскую лошадь, а вожжи, что купил у курганского торгаша, вгорячах бросил на воз и не успел оглянуться — пусто. Гляжу — мужичок в толпу. Я за ним. Стой, варнак! Ну, а он, вижу, таковский. Успел, чалдон, кому-то вожжи мои сбыть. Видали, кака чиста работа выходит, братцы? На ходу подметки рвут!

— Што вы, бог с вами, ваше степенство. Ни при чем я тут. Богом клянусь, ни при чем...— бормотал мужик, продолжая испуганно озираться.

— Сразу видно сокола по полету — врет!— крикнул школьный попечитель Корней Вашутин.

— Ясное дело — буровит.

— Он. Больше некому.

— К атаману его!

— Распустили мы их, воспода старики, вот они нас и куют теперь за нашу же благодетель...

— Мало им, желторотым, что на чужой земле поселились, чужи калачи жрут, так и мошенством ишо на нашей Линии занимаются!— кричали станичники, гневно размахивая кулаками.

Неизвестно, чем бы кончилось для мужика все это,

не отвлеки внимание станичников в этот момент завязавшаяся поодаль драка. Мимо толпы, окружившей мужика с вахмистром, вихрем пролетела пара цыганских полукровок, запряженных в легкую щегольскую пролетку. В пролетке стоял цыган в малиновой шелковой рубахе, с расстегнутым воротом и, дико погикивая на лошадей, орал:

— Соколики, грабят!

А за цыганом гнались два верховых бородатых казака. В руках одного из них мелькал обнаженный клинок, в руках другого — новый сковородник, подвернувшийся ему, видимо, под руку на базаре.

Казаки, гнавшиеся за цыганом, кричали:

— Не давай ему ходу, воспода станишники!

— Ату его! Конокрада!

И казаки ринулись в погоню за цыганом. Но не таков был тертый ярмарочный пройдоха-цыган и не такие были кони у него, чтобы даться в руки станичникам! Покружив на своих залетных соколиках по станичным улицам, вырвался цыган за крепость — поминай как звали. А обескураженные станичники воротились в станицу еще более взвинченные и злые.

Кто-то крикнул:

— Айдате, братцы, в станишно правление. Там, говорят, воров отрубных поймали.

И казаки бросились к станичному правлению, около которого шумела уже большая толпа станичников, перекочевавших сюда с базара следом за мужиком, заподозренным в краже новых вожжей у вахмистра.

Допрос мужику чинил здесь теперь уже поселковый атаман Самсон Беркутов, грозный на вид, сумрачный человек с огромными, воинственно закрученными кверху усами. Вплотную придвинувшись к мужику, жалко вобравшему в плечи голову с нечесаными, стриженными в кружок волосами, поселковый атаман спросил:

— Откуда?

— Отрубной новосел. С хутора Заметного,— пробормотал мужик.

— Вид на жительство есть?

— Как же, как же, ваше степенство. Все налицо. Только опять же при себе не имею.

— Ага. Дома забыл?

— Так точно, запамятовал...

— Допустим, што так... А што на ярманке делал?

— Горшок для бабы присматривал. Мы — новоселы. Хозяйственностью обзаводимся. Куды без горшка-то...

— Не верь ему, восподин атаман,— протестующе крикнул вахмистр Дробышев.— Не горшок, а вожжи мои присматривал. Я его ишо с утра заприметил. Вижу, воровские повадки. Ну, думаю, за этим поглядывай в оба!

— Што там говорить — вид налицо. Он, варнак, спер вожжи — и в шинок!— крикнул попечитель Корней Вашутин.

— Фактура — он! Больше некому...— подтвердил Буря.

— Вот чем они, желторотые, платят казачеству за нашу-то добродетель. Мы для них всей душой — и землю и волю им дали, а они распоясались!— звонким бабьим голосом завопил Афоня Крутиков.

— Што там с ним говорить. Направить его, воспода станишники, к мировому,— предложил Корней Вашутин.

Но ермаковцы, окружившие мужика, наперебой заорали:

— А мы и без мировых обойдемся.

— У нас ить в станицах свои законы...

— Фактура, свои. Неписаные!

— Снять с него, варнака, штаны, рубаху — петушком, да на все четыре в таком виде отправить. Вот и квиты.

— Правильно, сват. Провести его по улицам с заслонкой — вот тебе и весь наш суд.

— Сразу отобьет охоту шнырять по станишным ярманкам.

— Навек-повеки чалдонье запомнит, как обворовывать наше казачество, воспода станишники!

— К оглобле вора!

— Обхомутать его — да по улицам!

— Бычье ботало на шею ему — вот будет машкарад, воспода старики!

— Не машкарад — масленка!— истошно орали старики.

Между тем с ярмарочной площади на станичную продолжал валом валить народ. Резвее птах слетались сюда со всех концов станицы разодетые в кашемир, жадные до потех бабенки. Пулей мчались ребятишки. Ковыляли, запинаясь, древние старики.

— Чалдона сейчас казнить будут!

— Ври больше.

— Вот те Христос, бабы. Вожжи у вахмистра украл. По улицам с музыкой поведут. Будет потехи!

Тут появилась на площади пожарная бочка, запряженная дряхлой клячей, едва державшейся на ногах. На бочке верхом сидел станичный дурачок Проша Берников и изо всей силы колотил пестиком по заслонке. Школьный попечитель Корней Вашутин, скрутив мужику за спину руки, подволок его к оглобле водовозного одра. Двое из расторопных ермаковцев мигом прикрутили воровиной мужика к оглобле, а кто-то из толпы тут же набросил на его шею драный хомут, украшенный пучками старой соломы.

И толпа с диким ревом, с воплями, со свистом двинулась вслед за клячей и мужиком по широкой станичной улице.

Привязанный к оглобле веревкой мужик, изогнувшись в три погибели, мелко и часто семенил обутыми в лапти ногами рядом с ковыляющей клячей.

Буря, вскочив на бочку, подал команду:

— Смирно! К церемониальному маршу!

Проша, сидя верхом на бочке, яростно лупил пестиком по заслонке и дико завывал под рев и улюлюканье беснующейся толпы.

На обнаженную лохматую голову мужика сыпалась зола, сухой конский помет, щепки, грязные тряпки, мусор. Втянув в плечи голову, сжавшись в комок, мужик семенил следом за клячей, не смея ни крикнуть, ни простонать, ни охнуть, ни взмолиться, упав на колени, о пощаде.

Когда эта странная процессия — она и в самом деле напоминала не то святочное, не то масленичное маскарадное представление,— поравнялась с домом станичного атамана, Муганцев и сидящий на крылечке с ним отец Виссарион скрылись за парадной дверью.

Процессия беснующихся ермаковцев, надрывающихся от воплей, улюлюканья, свиста, двигалась по широкой и пыльной улице.

Озверевшие, вошедшие в раж володетельные станичники дурашливо приплясывали вокруг привязанного к оглобле мужика под дикую музыку Проши Берникова, который остервенело садил пестиком по заслонке.

Вдруг толпа, притихнув, остановилась, ошарашенно вылупив глаза на преградивших дорогу трех вооружен-

ных дубинами одностаничников. Двое из них были Кирька и Оська Карауловы, третий — Архип Кречетов. Вахмистр Дробышев, вырвавшись из толпы навстречу трем вставшим на пути соколинцам, вдруг осекся и замер на месте. Лицо его изумленно вытянулось, а руки невольно опустились по швам, точно он встал перед соколинцами по команде «смирно».

— Стоп, воспода станишники. Ни с места. Слушай мою команду!— крикнул Кирька Караулов, хотя станичники стояли и так. Даже дурачок Прошка, перестав бить в заслонку, сидел верхом на бочке, широко разинув огромный беззубый рот. И вахмистр Дробышев, и многие другие из одностаничников, дико округливших зрачки на Кирьку Караулова, видели теперь в его руках хозяйственно смотанные в пучок новые воровинные вожжи, сразу же поняв, чьи они.

Между тем Кирька, сделав два шага вперед и картинно опершись на свою дубину, подобно тому, как опирался иногда на свою булаву их станичный атаман, спросил:

— Интересно мне знать, воспода ермаковцы, кто из вас затеял сей страмной машкарад?

Толпа молчала. Вахмистр Дробышев, почуяв неладное, блудливо шнырял глазами, соображая, как бы улизнуть с Кирькиных глаз. Но не таков был Кирька Караулов, чтобы разевать в таких случаях рот.

— Молчите?! Язык отнялся?!— крикнул недобрым глуховатым баском Кирька.— Эх вы, кошемное войско! Креста на вас нету, воспода станишники, туды вашу мать!

— Братцы! За што он срамит нас, варнак?!— раздался рыдающий голос фон-барона Пикушкина.

— А вот за што!— крикнул Кирька, высоко взмахнув над головой связкой новых воровинных вожжей.

В толпе опять стало тихо. Станичники, словно не веря своим глазам, переглядывались, пожимали плечами. А сообразительный Буря, пока опомнились остальные, потихоньку отвязал от оглобли заплеванного и обсыпанного с головы до ног разным мусором мужика.

Тогда Кирька начал допрос:

— Кайтесь, чьи эти вожжи?!

Молчание. Робкое покрякивание и сопенье в толпе. Отвязанный от оглобли мужик, отряхиваясь, по-прежне-

му пришибленно и робко озирался, не понимая еще, собираются ли его казнить или миловать.

— Впоследки спрашиваю — чья воровина?!— вновь крикнул Кирька, взмахнув вожжами.

— Известно, чья!— прогудел, как басовая труба, брат Кирьки Оська Караулов.

— Нам-то все скрозь известно с тобой, братка, да пущай вот они на миру признаются,— сказал Кирька.

— Дожидайся, признается тебе восподин вахмистр!— подал свой голос Архип Кречетов, стоявший позади Кирьки.

— Вона кака кадрель выходит! Стал быть, вожжи-то восподин вахмистра?— с притворным изумлением воскликнул Кирька и, вплотную придвинувшись к вахмистру, спросил, потрясая воровиной:— Признаешь?

— Никак нет,— пробормотал вахмистр, пятясь.

— А ты не трусь. Признайся, восподин вахмистр,— посоветовал ему из толпы фон-барон Пикушкин.

— Никак нет. Не моя воровина,— твердил вахмистр похолодевшими губами.

— Не твоя?!— переспросил Кирька.

— Никак нет.

— Поклянись перед божьим храмом,— сказал Кирька, указывая на церковь.

— Не богохульствуй, варнак!— прикрикнул на Кирьку школьный попечитель.

— Клянись, растуды твою мать!— крикнул Кирька, вцепившись одной рукой в плечо вахмистра.

— Провалиться скрозь тартарары,— не моя воровина, Киря!— залепетал вахмистр.

— Ага. Не твоя, говоришь!?

— Убей бог, не моя, Киря...

— Стал быть, ворована? Тогда где украл?

— Што ты, станишник! Побойся бога — клепать на меня такую напраслину...

— Ага, сразу за бога! А ты не пужался на чалдона клепать.

— Я што. Ить я только мысленно.

— А ты знаешь, где я эти вожжи взял?

— Никак нет. Не могу знать.

— У тебя во дворе с понятыми вынули. Понял? Под сараем висели.

— Не может этого быть... Это другие. Это не те вожжи...— нашелся было вахмистр.

Но стоявшие за спиной Кирьки Архип Кречетов и Оська Караулов наперебой закричали:

— Врет, воспода станишники. Вожжи те самые, што он на ярманке седни за три целковых купил.

— Фактура — те самые. Ить баба-то его нам сразу призналась.

Все было ясно.

Оська Караулов крикнул Кирьке:

— Што ты остолбучился на его, братка? Одевай на его, сукина сына, теперь хомут — да к оглобле!

— Правильно. Перепрягай безвинного мужика,— поддержал Оську Архип Кречетов.

Но тут ермаковцы не выдержали, рявкнули:

— Это куды годно, братцы,— вахмистра хомутать!

— Мы что, чалдоны — изголяться над нами?!

— Тоже мне казаки — за желторотика восстали!

— Какие они казаки — бишера на бишере, хуже джатаков.

— У их, воспода станишники, от казачества-то ить одне гашники на штанах остались...

— Известное дело — соколинцы!

— Ремок на ремке. Варнак на варнаке.

— Им самим по миру впору.

— Правильно. Вместе с чалдонами по ярманкам промышлять — это им на руку!

Кирька, пока бушевали ермаковские горлопаны, молчал, точно выжидал, когда они выкричатся до хрипоты в глотках. Однако наиболее догадливые из станичников, хорошо знавшие Кирькин характер, начали под шумок незаметно сматываться кто куда: одни — в ворота соседних домов, другие — за огородные плетни, третьи рысцой растекались по боковым переулкам. Толпа таяла на глазах. Даже дурачок Проша Берников, почуяв неладное, предусмотрительно слез с бочки и спрятал заслонку с пестиком за спину.

Но, к великому удивлению станичников, Кирька на этот раз не полез в драку, хотя более удобного момента для потасовки между двумя враждующими краями нельзя было и придумать. Выждав, пока прокричатся одностаничники, Кирька — он знал, что кричали они, как всегда, не из храбрости,— сказал, обращаясь к вахмистру:

— Держи свои вожжи, восподин вахмистр. Они тебе

пригодятся, когда давиться станешь.— И он сунул в руки вахмистра связку воровины.

Вахмистр было попятился, но, встретившись с взглядом Кирьки, вожжи из его рук принял. А Кирька, махнув затем мужику, сказал:

— Ну, што рот-то разинул? Давай к нам. Да не робей, не робей. Ить не все же в нашей станице звери. Люди и тут водятся!

В сумерках этого же дня все четверо — братья Карауловы, Архип Кречетов и новосел с хутора Заметного — сидели в сенках у Кирьки, допивая бутылку третьесортного самогона, и мирно беседовали.

— Как же ты живешь — ни коня, ни вола при таком семействе?— спросил Кирька мужика, которого звали Макаром Зубатовым.

— А вот так и живем — из кулька в рогожку. Надел-то на новом месте получить получил, а силы вот в руках нету. Ну, куды податься? Землю — в аренду, сам — в батраки, семейство — по миру,— сказал Макар Зубатов.

— Да, выходит, жизнь-то не слаще нашей,— задумчиво проговорил Архип Кречетов.

— Так выходит,— подтвердил Оська Караулов.

— Вот тебе и казачество!— сказал Макар Зубатов.

— Вот тебе и новоселы!— сказал Оська Караулов.

— Все мы — одного поля ягоды. Пьем, братцы!— заключил Кирька, по-дружески с размаху чокнувшись с Макаром.

3

Весна была хмурой и непогожей. Низко висело над степью сырое, промозглое плоское небо. Свирепые северные ветры дули днем и в ночи. Сыпались тощие зерна косых дождей. Откочевка в глубинную степь задерживалась, и степные князьки, аткаминеры и баи отсиживались в своих зимних жилищах, выжидая погожих дней.

Кстау — зимовка аула волостного управителя Альтия — приютилась под крылом березовой рощи. По вечерам ярко и весело светились в сумраке освещенные окна большого байского дома. Высокий, плотный и грузный хозяин этого дома Альтий принимал гостей с Горькой линии — чубатых, усатых и бравых станичных атаманов, заезжих прасолов из России и знатных аткаминеров из далеких степных родов. Здесь было шумно и весело. Звенели песни бродячих певцов под ритмичный

говор домбры. Плескался в фарфоровых чашах голубоватый кумыс. Нарядные байские женщины хлопотали вокруг огромного никелированного самовара, гремя дорогой посудой,— готовились потчевать индийским чаем знатных русских гостей.

А в ветхой избушке слепого Чиграя было в этот час совсем убого и сиро. Скупо и немощно светил светильник, и мычала больная коза в черном углу почти по-человечески, тихо и скорбно. Старый беркут, смежив свои печальные веки, неподвижно сидел, нахохлившись, словно прислушиваясь к чему-то. Новорожденный козленок вздрагивал и жалобно блеял во сне. А старый Чиграй, сидя на циновке, пересыпал в ладонях черные бобы, похожие на мелкую прибрежную гальку. Что-то нашептывая вполголоса, Чиграй колдовал над бобами, то разбрасывая их веером перед собой на циновке, то быстро собирая их своими тонкими гибкими пальцами в отдельные кучки, напоминающие пасущиеся бараньи стада.

Молодые и старые джатаки сидели вокруг слепого Чиграя, по-степному поджав под себя ноги. Не спуская глаз с беспокойных старческих рук слепца, люди почтительно молчали, выжидая, когда заговорит Чиграй.

Наконец Чиграй, подняв трепетные веки, как бы прислушался к тишине, густо пропитанной запахом козьего помета и кислой овчины, и голосом кротким и проникновенным проговорил:

— Жол — дорога.

— Ие?— откликнулся рядом сидящий с ним джатак, столь же древний по виду, как и Чиграй.

— Дорога,— повторил Чиграй.— Она падает третий раз на девятый боб, самый легкий из всех бобов и самый счастливый.

— Скорая дорога?— спросил самый молодой и самый нетерпеливый из джатаков, пастух Сеимбет.

— Девятнадцатый боб упал на путь девятого боба. Девятнадцатый боб быстрее тулпара, о котором знают все кочевники с детства.

— Правду ли говорят твои бобы, аксакал?— спросил Чиграя пастух Сыздык.

Помолчав и снова как бы прислушавшись к чему-то, Чиграй медленно и глухо проговорил:

— Бывает так, что и бобы не хотят говорить мне правды. Тогда я кладу их на отдых и выхожу ночью за дверь зимовки слушать, как молчит степь. Я знаю, что в

эту пору все небо усыпано золотыми бобами звезд. И я слушаю, о чем шепчутся в ночи эти далекие звезды.

— О чем же они шепчутся, аксакал?— вновь спросил слепца самый молодой и самый нетерпеливый из джатаков.

— Ты слишком молод еще, джигит, чтобы знать об этом,— сердито сказал старый Чиграй. И он снова умолк, перебирая свои бобы и раскладывая их на циновке по кучкам.

В глубоком безмолвии сидели вокруг джатаки. Старики пили горячий лимонно-желтый чай, настоянный на степной траве — шалфее. Молодые задумчиво смотрели своими прищуренными глазами на трепетный огонь немощного светильника. Женщины, приютившиеся в черном углу вместе с больной козой, козленком и беркутом, скорбно вздыхали. Всем им хотелось, чтобы сбылось гаданье слепца и чтобы выпала скорая дорога джигиту, на возвращенье которого все меньше и меньше оставалось надежд у джатаков аула. Почти каждую ночь собирались молодые и старые пастухи в зимовке старейшего и мудрого аксакала. Почти каждую ночь колдовал слепец над своими бобами и почти каждую ночь предсказывал он скорое возвращение джигита. Но джигит не возвращался, и никаких вестей о нем не заносил в аул джатаков узун-кулак — длинное ухо — телеграф степи.

Пересыпая из рук в руки свои бобы, Чиграй говорил вполголоса полудремлющим вокруг очага джатакам:

— Вчера я стоял за нашей зимовкой. Это было в полночь. Степь молчала. Уснул в камышах ветер. И тогда я услышал, как трижды проржал жеребец в косяке кобылиц, пасущихся на тебеневке.

— Ие?— удивленно воскликнул один из старейших джатаков, сидевший по левую руку от Чиграя.

— Я услышал, как трижды проржал скакун, и вздрогнул от страха,— продолжал вполголоса старый Чиграй.— Я понял — это худая примета. Если трижды в полночь ржет жеребец, быть беде. Это я точно знаю. Он ржал в западной стороне. Значит, беда придет в наш аул с запада.

— Беды никогда в одиночку не ходят, аксакал!— заметил пастух Сеимбет.— И мы к ним давно привыкли. Они приходят к нам табунами с каждой новой луной.

— Какие же беды ждут нас теперь по-твоему, Сеимбет?— спросил Сеимбета пастух Сыздык.

— Известно, какие. Пришла весна — Альтий потребует с нас долги. Нам с вами нечем будет расплачиваться, и мы снова останемся коротать жаркое лето в этих зимовках, стеречь байские дома и жевать курт. И мы снова будем к осени в долгу у Альтия.

Джатаки молчали. Шафранное пламя светильника едва тлело во мраке. Тихо было в зимовке. По-прежнему по-человечески кротко и скорбно мычала больная коза, прислушивался к чему-то нахохлившийся в черном углу старый беркут.

С тех пор — это было около двух лет тому назад,— когда джигит Садвакас, бежав с русскими из-под ареста, бесследно исчез в степях, много воды утекло из окрестных озер и много новостей наслышались джатаки от блуждающих всадников за эти годы.

— Хабар бар ма?— спрашивали пастухи встречного всадника.

— Хабар бар. В ауле Каратал загнал на байге чубарого байского скакуна подпасок по имени Рамазан, и на родовом совете старейшин подпаску сказали так: «Ты будешь пасти скот бая Итбая до тех пор, пока твой хозяин вырастит первенца от третьей жены и пока берег черного озера Кара-Су не покроется молодым ракитником».

Пастух останавливал каждого путника одним и тем же вопросом:

— Хабар бар ма?

— Хабар бар. По атбасарскому тракту проехал русский купец в малиновой опояске. Он скупил у джатаков баранов по дорогой цене за фальшивые деньги.

— Ие?!

— Хабар бар. Бродячий певец степей по имени Беимбет прославил в песне джигитов из рода Кейты — храбрых богатырей и лихих наездников.

— Ие?! Чем отличились они?

— Они отбили у байских барымтачей — прославленных конокрадов — косяк кобылиц с жеребятами, украденный у джатаков, и вернули пастуху Койче похищенную барымтачами его семнадцатилетнюю невесту Жамал...

Много слыхивали нехитрых степных новостей джатаки за эти годы от странствующих в окрестной степи певцов и блуждающих всадников, но никто из них ни слова не сказал им о Садвакасе — где он и что с ним? Томится ли он за железной решеткой в большой русской крепо-

сти или скрывается в кочевьях Малой орды в окружении таких же, как он, мятежных и непокорных джигитов? Об этом молчала степь, любившая новости, но и умевшая хранить тайны.

По ночам, собираясь в сумрачной и ветхой зимовке слепого Чиграя, джатаки рассказывали друг другу вполголоса о своих снах и догадках.

— Я видел сон,— говорил джигит Сеимбет.— На кургане сидел орел, белый, как войлок байской кибитки, а к орлу крался по ковылям матерый зубастый волк. И я не знаю, что было бы с красивым орлом, белым, как войлок байской кибитки, если бы я не закричал во сне от испуга. Орел услышал мой крик, взмахнул могучими крыльями и поднялся над степью. Как мне истолковать этот сон, мудрый наш аксакал?— спросил Сеимбет Чиграя.

И Чиграй после долгого раздумья ответил:

— Сон твой вещий, джигит. Твой орел, белый, как войлок байской кибитки, походит на самого храброго и самого смелого из джигитов степи Садвакаса.

— Ты думаешь, что наш Садвакас еще жив и здоров, аксакал?— спросил Сеимбет Чиграя.

— Бобы говорят мне так. И я им верю...— ответил Чиграй.

И джатаки, вновь поникнув в раздумье над догорающим очагом, умолкали.

И вот однажды, в одну из темных весенних ночей, какие бывают в канун новолуния, когда джатаки, собравшиеся в зимовке Чиграя, разговаривали вполголоса о новостях, которые удалось им услышать за день, случилось то, чего они ждали в течение многих ночей и дней за эти годы. Скрипнула дверь, и джатаки увидели на пороге высокого и прямого джигита в русской одежде. Но ни ветхая солдатская шинель, ни такой же старый русский картуз с лакированным козырьком, ни ремень военного образца, туго перетянувший стройную и гибкую талию джигита,— ничто не помешало тотчас же узнать джатакам в пришельце Садвакаса.

Только одно мгновенье длилась в сумрачной зимовке Чиграя напряженная тишина. Только одно мгновенье неподвижные и онемевшие от неожиданности люди смотрели растерянно и изумленно в смуглое лицо пришельца. И вдруг, словно вихрем сорванные с места, джатаки бросились к человеку в серой солдатской шинели, и ураган

восторженных возгласов забушевал под крышей старой зимовки:

— Ие!

— Уй-бой!

— Садвакас! Друг мой!

— Брат мой! Тебя ли я вижу?

— Сын мой! Ты ли это?

— Внук мой! Твое ли слышу дыхание я?

— Откуда ты?! Здоровы ли ноги и руки твои?— перебивая друг друга, кричали люди, окружив Садвакаса. Обнимая его, они не верили в это мгновенье ни глазам своим, ни слуху.

Растерянно улыбающийся, взволнованный Садвакас, увидев поднявшегося с циновки слепого Чиграя, бросился к нему с протянутыми руками и крепко стиснул в своих объятиях старика. С минуту при воцарившемся в зимовке безмолвии стояли Садвакас и Чиграй, не проронив ни слова. Обнаженная, тронутая ранней проседью голова Садвакаса лежала на груди старика. А тонкие, трепетные пальцы Чиграя судорожно ощупывали затылок, виски и плечи джигита.

...А когда несколько улеглось необычайное возбуждение джатаков, когда подан был женщинами горячий, ароматный и крепкий цейлонский чай и рассыпаны на старенькой скатерти свежие, прожаренные в масле баурсаки,— все присутствующие в зимовке люди, не сводя с Садвакаса ярко поблескивающих глаз, слушали его неторопливую речь.

Держа в одной руке пиалу с недопитым чаем и пристально вглядываясь при этом в лица окруживших его джатаков, Садвакас говорил:

— Длинны дороги степи. И много верст прошли мы по ним с нашими русскими друзьями. Но длинней всех дорог покажется вам мой рассказ о том, что мы передумали и пережили за эти два года, скитаясь по далеким отсюда аулам кочевников и глухим русским селам. Я не могу рассказать вам обо всем этом сразу, в одну ночь. Слава богу, впереди у нас много еще ночей и дней, и вы, друзья мои, услышите все от меня, что испытал я и увидел... А сейчас скажу вам только одно: не будь у меня русских друзей — не видать бы вам меня.

— Ие?!— удивленно воскликнул старый Чиграй.

— Не видать бы меня вам, друзья, если бы отверг я дружбу русских людей,— продолжал Садвакас, остано-

вив свой задумчивый взгляд на колеблющемся пламени светильника.— И первым из этих русских моих друзей был Салкын. Помните ли вы этого человека?

— Это тот, который помог бежать тебе с другими джигитами два года назад из русской крепости Капитан-Кала?— спросил пастух Сеимбет.

— Да, это тот самый,— сказал Садвакас.— Он опять мне помог бежать из острога, и это сделал не сам Салкын, а его друзья. Это было месяц тому назад. Я сидел вместе с двадцатью другими джигитами в каменной башне, похожей на сырой, холодный и темный колодец. Если бы нас не выручили наши русские друзья, мы были бы теперь прикованы к тачкам на каторге, и мы рыли бы золото в далеких отсюда горах Акатуя.

— Ие?! Значит, ты опять убежал, Садвакас?— спросил пастух Сеимбет.

— Да, я снова бежал из-под стражи, и со мной убежали все двадцать джигитов.

— Как это было, скажи?— попросил Сеимбет.

— Это очень длинный рассказ, Сеимбет, и на него не хватит мне даже двух бессонных ночей. Я расскажу все это вам, мои друзья, следующей ночью, если нас никто не услышит из тех, кому не надо этого слушать... А сейчас мои ноги гудят от усталости, и свет в глазах моих гаснет. Я провел двое суток без сна, без пищи и отдыха. Я очень ослаб. И мне трудно сейчас разговаривать,— сказал Садвакас.

И только тут увидели люди, как и в самом деле был утомлен Садвакас и как дрожали его запекшиеся, точно обуглившиеся губы.

— Друс. Друс. Правильно. Надо дать Садвакасу покой. Пора и нам разойтись по своим зимовкам,— сказал Сеимбет, поднявшись с циновки.

И следом за Сеимбетом тотчас поднялись все сидевшие вокруг Садвакаса люди, за исключением слепого Чиграя. Старик остался сидеть рядом с Садвакасом, держа его за руку, словно боясь вновь потерять его.

— Значит, снова пришел ты к нам, Садвакас, по тайной дороге?— спросил Сеимбет.

— Да, джигиты, я снова пришел к вам тайком. И об этом надо пока молчать,— сказал Садвакас.

— Ие,— подтвердил Чиграй.

— Друс. Правильно,— сказал Сеимбет.— Если так

нужно, мы будем молчать. И никто не узнает, что ты снова с нами.

— Никто не узнает,— подтвердили хором джатаки.

— Молчим, Садвакас. Молчим,— проговорил вполголоса Сеимбет, подав знак молодым пастухам оставить зимовку.

4

После бесприютных вешних ветров, слонявшихся день и ночь над степью, после косых и колючих дождей, после низких и плотных облаков, похожих на грязную вату, наступила погожая пора. На небе — ни облачка. Куда ни глянь — все кругом цветет и благоухает. Колыхались над степью призрачные шарфы жарких полуденных марев. И, как пламя в дыму, полыхали в травах тюльпаны.

Шел двадцать девятый день уразы — постного месяца рамазана. Двадцать девятый голодный рассвет встречали в ветхих и жалких своих кибитках джатаки — пастухи и подпаски. Они просыпались, когда в юрте еще плавала теплая полумгла и когда нельзя было еще увидеть нитки, валявшейся на войлоке. В такую пору старый Чиграй будил старшего из пастухов — Сеимбета. Сеимбет будил Сыздыка, а Сыздык — подпаска Ералы. На рассвете Сеимбет делил между пастухами и подпасками пригоршни сухого творога — курта, и они, наскоро завершив свою утреннюю трапезу, спешили к отарам байских овец в стороне от зимовки.

В байских юртах шла подготовка к откочевке на летние пастбища. И волостной старшина Альтий приходил каждое утро к многотысячным отарам своих овец, занимаясь их пересчетом. Усевшись на высоком холме, Альтий приказывал пастухам прогонять мимо него цепочкой отары и пересчитывал вслух своих баранов.

Это встревожило пастухов не на шутку. Они знали, если Альтию станет известно о растерзанных волчьей стаей пяти баранах, аулу несдобровать.

— Пропал я,— говорил в отчаянье двенадцатилетний подпасок Ералы, испуганно поглядывая в сторону сидевшего на холме Альтия.

— Ничего, не бойся, бала. При чем здесь ты? Все будем как-нибудь отвечать,— пытался успокоить его Сеимбет.

— Нет, не все. Я больше всех виноват. Ведь овцы

пропали из моей отары,— с рассудительностью взрослого говорил Ералы.

— Откуда знать баю — в твоей это отаре или в моей,— уговаривал его Сеимбет.

— Он все узнает, и мне будет худо,— твердил подпасок.

И Ералы оказался прав. Неизвестно, какими путями, но Альтий узнал, из чьей отары пропали овцы. А дознавшись, он призвал к себе в юрту подпаска и жестоко избил его волосяным арканом. Стиснув мелкие и частые, как у хорька, зубы, мальчик не проронил ни стона, ни крика, извиваясь под ударами жесткого волосяного аркана. Он знал, что защищать его все равно некому и что ни один из пастухов не посмеет вмешаться в расправу.

Когда избитого пастушонка унес Сеимбет на руках в юрту слепого Чиграя, Ералы, страдая от чудовищной боли в своем маленьком хрупком теле, прежде всего спросил склонившегося над ним Сеимбета:

— А жеребенок мой где?

— В табуне, в табуне, Ералы,— успокоил его Сеимбет.

— Разве бай теперь у нас его не отнимет?— спросил, не открывая глаз, Ералы.

— Нет, нет, Ералы, не отнимет. Мы ему его не дадим.

— А чем же мы будем платить за баранов?

— Придумаем что-нибудь. А жеребенка не отдадим,— заверил Сеимбет подпаска.

И Ералы успокоился. Целых три дня отлеживался он в юрте слепого Чиграя. И старая байбише Бильда любовно ухаживала за подпаском, как за кровным своим последышем. Она поила его наваром целебного корня травы караматау, сорванной в долине озера Узун-Куль, и натирала его худое тело, лиловое от кровоподтеков, целебными соками из трав, которые росли, по словам байбише, только за тридевять земель от их аула. А на четвертый день подпасок поднялся чуть свет с жесткой своей постели, когда в юрте все еще спали, и, захватив с собой пригоршню сухого творога, ушел в табун, который пас Сеимбет. Еще издали, завидев в прибрежной осоке своего чалого жеребенка, мальчик, забыв обо всем на свете, бросился к своему любимцу. Жеребенок, отлично знавший своего маленького хозяина, приветливо протянул к нему морду и коснулся мягкими замшевыми губами лица Ералы. Обхватив тонкими бронзовыми руками кру-

тую шею стригунка, Ералы долго ласкал его, целуя коротко подстриженную озорную челку и говоря ему самые нежные, самые ласковые слова:

— Мой хороший, золотой мой стригун Бала! Ты совсем у меня настоящий скакун. У тебя крепкие белые зубы и черный ремень на спине. Ты у меня умнее беркута — самой мудрой птицы. Ты у меня быстрей тушканчика — самого быстрого степного зверька. Злые белые скакуны бая Альтия глупы, как рыбы. Я люблю твои веселые большие глаза. Я люблю тебя, мой тулпар!

И стригун, положив голову на обнаженное хрупкое плечо маленького хозяина, слушал ласковые речи его, закрыв глаза. Затем Ералы, сев на жеребенка, заехал на нем в озеро и долго купал его в розовой от восхода, прозрачной и прохладной воде. Мальчик продолжал разговаривать с ним так же нежно и ласково, как разговаривал с маленькой своей сестрой — шестилетней Мусонтай.

— Ты уже прожил одно лето и две зимы, золотой мой стригун!— бормотал подпасок, продолжая плескать на широкий и гладкий круп жеребенка озерную воду.— Ты совсем стал похож у меня на того настоящего коня, про которого рассказывал старый Чиграй мне хорошую сказку. Много, много весенних и летних лун ждал я тебя, мой Бала! Каждый раз, когда брал меня бай Альтий в пастухи, обещал он мне отдать осенью самого красивого и самого резвого жеребенка. Каждое лето я пас байский скот. Я же хороший подпасок! Но каждую осень сытый и злой Альтий обманывал меня и не давал мне тебя, мой золотой, мой хороший звереныш. А теперь ты мой. И теперь я тебя никому не отдам. Ты у меня быстрее весеннего ветра и легче залетной птицы. Это все узнают, когда будет праздник Уразайт и когда будет в ауле байга — веселые скачки!

Был на исходе тридцатидневный пост, и джатаки, собираясь по вечерам у костров, думали вслух о предстоящем празднике — завершении постного месяца рамазана. И каждый из них мечтал об этом празднике по-своему.

— Я поборю самого сильного джигита из рода Джучи — Тарангула,— говорил пастух Есбатыр.

— Я дальше всех пройдусь на руках вниз головой,— хвастливо заявлял самый озорной из подпасков Омар.

— А я выйду победителем в козлодранье,— утверждал проворный и ловкий джигит Чиакпай.

А старый Чиграй, раскинув свои бобы на циновке и

поколдовав над ними, нашептывал изумленно таращившему на него глазу подпаску:

— Я слушал, о чем говорят бобы. Они говорят мне сегодня правду. Они говорят, что на байге в день весеннего праздника Уразайт один жеребенок подпаска обгонит на скачках самого злого и сильного байского скакуна...

— Ой-бай!— удивленно восклицал Ералы, недоверчиво поглядывая на полусмеженные веки слепого Чиграя.

— Так говорят мне бобы,— продолжал бесстрастным голосом Чиграй.— Так мне сказал пятнадцатый боб — самый пугливый, как кобчик, и самый быстрый, как тарбаган. Он перешел дорогу восьмому бобу — злому, как шайтан, и черному, как ворон, байскому скакуну.

И джатаки, прислушиваясь к пророческому гаданью, думали о том, как было бы хорошо, если бы сбылись и на этот раз предсказания мудрого аксакала!

В ночь под праздник Уразайт вокруг аула джатаков запылали огненные миражи костров. Все мужчины и женщины аула, выйдя из юрт, приглядывались к темному, щедро усыпанному звездным золотом небу в ожидании появления новорожденного месяца. Самый счастливый из рода должен был первым увидеть тонкий, прозрачный рог новолуния. Самый счастливый должен был первым известить людей о том, что постный месяц рамазан исчез за Жаман-сопкой, уступив место новорожденному лику луны — предвестнику веселого весеннего праздника.

Против байских юрт в казанах закипала сорпа и варилось молодое и ароматное баранье мясо.

— Каждый колет барана. Это правильно,— сказал Чиграй.— Но джатак не знает, кого заколоть ему на праздник Уразайт.

— На чем же ты переедешь через ад по нитке, тонкой, как лезвие меча, когда ты будешь на том свете?— спросил мулла.

— Нет, мне не на чем переехать через ад на том свете,— сказал скорбно поникнув старый Чиграй.

— Ты говоришь мне неправду,— сурово оборвал Чиграя мулла.— Аллах и я знаем, что у тебя ходит овца с белой ногой.

— Это правда. Но я жду, когда у меня народится пара ягнят,— сказал Чиграй.

— Об этом не надо думать на этом свете, если ты не

хочешь кипеть в аду,— поучительно и строго сказал мулла.

Пастух Сеимбет, зло покосившись на желтобородого муллу, сказал:

— Об этом надо сказать не нам — Альтию. Если он не отдаст мне моей тайнчи и барана, то мне прямая тогда дорога в ад. Выходит, я буду кипеть на том свете в смоле по вине Альтия?!

Мулла, встретившись с недобрым взглядом джигита, не нашелся, что ответить ему, и, многозначительно крякнув, пошел прочь.

А на рассвете, когда запели в окрестной степи перепела и заметались над озером белоснежные чайки, один из байских джигитов крикнул:

— Я вижу новорожденный месяц!

— И я!

— И я вижу. Вон он! Вон он поднялся над черным озером Кара-Су! — загремели над степью восторженные крики.

И тогда в просторных, украшенных дорогими коврами и красочным войлоком юртах аткаминеров и баев аула началось праздничное пиршество. Тучные, неповоротливые, заплывшие жиром аксакалы с сонными лицами торжественно и важно восседали полукругом и, засучив рукава цветных халатов, священнодействовали над кусками свежей баранины. Трое проворных и легких джигитов, искусно орудуя ножами, крошили дымящееся горячее мясо над деревянными блюдами, а белобородые аксакалы жадно хватали куски янтарного сала руками, набивая рот и давясь непрожеванными кусками. В три ряда замыкался мужской круг за застольным пиршеством аксакалов. Впереди сидели широкоплечие, заплывшие жиром люди с посеребренными сединой бородами — старшины рода, волостные управители и аткаминеры. Позади — молодые, развязные шумные джигиты. А за джигитами теснились, прижавшись друг к другу, менее почетные гости Альтия — отдаленные бедные родственники.

Женщины сбились справа около шипящих турсуков — кожаных мешков с кумысом. Одни ловко наполняли огромные деревянные чаши — пиалы голубоватым квашеным кобыльим молоком, другие разливали гостям сорпу — жирный навар от баранины. Аксакалы и джигиты свирепо обгладывали кости, затем кидали их через

головы впереди сидящих джигитов на женскую половину, и гибкие руки женщин ловко схватывали их на лету. Затем эти же кости перелетали от женщин к толпившимся в черном углу пастухам и подпаскам.

Сам волостной управитель Альтий восседал, как бог в облаках, среди пышных пуховых подушек, обрабатывая складным ножом одну баранью голову за другой и звучно высасывая бараний мозг и жир из глазных и подлобных впадин.

Кто-то наотмашь бросил в бронзовое лицо подпаска Ералы кусок янтарного сала. Не успев схватить на лету дарованную ему пищу, подпасок с трудом выбрался из-под кучи навалившихся на него оборванных, грязных и злых ребятишек, с яростью вырывавших друг у друга добычу.

...А в полдень за озером Кара-Су заходил ходуном увал под проливным дождем конских копыт, и гортанные крики возбужденной и яркой толпы заглушили мятежное лошадиное ржанье. Пресытившиеся на пиршестве патриархи степей — сребробородые аксакалы сидели теперь полукругом на высоком кургане, устланном шитым войлоком и коврами. Важные, неподвижные, как изваяния, восседали они, равнодушно озираясь вокруг тяжелыми сонными глазами. Они томились в ожидании первого заезда восемнадцати лучших скакунов степи Сары-Дала, отобранных знатоками для этой весенней байги. Нарядные, озорные, крикливые и веселые казахские девушки мелькали то тут, то там, как цветы в ковылях, сверкая позументом своих голубых, оранжевых и малиновых камзолов. Степные красавицы резвились, позванивая связками серебряных монет, вплетенных в их тяжелые, темные, как осенние ночи, косы.

А в стороне от кургана огромная толпа кочевников шумела, окружив злых, надменных и капризных байских скакунов, споря о беговых качествах лошадей, предназначенных для сегодняшней двадцативерстной скачки. Среди гибких полукровок с плоскими крупами, огненными глазами танцевал на своих упругих и тонких ногах невеликий стригун с белой звездой на лбу. И такая же шумная и азартная толпа джатаков толпилась вокруг стригунка, какая шумела в это время и вокруг восемнадцати отборных скакунов, сведенных сюда богатыми аксакалами из окрестных аулов. Джатаки подбадривали подпаска Ералы, лихо сидевшего на стригун-

ке, нетерпеливо перебирающем своими гибкими, точеными ногами:

— Не робей, Бала!

— Не трусь, Ералы!

— Плюнь на насмешки!

— Будь настоящим джигитом! — раздавались азартные крики джатаков.

А белобородые патриархи, сидевшие на кургане, презрительно косясь в сторону шумевших вокруг стригунка джатаков, переговаривались, усмехаясь:

— Тоже мне — бегунца нашли!

— Это не лошадь — паршивый кобчик!

— Пусть позорятся для потехи...

— Друс. Правильно. Смеху наделают на всю степь.

Когда был подан знак наездникам для отправки к границе забега и восемнадцать всадников под напутственные возгласы толпы тронулись, сдерживая своих горячившихся скакунов, в степь, тогда вслед за байскими всадниками тронулся на своем стригунке и подпасок Ералы под такие же напутственные возгласы джатаков:

— Удачи тебе, Ералы!

— Скачи с умом!

— Смотри не горячи зря коня!

— Не забудь разнуздать при забеге.

— Не давай сразу ему полной воли!

...Все двадцать верст ехали байские всадники шагом, с трудом сдерживая своих волнующихся перед скачкой коней. Шагом ехал вслед за шумной ватагой байских джигитов на своем стригунке и подпасок Ералы, вполголоса разговаривая то со стригунком, то с самим собой.

— Ты у меня настоящий скакун, Бала,— ласково похлопывая стригуна по крутой и упругой шее, говорил Ералы.— Ты меня выручишь на этой байге, и я тебе вымою молоком розовые твои копыта!

И стригун, точно понимая, о чем говорил ему подпасок, шел под ним, пританцовывая на своих молодых, упругих ногах и кивая в знак согласия своей красивой мордой с белой звездой на лбу и озорной, трепещущей челкой между острыми, как мечи, ушами.

Так, ласково разговаривая со своим конем, незаметно проехал подпасок дорогу к границе забега. Кавалькада байских всадников — это были такие же подростки,

как и Ералы,— выстроилась на холме в одну шеренгу, к ним пристроился с левого фланга на своем стригунке Ералы. Его никто не заметил. Теперь было всем не до шуток. Маленькие наездники, крепко стиснув поводья, сидели на своих готовых ринуться вихрем конях, не сводя глаз с джигита в стороне: все ждали условного взмаха руки джигита в малиновом камзоле и его команды о начале байги. Ждал и Ералы, намертво стиснув в цепких руках сыромятные поводья.

Было тихо.

Ералы слышал неровный и частый стук своего маленького сердца. Он даже слышал, кажется, как стучало в это мгновенье и сердце его стригунка...

Наконец джигит в малиновом камзоле, подняв над головой камчу — тяжелую ременную плеть с отороченным серебряной ленточкой черенком,— пронзительно крикнул:

— От урочища Курга-Сырт до аула Альтия двадцать меряных верст. Сейчас мы увидим, чей скакун окажется быстрее степного вихря и кто из наездников будет легче птичьего пера. Байга!

Будто вихрем сорвало с холма девятнадцать всадников. Степь покачнулась. Голубой огонь неба на мгновенье ослепил и ожег покосевшие глаза Ералы. Горячий встречный ветер высекал слезу за слезой. Ералы прикусил язык. Он пригнулся над крутой и упругой шеей своего стригуна и ничего не видел впереди себя, кроме похожей на колеблющееся пламя маленькой светлой челки, вспыхивающей между острых ушей стригунка. А сзади, стремительно нарастая, гудел целый ураган азартных воплей наездников. То отпуская, то натягивая повод уздечки, Ералы беспрестанно твердил:

— Ой, Бала! Выручай меня, золотой мой стригун! Не срамись перед байскими скакунами, мой хороший!

Вот сверкнул узкий и плоский, как нож, залив озера. На мгновение мелькнул в глазах зеленый огонь густой прибрежной травы на займище. Ералы временами видел перед собой пустынную степь с парчовыми ковылями и стремительно мчавшуюся ему навстречу широкую степную дорогу. Ни разу не оглянувшись, подпасок тем не менее чувствовал, как все дальше и дальше отставали от него восемнадцать байских наездников на своих красивых, надменных и злых скакунах, как все глуше и

глуше стучали на утрамбованной дороге некованые конские копыта.

Ералы не знал и не помнил, сколько времени летел он, как вихрь, на своем стригуне впереди восемнадцати байских наездников. Но вот, точно очнувшись от забытья, он увидел впереди себя степной увал, усыпанный людьми. Было похоже, что навстречу подпаску катился пестрый вал: это толпы девушек, одетых в разноцветные бархатные камзолы, бежали навстречу. Они бежали, размахивая своими тонкими, гибкими руками, приветствуя победителя праздничных скачек.

И Ералы, прижавшись своим легким и хрупким телом к тугой, напружинившейся шее стригуна, теперь уже не торопил его ни плетью, ни окриком, а только вполголоса повторял одно и то же:

— Золотой мой Бала! Ой, мой Бала! Хороший!

Яркие, как степные тюльпаны, камзолы девушек, цветные халаты седобородых степных патриархов и пестрые лохмотья джатаков — все смешалось, слилось в один радужный, красочный круг, похожий на ярмарочную карусель. А восторженный рев оглушал Ералы, и голова его кружилась, как от крепкого майского кумыса, и временами ему казалось, что он задыхался от радости и терял сознание.

Ералы не помнил, как вылетел на полном скаку из седла на распростертые руки джатаков. Кто-то схватил его на лету, как подбитую выстрелом птицу. Старая тюбетейка слетела с головы подпаска. А жеребенок вдруг присел на задние ноги, испуганно фыркнул и зашатался, точно ноги его заскользили по льду.

Ералы, окруженный толпой пастухов и подпасков, придя наконец в себя, вытер потное лицо рваным рукавом своей ситцевой рубашонки и запальчиво крикнул:

— Все видели, как скоро ходит Бала?!

Но в это мгновение толпа пастухов и подпасков, окружавших Ералы, вдруг шарахнулась от него в сторону, и восторженный гул людской речи внезапно оборвался. Тогда Ералы, ощутив в сердце тревогу, бросился со всех ног следом за пастухами и подпасками и, с трудом протиснувшись сквозь их притихшую толпу, остолбенел, увидев распластавшегося на траве стригуна.

Жеребенок лежал плашмя, не двигаясь и как будто даже не дыша. Его передняя нога с белым пятном над щеткой, слегка изогнувшись, упиралась своим молочно-

розоватым копытом в пушистую грядку дороги. Из судорожно вздрагивающих ноздрей текли жидкие струйки желтой пены. Ералы, бросившись к стригуну, приподнял руками его горячую морду и крикнул:

— Вставай! Вставай, золотой мой Бала! Вставай, мой хороший!

Стригун посмотрел на мальчика своими печальными большими глазами и тотчас же снова прикрыл их, слабо вздохнув при этом, как человек, которому было теперь очень и очень худо. Полусогнутая в коленке тонкая нога стригуна чуть заметно подрагивала, и Ералы казалось, что из-под густых ресниц жеребенка показались крупные, как горох, слезы.

Подпасок сидел около стригуна на корточках, похолодев от тревоги. Мальчик даже не обернулся на голос окликнувшего его старого баксы — лекаря Чиракпая. Чиракпай, осторожно оттолкнув в сторону подпаска и присев около стригуна, долго ощупывал тонкими, гибкими пальцами холку жеребенка.

Стригун сделал еще два-три едва уловимых движения головой, передернул острыми ушами и, весь вытянувшись, замер. Его полузакрытый глаз, подернутый холодной и мутной пленкой, отсвечивал теперь отраженным, неживым, тусклым светом.

И старый баксы, скорбно вздохнув, сделал неуловимое движение рукой, а потом, поднявшись на ноги, молча отошел в сторону.

Ералы подбежал к старому лекарю и, заглянув в его скорбное лицо, все понял.

Толпа джатаков продолжала неподвижно и молча стоять над распростершимся среди дороги стригуном. И Ералы слышал, как кто-то сказал:

— Веселый праздник Уразайт для джатаков окончен. По степи Сары-Дала прошел хабар: джатакский скакун Бала обогнал восемнадцать байских скакунов и умер в конце дороги...

...Ночь пришла с ароматом трав и жемчугом рос, с перепелиным щелканьем и чистым, как слеза новорожденного, молодым месяцем. И снова заколыхались над степью огненные миражи огромных костров в байском ауле. Там веселились и пели захмелевшие от кумыса молодые, красивые, праздные джигиты. Там смеялись устало и сонно утомленные девушки. Далекое лошадиное ржание было похоже в такую пору на робкое жур-

чанье степного ручья, и крик возвращающегося с байги всадника напоминал о крике незримой полуночной птицы.

Было уже поздно. А Ералы продолжал сидеть на корточках около своего неподвижного стригуна. Мальчик смотрел на полузакрытый, тускло поблескивающий под месяцем глаз жеребенка. Мальчику было жутко сидеть одному в ночной степи около мертвого жеребенка. Но подпасок не в силах был оторвать своих сухо блестевших глаз от густых ресниц стригуна и от его звезды на лбу, смутно белевшей под месяцем.

Но вот где-то далеко-далеко прокричал над займищем одинокий гусь. И подпасок, встрепенувшись от этого тревожного птичьего крика, вскочил и бросился со всех ног к аулу.

— Где наши люди? — спросил Ералы пастуха Сеимбета.

— Все собрались в юрте волостного управителя — аксакалы и джатаки. Иди и ты туда. Там решается спор о победителе сегодняшней байги,— сказал Сеимбет.

Когда мальчик робко вошел в огромную, увешанную дорогими коврами юрту, он увидел, что здесь было тесно от людей. На почетных местах восседали торжественные степные патриархи и аткаминеры, а в черном углу теснились джатаки.

Ералы, затаив дыхание, стал около двери. Приподнявшись на цыпочки, он увидел седобородого человека в дорогом халате с домброю в руках и узнал его — это был прославленный певец Абакан.

— На наш праздник пришел из рода Джучи знаменитый акын Абакан. Его знает вся степь,— сказал волостной управитель Альтий.

— А из рода Дулат пришел к джатакам другой акын. Имя его Кургай. Он стар своими песнями. Когда поет Кургай, в озерах перестает играть рыба, и птица замирает на гнездах,— сказал слепой Чиграй.

— Тем лучше,— откликнулся с ехидной усмешкой Альтий.— Два акына — две песни. Пусть состязаются в этом айтысе два знаменитых певца степи. А мы послушаем и решим на совете старейшин, который из них поет лучше.

И певцы сели рядом. Один — в дорогом халате с нарядной домброй в руках — это Абакан. Другой — в по-

ношенном, залатанном бешмете степного покроя и с такой же старой, незавидной домброй в руках — это старый бродячий певец Кургай.

Абакан, ударив по струнам, долго прислушивался к их глухому ритмичному говору, а затем, запрокинув голову и полусмежив веки, запел:

— Камыши в урочище Курга-Сырт гремят от ветра, горят от солнца и рвутся к небу от воды. Слава всемогущего Альтия обгонит ветер, перелетит на серебряных крыльях через большое озеро Чаглы и заблестит под солнцем, подобно распластанным крыльям лебедя.

Веселый праздник Уразайт прошел по нашим аулам и в самом славном из них — в ауле Альтия — было съелено двадцать восемь баранов. Наш прославленный волостной управитель не пожалел для гостей трех верблюдов и самого жирного быка. Гости выпили в юрте Альтия целое озеро священного кумыса. И никто не отнимает у гостеприимного хозяина этой степи его великого могущества и богатства.

Ибо нет в степи более знатного человека, чем Альтий и более богатого, чем он. Это его косяки не знавших узды, быстрых, как ветер, кобылиц кочуют по степным просторам. Это его красивые жены шумят на празднествах шелком своих камзолов и звенят золотыми монетами, вплетенными в темные, как осенняя ночь, и пышные, как майские травы, их волосы. Это от их сияющей красоты светло и днем и ночью в священной юрте нашего управителя. И я — странствующий певец степей — пою эту песню с полузакрытыми глазами, потому что блеск красоты и богатства ослепляет меня, и я не смею поднять своих век!

Ударив по струнам дорогой домбры, Абакан умолк под восторженные возгласы аксакалов.

На секунду в юрте возникла строгая тишина. Теперь очередь была за певцом бедноты Кургаем. Старый Кургай сидел против пылающего очага. Строгое вдохновенное лицо певца, озаренное отблесками костра, отливало холодным блеском меди, и золотые светляки порхали, как бабочки, в металлической бляхе его украшенного медным набором пояса.

Выпрямившись и как бы на секунду прислушавшись к чему-то, Кургай ударил затем по струнам и своим высоким, прозрачным и чистым голосом запел:

— Много лихих скакунов знавали окрестные степи. Много веселых и ярких праздников цвело в летнюю пору под благословенным и светлым небом.

Но настал день, когда, подобно смерчу, прошел по степной дороге джатакский стригун Бала. Восемнадцать байских прославленных скакунов, злых, горячих и гибких, как дикие птицы, рвали поводья под легкими всадниками, но ни один из них не догнал

джатакского стригуна на байге в честь праздника Уразайт, и джатакский стригун пришел первым из девятнадцати, победив прославленных иноходцев.

— Он врет! — крикнул, обрывая песню Кургая, мулла с перекосившимся от злобы лицом.

— Он оскверняет священную юрту! — завопил, багровея от гнева, аткаминер Кенжигараев.

— Гоните его вон, как паршивую собаку!

— Гоните отсюда всех джатаков. Они оскверняют веселый праздник Уразайт!

— Прочь, прочь их отсюда! — задыхаясь от криков, возбужденно и протестующе махали руками взбешенные знатные гости Альтия.

Кургай, прижав судорожным движением рук свою старую домбру к сердцу, стоял над пылающим очагом неподвижно, вызывающе, прямо. Лицо его было попрежнему строгим, сосредоточенным, вдохновенным. Он смотрел сейчас на джатаков, но они, поникнув, молчали. И только гнев людей в дорогих одеждах продолжал бушевать, как ураган, под войлочной крышей байской юрты.

— Пусть скачут наши джигиты по всем окрестным аулам и пусть разносят они по степи хабар о том, как приблудный акын Кургай опозорил священную юрту прославленного Альтия! — крикнул аткаминер Кенжигараев.

— Друс! Правильно! Пусть расскажут джигиты о том, как подпасок загнал на байге своего худосочного стригуна и как пять самых красивых девушек били по щекам опозорившегося подпаска джатаков! — вторил аткаминеру мулла.

Вскоре вместе со всеми джатаками, покинувшими байскую юрту, выбежал вон и маленький Ералы. Он долго бежал в глубь полуночной степи, сам не зная, куда и зачем. И только тогда, когда гневные крики взбесившихся баев начали затихать вдали, как затихает в ночи лай степных псов, потревоженных кем-то в сонном ауле, подпасок остановился и перевел дух. Прислушавшись к полуночной степной тишине, он уловил своим чутким ухом невнятный шум и тотчас же понял, что это пасется вблизи конский табун пастуха Сеимбета. А минут пять спустя Ералы и в самом деле узнал, словно выросшего перед ним из-под земли рослого и гибкого джигита. Это был Сеимбет, а рядом с ним — Садвакас.

Джигиты угостили Ералы крошками курта и усадили его рядом с собой возле копны свежего сена.

— Почему они говорят неправду? Мой же стригун пришел первым,— сказал Ералы.

— Слушай, друг,— проговорил Садвакас после некоторого раздумья.— Альтий — самый знатный и самый богатый человек в степи. Он купил себе за пригоршни золотых монет пятерых жен, самых молодых и самых красивых. Он купил себе песни акына Абакана. Он купил чужую славу и чужую красоту. А у нас с тобой нет ни того, ни другого, ни третьего. У нас нет пригоршней золотых монет. Но наши руки крепки и упруги, как ветви березы. Наши мускулы налиты оловом силы, и здоровье кипит в нас, как молодой кумыс в турсуках. Злыми, зоркими и узкими глазами смотрит днем и ночью бай за нами. И никуда не укроешься от этих по-волчьи зеленых, зорких и злых глаз. Мы мокнем под холодным дождем, и мы мерзнем на свирепом зимнем ветру, остерегая от зверя несчитанные байские табуны. Мы безропотны и покорны, как сторожевые байские псы. Но время придет, и мы с вами станем другими. Нам ответит бай за все: за голод и холод, за нашу бедность и наше бесправие. Так мне сказал однажды мой русский друг, которого звали Салкыном. Он говорил, что настанет такое время, когда станут и пастухи-джатаки хозяевами родной степи. Так мне сказал Салкын. И я ему верю.

— Ты настоящий акын, Садвакас! — сказал Сеимбет.

— Да, это хорошая песня,— подтвердил Ералы.

— Нет, друзья, это не песня,— сказал Садвакас.— Не песня — слова мести. Каждый из нас должен запомнить эти слова наизусть. Я знаю, что скоро пройдет над степью великий хабар, и все пастухи и джатаки должны будут встать на стремена. В тот день, когда пройдет великий хабар по аулам быстрее залетного ветра и когда гнев джатаков поднимется в ночи, как зарево весенних пожаров, мы оседлаем самых быстрых и злых байских скакунов и мы помчимся туда, куда позовет нас великий хабар. Так говорил мне мой русский друг. И я ему верю,— заключил Садвакас.

И пастухи долго молчали, прислушивались к глухому шуму байского пиршества, к хмельным и веселым песням джигитов, к серебряному звону далеких девичьих голосов.

5

Лето выдалось засушливое.

По ночам грохотали грозы, и в косом плоском небе мерцали багровые шрамы молний. От выпьего крика стонали озера. Птица снималась с воды и долго трепетала над камышами займищ, точно над пожаром, охватившим гнезда. Болезненным, лихорадочным румянцем рдели по утрам зори, и мутным выглядело раскаленное в полдень небо.

Но дождя не было. Над желтой степью, над синеватой заволочью перелесков мерцала призрачная кисея марев, и терпкий запах травяной гари разносили по пустынным дорогам прибалхашские суховеи. Казалось, от зноя отяжелевал даже древний ворон. Он кружился теперь над степью так низко, что сбивал обуглившимися крыльями макушки черноголовника, подсекал рано поседевшие ковыли, крошил мятлик. Удушливый, тяжелый, как пламя, стлался с песчаного Прибалхашья ветер. Чахла полынь, усыпанная пыльцой цвета желчи. Горестно ник, свернув блеклые лепестки, донник. Пожелтела и ощетинилась выметавшаяся в трубку окуренная суховеем пшеница. Немощно пробивались сквозь черствую землю, хирели покрытые пепельной пылью овсы. И страшен был глухой, чуть уловимый для чуткого уха хруст сгорающих трав.

В огромном добела раскаленном просторе томилась степь. Грустно посвистывали, привстав на задние лапки, суслики. Тоскливо и одиноко было в пустынной степи. Но еще тоскливее и горше — в окрестных аулах, на переселенческих хуторах, в станицах на Горькой линии. Люди избегали теперь разговоров о засухе. Народ держался еще смутными надеждами на дожди. И опять, как в канун войны, зашныряли по хуторам и станицам какие-то пыльные, словоохотливые нездешние люди и, насулив народу всяких бед и потрясений, так же незаметно исчезали невесть куда.

В линейных станицах совершались молебствия о дожде. Состоялось такое молебствие накануне петрова дня и в станице Пресновской. Далеко в степи, среди выгорающих от суховея казачьих пашен был развернут потертый и пыльный шатер походной церкви. Матовое от перекала солнце стояло над головой. По черным па-

рам, по окрестным выбитым табунами увалам беснова-лись пепельно-мглистые смерчи.

На молебствие была поднята вся станица. И вместе с людьми томился на солнцепеке согнанный из табунов для водосвятия весь станичный скот. Табуны были выстроены в две шеренги: с одной стороны — коровы и овцы, с другой — конские косяки.

В начале молебствия животные вели себя в меру терпеливо и мирно. Но во время чтения акафиста с вислоухой кобыленкой станичного десятника Бури случилась неприятность. Отлично зная порочную слабость своей кобылы, подвыпивший Буря еще до открытия службы завел с отцом Виссарионом такой разговор:

— В ножку к вам, батюшка,— сказал, низко кланяясь священнику, Буря.

— Благословляю, благословляю, раб божий. В чем нужда? — спросил отец Виссарион.

— С кобылой я маюсь. Ослобоните ее у меня от молебствия.

— В водосвятии не нуждаешься?

— Что вы, батюшка, Христос вам встречи! Разве я к этому? Я сам при божьем храме сызмальства в звонарях состоял...

— Ну, ну. А в чем у тебя причина-то? — заинтересовался поп.

— Да в этом и открываться-то вам не шибко ловко...

— Священнику?

— Да господи боже мой. Не в этом соль, батюшка,— сказал пониженным голосом Буря.— А соль в том, что распутная она у меня. В работе — слов нет, дюжая. Сто верст пройдет, не помочится. А вот случись жеребец — осатанеет, дурная собой делается, гужи рвет. Хвост крючком — и пошла писать вокруг да около, пока удовольствия не доступит. А спаси бог, не удастся — встречных и поперечных перегрызет. Согрешил я с ней, окаянной. Ее и в табун господа станишники не допущают по этой причине...

— Променял бы,— сказал поп.

— Да кому же она нужна, такая вредная?! Тело не держит. Ребра все на свету. На приплод не способна. А худую славу на всю Горькую линию про себя пустила. Пытал я и променять, да охотников на таку менову што-то не находится...

— Редкая птица! — удивленно проговорил отец Вис-

сарион.— А на водосвятие ее все же надо привести. Кто же знает: может, капля святой воды и исцелит ее буйную плоть. В это веровать надо. Нет уж, давай веди...

— Воля ваша, батюшка. Только я, грешным делом, думаю, што тут каплей не обойдешься. На ее, вредную, целый ушат надо вылить, тогда ишо, может, будет толк...

— Дурак,— сказал отец Виссарион.

Между тем станичники Буре пригрозили:

— Только попробуй выведи свою кралю — ноги переломаем. Лучше не доводи до греха, не суйся.

После своего объяснения с отцом Виссарионом Буря заколебался. Но Кирька Караулов ему посоветовал:

— А ты давай веди для смеху. В случае чего я тебя в обиду не дам и кобылу твою тоже.

И вот в разгар водосвятия Буря все же явился со своей кобылицей на молебствие, пристроившись с ней рядом с коровами. Тонконогая, вороной масти, выгодно скрывающей худобу, с буйной вихрастой челкой меж озорных, всегда настороженных ушей, издали кобылица Бури казалась даже красивой.

Как бегового иноходца перед заездом, мертвой хваткой держал ее под уздцы обеими руками Буря. И с полчаса кобыла стояла спокойно. Но вдруг, дрогнув всем корпусом, лихо сверкнув огнистым навыкате глазом, она забилась, как в лихорадке, и, взметнув на дыбы, подняла на поводу хозяина.

— Пиши пропало! — обрадованно крикнул Кирька Караулов, осенив себя размашистым крестным знамением.

Фон-барон Пикушкин, сунув свои хоругви в руки шинкарке Жичихе, тотчас же бросился со всех ног, давя и толкая молящихся, к своему буланому жеребцу.

Перепуганные станичники, столпившиеся вблизи Бури, злобно шипели на него:

— Держи ты ее, ради Христа, покрепче!

— Не доводи до греха, варнак!

Не помня себя, Буря, бледный как полотно, напрягал последние силы, стараясь удержать забесновавшуюся кобылицу. Он бы, может, и удержал ее — силы у него на это хватило бы, но, как на беду, лопнул сыромятный повод. Кобыла, задрав хвост, с визгом трижды описала круг и стала перед буланым жеребцом фон-барона, молодцевато затанцевавшим на поводу у приемного сына

Пикушкина, подслеповатого Терентия. Когда Кирька Караулов, рискуя жизнью, попробовал отпугнуть кобылицу дубинкой, она осатанело заметалась по табуну с таким непристойным, пронзительным визгом, что отец Виссарион перепутал ектенью и тоже, как все молящиеся, тревожно заозирался по сторонам.

А в это время дернул черт кого-то выпустить со двора двух верблюдов, на которых приехали из степи казахи в станицу. И верблюды, величественные и медлительные, шествовали теперь прямо к согнанным на водосвятие табунам. При виде двугорбых степных старожилов лошади вдруг забесновались, храпя на поводьях у растерявшихся хозяев. И паническое смятение обуяло весь табун. Тяжело заворочал кровавыми зрачками, пустил светлую слюну, вертуном закружился на месте пепельный бык станичного атамана Бисмарк. Поддавшись всеобщему смятению, низко пригнув рога, начали рыть копытами землю и глухо мычать коровы. Долговязая оранжевая сука пристава Касторова очутилась в кольце обезумевших животных. От пыли над стадом повисла мутная, колеблющаяся туча. Ходуном заходила под копытами земля, и косые рога коров лихорадочно заметались из стороны в сторону.

Люди с детьми, с хоругвями и с иконами на руках бросились врассыпную. Запутавшись в облачении, упал с дарами отец Виссарион.

Дед Богдан, державший в руках потемневшую от времени икону древнего письма, тоже было подался с оглядками вслед за всеми в станицу. Но, услышав пронзительный детский крик, старик остановился. Тревожно оглядевшись вокруг, Богдан заметил вблизи походного шатра вихрастую голову Тараски Бушуева. Отставший в суматохе от матери перепуганный насмерть Тараска стоял, прижавшись к шатру. А в пяти шагах от него метался озверевший муганцевский бык Бисмарк за ошалевшей от страха касторовской сукой. Наконец собаке удалось улизнуть от быка. И Бисмарк, завидев прижавшегося к шатру Тараску, остолбенел, напружинив хребет, словно задумавшись в нерешительности — сшибет он сейчас парнишку или промажет.

Скуластое, заметенное сединой лицо Богдана окаменело. Над стыком его крылатых бровей выступил пот. Богдан, смятенно оглянувшись вокруг, вдруг наотмашь кинул свою икону, а затем, по-звериному гибким, хищ-

ным прыжком опередив быка, ловко сгреб в охапку Тараску и бросился с ним со всех ног прочь. Обескураженный Бисмарк ринулся, бороздя литыми ногами землю, вслед за Богданом. Но Богдан ловко ускользнул от его сокрушительного удара, пропустив Бисмарка мимо себя. И бык, уже ничего не видя перед собой, сделав несколько спиральных кругов, бросился в сторону в поисках муганцевской суки.

А спустя полчаса, когда паника улеглась и верующие собрались около церковной паперти, возвращая в церковь вынесенные на молебствие иконы, отец Виссарион допрашивал в церковной сторожке Богдана:

— Ты что же, нерусский?

— Как вам сказать, батюшка? Говорят, примесь в кровях от предков имею...

— Выродок?

— А это уж, как вам угодно...

— Православный?

— Так точно. Им считаюсь...

— В господа веруешь?

— Без этого нельзя... Сочувствую.

— А знаешь ли, какой грех ты сейчас совершил?

— Никак нет. Не могу знать.

— Дерзкие слова говоришь, Богдан!

— Виноват, батюшка. Может, и грешен. Грешен, что нерукотворный образ бросил в степи. Но зато ведь я ангельскую душу младенца спас,— сказал Богдан, вызывающе взглянув на отца Виссариона.

— Не знаю, что там было с ангельской душой, а вот за то, что ты богохульно бросил в степи икону, я накладываю на тебя епитимью. Назначаю тебе на каждую вечернюю службу по триста поклонов в течение месяца. А потом поговеешь недельку, и я тебя исповедаю,— строго сказал отец Виссарион.

— Многовато, батюшка. Ить я же дите малое спас от смерти. Это тоже понять надо,— сказал Богдан.

— Это я понимаю. Не дите — быть бы тебе отлученным от церкви,— заключил отец Виссарион, выпроваживая из сторожки Богдана.

...Вечером, заряжая свою фузею, Богдан бормотал:

— Ничего, наградил меня поп. Набью я теперь шишек на лбу. А за какие грехи, спрашивается? За

кобылу? Лбом-то об пол надо бы не мне, грешному, а Буре. Ведь и весь сыр-бор загорелся из-за его распутной кобылы.

6

В знойный, овеянный суховеем полдень, когда листья на тополях жухли на горячем ветру, свертываясь от его огненного дыхания, пригнал в станицу верховой, вахмистр Дробышев, оборванного, долговязого, худого, как скелет, солдата. На площадь сбежалась почти вся станица.

Солдат, присев на упавшую изгородь станичного сада, неподвижно смотрел усталыми глазами куда-то в степную даль поверх голов столпившихся вокруг него станичных дедов, баб и ребятишек. Вахмистр Дробышев, гарцуя на своем бойком жеребчике, в сотый раз рассказывал одностаничникам, как был пойман им этот солдат верстах в двенадцати от станицы.

— Накрыл я его, воспода станишники и воспожи бабы, сонного. Ну, спешил я. Присмотрелся к нему. Вижу — дезертир! Что мне с ним делать? Хорошо, что я был при шашке. Обнажил клинок и приказал молодчику маршировать в станицу,— докладывал, ерзая в седле, вахмистр.

Кто-то, пристально приглядевшись к солдату, удивленно воскликнул:

— Батюшки-светы, да ведь это Макся!

— Какой такой тебе Макся?

— Клянусь богом, он, бушуевский работник.

— Правильно. На его смахиват.

— Так точно. Похож.

— Фактура — он,— оживленно переговаривались вокруг солдата как бы обрадовавшиеся бабёнки.

Фон-барон Пикушкин с попечителем Вашутиным принялись за обыск солдата. Грубо рванув солдата за шиворот грязной, потрепанной шинели, фон-барон с деловитой поспешностью обшарил все его карманы. А попечитель Вашутин, с трудом развязав засаленный брезентовый солдатский мешок, долго рылся в каком-то тряпье. Покончив при всеобщем молчании с обыском, фон-барон доложил прибывшему атаману Муганцеву:

— Никаких бумаг при солдате не обнаружено. По всему видно, дезертир.

— Ага. Очень приятно. Запереть его пока в каталажку. А там будет видно, что с ним делать,— искоса посмотрев на солдата, сказал Муганцев.

— Дело известное. Ему одна теперь дорога — под расстрел,— сказал фон-барон.

Толпа молчала. Молчал и солдат, близоруко оглядываясь вокруг своими слегка прищуренными, усталыми глазами. Наконец он, как бы придя в себя, расправил плечи и громко сказал:

— Казаки! Разве вы не в курсе настоящего момента? Разве вам не известно, что сейчас происходит на фронте? А я вам могу кое-что рассказать...

— Молчать, выродок! — крикнул атаман Муганцев.

— Мы те, сукину сыну, покажем курс! — прозвучал высокий бабий голос вахмистра Дробышева.

— А ты погоди, не дери глотку. Дай человеку высказаться! — прикрикнул на вахмистра Кирька Караулов.

— Это што там еще за защитник у изменников родины нашелся?! Давай выходи вперед,— повысив голос, скомандовал Муганцев.

— А ты што думал, восподин атаман, я испужаюсь? Не таков. Выйду,— сказал Кирька, пробираясь сквозь расступившуюся толпу вперед.

В толпе, пришедшей в движение, раздались выкрики:

— Правильно. Пусть человек выскажется.

— Не зажимай рта фронтовику.

— Пусть нам расскажет, как там и что происходит на фронте.

И солдат, вдруг ловко прыгнув на груду валявшихся около станичного сада бревен, крикнул в ответ:

— Тихо, тихо, казаки. Все сейчас расскажу. Всю правду, как на ладони, перед вами выложу...

Но закончить солдату не удалось. Вахмистр Дробышев, налетев на него на своем жеребчике, нанес ему удар по виску. И солдат покачнулся, не удержал равновесия и повалился, как сноп, под ноги столпившихся вокруг него ермаковцев.

— Братцы! Это за что опять бьют человека?! — прозвучал рыдающий голос Кирьки Караулова. И Кирька, ринувшись к солдату, ударом плеча сшиб с ног фон-барона Пикушкина и так ловко отбросил в сторону попечителя Вашутина, что тот, перевернувшись через голову, отлетел, как мяч, шага на четыре.

И в мгновенье ока поднялась всеобщая свалка. Запоздавшие соколинцы, вгорячах не разобравши, в чем дело — большинство из них думало, что бьют Кирьку,— ринулись с кулаками на ермаковцев. Рассвирепевший Агафон Бой-баба одним прыжком вышиб из седла вахмистра Дробышева. Кто-то сшиб с ног атамана Муганцева. Бабы, девки и ребятишки в смятении бросились врассыпную. Кирька Караулов, разбросав навалившихся на солдата четверых здоровенных бородачей Ермаковского края, успел вполголоса крикнуть солдату:

— Давай не зевай, беги!

И солдат, воспользовавшись суматохой, увильнул из-под занесенного над ним кола Корнея Вашутина, ловко перемахнул через наклонившееся прясло садовой изгороди и исчез за кустами акации.

— Ушел, ушел, варнак!

— В погоню за ним, подлецом, на вершных! В погоню! — кричал атаман Муганцев.

Станишникам было уже не до солдата. И пока ермаковцы и соколинцы, дубасившие в азарте друг друга, пришли в себя, гнаться за дезертиром было уже поздно.

Атаман приказал снарядить отряд верховых, выслал несколько разъездов в степь. Но казаки, вернувшиеся из своих рекогносцировок, доложили вечером Муганцеву, что беглого не обнаружено.

— Да и глупо было рассчитывать на его обнаружение,— сказал с раздражением пристав Касторов.— Днем он из станицы никуда не уйдет. А ночью его не укараулишь. Имеются и в нашей станице у этих предателей свои защитники.

— К сожалению, это так. Разлагаются и наши казачки,— признался со вздохом Муганцев.

— Да, господа, тревожное время настало. Не время — сплошная печаль и воздыхание,— горестно прикрыв глаза, сказал отец Виссарион.

...Между тем станичники не ошиблись, признав в беглом солдате бывшего бушуевского работника. Это был действительно он — Максим. Воспользовавшись свалкой, Максим ушел из рук станичных властей. Схоронившись в густой конопле, что росла на обширном поповском огороде, граничившем со станичным садом, Максим пролежал здесь до ночи. А как стемнело, он подался в степь. Ему здесь знакомы были все стежки-дорожки. Отмахав за ночь около двадцати верст, он

очутился под утро вблизи своего переселенческого хутора.

Прежде чем войти в хутор, Максим прилег в придорожном бурьяне отдохнуть и прикинуть, куда ему идти. Не было у него ни семьи и ни дома, ни кола ни двора. Передохнув, Максим по огородам добрался до поместья родного дяди по матери, Ипата Петровича Кокорина, единственный сын которого, двадцатичетырехлетний Игнат, служивший в одном взводе с Максимом, был убит в прошлом году в боях под Перемышлем.

А спустя несколько минут Максим уже сидел в полутемной от предрассветного сумрака хате дяди, жадно хлебал холодное молоко и рассказывал о том, как удалось ему выбраться с фронта. В это самое время в хате один за другим начали появляться люди, встретиться с которыми Максим здесь никак не рассчитывал. Это были его земляки, мобилизованные вместе с ним два года тому назад,— Андрей Шибайкин, Петро Синельников и Михей Воропаев. И если Максим был удивлен столь неожиданной встречей с фронтовиками, то они ничуть не удивились при виде его.

— А, здорово, здорово, служивый! Стало быть, и ты в бессрочный?! — приветствовал Максима, дружески потряхивая его руку, всегда веселый и улыбающийся, похожий на цыгана Андрей Шибайкин.

— А вы-то как, ребята, сюда попали? — изумленно пяля на земляков глаза, спрашивал Максим, хотя и понимал, что глупо спрашивать об этом.

И земляки, перебивая друг друга, отвечали:

— А по той же самой торной дорожке, по какой пробирался и ты.

— Маршрут у всех один — по звездам...

— И отпускные билеты у всех одинаковы — вчистую...

— Ну, орел, орел ты, Максим. Хвалю за ухватку,— сказал, продолжая улыбаться, Андрей Шибайкин.

— Ухватка, братцы, бедовая,— сказал со вздохом Максим.

— Это почему так?

— На казачков, слышь, в станице напоролся. Едва ноги унес.

— Это хуже.

— Не говори.

— А как тебя угораздило? Зачем в станицу-то пер?

— И не думал. Настиг меня сонного один станичник в степи и забарабал. Спасибо, и там парни нашлись — ухо с глазом. Смекнули, в чем дело, не дали меня в обиду. Учинили промеж собой потасовку. А один мне шепнул: уматывай, дескать. Ну, я и подался.

— Ловко.

— Ловко, да не совсем. Там меня какая-то дура по обличью признала. Вылупила глаза на меня и брякни: «Да ведь это же бушуевский работник Максим!» Вот какая неловкая планида со мной приключилась. Сообразят станичные власти, да и нагрянут, зачем не видишь, на хутор. Вот мы и сбрякали.

— Ну, это ишо посмотрим, как сбрякали. Не так-то просто нас взять,— сказал Андрей Шибайкин.

— А вы, што, братцы, с оружием? — спросил, насторожившись, Максим.

— Дело не в оружии. Есть и оно, конечно. Но нас ведь тут целая рота наберется, если не добрый батальон.

— Как так, откуда?

— А все из тех же самых мест... На соседнем хуторе Богданах шестеро таких же орлов, как мы, хоронятся. В Буераках — девять человек. В Заметном — около дюжины, да тут скрозь, куда ни повернись, кругом имеются такие выходцы с того света.

— Ну, это ишо мало значит, што много нас. Много нас, да все мы порознь. А раз порознь — не сила. Нагрянет казачий разъезд с саблями и винтовками, вот и поминай тогда, как звали,— сказал Максим.

— Легко сказать — нагрянут. Нас сначала еще надо им найти,— сказал Андрей Шибайкин.

— Не велика хитрость — накрыть нас на хуторе.

— А мы не такие дураки, чтобы на хуторе отсиживаться.

— А где же иначе? — спросил Максим.

— Есть, братуха, такое надежное укрытие у нас — ни с какой стороны не подступишься. И как там для кого, а для тебя-то, Максим, место найдется. В тесноте, да не в обиде.

— Интересуюсь, што за место?

— Место надежное. Не сумлевайся. В землю зарылись. Почище тебе фронтовой землянки.

— Вот как?! Даже и окопаться успели? — сказал с усмешкой Максим.

— А ты думал как? Али нам фронтовая наука не впрок? Не только окопались, а и хозяйством обзавелись. Живи, не тужи. Хватит, повоевали. Пора и честь знать...

— Што верно, то верно. Пора. На што казаки, и те вслед за нашей кобылкой в бега тронулись.

— Ну, казаков не скоро сомустишь. Не таковские. Они до победного конца за батюшку царя драться будут,— сказал Михей Воропаев, маленький, но крепко сбитый солдат в самотканых крестьянских штанах и фронтовой гимнастерке.

— Не все и казаки, Михей, такие ретивые. Есть и среди них неустойка.

— Все равно нам с казачней не по пути,— упрямо сбычив бритую голову, сказал Михей Воропаев.

— Нет, брат, найдутся и среди них такие, с которыми нам делить будет нечего, кроме нужды да одинаково горькой доли,— возразил Максим.

— Не знаю, братуха, меня с казачней век-повеки не примиришь. Кто моего покойного родителя шомполами в пятом году засек? Казаки. Кто над нашим братом, над новоселами, здесь изголялся? Казаки. Кто нас землей и выпасом на хуторах притесняет? Казаки,— проговорил, загораясь от гнева, Михей Воропаев.

— Заладила сорока Якова. Забубнил — казаки да казаки! А я тебе ишо раз скажу в ответ на это — не все они одинаковы.

— Не знаю.

— Ростом не вышел, вот и не знаешь,— полустрого, полушутя сказал низкорослому Михею Андрей Шибайкин, оскалив свои жемчужные зубы.— А вот подтянешься, бог даст, кое-чего и раскумекаешь...

— Ну ладно. Чужим умом жить не привык,— зло сверкнув маленькими зеленоватыми глазами, огрызнулся Михей Воропаев.

— Тихо, тихо, братцы. Спор не ко времени. Пора поторапливаться в блиндаж,— строго сказал до сего помалкивавший бородатый, угрюмый на вид солдат в опорках Петро Синельников.

— Это правильно. Собирайся, Максим. А то, чего доброго, и в самом деле, как бы нас тут казачки сдуру не накрыли,— сказал Андрей Шибайкин, тронув за плечи задумавшегося Максима.

А когда совсем рассвело, Максим со своими новыми

спутниками вылез из брички, на которой доставил их к заповедной березовой роще дядя Ипат. И приятели скрылись в лесу, отпустив старика на хутор. Пропетляв с четверть часа по неторным лесным дорожкам, с трудом пробравшись через непролазные заросли ракитника, спутники очутились наконец на небольшой, замкнутой со всех сторон вековым лесом, полянке. И Максим, оглядевшись вокруг, спросил:

— Куда же вы меня завели?

— А ты ничего не видишь? — ответил ему на вопрос вопросом Андрей Шибайкин.

— Ничего, кроме леса,— смущенно улыбаясь, ответил Максим.

— Ну тогда честь и хвала нам, фронтовым саперам! — сказал, подмигнув улыбающимся приятелям, Андрей Шибайкин.

— Кроме шуток, ничего не вижу,— говорил, озираясь вокруг, Максим.

— Значит, жаксы — хорошо, сказать тебе по-киргизски. А ты ишо нас казаками пугал. Пусть-ка попробуют отыскать казачки наш подземный дворец в этом месте,— сказал Шибайкин. И он, взяв за руку Максима, увлек его вслед за собой в куст ракитника, за которым они спустились по узенькой тропке в небольшую, заросшую высокой травой рытвину.

И только тут перед изумленным Максимом распахнулась на узенькой тропке неожиданно — как бы сама собой — заросшая пушистым ракитником дверь. Максим, согнувшись, вошел вслед за Шибайкиным в довольно просторную подземную избушку. Дневной свет, проникавший сквозь потолочное отверстие, заделанное осколками оконного стекла, скупо освещал это уютное, опрятное жилище. Внимательно оглядевшись, Максим устало опустился на нары и, прислонившись к стене, прикрыл глаза.

— Ну вот, теперь мы и дома,— проговорил он чуть слышно. И неясная, как в сновидении, смутная улыбка тронула при этом его сухие, обветренные в нелегком странствии губы.

7

Какой тихой и неприметной была красота Даши Немировой, такой же тихой и неприметной была теперь и ее жизнь. Мало было завидного в этой жизни просватан-

ной и покинутой женихом невесты. «От девок отстала и к бабам не пристала!» — говорили про Дашу на хуторе. В ее положении, и в самом деле, не совсем было ловко хороводиться с подружками по девичеству, а дружить с солдатками — совсем не к лицу. Однако, по правде сказать, и охоты-то к этому большой у Даши уже не было. Потеряв Федора, она вдруг утратила былой интерес ко всему, что когда-то увлекало, волновало и радовало ее. Прослыв в девках за первую песенницу и плясунью на хуторе, она притихла теперь, равнодушно поглядывая на девичьи хороводы, что по-прежнему водили подружки в погожую летнюю пору по праздничным вечерам.

За все эти годы нигде и никто не слышал от Даши и двух слов о Федоре. А если кто из досужих бабенок и пытался вспомнить к слову о беглом бушуевском сыне, то Даша с таким безразличием относилась к этому разговору, что люди, затеявшие его, тотчас же умолкали, так и не поняв толком — притворяется ли Даша, или ей и в самом деле не было теперь никакого дела до незадачливого своего жениха.

В хуторе поговаривали о Даше разное. Одни уверяли, что связанная помолвкой с Федором девушка, не надеясь на его возвращение, собиралась уйти в монастырь. Другие, наоборот, утверждали, что Немировы, поддерживая через степных кочевников тайные связи с беглым зятем, рассчитывают на его скорое возвращение. Третьи плели все, что взбредало в голову: сегодня — одно, завтра — другое. Но никто не ведал на хуторе сокровенных дум и чаяний Даши, да не все было ведомо о ее помыслах и в родной семье.

Старики были спокойны за судьбу Даши и не очень-то донимали ее расспросами, как там и что. Тем более время стояло смутное и тревожное — войне не видать было пока ни конца ни краю. Но немировские старики, как и весь народ, не теряли надежды, что все в конце концов образуется и вернется на Горькую линию былая мирная жизнь. Ну, а тогда не грех будет задуматься и о дальнейшей судьбе Даши.

Так вот и шли дни за днями в постоянных заботах да хлопотах по хозяйству немолодых уже годами родителей Даши. И, не приученная с детства к безделью и праздности, Даша не сидела сложа руки ни зимой, ни летом. Как оставшиеся без ушедших на фронт мужей

хуторские казачки сами ходили весной за плугом, добывая в поту трудовой кусок хлеба для своей семьи, так и Даша пахала и сеяла каждую весну на родительской пашне, заменяя сдавшего за последние годы отца.

С первых же дней ранней весны до глубокой осени пропадала Даша на пашне и не очень-то тяготилась в такую пору одинокой жизнью в степи. Наоборот, она чувствовала себя здесь спокойнее, чем на хуторе. Полная такой же умиротворяющей внутренней тишины, какая царила в этом окрестном степном мире, она, намаявшись за день за плугом, засыпала как убитая в земляном балагане, не видя ни дурных, ни хороших снов. Просыпаясь на рассвете с ощущением здоровья, силы и молодости, она бежала босиком по мокрой от росы траве умываться в озере. Шумно плескаясь холодной и звонкой водой, она беспричинно улыбалась чему-то и чувствовала неяркую красоту порозовевшего и от студеной воды, и от жаркого восхода солнца открытого своего лица.

Хуже чувствовала Даша себя, как это ни странно, дома, когда возвращалась с пашни на хутор под какой-нибудь праздник. Тут ей не спалось по ночам. И какая-то непонятная тревога охватывала ее, когда она оставалась одна в своей горнице. Она не находила здесь себе места, и всякое дело валилось у нее из рук — не штопалось, не вышивалось, не вязалось. А в глухую полночь вскакивала она иной раз с постели и босиком, в одной мадаполамовой сорочке, отороченной по вороту дешевенькими кружевами, садилась у настежь распахнутого в палисадник окна, против которого не раз сиживали они, одни во всем мире, с Федором.

Свежи и призрачны бывают летние ночи на Горькой линии. Почему-то всегда пахнет в такую пору гарью степей и сухим конским пометом. Вокруг — мертвая тишина. Чуть внятно лепечут в ночи, как сквозь сон, трепетные листья серебристого тополя. Золотой, похожий на дутую казахскую серьгу, месяц висит над хутором. Тишина. Скрипнут где-то ворота калитки, коротко крикнет ночная птица. Прозвенит, замирая вдали, колокольчик, мягко и нежно рассыплется ласковый девичий смех. И снова так становится тихо, что можно, кажется, даже расслышать, как растет трава...

В такие ночи нередко просиживала Даша в полном одиночестве у окна с вечера до рассвета. Дрожа от пред-

утренней прохлады, от непривычного напряжения нервов, зрения и слуха, чутко прислушивалась она к каждому шороху и звуку и ждала — не уловит ли ухом далекий дробный и частый копытный стук иноходца или шорох легкой походки, знакомых, поспешных, запомнившихся навеки шагов...

Но тихо было в ночи. И только изредка слышались чужие шорохи и звуки, чужой конский топот, чужие шаги. Чужой возникал где-то за углом робкий шепот. Чужие горячие, вкрадчивые речи и вздохи доносились до Даши из лунной полумглы. Чужое счастье проходило мимо нее в эти ночи, как проходят стороной над желтой от зноя степью косые дожди...

Иногда она вздувала огонь и разбрасывала у себя на коленях старые карты. Падала дама пик — злодейство. Поздний разговор с бубновым королем. Коварство какого-то трефового валета. Рядом с девяткой пик — семерка: к слезам. Затем неприятное свидание в казенном доме с червями. Очень неприятное это соседство — пиковая восьмерка с королем червей! Нет, не было пути к ее сердцу и к дому для Федора. Это, впрочем, давным-давно было ясно Даше и без трефового валета, и без позднего разговора с бубновым королем...

Одна отрада была теперь у Даши — Настя Бушуева. Подружившись после своей помолвки с Федором с его сестрой — тоже такой же невестой на выданье,— Даша души не чаяла в новой своей подружке. Случилось так, что судьба обеих девушек была примерно одинаковой. Настя, как и Даша, готовилась стать к покрову под венец с Сашкой Ханаевым. Но война и мобилизация спутали карты. И Настя, проводив своего суженого на фронт, осталась тоже на положении покинутой невесты. Все это сближало девушек, хоть по характеру и не совсем похожи они были друг на друга. Но разница в характерах — как это часто бывает в жизни — как раз и влекла их друг к другу.

Даша стала бывать по годовым праздникам в доме Бушуевых, загащиваясь иногда у них по неделе. По сердцу пришлась она и бушуевским старикам своим общительным нравом, учтивостью и повадками. Егор Павлович и Агафьевна принимали Дашу как невестку и всячески поддерживали в ней веру в возвращение Федора.

В отличие от Даши, Настя не очень-то унывала в разлуке со своим женихом. Нельзя было сказать, что она не

любила Сашку. Но любовь ее к нему была совсем не такой, как у Даши к Федору. Даша не любила говорить о своей душевной неурядице даже с Настей и свою глухую тоску по Федору ревниво таила в себе. Настя, наоборот, не умела ничего скрывать от своей подруги — ни дурного, ни хорошего настроения, которое, кстати сказать, менялось у нее ежечасно. Но, несмотря на все это, девушки привязались друг к другу.

Между тем видеться им удавалось редко, особенно в летнюю пору. Как и Даша, Настя тоже пропадала теперь с весны до осени в поле. Старик, растеряв последних своих сынов, не хотел допускать до развала пошатнувшееся за последние годы свое хозяйство и всеми правдами и неправдами тянулся за одностаничниками Ермаковского края, засевая каждую весну по десяти десятин яровой пшеницы. Прихватить на летнюю пору работника Егор Павлович не решался, надеясь как-нибудь выехать с грехом пополам на плечах снохи, возмужавшей дочери и подросшего старшего внучка. И старик в расчетах своих не ошибся — управлялся с пашней своей семьей, как там ни ворчала сноха и ни брыкалась дочка. Нелегко было им, конечно, целое лето в степи. Старик это понимал — не бабье дело за плугом ходить! Но деться было некуда, приходилось мириться.

Не до праздной девичьей жизни было в летнюю пору обеим подружкам, и вся надежда у них была на зимние праздники, на святки, когда на целые две недели заваливалась Даша в станицу. Золотая это была пора для девушек — святки! Яркие, как день, морозные лунные вечера. Гадания на кольцах, на картах и зеркалах. Озорные песни, пляски ряженых. Хохот бубенчиков в метельной ночи на чьей-то залетной тройке... Очутившись в такую пору в доме Бушуевых, Даша не узнавала сама себя. Рядом со своей сверстницей, шумной, беспокойной и озорной подружкой, чувствовала и она себя такой же беззаботной, озорной и счастливой, какой была в юности. Вдоволь надурачившись и нахохотавшись за день, они проводили длинные зимние вечера в гаданьях о суженых, а ночи — в бесконечных разговорах все об одном, все о том же — о своих женихах.

— Никуда они от нас не денутся — ни твой и ни мой. Оба будут наши,— убежденно твердила Настя.

— Твой что. Войне конец — и вы под венец. А вот

насчет моего — бабушка надвое сказала...— говорила со вздохом Даша.

— Ну нет, Дашенька. Про Федю никакая бабушка надвое не скажет. Уж я-то его знаю. Твой он до гробовой доски. А вот на моего вертопраха надежда худая.

— Здравствуйте, я вас не узнала!— насмешливо откликалась Даша, поражаясь непостоянству своей подружки.— То никуда не денется — мой. А то вдруг — надежда худая. Прямо семь пятниц на дню у тебя, Наська.

— Нарвись-ка бы ты на такого варнака, как мой, у тебя бы их было все десять.

— С ума ты сошла, клеветать на парня такое?! Ведь он без ума от тебя. Сама же ты говорила.

— Мало ли што я говорю в горячах...

— Все-таки надо же знать и меру.

— Не учи. Знаю. Нынче он, подлец, от меня без ума, а завтра от другой без памяти...

— Откуда ты это взяла? Письма-то эвон какие чуть не каждый день от него получаешь — зачитаешься!

— Мало ли што можно в письмах-то наплести! Он и словесно, бывало, меня заговаривал — голова кружилась.

— Стало быть, любит, вот и заговаривал.

— Может, и так. Отрицать не стану,— неожиданно соглашалась Настя.

— А вот я от Феди и весточки не дождусь,— с горьким вздохом шептала, лежа рядом с подружкой, Даша.

— Придет время — дождешься,— уверяла Настя.

— Два года жду...

— Это правда. Ты терпеливая. На мой характер — ни в жизнь бы не выдержала.

— А што бы ты сделала?

— Плюнула бы и ногой растерла...

— Как тебе не стыдно.

— А што? Попробуй-ка мне Сашка не написать за месяц ни одного письма — только он меня тогда и видел!

— Опять двадцать пять. Ты ведь только што тараторила, што не в письмах дело.

— И сейчас говорю — не в письмах. А посмей-ка он перестать мне писать — поминай тогда, как меня звали.

— Што бы ты сделала?

— Што? Взамуж бы вышла.

— Это за кого же?

— А кто подвернется...
— Страм слушать, што ты говоришь.
— Не любо — не слушай.
— Да ты не сделаешь так никогда. Болтаешь только бог знает што. А коснись дела — вроде меня притихнешь.
— Ну, извиняй. Худо ты меня, Дашенька, знаешь.
— Может быть...
— Я непокорная.
— Это другой разговор.
— Отчего же другой? Тот самый.
— Не говори, ты его любишь.
— Не знаю.
— Зачем же тогда под венец собиралась?
— Речей колдовских наслушалась. Не только под венец — в огонь и в воду тогда бы за ним пошла.
— А теперь?
— Теперь бы подумала.
— Переболело?
— Вроде этого. Цену себе узнала.
— Это кто же тебе ее набил?
— Нашлись такие...
— Не знаю, зачем они тебе.
— На всякий случай... И тебе бы обзавестись не мешало. Хочешь — найду?
— Нет уж, спасибо, Настенька. С меня одного хватит.
— Вот и зря. Они там без нас небось не зевают.
— Ты хоть бы брата-то тут не пристегивала...
— А чем мой брат лучше Сашки? Все они одинаковы,— заключала Настя, и нельзя было понять — в шутку она говорила все это или серьезно.

Несмотря на все эти, часто крайне противоречивые и не совсем приятные для Даши рассуждения Насти, Даша любила подружку и невольно тянулась к ней, с удовольствием болтая и иногда даже незлобно переругиваясь с ней в минуту откровенного разговора о дорогих и близких их сердцу людях, разлуку с которыми переживали, видать, обе они нелегко, хотя Настя и не признавалась в этом.

В канун троицы — в день годовщины помолвки Даши с Федором — Даша, вернувшись с пашни на хутор, решила пойти утром в станицу, чтобы провести эти памятные для нее праздники в гостеприимном бушуевском доме вместе с Настей. Вытопив баню, перемыв все полы и на-

ведя в доме порядок, Даша, посвежевшая и похорошевшая после легкого банного пара, долго сидела в этот вечер перед потускневшим от времени зеркалом в старомодной оправе. Строгое, смуглое от степного загара лицо смотрело на Дашу из зеркальной полумглы, неярко озаренной трепетным пламенем лампы. Она не узнала своих больших и печальных глаз, неподвижно и испытующе смотревших на нее в упор. И только мимолетная и неясная, как намек, улыбка убедила Дашу, что это было действительно ее, а не чужое, незнакомое ей лицо. Присмотревшись к своему отражению в зеркале и не переставая думать в эти минуты о Федоре, решила Даша принарядиться сейчас в то самое кубовое платье с оборками и черной кружевной пелериной, в котором два года тому назад встретила она Федора вот в этой самой горнице, будучи просватанной за него невестой.

Нарядившись в любимое платье, Даша вновь присмотрелась к своему отражению в зеркале и ощутила при этом такое тревожное волнение, какое испытывала она когда-то в ожидании запоздалого появления Федора. Даша присела у распахнутых настежь створок и притихла, прислушиваясь к ночной тишине. Вдруг откуда-то издалека донесся глухой дробный стук конских копыт, и у Даши замерло сердце. Охваченная необъяснимым внутренним трепетом, сидела она у окна, затаив дыхание, жадно прислушиваясь к нарастающему конскому топоту. Как все было похоже сейчас на те далекие вешние вечера, когда совершал свои верховые набеги на хутор Федор, и Даша, готовая к воровским свиданиям, вот так же сидела, внутренне холодея, ни жива ни мертва, у этого вот окна. Такой же литой из чистого золота месяц стоял высоко над хутором. Так же чуть слышно шелестела листва на тополе. Так же неярко поблескивал под месяцем позолотой крест хуторской колокольни. И с такой же тревогой и болью отзывалось девичье сердце на глухой стук конских копыт. Даше даже страшно было сию минуту вспоминать и думать об этом. Но конский топот все приближался, и Даша, вдруг ясно увидев вырвавшегося из-за угла всадника, на мгновение закрыла глаза.

Осадив коня у калитки немировского дома и лихо спешившись, всадник быстро вбежал на крылечко и негромко, но требовательно постучал в дверь. Не помня себя от волнения, Даша выскочила из горницы, нащупывая в потемках крючок, громко спросила:

— Кто?

— Открывай, открывай поживее. Принимай гостей,— прозвучал за дверью девичий голос, и Даша узнала Настю.

— Боже мой, как ты меня напугала...— сказала упавшим голосом Даша.

— Здрасте. Чем это?— удивленно и весело проговорила Настя, входя в горницу.

— Сама не знаю. Услышала конский топот, и будто во мне оборвалось что-то...

— Правильно сердце твое вещует,— многозначительно улыбаясь, сказала Настя совсем непонятные в эту минуту для Даши слова. И, бегло окинув удивленным взглядом растерянно улыбающуюся подружку, Настя спросила:— С чего это ты такая нарядная седни?

— Сама не знаю...— смущенно ответила Даша, чувствуя себя неловко в нарядном платье перед буднично одетой, запыленной подругой.

— Вот и хорошо, что вырядилась. Тебе кубовый цвет к лицу,— сказала Настя, строго оглядывая с ног до головы Дашу.

— Да ты садись. Я сейчас разденусь. Самовар у нас ишо горячий...— засуетилась Даша и в самом деле начала торопливо расстегивать платье.

Но Настя остановила ее:

— Не снимай, не надо.

— Ну, нет. Дай разденусь. Не именинница.

— Она самая и есть,— сказала, загадочно улыбаясь, Настя.

— Это как так?

— Очень просто. Мало лучшее платье надеть. А еще и сплясать придется.

— Ишо новости. С каких это радостей?

— Если я говорю — пляши, стало быть, стоит.

— Ты все што-нибудь выдумаешь...

— Значит, не будешь? Ну и ладно. Я не гордая. Подожду,— сказала с притворным спокойствием Настя, усаживаясь на стул.

Между тем Даша, похолодев от догадки, едва сдержалась от желания спросить Настю, уж не прискакала ли она к ней на ночь глядя с какой-нибудь доброй вестью от Федора. Но это было так дорого для нее и так невероятно, что она не посмела заикнуться об этом. Однако Настя, почувствовав явное волнение подруги, вдруг бросилась к

ней с раскинутыми руками и, крепко обняв ее за плечи, еще крепче поцеловала в губы, в щеки, в виски, а затем, отпрянув от нее, извлекла в мгновенье ока из-за выреза будничной ситцевой кофточки сложенный вдвое измятый конверт и, протянув его Даше, сказала:

— Дождалась-таки. Получай, дура...

И Даша, вырвав конверт из рук подруги, уже не расспрашивая больше ее ни о чем, зажгла дрожащими руками лампу и тотчас же погрузилась в чтение письма. Читала она его быстро, не вдумываясь в смысл прочитанного, не понимая, что к чему. Да это, в сущности, для нее сию минуту и не имело никакого значения. Важно было одно: что письмо это было от Федора, что он, стало быть, жив, что он не забыл о ней.

А Федор писал:

«Здравствуй, здравствуй, моя любезная Дашенька. Добрый день и веселый час. Посылаю тебе я во первых строках этого письма мой душевный поклон и сердечное мое пожелание успеха в делах золотых рук ваших. А еще сообщаю, что я, по милости бога, нахожусь в полном здоровье и равном благополучии, чего и тебе желаю, Дашенька. Вот уже минуло целых два года, как судьба разлучила нас. Много воды утекло с той поры. Много дорог было мною исхожено. Много людей перевидел я и кое-чему научился. И про многое можно было навеки забыть на чужой неласковой стороне. Одного только не мог я забыть нигде и никогда — тебя, любезная сердцу моему подруженька. Только и в мыслях что ты одна, и твоя приятная красота, и твои белые руки. Если бог приведет и мы увидимся снова, поклянусь я тебе, что никакая сила не разлучит тогда нас и не устрашит меня никакая злая судьба, коли будешь ты неразлучно со мной, моя нареченная в жизни подруга. Как я живу — об этом не опишешь пером. А порассказать будет што при нашем, надеюсь, скором свиданье. Одно скажу по секрету. Выручил меня из беды, да и верных моих товарищей, незабвенный один мой друг. В письменном виде фамилии его назвать не могу — сама небось там догадаешься. Завел он нас в надежное место и виды на жительство выправил через своих друзей-товарищей по всей форме — не подкопаешься. И на хорошее место определил. И уму-разуму набраться всем нам помог за эти годы. Словом, живется не так уж худо. Одна беда — не нахожу себе места я здесь, на чужой стороне, без тебя, любезная моя

Дашенька, и ни средь белого дня, ни в глухую матушку-ночь не перестаю я думать и гадать о тебе. Только сниться ты стала мне почему-то реже, чем прежде. Но и это, говорят добрые люди, к добру, а не к худу. Реже видишь во сне — скорей свидишься наяву. Это — верная примета. А еще по секрету тебе напишу, что не так уж долго осталось жить нам с тобой в тоске и разлуке. Может, скоро спешусь я с своего боевого коня темной ночью у вашего дома и постучусь, как бывало, в твое окошко. Далеко мы теперь друг от друга, родная моя казачка, да все степные пути-дороги ведут с чужбины к тебе, и не объехать мне в жизни, не обойти дорогого мне хутора и заветного твоего крылечка. Поклонись от меня до сырой земли своим батюшке с матушкой и той самой мельнице, у которой прощались мы с тобой перед долгой нашей разлукой в лихое лето.

Остаюсь со своими горькими мыслями о тебе, любезная моя. Известный тебе друг до могилы

Федор Бушуев».

Даша трижды перечитала письмо, и слова его прозвучали в ее ушах, как музыка, которую не понимаешь, а лишь чувствуешь. И она, так и не вдумавшись в смысл написанного, почти физически ощутила через эти строки близость живого, бесконечно дорогого ей Федора с его порывистым дыханием, когда он прикасался к ее вискам своими губами, с его сильными, требовательными руками, когда он обнимал ее в темноте...

Пока Даша перечитывала письмо, Настя сидела, присмирев, в сторонке, ничем не выдавая своего присутствия. Она понимала, что творилось сейчас на душе у подруги, и не хотела докучать ей никакими вопросами. Да и расспрашивать было не о чем — все было ясно. Может быть, впервые за эти два года — если не за всю жизнь — была сейчас по-настоящему счастлива девушка, державшая в своих тонких и трепетных руках это дорогое для нее письмо, о котором она и мечтать-то даже за последнее время боялась из суеверного страха не получить его в таком случае никогда.

Ничего не сказала Настя подруге даже и тогда, когда Даша, перечитав письмо трижды, уронила на руки светловолосую голову и впервые за долгие два года разлуки с Федором дала полную волю своим беззвучным, жарким

слезам. Плакала Даша долго, безутешно и тихо. А Настя, стоя с ней рядом, молча гладила ее по голове, как ребенка, задумчиво глядя на шафранное пламя лампы.

8

Казачий круг пяти линейных станиц, собравшийся в средине лета 1916 года, утвердил Егора Павловича Бушуева и Луку Иванова депутатами для поездки в Петроград с петицией, адресованной на имя Николая II. Но выезд депутатов задержался. Немалых трудов стоило станичным атаманам собрать по открытым подписным листам необходимые средства, предназначенные на расходы, связанные с далеким путешествием двух казаков, принявших на свои плечи, согласно воле казачьего круга, столь нелегкое бремя.

С одной стороны, отъезд депутатов задерживало отсутствие средств, с другой — неотложные дела по хозяйству. Надо было помочь семьям управиться с уборкой незавидного в этот год урожая, с приведением в порядок полуразвалившихся за эти годы дворов, с заготовкой запасов на зиму сена и топлива. Егор Павлович не очень-то досадовал на затянувшийся срок отъезда и втайне был очень доволен, что только к декабрю, когда уже установился прочный санный путь, им с Лукой было объявлено в станичном правлении, что необходимые средства для их поездки собраны, а все надлежащие документы выправлены, и они могут, благословясь, отправляться в дорогу.

Совсем стало пусто, буднично, тихо в доме Бушуевых после отъезда Егора Павловича. Только и радости теперь было у старой Агафьевны что оставшиеся ей на поглядку подросшие внуки — Тараска и Силка. Оба они были теперь уже школьниками. Тараска перешел с похвальной грамотой в третий класс церковноприходского училища, а Силка сел нынешней зимой в первое отделение. Он уже бойко читал теперь по вечерам букварь, умиляя и удивляя бабку. А Тараска, загрустив без деда, решил, вдоволь наревевшись после проводов Егора Павловича в Петроград, писать собственный дневник. И вечерами, проводив непоседу Настю на посиделки, а Варвару к соседям, где она пряла с солдатками шерсть или вязала чулки, Агафьевна оставалась с внучатами.

И бушуевские внучата, и сама Агафьевна любили эти тихие зимние вечера. В чистой, жарко натопленной горнице, освещенной лампой, было покойно и уютно. Где-то в кухне под печкой дремотно и мирно сверлил тишину сверчок. За окошком шумела ранняя зимняя вьюга. Тонко и жалобно завывал ветер в печной трубе.

Силка, примостившись рядом с бабушкой на сундуке, рассказывал ей наизусть стихотворение про козу. Бабка, тихо позванивая стальными спицами, продолжала свою обычную вечернюю работу — вязала чулок и слушала внука со строгим, почти сердитым выражением лица. Слушая меньшего внука, бабка поглядывала и на Тараску, занятого в это время сочинением своего дневника. Облокотясь на стол, поминутно перекидывая свою вихрастую голову с одного плеча на другое, Тараска писал в тетрадке неуверенным, шатким почерком, с особенным старанием выводя заглавные буквы:

«Мой дневник 1916 года. С чего начинать, не знаю. Дед наш уехал. У нас очень скучно. Праздник покров прошел. Снег выпал. Почерк у меня хороший. Учительница Раиса Михайловна поставила мне тройку. Никак не могу выучить сколько будет семь у семь. $7 \times 7 = 49$. Видел во сне собаку. Мохнатая. Белая. Подает лапу. Хорошо, кабы это было взаправду! Я собак люблю и деда нашего тоже. Дед поехал в город Петроград в гости к царю. Царь, царь — сирота! Открывай нам ворота ключиком-замочком, шелковым платочком! Кобыла наша ожеребилась. Жеребенок — не поймешь какой масти. То ли — гнедой, то ли — чалый. Хорошо, кабы чалый. С ремнем на спине. Дед говорил — чалый конь к счастью. Силка — чудак. Он совсем позабыл, што у нас был батя. Скоро будет ярманка. У меня есть пятак. Куплю Силке пряник. А я лучше прокачусь на карусели. Эх, скорее бы приехал дед и привез бы мне тетрадки в косую линейку. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Дров мы с дедом навозили, топи — не хочу. Раиса Михайловна говорит, что в дневник надо записывать всякую погоду. Записываю. Погода хорошая. Буран. Метель. В горнице у нас тепло. Шарику тоже не холодно. Я запустил его ночевать в сени. Ну, пока все. Забыл только про письмо дяди Феди запись произвести. Чернила очень красивые, а почерк мелкий. Вот бы мне научиться писать таким почерком!

Силка опять уснул на коленях у бабки. Бабка на той же точке. Спит и чулок вяжет. Я спать не хочу. Завтра, живой буду, напишу побольше. $7 \times 7 = 49$».

Отправив своих депутатов в далекий Петроград, станичники, как и прежде, проводили эти длинные зимние вечера в своем излюбленном месте — станичной казарме. Примостившись на лавках, у печки, вокруг длинного, залитого чернилами писарского стола, старики, забываясь в полудремоте, слушали сквозь сон монотонный голос золотушного писаря Саньки Скалкина, перечитывавшего вслух газетные сводки и сообщения военных корреспондентов о положении в действующей армии. Слушали писаря терпеливо и равнодушно. Газетам они не верили: «Когда же в газетах правду писали?» Не верили, но все-таки слушали. Стариков занимало не столько то, о чем писалось в газетах, сколько — как писалось! Уж больно бойко, лихо и складно умели описывать дошлые люди победоносные битвы с неприятелем!

Когда умолкал писарь, заводили разговор бодрствующие старики. Разговор этот возникал зачастую вне всякой связи с тем, о чем писалось в газете.

Агафон Бой-баба жаловался:

— Рановато нынче зима бабахнула, воспода станишники. Я даже дворишко закрыть не успел.

— А когда ты успевал-то? У тебя ить сроду двор-то небом крыт, белым светом горожен,— ввертывал фон-барон Пикушкин.

— Одно слово — соколинец. Не хозяйское нутро,— басил из угла школьный попечитель Корней Вашутин.

— Дело не в нутре, воспода старички, а в нехватках,— огрызался, вступаясь за Агафона, Кирька Караулов.

— Вот и именно. Хорошо вам, ермаковцам, нашего брата корить, когда вы чужими руками огонь загребаете.

— А ить это тоже надо уметь — загребать жар чужими руками!— нагловато ухмыляясь, говорил фон-барон.

— Спору нет — надо уметь. Да не все, брат, такие умельщики. Не все такие натрыжные...

А у притулившихся около печки георгиевских кавалеров был свой разговор. Передремнув, деды запаливали свои самодельные трубки и, пока курили, поддерживали друг друга мирной беседой.

— Слыхал, сослуживец, как супостаты песни поют?— спрашивал деда Арефия дед Конотоп.

— Ась? Это ты про пленных-то? Про ерманцев?

— Про них. Про чехов, стало быть...

— Как же, как же, слышал. Привелось. Как-то летось вышел я в крепость, а они, супостаты-то, колодец там рыли. Дело было к вечеру. Присел я отдохнуть на редут. Смотрю — у них перекур. Сели они в кружок, задымили своими сигарками да как завозгудают не нашими голосами.

— Иноземная песня — не нашей чета. И слова не те. И мотив какой-то тощий, сумный...

— Свысока поют.

— Правильно. У их ить у всех голоса-то бабьи — на тонкой ноте.

— А кака душа, така и песня. Откуда им басовитым-то быть?! Тонкая нация.

— Правильно. Не наш брат. Это ить мы рявкнем — лампы погаснут.

— Што там говорить, сослуживец. Особливо казаки. Скрозь луженые глотки. Мы ить при покорении Хивинского царства одними песнями басурманов в дрожь вгоняли...

— Знам. Было дело. Певали...

— А бывалы-то люди сказывают, сослуживец, што в городе Санкт-Петербурге есть такой запевала из нашего брата, што как рявкнет — стекла в дворцовых окошках лопаются.

— Это я тоже слышал. Фамилий ему — Шаляпин Федор Иваныч. Русский мужик. Грузчик. Отпетая душа.

— А я слышал, будто он из казаков. С Горькой линии.

— Вполне возможно и это. Скорее всего, так, сослуживец. Не иначе в лейб-гвардии служил.

— Так говорят. Гвардеец. Сотенным запевалой числился. А теперь ему за одну песню графья и графини по миллиону платят.

— Дива мало. За душевную песню не только миллион, а жизнь отдашь.

— Ишо бы. Песня — она ить хмельнее вина... Я вот про многие походы забыл и енералов теперь уж не всех припомню. А какие песни, бывало, певали в строю да на биваках — все скрозь наизусть зазубрил. Хоть и голос-то у меня уж не тот — выноса прежнего нету. А мотив лю-

бой воинской песни и по сей день звенит в ушах. И как вспомнишь — сердце замрет, голова кружится...

И кавалеры, объятые воспоминаниями о былых походах и песнях, умолкали, полусмежив усталые, старчески тусклые глаза, и вновь погружались в сладкую дремоту, согревая свои старые кости у жарко натопленной печки.

Замолкали мало-помалу разговоры в казарме. Дремали пересидевшие за полночь станичники. И только немногие из тех, кого не сгибала еще в три погибели старость и в ком жила еще, как в молодости, озорная душа, собравшись в кружок возле известного в станице острослова и побасенщика Спирьки Саргаулова, слушали его очередной рассказ — полковую побывальщину.

...В один из таких вечеров, когда спасались станичники в казарме от скуки дома и от вьюги на улице, явился в станичное правление подвыпивший Архип Кречетов и подал писарю Скалкину какую-то замызганную бумажку, извлеченную из-за пазухи. Золотушный писарь, надев очки и придвинув к самому носу лампу, раза два пробежал бумажку глазами, а затем, удивленно посмотрев на Архипа, спросил:

— Ну, а что дальше, Кречетов?

— Не могу знать, восподин писарь,— растерянно и жалко улыбаясь, заговорил Архип Кречетов.

— Как, не могу знать? Зачем ты принес мне эту бумажку?

— А чтобы вы прочитали словесно.

— Зачем же мне ее читать? Нам известно, что третий твой младший сын, казак седьмого Сибирского полка, погиб смертью храбрых в боях под городом Ардаганом. Знаешь об этом и ты. Так в чем же дело?

Помолчав, недоуменно оглядевшись вокруг на притихших одностаничников, Архип сказал:

— Гумагу мне эту прочитать дома было некому, сам я, как вам известно, восподин писарь, неграмотный. Вот и хотел, чтобы вы словесно мне огласили.

— Да чего же тут оглашать-то? Бумажка бумажкой. Тебе не впервые ее получать. И про тех двух твоих сыновей то же самое было написано. Сообщаю, дескать, вам, господин казак, что сын ваш такой-то погиб в боях смертью храбрых и так далее...

— Стало быть, все так же, как и про Митю с Васей было отписано? Все, стало быть, по форме?

— Так точно. Все по форме, Кречетов.

— Ага. Ну, благодарствую вас на этом,— сказал Архип таким тоном, словно и в самом деле его успокоило, что извещение о гибели сына написано строго по форме и что будто бы только это и волновало сейчас старика.

— Не понимаю, что ты чудишь. И благодарить меня вовсе не за что,— сказал с раздражением писарь, сунув измятую бумажонку в руки Архипа Кречетова.

— Да ить он же в хмелю. Вот и городит, не знаю што,— сказал, кивая на Архипа, фон-барон Пикушкин.

— Ты бы вот лучше пил поменьше, господин Кречетов,— строго сказал, осуждающе глядя на Архипа, до сего отмалчивавшийся станичный атаман Муганцев.

— Это так точно, восподин атаман. Выпивать-то, действительно, надо бы мне поменьше,— сказал с трезвой искренностью Архип Кречетов.

— Вот и именно. А почему же ты все-таки пьешь?— спросил тем же строгим тоном Муганцев.

—Не могу знать, восподин атаман. Душа, стало быть, не на месте...

— Ну, это не оправданье. Ведь ты присягу давал, что бросишь пить. И не один раз.

— Так точно — не единожды. И не я один. При наказном атамане, их высокопревосходительстве, мы таку присягу всем миром давали.

— А ты на мир не ссылайся. Тебе мир не ровня. У тебя вот три сына погибли на фронте. А дома — еще семеро по лавкам. Кто их поить и кормить за тебя станет?

— Не могу знать, восподин атаман.

— Хорошее дело — не могу знать. Да ты што, не казак?

— Им считаюсь...

— Вот именно, только считаешься. Разве истинные казаки так себя ведут в такую годину? Вместо того чтобы собраться с духом, ты пьянствуешь. Совестно, совестно, Кречетов,— начал стыдить на миру Архипа станичный атаман.

И Архип, притихнув и протрезвев, отошел от стола и присел в задний угол, где было не слышно его и не видно.

Между тем Муганцев решил приступить к делу, ради которого он явился на этот станичный сход. Поднявшись из-за стола и взяв в правую руку свою булаву с серебряным набалдашником — это значило, что атаман будет

говорить сейчас со станичниками не обыденным, а официальным языком, Муганцев сказал:

— Господа старики, объявляю вам, что в станице получена бумага из войсковой управы о том, что вверенная мне станица обязуется в двухнедельный срок доставить на войско сто пятнадцать комплектов обмундирования и пятьдесят три строевых коня. Понятно, что все означенное обмундирование, а также и строевые кони должны быть закуплены за наличные деньги путем равномерного распределения необходимой для этой цели суммы по всем дворам.

Муганцев умолк. Он испытующе присмотрелся своими бесцветными глазами к безмолвствующим станичникам и трижды негромко стукнул зачем-то об пол своей булавой.

Всеобщее молчание длилось долго. Наконец кто-то из дальнего, плохо освещенного угла, где, как правило, сидели соколинцы, довольно громко сказал:

— Ничего себе — контрибуция!

И сию же секунду в казарме зазвучало сразу несколько голосов:

— Легко сказать — сто пятнадцать комплектов амуниции и пятьдесят три строевика!

— Ловко девки пляшут. Не успели наши послы до города Петрограда добраться, а тут нова награда нам выпала.

Скотопромышленник Боярский, выйдя на середину казармы, проговорил своим ласковым тенорком:

— О чем разговор, братцы? Да ведь это же плевое дело — каких-нибудь семь целковых на двор.

— Для кого как!

— Кому, действительно, плюнуть да ногой растереть. А кому и последней коровешки лишиться.

— А если и коровешки нет?

— Тогда — петлю на шею.

— Фактура —петлю.

— Дожились, воспода станишники. Довоевались.

Кирька Караулов, выпрямившись во весь свой гигантский рост, вдруг крикнул:

— А где наши сухари, воспода станишники? Пусть нам сейчас же станишный атаман докажет.

— В чем дело? Какие опять сухари?— удивленно воскликнул Муганцев, и в самом деле не понимая, при чем здесь сухари.

— Вот — видали, воспода станишники?! Он уж и про сухари забыл!— закричал злорадно и торжествующе Кирька.— Поняли? Целое божье лето по всей Горькой линии сухари для русского воинства сушили. А куды они делись? Если атаман не жалат ответить, отвечу я.

— Отвечай, отвечай, Киря!

— Режь правду в глаза, восподин станишник.

— Каку язву им в рот-то смотреть!— посыпались на Кирьку подбадривающие выкрики соколинцев.

— А я отвечу. Не сробею!— запальчиво выкрикивал Кирька.— Сухари наши трудовые были пропиты интендантскими крысами.

— Молчать!— крикнул на Кирьку Муганцев, грохнув об пол пудовой своей булавой.

— Нет, извиняй, восподин атаман. Я молчать не буду. Меня не остановишь, пока я весь сам собой не выскажусь... Итак, иду дальше... Стало быть, про сухари. Ну, собрали мы пять тыщ пудов сухарей с нашей Горькой линии. Доставили их на войсковые склады в город Омск. Хорошо. А дальше что? А дальше — сухари вместо русского воинства к екатеринбургским купцам за полцены от казнокрадов попали. Понятно, воспода станишники, кака тут Куендинская ярманка выходит?

— Как божий день — все ясно!— крикнул точно выпорхнувший на крыльях из угла на середину казармы Архип Кречетов.

Маленький, юркий Архип стремительно прошелся, как заводной волчок, по казарме и, остановившись рядом с долговязым Кирькой, сказал, глядя в упор на судорожно подрагивающее лицо станичного атамана:

— Правильно. Все ясно, как божий день. Сынов наших — под убой. Живность — казнокрадам. Нашего брата — по миру. Вот, туды ее мать, до чего мы дожились, воспода станишники, до чего достpадовались!

При этих словах Архипа Муганцев, весь напружинившись, точно проглотив аршин, выпрямился и крикнул высоким, сорвавшимся голосом:

— Что?! Что ты, подлец, сказал?! Это с каких пор дозволено при портрете их императорского величества в присутственном месте по матушке выражаться?

В казарме стало снова тихо.

Старики поняли, что на этот раз Архип, кажется, перехватил. Никто еще не отваживался до сих пор пушить на чем свет стоит законную власть в этом присутствен-

ном месте. Не растерялся только один Кирька Караулов. Увидев, что припугнутый станичным атаманом Архип пал духом, Кирька, встав в непринужденную позу, сказал:

— А што тут такова, что человек по матушке запустил? Мало ли што вгорячах бывает. И патрет государь императора тут ни при чем. Он от наших матерков со стены не бацкнется. Ить не самого же царя мы пушим, воспода станишники. Понимать надо.

— Еще не хватало, чтобы вы и самого государя таким словом здесь помянули! — заметил скотопромышленник Боярский.

— Дай варнакам волю, они и до их величества доберутся,— сказал фон-барон Пикушкин.

— Так точно,— подтвердил попечитель Вашутин.

Муганцев властно скомандовал:

— Кречетов, вперед!

Архип, испуганно поглядев на невозмутимого Кирьку, сделал два нерешительных шага вперед, вытянулся, как в строю, перед атаманом.

— Ты на действительной службе был? — спросил Муганцев Архипа.

— Так точно, восподин атаман. Приходилось...

— А чему там тебя учили?

— Всего не упомнишь...

— Ты пьян, Кречетов?

— Никак нет. Вполне трезвый.

— Выходит, что при портрете их императорского величества стрезва выражаться изволил?

— Выходит — так.

— Ага. Тем хуже для тебя, Кречетов.

Помолчав, Муганцев сказал, обращаясь в сторону ермаковцев:

— На ваше усмотрение, господа станичники. Но я полагаю, что терпеть в крепости казака, публично осквернившего царскую фамилию,— позор.

И ермаковцы наперебой загалдели:

— Ишо бы не позор. Пятно на всю станицу.

— Таких варнаков не только в крепости — на Горькой линии терпеть тошно.

— На миру государь императора лает, а позаочь — богохульствует. У его и взгляд-то, воспода станишники, варначий.

— А какому взгляду быть иначе, ежли он с кыргы-

зами век-повеки путатся. Кыргызня да чалдоны у него ить первые тамыры.

— Нет, братцы, нам такие казачки не ко двору...

— Донести на него рапортом наказному.

— Фактически — рапортом.

— Семейство его на выселки, самого — в острог.

Атаман стоял в царственной позе, молча, терпеливо выжидая, пока накричатся ермаковцы. Затем, когда они, вдоволь поиздевавшись над Архипом, умолкли, Муганцев сказал:

— Сход я пока прерываю до завтра. А тебя, Кречетов, придется задержать.

— Это за какие грехи?— спросил Муганцева Кирька. И, не дождавшись атаманского ответа, сказал стоявшему поодаль Архипу:— Давай, давай уходи отсюдова, станишник, подобру-поздорову. Не беспокойся. Мы, брат, в обиду тебя не дадим.

— Что это значит, Караулов?— спросил Муганцев.

— А это значит, что коренная скачет, а пристяжная не везет,— ответил Кирька, смерив недобрым взглядом атамана.

— Ты мне эти шуточки брось, Караулов!— прикрикнул на него атаман.

— Каки таки шутки. Вижу — нам не до шуток... Пошли, братцы, отсюдова, пока до драки меня не довели,— сказал Кирька, повелительно махнув рукой притихшим соколинцам. И он, дернув за рукав остолбеневшего Архипа Кречетова, поволок его за собой.

Следом за Кирькой и Архипом Кречетовым валом вывалили в шумно распахнутые двери все соколинцы. А атаману Муганцеву не помогла на этот раз даже его пудовая булава с серебряным набалдашником — символ его нераздельной власти.

9

Четвертый Сибирский линейный казачий полк, в котором служили казаки с Горькой линии, как и все прочие части 10-й армии, стоял в обороне. После длительных и упорных боев на линии Мазурских озер командующий 10-й армией, в состав которой входил особый Сибирский казачий корпус, Ренненкампф, отвел свои войска в северо-восточный сектор Августовских лесов.

Десятая армия, ни разу не покидавшая огневых пози-

ций с первых месяцев мировой войны, успешно провела несколько наступательных операций в Восточной Пруссии, захватив ряд важнейших стратегических пунктов. Но в кровопролитных боях за овладение отлично укрепленными немецкими городами Догезеном, Гольдапом и под Сувалками войска Ренненкампфа понесли большие потери. Измотанные в беспрерывных боях и походах части 10-й армии нуждались в длительном отдыхе и подкреплении. Однако на все категорические требования корпусных генералов о немедленной переброске на прусский фронт резервных пополнений Ренненкампф отвечал столь же категорическим отказом, оправдываясь то инертностью ставки главнокомандующего фронтом, то отсутствием в тылу надежных шоссейных и грунтовых дорог.

Между тем противник после большого урона, понесенного им в кровопролитных боях под Иоганнесбургом, вскоре получил значительное подкрепление в количестве четырех корпусов, переброшенных с Западного фронта. Эти войска состояли на пятьдесят процентов из частей ландвера, на двадцать пять процентов — из ландштурма и на двадцать пять процентов — из других родов войск. Укрепив фланги, австро-германские войска начали деятельную подготовку к развернутому наступлению по всему фронту. Так, правый фланг германской армии начал наступление со стороны Иоганнесбурга, а левый фланг несколькими днями позднее перешел в наступление от Тильзита. При поддержке австрийской армии генерала Данкля командующий германской армией фон Бюлов бросил два своих корпуса на прорыв линии расположения армии Ренненкампфа.

Все это привело к тому, что особый казачий корпус под командованием генерала Булгакова вынужден был отступить, как и прочие части армии, в глубь Августовских лесов. Но выходы из этих лесов были уже блокированы немецкими войсками, а переправа через реку Бобр обстреливалась германской артиллерией. Для того чтобы спасти последние остатки своего корпуса, Булгаков принял героическое решение — прорваться через кольцо немецкой блокады, чего бы это ни стоило. Покидая пределы Восточной Пруссии, правое крыло русской армии потеряло связь с левофланговыми боевыми соединениями, поставив тем самым в крайне тяжелое положение весь находившийся в авангарде особый Сибирский казачий корпус в составе 29-й стрелковой дивизии и четырех полков

сибирских казаков. Корпус Булгакова выдержал за трое суток при прорыве пятьдесят две атаки и, прорвавшись через австро-германское окружение близ местечка Торно, выбрался наконец из огненного кольца и продвинулся в глубь Августовских лесов, заняв затем оборону.

Об этом героическом сражении сибирских казаков одна из немецких газет в то время писала: «Честь особого Сибирского корпуса была спасена. Но это стоило ему семи тысяч человек, легших на пространстве двух квадратных километров. Следует признать, что вся эта попытка прорыва являлась чистым безумием, но в то же время и героическим подвигом, который показал нам русского солдата в том же освещении, каким он являлся во времена покорения Плевны, Кавказа и штурма Варшавы».

Чудом вырвавшись из окружения, казаки не сразу обрели желанный покой и отдых на занятых ими позициях. Не успели они спешиться со своих таких же измотанных, как и сами, едва державшихся на ногах коней, как тут же принялись за лихорадочные работы по укреплению зимних позиций. И днем и ночью, часто по пояс в воде, под проливным дождем со злобной яростью работали давно уже утратившие былой человеческий облик люди. Казаки рыли глубокие траншеи, сооружали землянки и блиндажи, строили фортификационные укрепления. И только в первых числах декабря, когда пал первый снег и тотчас же закрутили, совсем по-сибирски, рождественские морозы, обрели наконец измотанные люди заслуженный ими отдых и покой.

Все проходит. Прошла и у казаков, только что переживших все ужасы боев, тупая, смертельная усталость. Они, отоспавшись в жарко натопленных землянках, выжарив вшей, заметно окрепли, подтянулись, повеселели. А там мало-помалу некоторые из казаков начали уже тяготиться однообразием позиционной войны, горевать по минувшим сражениям, тосковать по тревожным сигналам полковых труб...

Ко второй половине зимы 1916 года участились случаи дезертирства с фронта, особенно среди деморализованных пехотных частей. Первое время, пока бежали солдаты еще поодиночке, казаки, на которых была возложена борьба с дезертирством, относились к своим обязанностям ревностно и порядок, согласно приказу, блюли — в заградительных отрядах вели себя строго и

бдительно. Но позднее, когда тронулись солдаты в тыл целыми косяками, былую охоту задерживать дезертиров у казаков отбило. А если кто из наиболее ретивых служак и норовил теперь задерживать беглецов, то те пускали в ход оружие, и подобные стычки заканчивались для казаков довольно худо. Дезертиры часто обезоруживали заградительные казачьи разъезды, а нередко рассчитывались с наиболее горячими патрулями штыком или меткой пулей. Все это привело к тому, что казаки стали посматривать на дезертиров сквозь пальцы.

Так началось великое разложение фронта. Затяжное вынужденное безделье на позициях пагубно отражалось на моральных устоях армии. Суровая вьюжная зима, оторванность от всего близкого и родного, неясность боевых задач, тревожные слухи о предательстве военного министра Сухомлинова и Ренненкампфа — все это порождало в озлобленных за годы войны казаках и солдатах смутные предчувствия неминуемых катастроф и все возрастающую тоску по родному краю. Особенно тяжко переносили эту позиционную зиму казаки. Для них, издревле свыкшихся с боевым конем и сложными маневрированиями по фронту, труднее всего было теперь отсиживаться в тесных, грязных и дымных землянках.

По вечерам, убрав на коновязях лошадей, казаки валялись в землянках по нарам и коротали время, кто как умел. Резались, до одури накурившись, в козла, во всяк свои козыри, в очко и в железку; проигравшись, спускали с себя последние подштанники. А чаще всего казаки отводили душу в песнях.

Открой, казак, часы стальные,
Пришла пора седлать коня,
А за минуты остальные —
Благословить в поход меня.
Гнедой мой конь почуял сразу
Дорожку дальнюю свою.
По генеральскому приказу
Пойдем в развернутом строю.
Пойдем за дальние курганы,
Через сыпучие пески.
В сердцах заноют наши раны
Походной воинской тоски.
Ни в маршах и ни на привалах
Не позабыть нам отчий дом:
Как грянут песню запевалы —
Подступит к горлу горя ком...
Заместо жен — подруги-шашки,
Они вернее их речей!

Клинки, крутые на замашку,
Нас стерегут среди ночей.
И рядом с нами кони-други
И пики вострые в строю,
Но горько нам без вас, подруги,
Казаковать в чужом краю...
Ой, далеки дороги наши —
Неисповедомы пути,
Где птицы крыльями не машут,
Где даже зверю не пройти!
Там без крестов и без погостов,
Без песнопений и молитв,
В степях казачьи тлеют кости
На поле подвигов и битв.
И ничего уже не снится
Башке, зарывшейся в песок,
Если змея вползла в глазницы
И жалом стукнула в висок!
Ой, далеки дороги наши!
В степях полынный горький чад,
Где ни озер, ни рек, ни пашен,
Там даже песни замолчат!
Но только наши эшелоны
Не устрашит пустыней гладь.
Нам не впервой свои знамена
Под знойным небом подымать!
И наши деды не робели
В походах, в странствиях, в бою,
И нас учили с колыбели
Под песню древнюю свою
Тому, как надо в час тревоги
Под клич серебряной трубы
В стремена мигом ставить ноги
И веселей взбивать чубы.
И, может, тоже без погостов,
Без песнопений и молитв,
Как и у дедов, наши кости
Истлеют на театрах битв.
Шуми же, знамя боевое!
Труби, труба. Пора. Пора.
Уж будто море в час прибоя,
Гремит над площадью «ура».
Закрой, казак, часы стальные,
На циферблате ровно пять.
Заржали кони строевые,
Поход почуявши опять.

Яков Бушуев, лежа на нарах рядом с Иваном Сукмановым, слушал песню с закрытыми глазами. И почему-то вспоминалась ему сейчас погожая степная осень на Горькой линии. И слышался ему далекий трубный клич журавлей, кружил голову горячий запах придорожной пустошной полыни. А за всем этим сложным наплывом

звуков, красок и запахов вдруг неясно, как в сновидении, возникало перед ним до боли знакомое, смуглое лицо Варвары.

Слушая песню, Яков думал о доме. Невеселые вести приходили из далекой родной стороны. Жаловался Егор Павлович Бушуев на пошатнувшееся хозяйство, роптал на обременительные войсковые поставки и сборы, горевал о недосеве, сетовал на падеж скота... «Нет, не сладко, видать, живется теперь старикам и там, в далеком тылу!» Но не одни стариковские обиды волновали Якова при чтении родительских писем. Все чаще, все горше волновала его теперь и незадачливо сложившаяся судьба брата — Федора. Если прежде Яков, не понимая поступков Федора, относился к нему с тупым равнодушием, граничившим порою с враждебностью, то теперь иной раз сердце его — при мысли о брате — сжималось в комок. Видимо, думалось ныне Якову, был Федор в ту пору все же в чем-то прав, чего не мог тогда понять Яков. Да, впрочем, не совсем понимал и теперь, хотя фронтовые события последних месяцев наводили и его на смутные, тревожные раздумья. Волновала его и судьба Варвары, о которой не разучился он тосковать за годы войны. Вот и сейчас, сквозь полузакрытые глаза, мерещилось ему строгое и смуглое лицо жены. И не то во сне, не то в яви видел он тускло отливающие черной смолью, гладко расчесанные на прямой пробор и собранные на затылке в тяжелый узор волосы. Прочным мглистым степным загаром отсвечивала правая ее, крапленная родимым пятном щека, на пунцовых губах потухала улыбка.

— Ура, братцы!— раздался вдруг чей-то высокий голос...— Вот это я понимаю — вша!

Яков открыл глаза. Напротив сидел озаренный светом коптилки маленький белобрысый Евсей Батырев. Он был без рубахи и, восторженно улыбаясь, внимательно разглядывал на собственной ладони добычу. Казаки повскакивали с нар и окружили Евсея. Со всех сторон посыпались изумленные возгласы:

— Вот это — да!

— Знаменитую выпас ты, Евсей, дуру!

— Што ты, язви те мать, целый аргамак!

— Ты смотри поосторожней с ней, Евсей, обходись, а то ишо лягнуть может...

— Фактура — может. Поберегись, станишник.

— Животина с норовом. Капризна...

— А какой она масти, братцы?— крикнул с нар заспанный Евлашка Смолин.

— Это конь вороной. Сбруя золотая...

Но больше всех умилялся сам Евсей Батырев.

— Вполне сурьезная вша,— сказал он рассудительным басом.— А куды я теперь с ней? Бить, братцы, такую кралю все-таки жалко...

— А зачем — бить? Ты спятил?— горячо возразил ему Исай Хаустов.— Оно, хоть ты у нас скупердяй во всей сотне известный, но тут, я думаю, за своим добром не постоишь. Пожертвуй мне. Уважь по дружбе.

— Тебе?

— Так точно.

— Да на кой она тебе?

— В дело употреблю...

— Как так — в дело?

— Очень просто. Явится завтра к нам на коновязи сотенный наш командир подъесаул Лепехин, а я как раз дневалить буду... И как только начнет он, кобель, ни за што ни про што с матери на мать нас пушить, тут я ему невзначай в касторовый чистобор ее на выпас и суну...

— Правильно, Хаустов!— дружно закричали казаки.

— Вот это придумал!

— Правильно. Пускай она на офицерских кровях похарчует...

— Если одной мало — у меня займи.

Шум поднялся невероятный. Кто-то недовольно заерзал на нарах и глухим голосом пробубнил:

— Ну, попала опять вожжа под сурепицу. Черт взял. Нашли, слава богу, тоже потеху.

Но ворчливого бормотания сонного казака никто не услышал. Сгрудившись около Евсея Батырева, казаки продолжали шуметь.

Наконец притихли. А за окошками землянки плыл отдаленный гул. То бушевала в дебрях Августовских лесов февральская вьюга. С надрывом выл и гудел в ночи чужой темный, дремучий лес.

Не спалось в эту ночь Якову Бушуеву. Не спал и Иван Сукманов. Как переплетаются иногда глубоко под землей корни двух одинаково маячивших в степном просторе берез, чтобы поваднее было им бороться с шальными буранами и ветрами, так же вот и переплелась, затянулась в калмыцкий узел дружба двух одностаничников — людей одной и той же судьбы. Рядом, бок о бок, росли

они погодками в станице. Рядом, стремя к стремени, ушли потом на действительную службу в полк. И вот вместе делили теперь и горе и радости. И Якову Бушуеву, и Ивану Сукманову часто казалось, что только этой взаимной дружбой и держатся они в строю. Оба они не были трусами. Оба были награждены Георгиевскими крестами за отменную храбрость в боях под Гольдапом. Оба они любили иногда прихвастнуть своей доблестью. Когда их спрашивали, бывало, молодые, еще не крещенные боевым огнем казаки, страшно ли сходиться впервые с врагом в клинки, то они, как и все, с притворной небрежностью отвечали одно и то же:

— Чепуха это все, братцы. Привыкнешь!

Но сами за два года боев так привыкнуть к этому и не смогли. Оба они отлично знали теперь, что к этому не привыкнешь, знали, как замирает, останавливается на мгновенье сердце, сжавшееся в комок в минуту атаки. Знали, как в глазах, косивших от ужаса и решимости, на какую-то долю секунды меркнет весь божий свет, когда готовишься, слегка привстав на стременах, ринуться очертя голову в чудовищный смерч рукопашной битвы.

В глухую ночную пору, в часы бессонницы, одностаничники нередко заводили тихий разговор, словно размышляя вслух о своей судьбе, о фронтовой жизни, о доме. Вот и сейчас Яков нисколько не удивился, когда Иван Сукманов, коснувшись рукой его плеча, вполголоса спросил:

— Не спится?

— Ни в одном глазу...

— У меня то же самое. Забота одна одолела,— сказал Иван после некоторого молчания.

— А што такое, братуха?

— Да так, дело одно предстоит рисковое...

— Тайна?

— Как тебе сказать? Для кого как...

— А для меня?

— Насчет тебя надо подумать, Яков.

— Это пошто же?

— Есть такие причины... Да ты спи. А вот завтра я из штаба вернусь, и мы с тобой это дело обсудим,— сказал Иван Сукманов таким тоном, что Яков, зная характер приятеля, замолчал, посчитав бесполезным расспрашивать.

10

На другой день, когда Яков Бушуев возвращался от коновязей в землянку, он наткнулся в сумерках на притаившегося близ бруствера Ивана Сукманова. Встреча эта была неожиданной. Яков знал, что в полдень Иван был откомандирован начальником штаба полка есаулом Синицким в штаб 10-й армии с донесением, адресованным в личные руки начальника штаба армии. До местечка, где был временно расположен штаб армии, было около сорока верст. Вот почему быстрое возвращение Ивана Сукманова удивило Якова, а странное поведение его встревожило и насторожило. Заметив воровски озирающегося по сторонам, закутанного в башлык одностаничника, Яков сначала даже растерялся, опешил. Иван жестами поманил его к себе.

Сойдясь с приятелем около заметенного снегом блиндажа, Яков увидел, что тот был явно чем-то возбужден и взволнован.

— Ты один?— спросил полушепотом Иван Сукманов.

— Как видишь — один. Только что ушел в блиндаж вахмистр...

— Ага... Это лучше. Здорово,— сказал, сунув рывком руку Якову, Иван Сукманов.

— Здорово... Да ты што, с полпути воротился, што ли?

— Нет, сейчас напрямки из штаба армии.

— Скоро, брат, што-то.

— Долго ли тому, кто умеет...

Помолчали. Яков успел заметить, что Иван, вполголоса разговаривая с ним, не переставал воровски озираться и прислушиваться к чему-то. Наконец он, видимо окончательно убедившись в том, что они одни, заговорил порывисто, оживленно:

— Ты знаешь, я вот тут неподалеку, в лесу, понимаешь ли, спешил... Ох, и упрел же, дьявол.— Вот — баня! Скажи, как я ишо строевика не запалил?! А тут вот и темляк у нагайки оборвать где-то черт меня угораздил. Вот видишь...— И он, виновато улыбаясь, показал Якову отороченный модной ленточкой черенок нагайки.

Яков чувствовал, что за беспорядочным набором слов кроется нечто более значимое, о чем пока не говорит Иван.

— Ну, какие там новости в штабе? Небось вынюхал што-нибудь?— спросил Яков.

— Новости? Да... Новостей у меня сегодня полны переметные сумы. Из-за этих новостей-то вот я и летел как угорелый.

— Што ж там опять?

Снова зорко оглядевшись по сторонам и цепко схватив Якова за правую руку, Иван шепотом, словно задыхаясь, сказал:

— Слушай-ка, Яков. Сам знаешь, перед тобой я сроду ни в чем не таился. Ничего не привык я от тебя скрывать. Вот и сейчас скажу. Словом... Друг ты мне али нет?— неожиданно спросил Иван, крепко стиснув в могучей своей пятерне узловатую руку Якова.

— О чем разговор, станишник? Сызмалетства друг друга хорошо знам,— взволнованно, но твердо ответил Яков.

— Это правильно — знам,— глухо обронил Иван Сукманов. И тут вдруг, стремительно выдернув из-за пазухи увесистый бумажный сверток, он протянул его Якову, а затем совершенно спокойным, но исключающим какие бы то ни было возражения тоном сказал:— Держи. Да крепче. Это листовки. Письма.

— Какие письма? Кому письма?— ничего еще толком не понимая, спросил Яков.

— Нам. Нам с тобой. Всем казакам и солдатам. Письма от партии большевиков. Есть такая партия. Понял? Здесь, брат, нашей пролитой кровью вся горькая правда записана... Словом, прочитаешь потом. Слава богу — грамотный.

— Да где ты их взял? Откуда?— взволнованным шепотом спросил Яков, не зная, куда ему деть бумажный сверток.

Иван прошептал:

— В одном фольварке доверили эти письма наши ребята. Товарищи. Поручили во что бы то ни стало доставить в наш полк. Надо потихоньку от наших воспод офицеров разбросать эти листочки среди станишников, а концы — в воду. Ну, я пообещался выполнить такое задание. Да вот оплошал маленько. Плоховато мы береглись, должно быть, и вот — влипли... Пронюхали они, подлецы, за нами и решили, наверно, сцапать нас с поличным. Всю дорогу шли за мной по пятам трое вершных. Но я, не будь

дураком, тоже их раскусил и дал деру. Спасибо, строевик не подвел...

— Ну, строевик-то у тебя — ветер!— сказал Яков, для того чтобы сказать что-нибудь.

— В том-то и дело, что ветер... Пальбу по мне открыли — промазали. Укачал я от них вперед верст на десять. Но, понимаешь, станишник, не ровен час — могут замыть меня эти холуи, и я — поплыл... У меня же обратный пакет к начальнику штаба полка. Не успеешь, думаю, спешиться, а они тебя и сгребут с поличным. Голого-то накроют — черт их бей. С голого што возьмешь?! Отрекусь — и баста. Ну потаскают, конешно. Не без этого. Но письма-то эти не должны же пропасть. Приказ от товарищей — немедля пустить их в дело. Разбросать по землянкам. Таков наш долг. Понял?.. Если меня сейчас заметут, останешься ты в моих заместителях. Ты сейчас в ночном карауле, и тебе это дело вполне сподручно. Только на тебя у меня одного и надежда. Только в одного тебя я пока в нашей сотне и верую...

— Это... это все правильно, Иван, конешно...— начал было Яков, заикаясь от волнения.

— Все, все правильно, Яков,— поспешно перебил его Сукманов.— Если ночью я не вернусь, считай арестованным. А листовки незаметно развей около блиндажей и землянок. Да смотри, осторожней. Штобы шито и крыто... Ну, с богом. Не робей. По-казачьи.

И не успел растерявшийся Яков раскрыть рта, как Ивана Сукманова точно ветром сдуло у него на глазах, он исчез в лесу.

С минуту Яков стоял с бумажным свертком в руках, не двигаясь, как будто даже не дыша. Вся эта неожиданная встреча с Иваном до того ошеломила, вышибла его из состояния душевного равновесия, что он только несколько минут спустя начал мало-помалу воспринимать то, что сказал ему Иван Сукманов. Наконец, точно очнувшись от забытья, он нетерпеливо перегрыз на свертке шпагатную бечеву и развернул туго закрученные в трубку листовки. Белые четвертушки бумаги были немного влажны, и шел от них до сего незнакомый Якову острый спиртовый запах — запах сырой типографской краски.

Якову захотелось своими глазами увидеть то, что было написано на этих квадратных листочках, но читать он сейчас не мог: было темно. Только часа через два, когда он сменился для получасового отогрева и отдыха в

землянке, примостившись около жировика — в землянке все замертво спали,— он начал вчитываться в листовку. Близоруко прищурившись, вглядывался он в жирные и ровные печатные строчки, читая их шепотом — как привык читать в детстве. Он был не боек в грамоте. Но листовку прочитал в один прием, залпом; без передышки. И простые, бесхитростные, доступные сердцу и разуму слова поразили Якова прямотой и правдой. Он читал, и мелкая, зябкая дрожь от его больших неуклюжих пальцев, стремительно нарастая, переходила к локтям, в сутуло приподнятые плечи, в полусогнутые колени.

«Одумайтесь, товарищи трудовые казаки!»— настойчиво звучала теперь в ушах Якова одна и та же фраза. И ему уже казалось, что это не в листовке он вычитал такую фразу, а услышал где-то давным-давно, да только сейчас дошла она до его сознания и встревожила его сердце. Сложное, непривычное чувство острой тревоги и хмельной радости ощутил Яков Бушуев, беспокойно вертя в руках маленькую бумажку. С удивительной четкостью и последовательностью воскресали в его памяти прочитанные слова, и он, к великому своему удивлению, запомнил теперь прочитанное наизусть. *«Это нашей кровью написано!»*— вспомнились Якову слова Ивана Сукманова. И потрясенный Яков впервые за всю свою жизнь проникся большим уважением к печатному слову и держал теперь в своих руках этот невзрачный листок бумаги, как дорогую находку. С таким внутренним трепетом, с такой чистой любовью, с такой верой относился он только к двум вещам: к прядке Варвариных волос, которую ревниво хранил он в нагрудном кармане гимнастерки, да к почерневшему от времени медному образку — походному материнскому благословению...

«Ну, скорее бы только прочитали об этом станишники»!— подумал Яков. И он, тут же поспешно рассовав часть листовок в изголовья спящих казаков, а остальные спрятав за борт шинели, вновь вышел к коновязям, отпустив подсменного казака.

Оставшись один, Яков долго кружил вокруг коновязей, вновь и вновь передумывая и мысленно перечитывая листовку. И с непостижимой стремительностью проходили перед ним беспорядочные, бессвязные как будто бы воспоминания. Может быть, впервые увидел он свою жизнь во всей ее суровой обнаженности и правде. Щедра же была она, оказывается, для трудовых казаков на

черные дни, на лишения, обиды и беды. И если прежде, годами вынашивая накипавшую в сердце злобу и ненависть против неведомых властно вторгавшихся в судьбу его темных сил, Яков не смог распознать их облика, то теперь неожиданно столкнулся он с этими силами лицом к лицу и готов был уже, кажется, к такой же решительной схватке с ними, в какую не раз бросался он против врагов на поле боя...

...Чуть начинало светать. Серое плоское небо, казалось, плашмя лежало на кронах корабельных сосен Августовского леса. Воровски озираясь по сторонам, крался Яков Бушуев, то и дело притуляясь к приземистым стенкам позиционных землянок. Он был без папахи, с растрепанным, припорошенным сединой и снежной заметью чубом. Неслышно скользя от землянки к землянке, он, как поджигатель, торопливо совал в притвор дверей пригоршни мятых листовок. Лицо его выглядело строгим, сосредоточенным, почти вдохновенным. И только сурово сомкнутые густые брови, мертвенная белизна щек да судорожный излом спекшихся, как от жажды, губ таили недавно пережитое им душевное потрясение.

Покончив с листовками, Яков, никем не замеченный, неслышно вернулся в свою землянку и, не сбросив даже шинели, снопом повалился на нары. И только тут почувствовал он смертельную, свинцом разлившуюся по жилам усталость и сладковато-тошнотворный привкус на языке. В ушах нарастал тупой, ноющий звон. А сердце, подобно ключу полевого телеграфа, выстукивало неровную, мелкую дробь. Мучила жажда. Яков попробовал встать напиться, но голова почему-то закружилась так, как, бывало, кружилась она в молодости, когда поднимался он и падал с огромной высоты вниз, качаясь на пасхальных качелях. Он снова прилег и прикрыл глаза. Он не раскрыл их даже и тогда, когда вошел в землянку Иван Сукманов, отпущенный из штаба после допросов, чинившихся там ему всю ночь.

Ивану Сукманову показалось, что Яков спал. И, несмотря на то, что Ивану мучительно хотелось узнать от него сейчас о судьбе доверенных ему листовок, он все же не решился будить Якова. Осторожно примостившись рядом с ним на нарах и приглушенно вздохнув, Иван затих. Однако минуты две-три спустя он убедился, что Яков не спит. И Иван, горячо дыхнув в ухо Якова, шепотом спросил его:

— Ну... как дела?

Яков нащупал большую, жесткую от застаревших мозолей руку одностаничника и, крепко стиснув ее в горячей своей ладони, чуть слышно ответил:

— Порядок.

11

Около трех месяцев минуло со дня отъезда казачьей депутации в Петроград, а на Горький линии о Егоре Павловиче Бушуеве и Луке Иванове ни слуху ни духу. То, что они не возвратились к сроку и не подавали о себе и об обещанных грамотах вестей, наводило земляков на тревожные и горькие размышления. В станицах заговорили о том, что к царю казачьих посланцев не допустили и, арестовав их, направили по этапу в распоряжение наместника Степного края в Омск. Потом прошел слух, что, наоборот, они будто бы были приняты царем в Зимнем дворце и Николай II, прочтя в их присутствии казачью петицию, тут же подписал золотым пером манифест о даровании Сибирскому линейному казачьему войску широких привилегий и обширных льгот. Затем, повелев отпустить на Горькую линию несколько тысяч пудов семенного и продовольственного хлеба, император будто бы наградил смелых казачьих депутатов именными золотыми часами и, кроме того, приказал своим министрам снабдить Егора Павловича и Луку бесплатными билетами на обратный проезд. Слухов в станицах бродило много. И, как всегда это бывает, чем эти слухи были нелепее, тем охотнее верил им народ. Особенно близко к сердцу принимали старики молву о всемилостивейшем императорском манифесте.

Приближалась весна — пора сева. Но во многих хозяйствах не было ни пуда семенного зерна, выходили остатки продовольствия. Старики, как всегда, собирались по вечерам в сумрачной казарме станичного правления и коротали здесь невеселое время. Мирно посасывая самодельные трубочные чубуки, задыхаясь в зеленом дыму суворовского самосада, старики судили и рядили в эти часы о незавидном своем житье-бытье. Разговоры больше всего вертелись вокруг бесследно сгинувших депутатов.

Однажды братья Кирька и Оська Карауловы, явившись на станичную сходку, стали божиться перед порт-

ретом царя о том, как они будто бы сами читали на днях письмо служившего в лейб-гвардии казака станицы Казанской Марка Хаустова, в котором писал тот из Петрограда про дарованный царем казакам Горькой линии манифест. Торопясь и захлебываясь от восторга, шумно перебивая друг друга, Карауловы так горячо и подробно докладывали о приеме царем казачьей депутации, точно они сами побывали вместе с Егором Павловичем и Лукой в Зимнем дворце.

Старики не верили ни одному их слову и, отлично понимая, что все это от начала до конца Кирька с Оськой врут, тем не менее слушали их с огромным вниманием, даже поддакивая. Горячее всех уверовали в высочайший манифест престарелые георгиевские кавалеры — дед Арефий и дед Конотоп. До слез растроганные, они, потихоньку столковавшись между собой, решили выручить изголодавшийся народ храбрым своим предложением. И вот дед Арефий вышел на круг, обнажил голову и, выждав, пока уляжется гвалт, сказал:

— А я к вам с добрым словом, воспода станишники.

— Слушаем, восподин кавалер,— откликнулся Афоня Бой-баба.

— А совет мой таков будет,— продолжал дед Арефий.— Тяжкое бремя переживает все наше войско. Трудные испытания уготовал нам господь. Прямо как в библии: «И придет на тя зло и внезапна пагуба и увеси!» Так сказано устами пророка в книге Исхода...

— А ты бы, дед, тут акафиста-то нам не читал. Говори яснее, по-русски!— крикнул десятник Буря.

Но старики сурово и дружно прицыкнули на десятника:

— Не мешай человеку высказаться, Буря.

— Придержи пока свое ботало за зубами.

— Не сбивай старого кавалера с ладу.

— Так вот, стал быть, я и говорю...— продолжал дед Арефий.— Тяжкий пробил для нашего войска час. Но нам с вами сомневаться в высочайшей милости не приходится. Государь император нас в обиду не даст. Он выручит из беды. В это мы веруем... Только пока, как говорится, солнце взойдет, роса глаза может выбить.

— Это ты к чему, дед?— спросил его насторожившийся фон-барон.

— А к тому, что пока, дескать, шель да шевель там с государевым манифестом, пока оный манифест дойдет

из города Петрограда до нашей Горькой линии, а у нас и сеять уж будет поздно, и семена, гляди, будут нам ни к чему. Вот я к чему, воспода станишники, клоню...

— Форменно — будет поздно!

— Верные ваши речи, восподин егорьевский кавалер.

— Казна, она завсегда после драки кулаками машет.

— Знам мы эту казну. Было на прахтике.

— Эх, воспода ребята, на эту казну надежа, как на нищем одежа — одни ремки...

— Вот именно.

— Нам от казны ждать больше нечего. Она нашего брата на этом веку показнила. Хватит!

В казарме снова поднялся шум. Старики повскакивали при этих словах с полу на ноги и принялись поносить на чем свет стоит и ненавистную им казну, и нераспорядительную войсковую управу и добрались до самого наказного атамана. Но станичный атаман Муганцев, грозно прикрикнув на распоясавшееся общество, с трудом утихомирил стариков и уговорил их выслушать до конца престарелого кавалера.

— Какой ваш совет будет, господин георгиевский кавалер?— спросил в почтительной форме деда Арефия станичный атаман.

— А совет наш таков,— сказал после некоторой заминки дед Арефий.— Не ждать манифеста. Укрепить бумагу личным росписом всех станишников и печатью. А потом снять, благословясь, с войсковых амбаров замки и казенные пломбы...

— Што?! Как вы изволили выразиться?— вскрикнул изумленный Муганцев.

— Так и сказал. Снять, говорю, замки и казенные пломбы с войсковых амбаров,—уж не совсем уверенно и твердо проговорил георгиевский кавалер, поглядывая на атамана.

— Так. Так. Так. Дальше. Дальше!— повторил Муганцев.

— А дальше, что же. Дальше, дело известное... Составить артикульную ведомость, да и раздать народу весь провиянтный хлеб из этих амбаров. Так, я полагаю, и с семенами и с продовольствием будем,— рассудительно заключил георгиевский кавалер.

И не успел вскочивший на ноги Муганцев раскрыть рта, как соколинцы, норовя перекрыть друг друга, грянули, что было мочи, на всю казарму:

— Вот это дело, воспода старики!

— Правильну речь сказал егорьевский кавалер!

— Золотые речи!

— Правильно. Растворить войсковые амбары!

— Вскрыть казенны замки и пломбы!

— Резон, воспода станишники. Раз казна народ подсекла, пусть она нашего брата из беды теперь выручает.

— Ить там тыщи пудов зерна в закромах лежат. А народ без хлеба с самого рождества кукует. Без семян — кака, язви, пашня?

— Без семян-то ишо туды-сюды. А вот у некоторых и муки ни пылинки не найдешь. Это куды, братцы, годно?!

— Што там говорить! Сплошь и рядом народ нужду терпит...

— Там кормильцы кровь проливают, а тут хоть в пору суму на плечо.

— Вот именно. Достукались сибирские казачки. Докатились. Скоро всем войском Лазаря затянуть придется. Ить это не жизнь — позор, братцы.

Вдруг по-бабьи звонкий и резкий голос Кирьки Караулова, прорвавшись сквозь шквальный ураган травленых стариковских глоток, крикнул:

— Што там разговаривать — давай приговор!

И старики на требовательный призыв Кирьки дружно гаркнули:

— Приговор! Приговор!

— Все, как один, подпишемся под такой гумагой.

— Послать за письмоводителем.

— Правильно. Без письмоводителя не обойдешься. Гумага должна быть форменной. Казна любит, чтобы все было по артикулу.

— Фактура — по артикулу... Мы войсковой хлеб не грабим, а по доброй воле всего общества взаймы у казны берем!— крикнул Агафон Бой-баба.

— Ну ясное дело — взаймы. За нами не пропадет.

— Расквитаемся, ежли родится...— откликнулись старики.

— Смирно!— крикнул наконец громовым голосом станичный атаман, грохнув своей пудовой булавой по столешнице.

И в казарме вдруг стало так тихо, что от неожиданности оба георгиевских кавалера присели на лавку.

А устрашившийся грозного атаманского окрика станичный десятник Буря смиренно прикрыл глаза.

Выдержав небольшую паузу, Муганцев, тяжело дыша — было похоже, что он только что вырвался из жаркой, нелегко доставшейся ему драки,— решительно выступил из-за стола вперед и, величественно отстранив от себя властным движением стиснутую в правой руке тяжелую булаву, заговорил:

— Это што же такое, господа станичники,— грабеж? Собственно, нет, не грабеж. Хуже. Разбой. Посягательство на неприкосновенные войсковые запасы провианта — это же хуже казнокрадства... Стыдно, стыдно, господа старики. Позорно, станичники... И особенно стыдно таким почетным и заслуженным воинам, коими являются наши георгиевские кавалеры!— заключил Муганцев, строго и осуждающе покосившись при этом на георгиевских кавалеров.

— Ну, ты наших заслуг, восподин атаман, не тронь!— запальчиво прикрикнул на атамана дед Конотоп.

И кавалеров вновь поддержали старики:

— Не страми престарелых воинов.

— Правильно. Не позволим изголяться над кавалерами...

— Мальчиков тоже нашел.

— Ты нам, атаман, этих акафистов-то здесь не читай.

— Это верно. А то как бы мы ишо панихиду по тебе не заказали за такие смелые речи!— крикнул Кирька Караулов.

Но побледневший от ярости атаман завопил:

— Молчать! Атаман я у вас или не атаман?! Да как вы смеете?! Как только у вас повернулся язык на подобные речи?! Слыханное ли это дело, чтобы самовольно войсковой провиант по приговору делить?! А? Да донеси я об этом наказному атаману — ведь вас живьем в острогах сгноят.

— А ты донеси, попробуй,— мрачно посоветовал ему кто-то от порога.

— И донесу. Немедленно рапорт отправлю, если вовремя за разум на старости лет не возьметесь. Моя власть!— неистово крикнул Муганцев, снова величественно грохнув об пол булавой.

— И совершенно правильно сделаете, если куда следует донесете. Таким бунтовским разговорчикам в обще-

стве потакать нельзя...— поддакнул скотопромышленник Боярский.

— Разумеется, нельзя, Афанасий Федорович,— живо откликнулся на его голос Муганцев.— А как вы думали, господа старички? Или вы решили на преступных действиях против казны приговором прикрыться? Тонко придумано. Тонко.

— Ить провиянт-то в войсковых амбарах наш, а не казенный!— снова перебив атамана, закричали соколинцы.

— Фактура — наш. Мы его туды засыпали.

— Правильно. Хлеб всенародный. Трудовое зерно. Мы — хозяева.

— Распределить по приговору — и баста!

— Позвольте, позвольте, господа старики. Одну минуточку,— примиряюще подняв руку, заговорил с притворным спокойствием Муганцев.— Итак, вы хотите прикрыться приговором? Хорошо. Воля ваша, конечно. Можете составить приговор и скрепить его личными росписями. Только учтите, что я, ваш станичный атаман, гласно отказываюсь признать за подобной бумагой какую-либо законную силу. Ясно? Таково мое последнее слово. Ну-с, а о последствиях говорить не приходится. Всем известно, чем кончаются подобные выпады против войскового порядка и законной власти. Побунтовать на старости лет захотели? Ну что ж, валяйте. Попробуйте.

Умолкнув, атаман старательно вытер платком потное лицо, испытующе косясь на притихших станичников, не спеша раскурил дешевую папироску.

Нехорошая тишина установилась в казарме. Старики стояли, угрюмо потупясь. Они ждали, что скажет им еще на прощанье разгневанный атаман. Между тем Муганцев ждал, в свою очередь, что теперь скажут старики Соколинского края.

Но старики молчали. И молчание это говорило сейчас Муганцеву горячее и убедительнее всяких слов о той единой решимости, которая бывает в такую пору страшнее любого открытого сопротивления и любых громко звучащих угроз.

Все было ясно. Говорить больше не о чем. И атаман, быстро выбросив изо рта недокуренную, изжеванную папиросу, схватил рывком со стола фуражку и, надев ее ловким привычным жестом набекрень, не глядя ни на кого, глухо молвил:

— Ну-с, хорошо. Мой разговор окончен. Я ухожу. А желающие побунтовать могут остаться.

Бросив откровенно злобный, презрительный взгляд на соколинцев, атаман решительным и поспешным шагом направился к выходу. Старики дали ему дорогу. И тотчас же почти все казаки Ермаковского края, повскакав со своих мест, гуртом двинулись за атаманом.

В казарме остались соколинцы. Произошло замешательство. Часть стариков смятенно затопталась на месте, не зная, что делать — уходить или оставаться. Буря, с грохотом сорвавшись с печки, трижды выбегал за дверь и трижды виновато и робко возвращался в казарму.

Наконец смятение улеглось.

Писарь Скалкин, вызванный сходом для составления приговора, в нерешительности топтался за столом. Он то извлекал из канцелярского шкафа письменные принадлежности, то вновь прятал их обратно вместе с дестью александрийской бумаги.

Тогда вперед вышел, поспешно сорвав с головы шапку, Архип Кречетов и, присмотревшись к соколинцам, спросил:

— Ну, как порешим, братцы, приговор дадим али в отступ?

— Это как — общество...— уклончиво пробормотал встретившийся с его взглядом Буря.

— Общество? А общество, я думаю, труса перед станичным атаманом и перед ермаковцами праздновать не станет,— уверенно ответил Буре Архип Кречетов.

— Правильно. Никогда мы ишо перед ними не робели!— запальчиво крикнул Оська Караулов.

И Архип Кречетов, повернувшись к писарю, сказал, указывая перстом на бумагу:

— Давай пиши приговор.

Писарь замялся. Но вставшие перед ним во фронт братья Кирька и Оська Карауловы так посмотрели на него, что размышлять и колебаться было некогда. Проворно развернув перед собой чистый лист бумаги, он торопливо обмакнул перо и, картинно сбочив голову, с непостижимой быстротой принялся строчить приговор.

А спустя полчаса все присутствующие в казарме соколинцы, торопливо крестясь на прокопченный табачным дымом киот в переднем углу, подходили гуськом к столу и скрепляли свой приговор кто как умел — одни личной росписью, другие — крестами.

12

В ту же ночь Муганцев собрал к себе в дом всех верных своих приверженцев и потребовал немедленной организации вооруженной охраны войсковых провиантских амбаров. Требование станичного атамана было признано справедливым, но осуществить его на деле оказалось не так-то просто. Все трудности были в том, что, согласно установленному положению, охрана тишины и общественного порядка в линейных станицах до сих пор лежала на обязанности так называемых «статейных» казаков, оставшихся от мобилизации по тем или иным льготным статьям и отбывавших воинскую повинность на месте. Наряду со «статейными» обязанности внутристаничной охраны несли еще и некоторые не совсем старые казаки, выделенные для этой цели, по указу станичного атамана, из среды менее состоятельных жителей станицы. Наряды в «обход» не являлись обременительными и частыми. Только по случаю субботних базаров, двух зимних ярмарок да редких годовых праздников и приходилось казакам нести свое обходное дежурство. Но зажиточные казаки, как правило, избегали этой черновой воинской повинности, считая ее за унизительную для своего положения.

Между тем казаки, несшие «обходную» службу, были вооружены помимо шашек приобретенными за счет общества дробовыми ружьями. Словом, объединившись, эти казаки могли представлять известную боевую силу. Однако положиться на эту силу Муганцев теперь уже не мог, поскольку большинство казаков оказалось в числе подписавших бунтарский приговор станичников. И приверженцам станичного атамана теперь оставалось одно: встать под ружье, взяв охрану провиантского хлеба на себя.

Но верные до сего атаману станичные заправилы наотрез отказались от вооруженного караула. Напрасно старался станичный атаман, разгневанный трусостью своих приверженцев, пристыдить их, уговорить, усовестить, урезонить.

— Да какие же мы вояки, восподин атаман! Подумайте, наше ли это дело под ружьем в карауле стоять?— взмолился фон-барон Пикушкин.

— Вот именно. На нас тут надежа плохая,— поддер-

жал фон-барона владелец станичных боен Сильвестр Стрельников.

А скотопромышленник Боярский вдруг предложил:

— Конечно, не совсем ловко становиться нам под ружье у амбаров. Но это могут сделать за нас и наши подставные люди.

— Кто же, например, Афанасий Федорович?— спросил Муганцев.

— Ну, скажем, те же наши работники. Ведь почти в каждом хозяйстве найдется их у нас до пятка. Почему бы нам не нарядить их на такое дело? Ослушаться нас, хозяев, они не посмеют и службу нам могут сослужить верную.

Такое предложение пришлось по душе, и ермаковцы дружно поддержали его.

— Совершенно правильно, воспода станишники!— оживленно откликнулся фон-барон.— Приставим к амбарам своих работников — вернее охраны не будет.

— Правильно. Согласен. Я пятерых своих кыргызов могу выделить,— заявил вахмистр Дробышев.

— Ну-с, и я, скажем, благословляю на такое дело четырех своих батраков,— сказал школьный попечитель Корней Вашутин.

Муганцеву, собственно говоря, эта затея с вольнонаемной охраной не очень понравилась. Но иного выхода пока не было. И атаману скрепя сердце пришлось согласиться.

На другое утро, чуть свет, свыше двадцати батраков — в основном, это были казахи,— вооруженные хозяйскими дробовиками, были выстроены перед Муганцевым. Наскоро ознакомив боевую охрану с несложными ее задачами и наобещав кучу всяческих благ и ворох наград за верную службу, Муганцев лично препроводил их к месту караула и расставил вокруг амбаров на постах.

Обязанности начальника караула принял на себя, по приказанию Муганцева, поселковый атаман Афоня Крутиков. Это меньше всего радовало Афоню. Во-первых, он знал, что за командование над подобным боевым соединением ему теперь не будет проходу от всеобщих насмешек в станице. Во-вторых, сам он в душе был на стороне подписавших «бунтарский» приговор. Ведь и он, как прочие соколинцы, собрал и проводил на войну двух сыновей. И у него сейчас пустовали сусеки — ни зерна в закромах. И под его обветшалой крышей прижилась за по-

следние годы нужда. Он и сам не прочь был расписаться под таким общественным приговором. Однако служба обязывала его теперь держаться иного мнения. И он, приняв на себя командование караулом, должен был любыми средствами защищать от народа хлеб. Задача была не из легких. Да что же поделаешь — служба! И, поразмыслив о невеселой своей участи, атаман решил служить, как требовал от него его чин и соответствующий этому чину порядок...

Расставив посты, Афоня еще раз объяснил своим подчиненным их обязанности, а сам поспешил уйти пока на всякий случай от греха подальше.

И батраки, превращенные станичным атаманом в воинов, заняв посты, стали зорко следить за амбарами, с тревогой поглядывая в сторону притихшей на рассвете станицы. Из беглых наставлений станичного и поселкового атаманов они поняли, что никто не имеет права приближаться к амбарам ближе возвышавшихся в полусотне шагов крепостных валов. Они узнали так же, что, в случае насильственного вторжения толпы или отдельных лиц в эту запретную полосу, караулу дозволялось открыть предупредительную пальбу в воздух, а если и это не поможет — лупить прямо в живую цель. Таков был строгий наказ Муганцева. Этому учили своих батраков и хозяева...

Древние, почерневшие от времени, обомшелые деревянные амбары с провиантом стояли в центре замкнутой земляными редутами станичной крепости. Когда-то эти амбары служили для местного гарнизона как интендантские склады и потому хорошо были защищены в стратегическом отношении со всех сторон. Около одного из шести цепочкой вытянувшихся амбаров встали на караул двое работников фон-барона Пикушкина. Это были молодые джигиты, выходцы из джатаков соседнего аула. Одного звали Омар, другого — Бажен. Батрачили они в казачьей станице с детства. Это были настолько обрусевшие парни, что и по говору, и по костюмам, и по чисто казачьим манерам и повадкам в них теперь даже трудно было признать бывших кочевников. Бажен, например, имел собственную ливенскую гармошку с колокольчиками — это было все его имущество, нажитое за батрацкие годы. Казах с таким мастерством играл на этой гармошке русские песни и пляски, что станичная молодежь щедро, как девку, баловала его по праздникам леденцами

«Ландрин» и папиросами «Роза», завлекая на свои вечерки. А Омар слыл в станице за превосходного плясуна и нередко забивал русских ребят не только в стремительном и веселом, как вихрь, «казачке», но и в плавной, замысловатой и сложной «метелице», и в хитрых шести фигурах любимой у казачьей молодежи кадрили.

Оба эти неразлучных приятеля, подвыпив, бывало, с таким азартом певали бойкие русские частушки, что даже казаки охали от хохота и ахали от удивления, ставя их в пример станичной молодежи. И за все эти качества, столь ценимые в людях казаками, и любил этих двух обрусевших джигитов весь станичный народ — от мала до велика. Это были единственные из казахских парней, кому был всегда открыт доступ на любую из шумных молодежных вечерок, и ни один в станице девишник не отыгрывался, бывало, без них. Словом, оба парня были в станице на хорошем счету и беспрепятственно хаживали по праздникам со своей гармошкой даже из одного края в другой, что недоступно было издревле враждовавшей между собой проживающей в этих краях холостой молодежи. А теперь вот случилось так, что оба эти приятеля, вооруженные двенадцатикалиберными берданами, угодили на боевой пост и должны были, в случае чего, стрелять смело в станичный народ. Приказ атамана Муганцева был настолько жестоким, кратким и выразительным, что смысл его никак не доходил до этих степных джигитов. Ни Бажен, ни Омар просто не представляли, как это можно, укрывшись за бугорком, прицелиться и бахнуть в живого, знакомого им человека. Понять и осмыслить это было нельзя, как невозможно было им почувствовать в любом из жителей Соколинского края кровного врага.

Бажен и Омар, укрывшись за кустом прошлогодней полыни, молча лежали рядком, положив впереди себя заряженные берданки.

Над степью вставал неясный рассвет. Громады сгрудившихся у горизонта юртообразных туч заслоняли едва пробивавшиеся сквозь их разрывы неяркие проблески мерцавшего позолотой восхода. Джигиты лежали на куче старой, прелой соломы, жадно вдыхая слабый горьковатый аромат старого куста полыни, пахнувшего простором, степью, детством.

— Как же ты будешь стрелять, Бажен?— вполголоса спросил своего друга Омар.

— Не знаю, как я буду стрелять,— ответил Бажен.

— А атаман говорил, что надо стрелять, если нас не станут слушаться люди. Ты это слышал, Бажен?

— Я это слышал, Омар. Но я не знаю, за что стрелять нам в этих людей.

— Не знаю и я,— сказал Омар.

Вздохнув, они замолчали.

А часа два спустя, когда со стороны станицы показался шумный обоз соколинцев, организованно двинувшихся на раздел войскового хлеба, вооруженные посты ермаковцев, выставленные для охраны зернохранилищ, отошли, на всякий случай, в глубь крепости и залегли за надежным прикрытием древнего земляного вала. Там они мирно и пролежали до тех пор, пока склады с провиантом не были очищены соколинцами от зерна сухой отборной пшеницы.

Поселковый атаман Афоня Крутиков, забравшись на колокольню, робко поглядывал оттуда на соколинцев и только покачивал головой, втайне довольный их смелой и бойкой работой.

13

В тот же вечер все ермаковцы, скликанные станичным десятником Бурей, собрались в правлении для решения судьбы соколинцев. Вопреки обыкновению, в казарме стояла натянутая тишина. Володетельные станичники сидели чинно по лавкам, хитро и испытующе поглядывая на атамана. Он был бледен. Тонкие, бескровные губы его судорожно подрагивали, а бесцветные глаза тупо, не мигая, смотрели на колеблющееся желтое пламя маленькой лампы. Нервно комкая в руках свои замшевые перчатки, Муганцев покусывал ус, настороженно прислушиваясь к разбушевавшейся за окном мартовской вьюге.

Наконец атаман, вскочив как ужаленный, сказал:

— Мера одна, господа станичники. Зачинщиков — под арест. А остальных — к лишению казачьего звания, земельных наделов и к высылке из пределов станицы. Таково мое мнение. У кого какие будут соображения на этот счет, господа старички?— спросил Муганцев ермаковцев.

— Мнения у всех одна — подписать им, варнакам, такой приговор, и баста,— сказал фон-барон Пикушкин.

— Так точно. Других мнений и быть не может,— поддакнул школьный попечитель Корней Вашутин.

— Совершенно верно. Совершенно верно, господа старички,— прозвучал сладковатый тенорок прасола Боярского.— До каких нам пор с ними вожжаться. Всю жизнь позорят станицу. Всю жизнь — в раздор с нашим обществом. Было время — терпели. Но пора и честь знать. Пора принять нам крутые меры. А мера одна. И я с ней, господин станичный атаман, вполне согласный.

— Другого разговору и быть не может,— подтвердил, солидно крякнув, владелец станичных боен Стрельников.

Тогда, выдержав небольшую паузу, Муганцев, указав властным жестом писарю на бумагу, сказал:

— Пиши.

Писарь, сбочив голову и закусив нижнюю губу, приготовился. Муганцев, став в царственную позу, полусмежив воспаленные веки, начал глухим и торжественным голосом диктовать:

— Общество выборных казаков, собравшись на свой станичный сход, единодушно решило следующее. За самочинный раздел войскового провианта, учиненный отпетыми бунтарями станицы, лишить казачьего звания и всех связанных с оным благ и льгот следующих нижеуказанных казаков, кои спокон веку сеяли в нашей станице разлад и междоусобицу, кои, знаясь с кочевой ордой да с пришлыми из России переселенцами последней руки, сами слыли по всей Горькой линии варнаками да ухорезами, от которых не было нам житья и покоя, а казне и империи — никаких дивидендов. А учтя все оное, мы, общество выборных, потомственные казаки станицы, единодушно выносим приговор о лишении казачьего звания, земельных наделов и высылке из пределов станицы нижеперечисленных в сем приговоре жителей нашей крепости.

Помолчав и дождавшись, как бойкий писарь закончит последнюю фразу, Муганцев стал называть имена приговоренных:

— Братьев Карауловых, Кирилла и Осипа — раз, Архипа Кречетова — два, Агафона Вьюркова, по прозвищу Бой-баба,— три, Матвея Ситохина — четыре, Андрея Бурлакова, коий открыто материл государя,— пять, Григория Маношкина — шесть, Спиридона Саргаулова — семь, Викула Малыхина — восемь, Аникия Вдовина — девять. К чему мы, выборные станичного общества, и прилагаем собственноручные подписи, скрепленные печатью станичного атамана.

— Все?— спросил писарь, с поразительной быстротой записавший суровый и краткий приговор.

— Как будто бы так, все,— ответил Муганцев, испытующе приглядываясь к сидевшим вокруг ермаковцам.

— Никого не забыли, восподин атаман?— спросил фон-барон Пикушкин.

— По-моему, никого не запамятовал. Правильно?— спросил Муганцев, обратившись при этом к владельцу станичных боен.

— Совершенно верно. Всех, кто заслуживает сей меры наказания, вы изволили здесь назвать,— ответил привставший на ноги Стрельников.

Вдруг откуда-то из темного угла прозвучал робкий и неуверенный голос:

— Насчет остальных не знаю, а вот Архипа-то Кречетова зря записали, воспода станишники.

— Это как так — зря?— спросил ласковым тенорком прасол Боярский, не видя еще того, кто посмел заступиться за Архипа Кречетова.

— Неудобствие получается. У него сразу трое сынов на поле брани смертью храбрых пали. Примерные все были казаки,— сказал все тот же голос.

— Позвольте, позвольте, кто это там говорит?— спросил близоруко прищурившийся Муганцев.

— О, да это станичный десятник, господа старики!— удивленно воскликнул владелец станичных боен.

— Ах, Буря?!— изумленно воскликнул, Муганцев.— Вот, оказывается, кого, господа станичники, мы в этот приговор записать забыли.

— Совершенно правильно. Это — одного поля ягодка. Записать и его,— сказал прасол Боярский.

И Муганцев, повернувшись к писарю, властно ткнув пальцем в приговор, сказал:

— Пиши и эту скотину.

А спустя четверть часа, когда приговор был скреплен тяжелыми витиеватыми личными росписями всех ермаковцев и засвидетельствован размашистой подписью станичного атамана, Муганцев, пряча свернутый вчетверо лист александрийской бумаги во внутренний карман кителя, сказал:

— Ну-с, теперь, видит бог, наведем наконец порядок в станице.

— Давно бы надо нам, дуракам, додуматься. Сколько

крови попортили с этими подлецами,— откликнулся фон-барон Пикушкин.

— Ишо бы! Теперь ить мы свет увидим без этой шантрапы, воспода станишники,— сказал школьный попечитель Корней Вашутин.

Прасол Боярский вполголоса осведомился у станичного атамана:

— Интересуюсь, кому вы изволите поручить приведение в исполнение сего приговора?

— Ну, об этом не извольте беспокоиться, Афанасий Федорович. Сие в нашей власти,— самонадеянно сказал Муганцев. И он тут же, подозвав к себе вахмистра Дробышева, приказал созвать наутро наряд вооруженных обходных из Ермаковского края и произвести опись имущества у подлежащих к выселению и лишенных казачьего звания станичников.

— Слушаюсь,— ответил вахмистр.

14

В конце декабря 1916 года посланцы линейных казачьих станиц степной Сибири прибыли с петицией в Петроград.

Ехали они до столицы долго. И за всю эту мученическую дорогу Егор Павлович Бушуев претерпел столько бед, тревог и лишений, что готов уже был, не достигнув высокой цели, плюнуть на все полномочия и вернуться ни с чем с полпути восвояси. Виновником же всего этого был не кто иной, как спутник Егора Павловича, письмоводитель Лука Иванов.

Злоключения начались с первой же станции. Заручившись железнодорожными билетами до самого Петрограда, путники опоздали на поезд по вине Луки, которому станционный портной наспех перелицовывал черную суконную тройку, приноравливая ее по требованию заказчика к последней столичной моде. Собственно, тройка вполне была готова задолго до отхода товаро-пассажирского поезда, с коим должны были отбыть станичные посланцы в Петроград. Но Лука, примеряя костюм, так долго вертелся перед зеркалом, что, несмотря на нетерпеливые понукания Егора Павловича, они все же опоздали к отправлению поезда на целых полчаса. Следующего поезда спутникам пришлось дожидаться трое суток. С трудом выправив старые билеты и потеряв на каждом

из них по три рубля, изнывающий от досады, тоски и безделья Егор Павлович волей-неволей вынужден был отсыпаться у знакомого весовщика товарной конторы.

Тем временем на минуту отлучившийся по собственной нужде Лука вдруг точно сквозь землю провалился и, бесследно сгинув с глаз Егора Павловича, пропал на все трое суток.

Разглядев на досуге повнимательнее свой костюм, Лука пришел к выводу, что его перелицованная тройка не соответствует требованиям момента и тем «изысканным» светским модам, которые он видел на иллюстрациях журнала «Нива». Уединившись в портняжной мастерской Рафаила Файнберга из Риги — так, судя по вывеске, титуловал портного местный живописец,— Лука снова занялся своим туалетом.

Портной Файнберг из Риги, поломавшись, выжал из Луки довольно изрядную доплату, заново перекроил тройку соответственно строгим требованиям заказчика и, на сей раз премного угодив ему своим искусством, раздобыл к тому же для него перекупленную у приказчика галантерейного магазина фисташковую манишку и пару галстуков. Галстуки эти, правда, были слегка потерты, однако былой прелести еще не утратили и пришлись письмоводителю вполне по вкусу, к лицу. Один из галстуков бордового цвета имел форму так называемой «селедки», другой, расцветкой в тон первому,— вишневой «бабочки».

После многократных примерок костюм наконец был готов. Обильно смочив репейным маслом свои жесткие, торчавшие на макушке волосы, не в меру нафиксатуарив круто завинченные кверху рогульками гусарские усы, Лука облачился в дважды перешитую парадную тройку. Затем, нацепив при помощи портного на фисташковую манишку под стоячий с загибами на углах крахмальный воротничок оба галстука сразу, письмоводитель, ревниво присмотревшись к зеркальному отражению, нашел себя достаточно живописным.

В самом деле, и фисташковая манишка, и ловко пришпиленные под стоячим воротничком галстуки, наискось пронзенные тяжелой брошью с бирюзовым глазком на конце,— все это на фоне черного, несколько схожего по форме с фраком письмоводительского костюма придавало лицу Луки независимое, слегка надменное и даже, пожалуй, благородное выражение...

Словом, наружностью своей Лука остался вполне доволен. И на исходе третьего дня он, опасаясь, как бы снова не опоздать к поезду, и , не успев даже снять с себя надетого для примерки парадного костюма, стремительно, со всех ног, бросился на станцию.

На платформе Лука появился уже после второго звонка. У Егора Павловича при этом втором глухом ударе колокола оборвалось сердце, и он, отупев от отчаяния и злобы, в нерешительности стоял на перроне, тщетно отыскивая Луку в толпе глазами. А Лука, в свою очередь, как угорелый носился в поисках спутника по перрону. И только после третьего удара станционного колокола и пронзительной трели оберкондукторского свистка спутники наконец увидели друг друга и молча, как по команде, бросились к тронувшемуся поезду.

Садиться пришлось в первый попавшийся вагон уже на ходу. Эту посадку оба незадачливых пассажира запомнили на всю жизнь. При акробатическом прыжке на подножку Егор Павлович едва не вывихнул левую руку и, уронив войсковой медный котелок, алюминиевую кружку и полуведерный, незаменимый в дороге эмалированный чайник, просто чудом удержал облицованный цинковой жестью полковой сундучок, на дне которого хранилась бережно завернутая в холщовое полотенце петиция.

Попав в битком набитый людьми вагон, Лука раздумал переодеваться в дороге, решив доехать в таком виде хотя бы до станции Сызрань-пассажирская. Дело в том, что в Сызрани он рассчитывал щегольнуть перед одной близкой сердцу его особой, хорошо знакомой ему еще по службе в городе Верном, бывшей горничной полкового врача Лизонькой Кувыкиной. Много с тех пор воды утекло, когда, состоя в писарях при штабе полка, Лука угощал Лизоньку пригоршнями свежего урюка, дарил ей на память духи «Нарцисс» и певал вполголоса под аккомпанемент штабной гитары романс про черную шаль... Старая это была песня. Но и по сию пору он вел с бывшей горничной переписку по образцам имевшегося в его распоряжении любовного письмовника, а нередко посылал ей письма и собственного сочинения, преимущественно в стихах, к которым он с малых лет имел пристрастие. Судя по последнему письму Лизоньки, она состояла теперь на какой-то легкой вакансии при станционном буфете города Сызрани и все еще вспоминала о тайных верненских

свиданиях, о свежем урюке, духах «Нарцисс», штабной гитаре и о нем, Луке. Так что на встречу с ней письмоводитель вполне надеялся и потому всячески норовил сохранить до приезда на Сызрань-пассажирскую столь обольстительный внешний вид.

Лука был уверен, что все от костюма его будут без ума. Однако, к великому его изумлению, Егор Павлович не только не выказал сколько-нибудь заметного одобрения по поводу ловко сидевшей на письмоводительской фигуре шикарной тройки, а наоборот, явно недружелюбно косился на него. Лука и не подозревал, что всем своим необычайно модным, непривычным для стариковского ока нарядом, а особенно изысканной вежливостью и перенятыми по старой памяти у штабных офицеров благородными манерами доводил он своего спутника до прямого озлобления, до бешенства.

В самом деле, искоса поглядывая с верхней полки на вертевшегося у окна письмоводителя, Егор Павлович просто диву давался, изумляясь его франтовству и такой разительной перемене во всех повадках — в походке, в говоре, в облике, в стати, откуда только все в нем и взялось! Так, пробираясь на остановках к выходу, Лука, проворно работая локтями среди сгрудившейся в проходе толпы мужиков и баб, вежливо улыбаясь, говорил:

— Извиняйте, конечно. Простите, то есть пардон...

Но больше всего Лука обозлил Егора Павловича тем, что, как только предстал перед ним в перелицованной тройке, при манишке, броши и двух галстуках, то даже и тогда, в момент незабываемой для обоих первой посадки на поезд, в суматохе, спешке и панике, обуявшей перегруженного разными вещами Егора Павловича,— даже и тогда начал вдруг Лука разговаривать с ним почему-то на «вы».

— Эй вы, Егор Павлович! Имайтесь, имайтесь скорей вот таким кандибобером за данную загогулину!— кричал он, уже прицепившись за поручни вагонной площадки, испуганно семенившему за поездом старику.

Все это возмущало степенного станичника.

И вот однажды ночью, когда извертевшийся за день у окошка Лука забрался на верхнюю полку и улегся на покой, Егор Павлович, не выдержав, раздраженно сказал ему:

— Што-то ты, Лука, погляжу я на тебя, уж шибко нотный какой-то стал? Просто не подступись теперь к

тебе чисто... Восподина, што ли, из себя какова коробишь?

— Хе. А вам, Егор Павлович, с меня удивительно?— спросил, помолчав, Лука с усмешкой.

— Ишо бы не удивляться! Очень даже удивительно...

— Напрасно. Вы, Егор Павлович, возможная вещь, несколько забываете, куда мы с вами едем?

— Я пока ишо крепко об этом помню. А за тебя вот, слышь, говоря по совести, што-то не шибко ручаюсь...

— Ах, какой пассажэ!— насмешливо воскликнул Лука.

— Ну, ты мне дурочку тут не при. Разговаривай со мной по-русски...— сердито предупредил его Егор Павлович.

— О нет, уважаемый Егор Павлович,— с пафосом произнес Лука.— Иногда, знаете ли, обстоятельства момента вынуждают прибегать в некотором смысле и к французскому диалекту. А особенно, конечно, в высшем обществе...

— Ну, мы ишо с тобой пока не высшее общество. Стало быть, и языком-то трепать свысока неча...

— Однако, смею заметить вам, Егор Павлович, не мешало бы перед предстоящей высокой аудиенцией сие запомнить, что вообще в придворных кругах принято большей степенью выражаться на французском наречии,— осуждающе строго заметил ему Лука.

— Мало ли што там ни принято. Я тебе не министр иностранных сношений — на всех чисто языках речи говорить. Я человек степной, открытый. Никаких твоих иностранных наречий, кроме кыргызского, не признаю. А на родном своем русском языке я тебе как угодно выражусь...— с мрачной решимостью заявил Егор Павлович.

— Охотно верую вам, Егор Павлович. Не спорю. Дискуссий на сей счет с вами не произвожу. Но учтите особенность предвходящего момента. Ведь нам предстоит с самим государем императором лично говорить!..

— Ну и што жа из этого? Государь должен любое наречье понять.

— Поймет, разумеется. Но тем не менее, выражаясь фигурально, мы должны будем при высочайшей аудиенции соблюдать соответственный моменту артикул и принятый этикет как по внешности нашей формы, так и по

обращению, штобы наша словесность не покоробила бы державный слух...— поучающе начал Лука.

— Забуровил!— презрительно остановил его старик.— Пардон! Удиенция! Артикулы! Атикеты! Ты меня этими иноземными словами твоими не соборуй; в грех, Лука, лучше не вводи. Хоть я и сознаю, што грешно мне в такую минуту пред исполнением священного долга выходить из себя и гневаться, да ничего, видно, не сделаешь— вынуждашь, приходится.

— Не понимаю вас...— передернул плечами несколько смущенный Лука.

— Не понимашь?— спросил Егор Павлович и сурово продолжал:— А понять надо, Лука. Ты вот меня нотному обхождению с государем императором учишь — это для моей малой грамоты, может, и впрок... Только пошто жа сам ты ведешь себя в такой час недостойно? Крутишься, вертишься на глазах у добрых людей, ровно кикимора...

— В чем же это все вы усматриваете?— с настороженной обидчивостью спросил Лука.

— Смотрю я на тебя и злобствую. Будто на блины ты к теще в город Петроград али на какой-нибудь машкарад едешь, а не челобитную от народа к императорскому двору везешь. Да ты не пыхти, не фыркай, не входи в сердца. Извиняй меня, но я люблю напрямки резать. Родителями покойными, царство им небесное, на том замешан. Правду в глаза всегда, кому хошь, скажу.

— Не думаю я серчать,— помолчав, уже тихо откликнулся Лука.

— Ну то-то... Я к чему это все клоню,— ровнее и спокойнее заговорил после передышки Егор Павлович.— А к тому и клоню, штобы вредну анбицию из тебя выбить. Вот што. Нам с тобой воспода станишники святыню доверили. Все народное горе с собой в полковом сундучке к царевым стопам везем. Как при этом надо себя соблюдать? Знаешь? Свято — вот как! Ведь это все равно што нас на боевой пост для охраны полковова знамя поставили: замри на месте с клинком наголо, отреши от себя земные мысли! Верно я говорю?

— Ну, скажем, правильные речи,— глухо отозвался Лука на вопрос Егора Павловича.

— А коли мои речи правильные, так ты и подумай, кака така ясна политика отсюда получается,— проговорил старик сурово и торжествующе.— Согласно этой по-

литике мы на сей раз по параграфу войскового устава должны себя соблюдать. Денно и нощно обязаны быть начеку, на карауле стоять. Так я эту политику понимаю. Ты об этом хоть раз подумал?

— Разумеется, размышлял-с... Я по данному вопросу все же некоторую умственность при себе, Егор Павлович, знаете ли, имею...— заносчиво ответил Лука.

— Ты уж извиняй меня, но што-то не похоже, штобы так дума в голову тебе ударила,— продолжал старик.— Я душевно тебя предупреждаю. Путя у нас с тобой ишо вся впереди — долгая, затруднительная. А ты вот на первых же порах, восподи благослови, меня подковать на ходу успел.

— То есть? Как это — подковать?— несколько робея, спросил Лука.

— А так, значит, што я из-за твоей, можно сказать, анбиции и горя уже хлебнул, и в расходе оказался. Так, например, благодарственно твоему костюму мы чуть вторично на поезд не опоздали — раз. А я в один секунд всей своей полковой стремлюдии лишился — два. Ить подумать надо, ни кружки теперь при мне, ни котелка, ни чайника! Вот и покукуй теперь в дороге-то без такого сурьезного сервизу до самого города Петрограда. А там одна алюминиевая кружка для меня чего стоит, цены ей нет! Она мне всю мою жизню на чужбине сопутствовала: и в полку, и в городе Верном верой и правдой служила, в походах и в битвах завсегда неотлучно при мне была... А чайник и вспоминать тошно...

— Надо, Егор Павлович, быть выше тому подобных мелочей земной жизни, как справедливо выражался по этому поводу один знаменитый греческий философ,— попробовал выйти из затруднительного положения Лука.

— Вона,— злорадно сказал старик.— Приехали. Я не знаю, как бы стал выражаться твой греческий философ, ежли запихать бы ево, сукина сына, вот на эту самую полку да девять ден до самого города Петрограда без чаю проманежить.

— Разве человека такой умственности данным образом запужаешь?— продолжал Лука.— Он и в бочке жил, да никогда не роптал и не сетовал на тому подобные неудобства.

— Нет, Лука. Не желаю я этого слушать. Брось ты меня смешить на ночь глядя. Посади тебя в бочку — ты не то ишо забуровишь. Я рад-радешенек, што хоть сун-

дучишко-то при мне в живности остался. Ну што бы, скажем, получилось из такой картины, ежли бы я эту оказию со всем с прошением на высочайшее имя потерял? Ить это бы полный позор тогда для нас. Стыд. Срамота одна...

— Да, знаете ли, это было бы в некотором роде не совсем, конечно, пикантно...— пробормотал Лука.

— Нет, Лука, никудышная твоя политика получается,— все в том же суровом, осуждающем тоне продолжал, как бы не слыша его, Егор Павлович.— Я так мыслю, што ко встрече с самодержцем всея России надобно бы нам подготовить себя духовно: сердце и разум молитвой укрепить, от нечестивых помыслов отрешиться и так оно и далее... Я гласный обет при напутственном молебствии перед нашим выездом из станицы царю небесному дал. Если, скажем, государь император внемлет нашим мольбам и ублаготворит через нас с тобой линейный народ наш по всеподданнейшему прошению, то я нонешней осенью в город Верхотурье к Симеону Праведному для молебствия схожу. Шестьсот с лишним верст туды и обратно в пешем порядке иселаю. Плюс неугасимую лампаду перед образом угодника в доме у себя до конца ден моих теплить буду...

— Я таковых сурьезных обязательств перед творцом согласно моей натуры взять на себя не могу...— признался, вздохнув, Лука.

— А я и не осуждаю тебя за это. Не осуждаю по то, што ты ить ишо на тако дело слабый духом. Тобой большей частью дурна плоть и нечиста сила руководствуют,— строго сказал Егор Павлович.— Но не в этом опять же обратно ить дело. Я к чему веду? А к тому, што при твоей умственности да при твоем живописном почерке, как справедливо говорят некоторые воспода станишники, тебе аж в личной канцелярии любого их сиятельства завсегда слободна ваканция найдется. Вникни в речи мои. Сыми с себя, ради бога, этот рататуй с бантиком. Облекись по примеру меня в форму сибирского нашего казачьего войска, ежли с пользой для общества к царским стопам припасть хочешь. Вот тебе последнее напутственное слово мое. Слышал? Вникай...

Лука не откликнулся. Но по тому, как притих, присмирел он вдруг, с головой укрывшись бобриковым своим дипломатом, Егор Павлович понял, что своим осуждением непристойного поведения спутника он цели достиг,

а поэтому, прекратив разговор, решил повыждать теперь, что из всего этого будет дальше.

На другой день Лука, поднявшись чуть свет, мигом переоделся в полковую форму, а тройку с манишкой, брошью и галстуками упрятал в походный вещевой мешок. Затем раздобыл у кондукторской бригады огромный, рассчитанный на артельное дело чайник, пулей слетал на первой же остановке за кипятком. Потом, ловко подъехав к сидевшему в тамбуре мрачному, неразговорчивому монаху, ухитрился выудить у него чуть ли не целую осьмушку фамильного чая и, приготовив завтрак, разбудил Егора Павловича.

— Чай?!— удивленно вытаращив на Луку заспанные глаза, вскрикнул Егор Павлович фальцетом.

— Так точно. Фамильный. С острова Цейлон. Ароматический,— бойко отрапортовал Лука.

— Вот за это я тебя, восподин одностанишник, чувствительно благодарствую,— весело сказал Егор Павлович, горячо обрадовавшись не столько чаю, сколько приятному для глаза внешнему виду письмоводителя и необычайной его услужливости.

Еще бы не радоваться было старику. Ведь перед ним снова был тот самый Лука, которого привык он видеть за долгие годы совместной полковой службы, за век, прожитый бок о бок с ним. Вот он снова душевно и просто стал говорить Егору Павловичу «ты», объясняясь с ним простым, доступным его понятию языком, и от трескучей, умопомрачительной тарабарщины, которой лихо щеголял письмоводитель только вчера, сегодня не осталось и следа. Как рукой сняло с Луки все его напускное щегольство и барство и все то непристойное кривляние, которым доводил он старика до бешенства.

«Ну слава богу, дело теперь, кажись, пошло на лад. Видно, постановил я его разумным словом на путь праведну!»— мысленно решил Егор Павлович, премного довольный тем, что откровенный разговор с Лукой не пропал даром. Егору Павловичу было лестно думать, что в разговоре этом вышел он победителем и что такой в конце концов дошлый, начитанный, разбитной и бывалый человек, каким выглядел в глазах его письмоводитель, выходит, и побаивался, и в то же самое время уважал его, полуграмотного, но не обиженного умом и жизненным опытом рядового казака Егора Бушуева.

Однако, несмотря на все это, Егор Павлович на вся-

кий случай решил поглядывать за дальнейшим поведением письмоводителя в оба. На то у него были довольно-таки серьезные основания: в канун выезда из станицы в Питер подвыпивший Лука выболтал ему о тайной переписке с Лизонькой Кувыкиной. И старик, догадываясь теперь о сокровенных намерениях спутника встретиться с давней своей возлюбленной на пути следования в Петроград, всерьез стал побаиваться, как бы это предстоящее свидание не по годам пылкого Луки с полковой его кралей не наделало бы новой беды. Вот почему больше всего страшился теперь Егор Павлович одного: как бы не проспать ему город Сызрань — место предполагаемой встречи Луки с его возлюбленной, как он говорил,— дамой сердца.

А между тем все пока шло у них теперь хорошо и гладко. Ехали они вполне спокойно, уютно, мирно. Баловались чайком. Резались с утра до вечера в подкидного, в три листика, в шестьдесят шесть. В сотый раз обсуждали обстоятельства предстоящей встречи и детали устного разговора с монархом. А по вечерам, в сумерках, завалившись на верхний свой ярус, пели вполголоса старинные войсковые казачьи песни. И это выходило у них так душевно, стройно и трогательно, что их расхвалил даже сам грозный с виду обер-кондуктор. А пассажиры, слушавшие степное казачье пение, охотно делились с полюбившимися им песельниками, кто чем мог: и фамильным чайком, и рафинадом, и астраханской селедкой, и леденцами, и моршанской махорочкой, и саксонским листовым табачком.

Словом, помирившись с письмоводителем и поближе сойдясь с пассажирами, старик совсем уже успокоился, и беспечным, почти увеселительным стал ему казаться теперь этот столь не близкий, доселе тревоживший его путь. «Теперь нам только бы Сызрань благополучно проехать, а там, бог милует, и до Питера доберемся в один секунд»,— думал Егор Павлович, украдкой поглядывая за Лукой и не менее десяти раз за день справляясь у кондукторов, точно ли по расписанию следует поезд и действительно ли вовремя прибудет он в эту самую Сызрань.

Но вот, прободрствовав всю последнюю ночь под Сызранью,— поезд прибывал туда на рассвете — Егор Павлович, как на грех, не выдержал, прикорнул головой к заветному своему сундучку и уснул. Случилось же это с ним в тот самый момент, когда поезд задержался у за-

крытого сызранского семафора. И надо же было случиться такой беде, чтобы он, этакий, прости господи, старый дурак, беспробудно продрыхал не только получасовую остановку в Сызрань-пассажирская, но и проехал бы еще бог знает сколько, если бы не разбудил его уже на ходу поезда обер-кондуктор. Дернув Егора Павловича за свесившуюся с верхней полки ногу, он крикнул:

— Эй ты, ваше благородье, господин казак! Спишь себе и в ус не дуешь. А подголосок-то твой, должно, за поездом без памяти чешет.

У старика похолодело во рту.

— Отстал, варнак?! Зарезал-таки. Усоборовал!— крикнул он не своим голосом, с грохотом сорвавшись на пол с верхней полки.— Нету... Остался... Зарезал он меня...

— А проездные билеты у кого из вас на руках имеются?— с профессиональной строгостью спросил у Егора Павловича обер-кондуктор.

— Билеты, воспродин старший, при мне обое...

— Тем хуже для отставшего.

— Што жа мне теперь, ваша высокородье, прикажете с ним, варнаком, иделать?— спросил старик.

— Это тебе, господин казак, виднее...

— Да у него, подлеца, главное дело, никакого капиталу на руках нету. Ему без меня до Питера ни в жизнь не добраться.

— Ах, он к тому же и без денег?! Совсем красиво. Тогда придется тебе, батенька, сняться с поезда на первой же остановке. Вертайся с первым же встречным поездом обратно в Сызрань-пассажирскую. А там небось друг друга разыщете...— посоветовал Егору Павловичу обер-кондуктор.

Раздумывать было некогда. И Егор Павлович, моментально сграбастав свои и письмоводительские манатки, не обращая уже никакого внимания на сочувственные возгласы и на многочисленные, как всегда в таких случаях, очень разноречивые советы пассажиров, вихрем вылетел в тамбур.

Вскоре поезд, резко замедлив ход, со свистом проскрежетал тормозами и остановился. Тогда, не теряя ни минуты, Егор Павлович изловчился и спрыгнул со всем своим багажом с площадки на землю. Но не успел он еще как следует оглядеться и опомниться, как поезд, звонко лязгнув буферными тарелками, снова рванулся

с места и, прогромыхав мимо Егора Павловича, бойко и ладно разговаривая колесами, пошел от него туда, в заманчиво синеющую в лесном просвете чужую зовущую даль.

Но каково же было удивление Егора Павловича, когда он, подозрительно оглядевшись вокруг себя, не заметил ничего такого, что хотя бы сколько-нибудь было похоже на обжитый разъезд, а тем более — на станцию. Пустынно и необычайно, по-полевому тихо было окрест. И только вправо, саженях в пятидесяти от себя, заметил Егор Павлович одиноко притулившуюся близ железнодорожного полотна небольшую казенного типа будку. Приведя в относительный порядок свой багаж, торопливо направился Егор Павлович к этой будке.

Неподалеку от будки рылся в снегу, окапывая занесенные штабеля шпал, маленький проворный старик. Егор Павлович подошел к старику и, приподняв над головой мохнатую казачью папаху, приветствовал его.

— Помогай бог, ваша степенство!— сказал он, кланяясь старику.

— Милости просим, добрый человек. Милости просим,— кивая в ответ Егору Павловичу, откликнулся старик.

— А это кака така будет станция?— спросил Егор Павлович.

— Игде это — станция? Здесь-то?

— Ну да. Здесь. Вот именно...

— Никакой такой станции, добрый человек, тут отроду не бывало и нету. Это в прежние времена здесь разъезд Кукуй значился, да как война открылась, так его и отменили. А я с тех пор в путевых обходчиках тут остался и по сию пору им при этой дистанции состою. Там мы с внучкой в будке и проживаем...— доложил словоохотливый старик.

— Вона каки таки дела-то?— промычал Егор Павлович, чувствуя, как опять он, должно быть, влип в историю, погорячившись и выскочив сдуру из поезда совсем не там, где было надо.

— Да ты куда, добрый человек, путь-то свою держишь?— заинтересовался старик.

— Я — далеко. В город Петроград, ваша степенство. Только мне бы вот прежде на Сызрань-пассажирскую сей секунд завернуть надо. Там у меня племяш при проволошном телеграфе в хорошей должности состоит. Сорок

семь целковых на месяц жалования получат. При казенной квартире. Карасин и дрова готовые...— начал было врать зачем-то Егор Павлович, но запнулся и, помолчав, спросил внимательно слушающего его деда:— А поезд-то обратно на город Сызрань скоро будет?

— Обратный товаро-пассажирский пройдет через нас завтра об эту пору. Только тебе он, добрый человек, ни при чем,— ответил старик со вздохом.

— Вот тебе на. Это пошто же так-то?— тревожно спросил Егор Павлович.

— А по то, что он здесь остановки не имеет, на сквозную идет.

— Дозволь, как жа это так не останавливается? Ить этого жа не должно ба быть... Ить сейчас только поезд стоянку себе здесь иcделал.

— Ну, этого я не знаю, почему так вышло. Не иначе как машинисту до ветру вдруг приспичило, вот и запнулся он тут около нас на один секунд...— сказал старик.— А так вообще, ежли согласно всех правил движения, то ни одному поезду стоять здесь теперь не положено. А я же их, правила-то эти, все знаю. Слава богу, не первый год на дороге служу...

Егору Павловичу крыть было нечем. «Ну, стал быть, тут мне и каюк, хана выходит. Ни на поезд обратно не сядешь, ни депеши, случай чего, отсюда воcподам станишникам по проволошному телеграфу не отобьешь. Достукался я с тобой, варнак»,— подумал он в заключение о Луке. И, чувствуя, как от бешеной злобы к письмоводителю снова заныло в животе, а от сознания собственной беспомощности опять стало холодеть во рту, на лбу же начал выступать холодный пот, он бессильно опустился на валявшуюся шпалу. И ничего не нашелся сделать в эту минуту Егор Павлович, как только извлечь из кармана туго набитый махоркой кисет — единственный его утешитель во всяком горе — и, развернув его на колене, глухо предложил старику:

— Ну што ж, присаживайся, ваша степенство, да давай закурим.

Через два дня Егор Павлович вернулся в Сызрань. Дорого далось ему это возвращение. Свыше двадцати верст прошагал он по шпалам. Обремененный багажом, выбившийся из сил, измученный, похудевший, усталый, кое-как добрался он с грехом пополам до сызранского

вокзала. Но и здесь ожидало его немало новых и не менее тяжких испытаний.

Ни на вокзале, ни в городе Луки не оказалось. Ухлопав на тщетные поиски письмоводителя около пяти суток, Егор Павлович наконец разузнал, что работавшая ранее судомойкой при станционном буфете Лизонька Кувыкина, бросив с месяц тому назад своего законного мужа, спуталась с кассиром товарной конторы и скрылась с ним из Сызрани в неизвестном направлении. Что же касается Луки, то это не кто иной, как он, судя по рассказам наблюдательных людей, продал с плеча какому-то татарину свой пиджак и, выправив в кассе новый билет до Ряжска, отбыл на другой день с почтовым поездом на розыски своего спутника...

Делать было нечего — пришлось с первым же попутным поездом броситься по горячим следам Луки. Однако на этот раз старику повезло. В Ряжске письмоводителя он таки настиг. Как потом выяснилось, Лука вынужден был высадиться здесь лишь потому, что денег, вырученных от продажи пиджака, хватило ему для оплаты проездного билета только до этой станции. А тут, по словам Луки, рассчитывал он раздобыть, на худой конец, еще несколько целковых, кои позволили бы ему в том случае, если бы не встретился он с Егором Павловичем, самостоятельно добраться до Петрограда.

Но благо еще, наткнулся старик на Луку в тот самый момент, когда в полутемном углу сумрачного зала III класса станции Ряжск грязный, измятый и порядком даже постаревший за дни одиноких странствий письмоводитель жарко торговался с неким монахоподобным старцем, стараясь всучить ему свой бобриковый дипломат.

Встретились Егор Павлович с Лукой молча. Вот когда, можно сказать, оба они, взглянув друг на друга, тотчас же утратили всякий дар речи. И не только в первые мгновенья этого свидания молчали они как убитые. Нет. Даже и позднее, когда, снова заручившись билетами, сели они в вагон и опять сразу же завалились на полюбившуюся им, напоминавшую домашние полати верхнюю полку, даже и потом, вволю выспавшись и успокоившись от пережитых потрясений, ухитрились отмолчаться наши путешественники, ни слова не сказав друг другу за всю дорогу от Ряжска до Петрограда.

15

В Петроград прибыли казачьи депутаты в сумерки. Но прежде чем отправиться на розыски расквартированного в окрестностях столицы особого сводного казачьего лейб-гвардии полка — в нем служили некоторые земляки, одностаничники Луки и Егора Павловича,— Егор Павлович завел своего спутника под темные византийские своды маленькой Иверской часовни, что стояла неподалеку от Аничкова моста. Поставив по свечке перед строгим ликом Николая-угодника — иконой древнего письма и наспех помолившись за успехи в делах предстоящих, спутники вышли на Невский.

Широкий, окутанный призрачной северной мглой проспект был ярко озарен огромными, точно плавающими в воздухе, электрическими шарами. Далеко-далеко в мутно-зеленоватый хаос холодного простора стремительно убегали золотистые, тревожно мерцавшие по обеим сторонам Невского цепи огней. Пролетали мимо рослые, наглые, накрытые голубыми сетками рысаки. Огромный, одетый в камень город наполнен был приглушенным, тяжко и грозно рокотавшим гулом, точно бушевала в гранитном чреве его какая-то темная, дьявольская сила, и страшным казался для непривычного уха этот мятежный гул... А там, вдали, в непостижимом хаосе проспекта, словно в великом степном просторе, овеянном вьюгой, беспрестанно вспыхивали голубые зарницы вольтовых дуг и совсем по-волчьи мерцали сквозь мглу зрачки трамвайных огней. Несмотря на расточительное изобилие света, Невский проспект тонул в тумане, теряясь в зеленовато-мутной болотной полумгле. И от людской толпы, лавой двигающейся по панели, и от мелькающих экипажей, и от наглых рысаков, стремительно проносившихся мимо одеревеневших на перекрестках городовых,— от всего этого на первый взгляд беспорядочного, почти панического движения, похожего на шальной, яростно бурлящий в гранитном русле поток, у Егора Павловича перехватило дух. «И как только тут люди живут? Ить эта же не город — вертеп!»— мысленно твердил старик, оторопело глазея то на огромные сияющие зеркальные витрины магазинов, то на волшебные вспышки световых реклам, то на светящийся циферблат башенных часов на каменной громаде петроградской городской думы. Вертеп! Таково было первое впечатление Егора Павловича

и Луки от огромного, точно объятого пожаром, овеянного арктической вьюгой города.

Депутации на первых порах повезло. Они сравнительно быстро, без особых приключений разыскали своих земляков, служивших в сводном полку императорской лейб-гвардии. А земляков в этом полку оказалось немало, начиная с рядовых гвардии и кончая самим командиром 3-й сотни, в которую входили исключительно сибирские казаки с Горькой линии, есаулом Булгаковым,— все это был народ свой, линейный. Молодой есаул Булгаков родился и вырос в одной из линейных станиц, где его отец в чине полковника долгое время занимал пост атамана первого военного отдела. Во время русско-японской войны старый Булгаков командовал 4-м Сибирским казачьим полком, и когда в знаменитой кавалерийской атаке под Вафангоу полковник был тяжело ранен в пах и едва не попал в плен к японцам, Егор Павлович Бушуев вынес вышибленного из седла командира с поля сражения и благополучно доставил его на своем коне в полевой лазарет. За спасение полковника от смерти и плена рядовой Бушуев был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и, кроме того, получил от выздоровевшего впоследствии полковника именной подарок: карманные часы польского серебра с боем и дарственной надписью на крышке и белый с галунами офицерский башлык. О подвиге Егора Бушуева хорошо знал и помнил сын полковника есаул Булгаков. Вот почему, когда дежурный по сотне вахмистр отрапортовал командиру сотни о прибывших одностаничниках, есаул, узнав о цели их приезда в столицу, распорядился приютить обоих сибиряков в казармах вверенной ему сотни и зачислить их на полное войсковое довольствие. А через два дня, вызвав Егора Павловича с Лукой к себе на квартиру и ознакомившись с казачьей петицией на имя царя, Булгаков сказал:

— Ну что ж, господа станичники, прошение у вас составлено по форме. Тут никаких возражений нет... Но вот что учтите. В России у нас одиннадцать казачьих войск, а мне хорошо известно, что за последнее время от всех этих войск к нам в столицу с подобными петициями на высочайшее имя прибывает по нескольку депутаций. Следовательно, из этого явствует, что нужду и лишения, о которых красноречиво говорится в вашей петиции, терпит сейчас не одно наше казачье войско на Горькой ли-

нии. Это во-первых. Во-вторых, рассчитывать на продвижение вашего прошения по назначению при такой ситуации в короткий срок, разумеется, не приходится. Напомню вам, что депутаты Семиреченских, Оренбургских, Забайкальских и Приамурских войск прожили в Петрограде свыше трех месяцев да так, ничего не добившись, вынуждены были воротиться ни с чем домой...

— Помилуйте, ваше высокоблагородие!— взмолился Егор Павлович Бушуев.— Неужели и нас ждет здесь така же горькая участь? Сами знаете — семьи дома остались у нас без хозяйского глаза. Все хозяйство — на бабьих руках. И так оно и дальше...

— Понимаю, понимаю, господа станичники,— участливо отозвался молодой Булгаков.— Трудно все же заранее предугадать волю монарха. Однако из уважения к вам и к родному мне войску я обещаю со своей стороны кое-что предпринять и помочь вам в быстрейшем продвижении вашей петиции по назначению.

— Чувствительно благодарствуем, ваше высокоблагородие,— горячо сказал Егор Павлович.— Только нельзя ли нам предстать перед государем лично?

— Возможность для личной встречи с царем не исключена,— ответил Булгаков, подумав.— Хорошо, я обещаю вам переговорить на сей счет с дворцовым комендантом, гофмейстером графом Воейковым. Он мне знаком по пажескому корпусу, где я имел счастье с ним обучаться... Словом, располагайтесь пока в казармах моей сотни, запаситесь терпением и ждите. Когда будет необходимо, я вас вызову.

Отблагодарив есаула и откозыряв ему, Егор Павлович с Лукой вышли из кабинета.

В казармы вернулись депутаты в приподнятом настроении. Повеселевшие, возбужденные, они, перебивая друг друга, рассказывали землякам о своем разговоре с Булгаковым. И гвардейцы, выслушав одностаничников, подтвердили, что ежели есаул изволил принять казаков столь приветливо и душевно — а такое редко бывало с ним,— то дело теперь, можно сказать, на мази, и в свидании с царем можно, пожалуй, не сомневаться.

16

Вечером, когда собрались в казарму все свободные от нарядов гвардейцы-одностаничники, Егор Павлович решил порадовать земляков домашним подарком. Старик

извлек из своего деревянного сундучка бережно завернутую в холстину бутылку первача, и земляки, усевшись в кружок, запировали. К бушуевскому первачу присовокупили затем гвардейцы пару бутылок заморского виски, что раздобыл пронырливый каптенармус Спиридон Крюков в одной из портовых таверн. А Макар Таранов — племянник Егора Павловича, выставил на стол красивую бутылку дорогого ликера. Два дня тому назад он украл эту бутылку на балу в особняке балерины Кшесинской.

— Я там в наряде при гардеробной находился. Вот и изловчился, спер...— простодушно признался Макар, дарствуя запировавшим одностаничникам столь редкостное по тем временам вино.

По предложению каптенармуса Крюкова все имевшиеся в наличии напитки были слиты в одну бутыль, а затем из всей этой дикой смеси был изготовлен тот самый «смерч», который пивали только по портовым тавернам матросы да прославившиеся своими кутежами на всю империю офицеры кавалерийских полков. «Смерч» удался на славу. И казаки, рванув этого огнеподобного напитка по первой чарке, сразу повеселели. Сначала грянули свою родную войсковую песню о Ермаке. А потом, когда сотенный запевала Фома Шугаев, горестно прикрыв очи, завел высоким, рыдающим на переливах голосом старинную песню линейных казаков о былых походах на Коканд и Хиву, у Егора Павловича навернулись на глаза слезы.

Эх, горы Андижана!
Вас мы видим вновь.
Ферганская долина —
Кладбище удальцов...

Егор Павлович знал, что лейб-гвардейский полк, в котором служили одностаничники, был прикомандирован к дворцовой охране и что казакам нередко приходилось нести караульную службу в Царскосельском, Гатчинском, Петергофском и Зимнем дворцах. Вот почему старик с нескрываемым благоговением смотрел на земляков, удостоившихся столь высокой чести, завидуя им в душе. А когда у захмелевших гвардейцев после второй чарки и песен окончательно развязались языки и они наперебой заговорили о дворцовых событиях и порядках, Егор Павлович, затаив дыхание, стал прислушиваться к этим разговорам. Но нехорошую, смутную тревогу посеяли в нем эти речи.

— Братцы!— крикнул рыжий трубач Роман Пер-

шин.— Слышали о происшествии в ресторане «Вилла Родэ»? Там вчера ночью чуть Гришку Распутина не убили.

— Да што ты говоришь?!

— Слово даю... Убить не убили, а изувечили старца на славу. Всю морду искровянили. И как только он с таким рылом теперь к государыне императрице покажется. Это его опять графья какие-то из-за одной дворцовой фрейлины усоборовали.

— Поди та самая, што он у министра внутренних дел Штюрмера отбил?— спросил гвардеец Агафон Веселкин.

— А может, и та. Черт их там разберет,— сказал, пренебрежительно махнув рукой, Роман Першин.— А как было дело? А дело было так, что я с третьим взводом донцов на усмирение туды попал. Што там было — Куендинска ярманка! Один граф пестиком его по сопатке вякнул. Я думал, не устоит наш отец Григорий. А он только крякнул и пошатнулся. А потом — раз с груди своей наперсный крест да как, слышь, этим крестом графа-то этого наотмашь по темени бацкнет, так тот аж сквозь всю мраморную залу винтом прошелся. А потом — бряк на парадной лестнице и глаза в поднебесье увел.

— Убил?!— изумленно воскликнул каптенармус.

— Не могу знать. Возможно и это,— сказал трубач.

— Вот собака. Ты скажи, кака рука у него, братцы, шибко тяжелая!

— Ну, это ишо што!— ввязался в разговор белобрысый гвардеец Фаддей Глебов.— Вот я вам сейчас расскажу, как его, варнака, на моих глазах в прошлом году митрополит Варнава с Митенькой Козельским в Петергофе дубасили.

— Это какой такой опять Митенька?— спросил каптенармус.

— Вот тебе на. Опять за рыбу деньги. Пятый год в гвардии служишь, а Митеньку Козельского не знаешь. Да ить он с начала войны при государыне императрице в начетчиках состоит. Блаженного из себя корчит. Отрок из Оптиной пустыни. Юродивый. За здравие цесаревича Алексея молится...

— А черт их там не разбирал!— сказал с досадой Макар Таранов.— Ихнего брата, дураков и блаженных, во дворце не перечтешь. Всех не упомнишь.

— Ну, ладно. Слушай, братцы, што я отрапортую,— продолжал Фаддей Глебов.— Словом, стоял я в Петергофском дворце на карауле, а митрополит Варнава, видать, в это время на приеме у государя был. Ну, кончился царский прием, выходит митрополит в коридор, а навстречу ему Гриша с юродивым. Встретился с ними Варнава и с места в карьер на Гришку. Еретиком, антихристом и так и далее начал его костерить. Не место, дескать, тебе, проходимцу, в царском дворце. Так. А Гришка слушал, слушал, шнырял, шнырял по митрополиту своими шарами да как потом по большой матери его тихим голосом пустит. Ей-богу, не вру, братцы. Это ить не попа вам по пьяной лавочке выматерить — митрополита.

— Вот и именно!— сказал трубач Таранов и зачем-то пронзительно дунул в свою трубу.

— Ну вот. Стою я на внутреннем карауле. Мое дело маленькое. Замер,— продолжал рассказчик.— А юродивый-то как завизжит не своим голосом и ни с того ни с сего — хоп на Гришку. Уцепился отрок в старцеву бороду — и пошел рвать. Гляжу, только вороные клочья из распутинской бороды летят. Гришка-то бык быком, а с дураком, вижу, не сладит. Ну, шум подняли, конешно. Отрок старца дубасит. А митрополит вокруг них волчком и не то молитву каку-то творит, не то проклятию Гришу предает — не поймешь. А тут откуда ни возьмись — фрейлина Вырубова. Это она за Гришей-то сама в Тобольск и в Абалакский монастырь ездила, когда его туда генерал Думбадзе из Черноморья выслал.

— Знам. Знам. Она теперь в любовницах при принце Ольденбургском состоит,— сказал Агафон Веселкин.

— Ты погоди про принца буровить. Дай человеку про Гришу доказать,— одернул вдребезги пьяного Агафона Веселкина каптенармус.

— А што про него доказывать. И так скрозь все известно — варнак, конокрад из Тобольской губернии. Земляк наш. Сусед, можно сказать!— крикнул фальцетом Агафон Веселкин, ткнув при этом под бок протрезвевшего Егора Павловича Бушуева.

— Вот тебе и мужик — чалдон желторотый. Не нашему брату чета. Всей империей правит.

— А говорят, он, слышь, и в грамоте-то ить не ахти как бойкой.

— Кака така там грамота — аз, буки да веди. Пишет как курица лапой. Двух словес не сочинит.

— А грамота тут совсем ни при чем, братцы,— убежденно сказал Макар Таранов.— Ить он — чернокнижник. Хлыст. Нечистая сила.

— А тогда ты скажи мне, трубач, за каку язву его все фрейлины любят?— допытывался изредка приходивший в сознание Агафон Веселкин.

— Ну, об этом ты у них спроси.

— Хватит, хватит на ночь глядя буровить, братцы. Давайте-ка лучше запьем все это для ясности,— сказал каптенармус.

И гвардейцы умолкли.

А у Егора Павловича Бушуева весь хмель разом из головы вышел от этих разговоров. Поникнув, старик думал с тревогой: «Боже ты мой, куды я попал? С ума, никак, спятили ребята. Эку ить околесицу про дворец несут... Наш брат, старики,[1] при патрете государь императора даже чихнуть в присутственном месте не рискнут. А они, сынки наши, таки тут речи ведут, аж под ложечкой ноет. Вот тебе и лейб-гвардия!» Но наряду с этими горькими мыслями тайный голос нашептывал старику: «А вдруг да все это на проверку сущей правдой окажется? Што ты скажешь тогда, воротясь домой, восподам одностанишникам?» Егор Павлович, стараясь заглушить в себе этот тревожный внутренний голос, мысленно твердил: «Нету, Нету. Не может этого быть. Брехня. Все брехня: и про тобольского конокрада, и про митрополита, и про юродивого отрока из Оптиной пустыни. Злоумышленный поклеп на императорский двор. Кощунство!»

Нет, не мог поверить Егор Павлович Бушуев в то, что какой-то неграмотный тобфльский мужик ворвался в святая святых, к русскому престолу и, поднявшись на царский трон, глумясь и издеваясь, вероломно правил теперь великой Россией. Он не знал и не мог знать того, что еще в начале девятисотых годов при дворе последнего из русских императоров стали в изобилии появляться какие-то темные проходимцы: отшельники и юродивые, блаженные странники и полусумасшедшие пророки — предсказатели будущего. Что, окружив царицу, они, предводимые тобольским конокрадом, стали влиять на безвольного царя, а в канун мировой войны — и на всю внутреннюю и внешнюю политику России. И если между 1900 и 1914 годами имя «царского лампадника»— таков

был придворный титул Распутина — приобрело широкую известность только в кругах так называемого высшего света и разговоры о похождениях Распутина дальше великосветских салонов не выходили, то в начале 1916 года о «царском лампаднике» заговорили во всех кругах, а слухи о его пьяных дебошах и оргиях начали проникать, несмотря на жестокую цензуру, даже в печать. О деятельности Распутина было сделано несколько запросов в Государственной думе, и Родзянко, председатель ее, имел в результате этого несколько бесплодных аудиенций у царя. Однако в народе, а тем более в далеких отсюда станицах на Горькой линии, ни о Распутине, ни о связанных с ним придворных интригах ничего в это время еще не знали. Вот почему разговор захмелевших гвардейцев и поразил Егора Павловича, и лишил его душевного равновесия.

Покончив с пиром, гвардейцы разбрелись по казарме. Было уже далеко за полночь. В казарме стояла могильная тишина. Все спали. Клевал носом и притулившийся около дверей на табуретке дневальный.

И только один Егор Павлович Бушуев не в силах был сомкнуть воспаленных глаз. Уже невнятно синел за окнами рассвет и слышен был приглушенный гул пробуждающейся столицы, а Егор Павлович продолжал ворочаться с боку на бок и вздыхать. Заметив проснувшегося раньше всех трубача Макара Таранова, старик не удержался и спросил:

— Слушай-ка, племянник, ты помнишь, что вы вчера про императорский двор буровили?

— А-а...— скучно зевнув, протянул нараспев Макар.— Припоминаю, конечно.

— Дак вы это как — не шутейно?

— Хе-хе. Чудной ты, дядя. Какие же могут быть шутки?

— Не верю я этому, Макар,— угрюмо сказал старик.

— Дело твое, дядя...

— Душа моя таких слов не принимат,— сказал после некоторого молчания Егор Павлович.

— Понимаю, што душа твоя не принимат. Не спорую, дядя. Знаю, не сладко тебе на старости лет слушать про государь императора такие речи. Да што ж тут поделать? На правду глаз закрывать не приходится. Мы и сами иной раз глазам своим тут не верили. А потом — ничего. Пообтерлись, пообвыклись. И все это нам теперь

не в диковинку. Поживешь вот ты в Петрограде, дядя, и ты много поймешь, много увидишь.

— Ох, не знаю, Макар...

— Ручаюсь, дядя,— убежденно и коротко заключил Макар, трезво и пристально посмотрев на поникшего в горьком раздумье дядю.

17

Спустя три недели в полку стало известно, что в связи с успехами 8-й армии Брусилова на юго-западном фронте в Петрограде предстоит, согласно воле царя, при участии всей царской свиты молебствие о даровании побед. Был слух, что молебствие должно состояться на Марсовом поле. Прослышав об этом, Макар Таранов сказал Егору Павловичу:

— Вот куды вам надо с Лукой во что бы то ни стало пробраться. Это самый подходящий случай для подачи прошения в личные руки царя.

— Што ты, Макар! На таком-то миру?!— испуганно воскликнул Егор Павлович.

— Вот в том-то и дело, что на миру. Цари это любят, дядя.

— Што — это?

— Ну, вот эту самую музыку — монаршью милость у всех на виду оказывать. Сам понимашь, дядя, ежли ты, скажем, простой казак, на глазах у всех осмелишься подойти к царской ложе и протянуть государю свою челобитную, неловко же будет ему отказаться и не принять от тебя прошение.

— Это, может, и так, племянник. Да ведь на таком-то миру и оробеть, стушеваться перед государем недолго.

— А ты не робей. Не тушуйся, коли на то рискнул.

— Не знаю. Боязно мне, Макар, что-то...— признался Егор Павлович.

— Ну, волков бояться — в лес не ходить. Да и не таков ты, дядя, чтобы робеть. Дело твое, конешно. Только я бы на вашем месте таким случаем не попустился.

— Легко сказать — не попустился. А попробуй сунься, дак туды нашего брата ишо не скоро и допустят.

— Ну, насчет допуску — ерунда. Допуск туды вполне слободный. Правда, билеты громадного капиталу стоят. Не поверишь, за само никудышное место надо такие деньги выложить, что можно бы пару меринов с упряж-

кой справить. Понятно, что нашей нации такая охальщина, конешно, не по карману. А потому там, на этих трибунах, во время молебствий и парадов скрозь одна высшая знать находится — графья да графини друг на друге сидят. Да вам на этих ярусах и делать с Лукой будет нечего.

— Это пошто?

— А по то, што с ярусов вам потом до царской ложи никак не добраться. Правда, зрить будете оттудова все ясно, как на ладони, а к царю не подступишься. Вот ежли бы вы с Лукой особый ярлык, с голубым кантиком, достали — это было бы да!

— Это што за ярлык?

— Пропуск такой. За личной подписью придворного обер-церемониймейстера барона Корфа. С таким ярлыком тебя куды хошь пропустят. Это — раз. А потом, заметь, што прохождение войск по церемониальному маршу откроют две казачьих сотни нашего полка, а две будут нести караул у царской ложи — это два. И ежли, на ваше счастье, попадет в караул наша сотня, то тут уж царь от нас не уйдет — это три. Мы ить тогда из любой беды вас выручим. Видал!

— Все это ловко, племянник, придумано. Только через каку путь мы ярлык добудем?— спросил, помолчав, Егор Павлович.

— Путь одна. Через командира нашей сотни есаула Булгакова. Если он захочет — тяп-ляп, да и клетка. Он это может.

А через день после этого разговора старик был вызван вместе с Лукой к Булгакову. Булгаков встретил станичников довольно радушно и приветливо.

— Ну-с, как вы себя чувствуете, господа станичники?— весело спросил есаул.

— Покорно вас благодарствуем, ваше высокоблагородие,— ответил Егор Павлович.— Но полагаем, что насчет нашей чувствительности разговаривать много не приходится. Сами знаете — весна не за горами. Дома — хлопот полон рот. Сев на носу. А вот томимся тут. Нам этот Питер, как говорится, уже все бока повытер.

— Ну, ничего, ничего, земляки. Все образуется,— сказал есаул, улыбаясь.— Могу вас порадовать. Прошу дней через пять подготовить себя во всех отношениях к возможной встрече с царем.

При этих словах Булгакова Егор Павлович и Лука,

встрепенувшись, вытянулись, как по команде, во фронт и замерли, вслушиваясь в медлительную речь есаула.

— Только из глубочайшего моего уважения к вам и к родному мне войску с Горькой линии, достойными сынами коего вы являетесь,— продолжал есаул,— я постарался достать для вас особые пропуска за личной подписью барона Корфа. Получайте,— сказал Булгаков, и он протянул Егору Павловичу с Лукой особые пропуска на веленевой бумаге с двуглавым орлом, окантованные голубой каймой. И Егор Павлович понял, что это те самые пропуска, о которых толковал ему племянник.

— С этими пропусками вы беспрепятственно пройдете к левому крылу царской ложи. Караульную службу около ложи будут нести казаки моей 3-й сотни, и потому вас там никто не станет тревожить. Понятно?

— Так точно, ваше высокоблагородие,— в голос ответили Егор Павлович с Лукой.

— Дальше,— продолжал есаул.— Я лично все это время буду стоять на своем коне неподалеку от хора трубачей. Оттуда, где будете находиться вы, вам будет отлично меня видно. После церемониального прохождения войск конница выстроится в резервную колонну вдоль всего Марсова поля. Вот в эту минуту вы и должны будете особо следить за мной. Я вам подам такой знак: коснусь правой рукой левого погона, и вы смело выходите вперед по направлению к царской ложе. Близко не подходить. Остановитесь против царя на двухсаженной дистанции. Встанете, разумеется, по команде «смирно». Если за это время царь не спросит вас о том, кто вы такие и что вам нужно, то один из вас — это уж вы сами договоритесь — кто,— берет руку под козырек и докладывает государю...

— Помилуйте, ваше высокоблагородие!— взмолился Егор Павлович.— А по какому артикулу докладывать государю?

— Ну, речь я для вас, пожалуй, отпечатаю на машинке. Вам придется выучить ее наизусть. А когда выучите, бумажку можете уничтожить.

— Это будьте покойны, ваше высокоблагородие. Следов не оставим,— сказал Егор Павлович.

— Так точно. Ежли угодно вашему высокоблагородию, то я, в случае чего, могу ее даже проглотить,— сказал Лука.

— Как проглотить?— удивился есаул.

— Он это может,— сказал, кивнув на Луку, Егор Павлович.

— Так точно, могу,— подтвердил Лука.— Я, ваше высокоблагородие, двенадцать лет письмоводителем при станичном правлении состою. Каюсь, не один раз приходилось глотать мне в спешном порядке некоторые бумаги. Сами знаете, с каким варначьем на Горькой линии дело иметь приходится.

Вдоволь нахохотавшись над заявлением письмоводителя, Булгаков сказал еще несколько напутственных слов станичникам на прощанье и вежливо выпроводил их из своего кабинета.

....Через пять дней, в канун торжественного молебствия при участии войск и царя на Марсовом поле, Егор Павлович провел тревожную, бессонную ночь. Он еще с вечера нарядился в свою войсковую форму — старомодного образца мундир с галунными нарукавниками, синие суконные шаровары с алыми лампасами, опойковые сапоги со скрипом и огромную мохнатую баранью папаху. На траурном фоне папахи отчетливо выделялась серебристая кокарда, а чуть повыше кокарды голубел флажкообразный значок с надписью: «За штурм Андижана!»

Возбужден в эту ночь старик был необычайно. Он не находил себе места. Промыкавшись кое-как с грехом пополам до рассвета, Егор Павлович поднял чуть свет Луку и приказал ему одеваться.

Несмотря на то, что до начала молебствия на Марсовом поле оставалась еще добрая четверть суток, станичники, по совету земляков, поспешили пробраться туда пораньше. Они и в самом деле явились бы туда довольно рано, если бы не дернула нечистая сила Егора Павловича довериться письмоводителю. Вся беда была в том, что старик худо ориентировался в столице. Лука же держал себя так, точно ему уже известен был в этом огромном городе каждый закоулок. И из-за этой хвастливой осведомленности развязного письмоводителя едва не погубил Егор Павлович в последнюю минуту всего дела.

Наблуждавшись досыта, намыкавшись по огромной столице, станичники попали на Марсово поле лишь в двенадцатом часу дня, когда там уже шумели тысячные толпы народа. Но прежде чем добраться до своего места, Егору Павловичу с Лукой суждено было пройти еще немало испытаний. Им пришлось преодолеть несколько контрольных постов придворной полиции, весьма подо-

зрительно и придирчиво присматривавшейся к странным обладателям особых пропусков за подписью самого Корфа. Битый час мотали станичников жандармы, препровождая их под конвоем, как арестантов, от одного начальника к другому до тех пор, пока не попали они наконец к камергеру двора гофмейстеру Лерхе. Камергер, тщательно ознакомившись с документами казаков и убедившись в их подлинности хотя и покосился на станичников с опаской, однако допустить их на места, указанные в пропусках, разрешил.

Места у Егора Павловича с Лукой оказались и в самом деле знаменитые. Жандармы поставили их по левую сторону от того места, где находилась царская свита, как раз позади той линейки, на которой выстроились знакомые гвардейцы. А Егору Павловичу совсем повезло. Он оказался в затылке у своего племянника Макара Таранова и на таком расстоянии, что мог даже чуть слышно сообщить ему о своем благополучном прибытии, на что Макар, не оборачиваясь к дяде, полушепотом ответил:

— Ну, смотри в оба, дядя. Не зевать.

«Зевать не приходится»,— подумал Егор Павлович, не сводя глаз с раскинувшегося перед ним Марсова поля.

День выдался ясный, и Егор Павлович, устремившись всем своим существом в глубь Марсова поля, видел, что там, сверкая на солнце гренадерскими касками, оружием гвардейских драгун и обнаженными палашами кавалергардов, замерли в развернутом фронте войска. Фронт кавалерии, вытянувшийся почти во всю длину поля, поражал резким росчерком ярких, красочных линий — голубой, золотистой, оранжевой. Не только форма всадников, но и масти их лошадей были подобраны по полкам и по эскадронам. Здесь выстроились белые от наплечных ментиков царскосельские гусары, голубые атаманцы, синие уланы, мрачные гренадеры, алые драгуны и серебристые кавалергарды.

Заглядевшись на гренадерские каски с гардами из вороных конских хвостов, на бамбуковые пики улан с цветными флюгерами на кольях, и Егор Павлович и Лука прозевали момент появления царя. Пока они, разинув рты, глазели на мрачное головное убранство гренадер, со стороны Летнего сада выехал царь на белом коне в со-

провождении трубача и собственного конвоя, следовавшего несколько поодаль от него на серых ахалтекинцах.

Егор Павлович увидел царя, когда тот, спешившись, направился в окружении своей свиты к ложе. Однако у самого входа в ложу произошла какая-то заминка, и царь был вынужден остановиться как раз саженях в пяти от сибирских посланцев. Рассеянно озираясь по сторонам, он обратил внимание на гигантские папахи сибиряков.

И Егор Павлович, встретившись со взглядом царя, чуть не ахнул. Слишком уж обыденным, невзрачным, лишенным привычной портретной торжественности показалось Егору Павловичу это окантованное окладистой каштановой бородкой, несколько заостренное, с неприятным землистым оттенком лицо царя! Это было странно, но больше всего поразило и испугало старика удивительное сходство царской фигуры с одним хорошо запомнившимся Егору Павловичу еще по полковой его службе вахмистром Семеном Гроболевым, выбившим однажды ему на уроке словесности коренной зуб... Ни ростом, ни выправкой, ни осанкой — ничем не прельстил самодержец всея Руси Егора Павловича Бушуева, ошарашенно глазевшего теперь на царя в упор. И только тускловатый блеск неподвижных, иконописных, византийских глаз русского императора внушал нечто похожее на порабощающий страх.

Таково было первое впечатление и Егора Павловича Бушуева и Луки Иванова от Николая II.

— Двигайте, двигайте. Не робейте...— шепнул, не оборачиваясь к Егору Павловичу, стоявший на карауле племянник.

И Егор Павлович, машинально дернув за рукав Луку, тронулся деревянным шагом в сторону царя и его свиты.

Все это произошло, видимо, столь неожиданно для царя и столь быстро, что ни сам он, явно струхнувший в это мгновенье, ни один из членов блестящей императорской свиты,— никто из них не успел даже обмолвиться словом. Царь, вопросительно и испуганно взглянув на начальника личной охраны, рослого барона Фредерикса, хотел, должно быть, задать ему какой-то вопрос, но в это мгновенье два бородатых казака в огромных черных папахах встали как вкопанные перед ним на саженной дистанции, и один из казаков, взяв под козырек, отчетливо произнес:

— Ваше императорское величество!

Выдержав маленькую паузу, Егор Павлович продолжал:

— ...Мы есть казаки первого военного отдела Сибирского казачьего войска, подшефного августейшему нашему атаману цесаревичу Алексею Николаевичу. Мы прибыли в столицу Российской империи по приговору пяти казачьих станиц Горькой линии для подачи всеподданнейшего народного прошения на высочайшее ваше имя. Престарелые отцы и матери русских воинов, проливающих на поле брани горячую свою кровь, бьют челом перед вашим императорским величеством и приносят к стопам вашим жалобу на наказного атамана Сибирских казачьих войск, наместника Степного края, Акмолинского генерал-губернатора Сухомлинова... А посему дерзаем просить высочайшего дозволения принять от нас в державные руки сию всеподданнейшую гербовую бумагу, на коей изложены наши верноподданнейшие чувства, изложенные в сей петиции...— заключил наконец вспотевший от напряжения Егор Павлович свой наизусть заученный рапорт. И он тут же, не дожидаясь ответных слов потупившегося царя, решительно выступил вперед и молча протянул слегка отпрянувшему при этом назад Николаю II перетянутый крест-накрест махровым шнуром и припечатанный сургучом пакет с петицией.

Никак, видимо, не ожидая такой прыти от казака, царь на мгновение заколебался — он не знал, брать ли ему в руки протянутый казаком пакет или не брать. Некое подобие очень смутной, жалкой улыбки вспыхнуло на его лице. Царь вопросительно посмотрел на стоявшего по правую руку от него барона Фредерикса, и тот, поняв его затруднение, вполголоса сказал:

— Рекомендую принять, ваше величество.

И царь с какой-то неестественной поспешностью, почти рывком взял из руки Егора Павловича пакет, тотчас же передав его, впрочем, Фредериксу. Затем, подняв на Егора Павловича свои тускло поблескивающие глаза, царь таким же тусклым и глуховатым голосом спросил:

— Скажи, сибиряк, что это у тебя за знак на папахе над кокардой?

«Пытат он меня али в самом деле не ведат?»— с тревогой подумал Егор Павлович и бойко ответил:

— Сей знак, ваше императорское величество, дарован нашим отцам ишо покойным дедушкой вашим, в бозе

почившим императором Александром Вторым в одна тыща восемьсот семьдесят пятом году при покорении Кокандского ханства за штурм бусурманского города Андижана. А за взятие приступом крепости Хаки-Хават,— продолжал, не переводя дыхания, чесать Егор Павлович,— наш первый Сибирский казачий полк кроме сего знака получил в награду от усопшего императора четыре серебряных сигнальных трубы с дарственной надписью золотыми буквами: «За доблестное прославление русского оружия и за отменную храбрость при взятии Хаки-Хавата». Нам же сии наградные знаки перешли от предков по наследству...

— Храбрые были у вас предки. Похвально.

— Так точно, ваше императорское величество. Весь Туркестан покорили. Смирили ханов Коканда и Бухары...

Совсем неожиданно царь сказал, присматриваясь к Егору Павловичу:

— А я тебя, казак, как будто бы где-то видел.

— Вполне даже могло быть, ваше императорское величество,— совсем бойко ответил Егор Павлович.

— Где же?— несколько оживившись, спросил царь.

— В станице Пресновской, Акмолинского Степного генерал-губернаторства, ваше величество.

— Это когда же?

— В одна тыща восемьсот девяносто первом году, когда ваше величество, будучи наследником престола, изволили проезжать по Горькой линии из иноземной Японии в Петербург... Только осмелюсь удивиться, как я мог удержаться в высочайшей памяти вашего величества.

— На лица-то у меня память хорошая,— сказал царь.

— Осмелюсь доложить,— продолжал подогретый разговором царя Егор Павлович,— что в бытность вашего величества в станице Пресновской я возле вашей юрты караул нес. Я наруже под ружьем стоял, а ваше величество в этой юрте на кыргыцкой кошме сидели. Затем вы изволили выйти из юрты и увидели саранчу на кибитке. «Это что за тварь?»— изволили вы спросить меня. И я отрапортовал, что это, мол, саранча, или, как говорится, кобылка, ваше величество. Засим, согласно высочайшей воле вашей, я изловчился и кобылку поймал. А ваше величество полюбопытствовали на нее со стороны и соизволили выдать мне золотой пятирублевик...

Разойдясь, старик хотел было напомнить царю еще

кое-какие детали о его пребывании на Горькой линии, но в этот момент долговязый барон Фредерикс, заслонив от Егора Павловича собой царя, вполголоса заговорил с ним о чем-то. И царь, тотчас же, видимо забыв про бородатого казака, повернулся к нему спиной и направился в ложу.

Вернувшись на свои прежние места, Егор Павлович с Лукой облегченно вздохнули. Слава богу, все окончилось хорошо, и долг свой перед станичниками они с честью выполнили.

Но не успели станичники прийти в себя после только что пережитого ими, к ним подошел высокий гвардейский офицер с птичьим лицом, и очень учтиво, но в то же время подчеркнуто требовательно вполголоса сказал:

— Потрудитесь-ка, братцы, последовать за мной.

— Это куды, ваше благородие?— простодушно осведомился Егор Павлович.

Но офицер ничего не ответил на это и так неприязненно и властно скосил на станичников свои зеленоватые птичьи глаза, что казаки, покорно повинуясь воле его, молча последовали за офицером.

Через час Егора Павловича с Лукой ввели под конвоем четверых незнакомых им казаков в просторную, голубую от дорогих обоев и сигарного дыма комнату. Растерянно оглядевшись по сторонам, станичники заметили молча стоявшего в глубине комнаты за легким ломберным столиком белого от седин и неподвижного как камень генерала. И вот, взглянув на холеное, одутловатое лицо, на тяжелые, полузакрытые веки и на тонкий орлиный нос этого генерала, Егор Павлович похолодел, словно коснулись его сердца ледяной бритвой.

Узнал генерала и Лука. Перед станичниками стоял наказной атаман Сибирского казачьего войска, наместник Степного края — генерал от кавалерии Сухомлинов.

— Так-с, господа челобитчики...— сказал Сухомлинов. И он, стремительно метнувшись к письменному столу, почти упал в кресло, развернул перед собой лист гербовой бумаги и, близоруко прищурившись, принялся бегло просматривать написанное.

Егор Павлович и Лука стояли, вытянувшись во фронт, ничего уже не видя перед собой, кроме этого мелко подрагивающего в генеральских руках развернутого листа гербовой бумаги — петиции, час назад врученной ими в личные руки царя.

В комнате стояла гнетущая тишина. Слышен был стук часового маятника. Сухомлинов, звучно посасывая дорогую гаванскую сигару, продолжал вчитываться во всеподданнейшее казачье прошение. Наконец покончив с чтением петиции, Сухомлинов поднял на вытянувшихся перед ним станичников свои холодные свинцовые глаза и, немного помедлив, все тем же притворно спокойным тоном спросил:

— Ну-с, господа станичные депутаты! Так на кого же это вы жаловаться государю в Петроград приезжали?

У Егора Павловича пересохло в горле, но он, сделав усилие, твердо ответил:

— Выходит — на вас, ваше высокопревосходительство.

— Ах, вот как!— с деланным удивлением сказал Сухомлинов.

— Так точно. На вас,— совсем твердо выговорил Егор Павлович.

— Так. Так. Так...— задумчиво проговорил Сухомлинов. И, покусывая свой короткий серебряный ус, не спуская серовато-свинцовых глаз с побледневших станичников, он, вчетверо свернув их петицию, стал не спеша рвать ее на мелкие части.

У Егора Павловича запеклись губы. Кровь прилила к его вискам. У Луки дрожали и подсекались ноги. С трудом сдерживая себя от обуявшего его бешенства, Егор Павлович прикусил язык и на минуту полусмежил веки. Он уже не видел, а только слышал теперь, как трещала в руках губернатора бумага.

Разорвав на мелкие части казачью петицию, Сухомлинов брезгливо швырнул зажатые в кулак клочки в стоявшую у него под столом мусорную корзину, а затем сказал:

— Итак, господа станичники, круг замкнулся. Больше вам жаловаться теперь некому. Все... Теперь пока вы свободны, но в течение двадцати четырех часов я приказываю вам покинуть столицу. Об остальном же будем разговаривать с вами, милостивые государи, там, на Горькой линии, дома.

Затем на резкий звонок Сухомлинова в дверях появился уже знакомый станичникам офицер с птичьим лицом. Кивнув в сторону казаков, Сухомлинов распорядился:

— Проводите этих мерзавцев,

18

В канун масленицы всполошило бушуевский дом недоброе известие. В этот тихий, слегка уже припахивающий близкой весной денек пришли с фронта тревожные письма. И в каждом из этих писем сообщалось о без вести пропавших казаках — Иване Сукманове, Якове Бушуеве и Денисе Поединке.

Одновременно с письмами фронтовиков в станичном правлении была получена официальная бумага из штаба 4-го Сибирского казачьего полка, подтверждающая дезертирство этих упомянутых казаков. Начальник штаба полка есаул Катанаев ставил в известность станичного атамана о факте побега этих трех казаков и предупреждал последнего, что вышеозначенные дезертиры в случае их обнаружения подлежат немедленному аресту и преданию военно-полевому суду. В постскриптуме есаул Катанаев рекомендовал станичному атаману немедленно привлечь к ответу за сыновнюю измену царю и отечеству и родителей дезертиров, избрав для оных меру наказания по усмотрению самого станичного общества.

Эта черная весть поставила на ноги всю станицу. В полдень на всех перекрестках, в крепости, у станичного правления, на площади — везде и всюду толпились ошарашенные старики. По улицам шныряли вооруженные шашками бородатые обходные, шмыгали из двора во двор юркие, податливые на всполох бабы.

На улицах стоял возбужденный, глухой, подавленный разговор.

Тихо было только в доме Бушуевых. В просторной, чисто прибранной горнице собралась вся немногочисленная, скликанная бедой бушуевская семья. Здесь были все, за исключением старика, от которого не было никаких известий ни с дороги, ни из далекого Петрограда. Здесь была еще более постаревшая, на глазах осунувшаяся, маленькая, высохшая от скорби Агафьевна. Здесь была никогда не унывавшая прежде, но сейчас тоже пригорюнившаяся, собравшаяся в комок Варвара со своими притихшими детьми Тараской и Силкой. Здесь была и присмиревшая и еще, кажется, более похорошевшая в минуту тревоги Настя.

Все сидели молча, поникнув, не проронив ни слова. Не мигая, смотрели бушуевские внучата на оскорбленно сгорбившуюся бабку и чувствовали, что случилось что-то

опять неладное. Недаром же так безутешно и тихо роняла мать в концы кашемирового подшалка крупные слезы.

Пахло свежей известкой, геранью, лампадным маслом и еще не просохшим, чисто выскобленным сосновым полом. Печально и тонко звенели где-то на кухне водяные капли, мерно падающие из медного, ярко начищенного рукомойника в порожний оцинкованный таз. Строгий уют и почти до скуки келейная чистота были здесь во всем, от чисто вымытых потолков до коленкоровых оконных занавесок.

Все бушуевские домочадцы сидели молча, погруженные в самих себя, точно прислушиваясь к собственной внутренней тишине, позабыв друг о друге. И никто, кроме Тараски, не заметил бесшумно вошедшего в горницу дряхлого заспанного кота. Кот постоял в нерешительности посреди горницы, с недоумением посмотрел своими зелеными глазами на хозяев и вышел вон тем же неслышным и легким шагом.

Долго еще, может быть, просидели бы так неподвижно бушуевские домочадцы, не ворвись в дом их сосед, туговатый на ухо старик Трифон Прахов, несший в этот день дежурство в станичном правлении. В стоптанных опорках, в драных форменных шароварах с выцветшими лампасами, весь какой-то взъерошенный и измятый, Трифон влетел в горницу так, точно занесло его сюда ураганом. Он хлопнулся с разбегу рядом с Агафьевной на софу и, беспокойно озираясь по сторонам, вполголоса зачастил:

— Вот грех какой. Вот ишо происшествия. Нажил, должно быть, Яков Егорыч на фронте лихой беды. А какой казак был! Хват. Орел — не воин.

Все молчали. И Трифон, переходя на полушепот, скороговоркой сообщил:

— Сейчас сам атаман военного отдела полковник Скуратов в станишно управление прибыл. Шальной. Спаси, матерь божья. Чуть не нагишом в присутственное место явился. Говорят, прямым маршем из муганцевской бани. У него аж банный лист в бороде застрял... Прилетел. Орет. Мать-перемать. И так и дальше.

— Што ж он говорит-то?— спросила глухим, не своим голосом Варвара, не глядя на Трифона.

— А што говорит. Приказал подавать ему сродственников,— ответил строгим голосом Трифон.

— Это каких же сродственников? Батюшку? Так его вить и след простыл,— сказала Настя.

— То-то и оно, что не в батюшке дело,— ответил в некотором смущении Трифон.

— А ишо в ком же?— спросила, насторожившись, Варвара.

— То-то и оно, что приказал сношку доставить,— сказал Трифон, обращаясь не к Варваре, а к Агафьевне.

— Господи боже мой, а сношка-то тут при чем?— всплеснув руками, воскликнула Агафьевна.

— А ты вот пойди потолкуй с ним. Вылупил шары и орет — подавай ему сродственников. Ему уже толковали там старики, что родителей-то, мол, у провинившихся казаков нету. Один, дескать, преставился в прошлом году на троицу. Другой — в городе Петрограде с казачьим прошением как в воду канул... Ну, а он одно свое — подавай сродственников. Вот и ее привести велел,— сказал Трифон, указывая на Варвару, но продолжая разговаривать с Агафьевной.

— Ну уж на этом пусть извинит. Я к нему не пойду,— сказала Варвара глухим, подчеркнуто спокойным голосом.

Трифон даже опешил. Глядя в упор на смуглое красивое лицо бушуевской снохи, старик долго смешно и жалко помигивал бесцветными полуосыпавшимися старческими ресницами, разинув от изумления щербатый рот. Однако, оправившись от смущения, он вдруг прикрикнул на Варвару:

— А я знать ничего не знаю! Приказано привести — и приведу. Собирайся, сударушка. Да поживее. Без разговоров!—отрезал Трифон и сам удивился тому, как это мог он выговорить столь грозные слова.

— Ого! Да ты, выходит, дед, с бабами-то ишо храбрый?!— сказала Варвара и так при этом посмотрела на Трифона, что тот даже на секунду прикрыл глаза.

— Нет, сношка, ты уж ступай, коли требуют,— ласковым и слезливым голосом сказала Агафьевна.— Опомнись. Мысленно ли нам в такой час перечить самому отдельскому атаману?!

— В какой такой час, мамаша?— с тем же спокойствием спросила свекровь Варвара.— С каких это пор жена за мужа стала ответчицей? За какие такие грехи? Али я его уговаривала с фронту бежать, али я его соблазняла?

— От такой все может быть. Известно, баба — полный туес греха,— сказал Трифон.

— Ну, ты, дедушка, староват насчет этих грехов рассуждать,— зло сверкнув на деда глазами, сказала Варвара.— Сказано — не пойду. И все тут. Не приставай. Отправляйся к своему атаману и докладывай. Понял?

Старик аж привстал с софы и вытянулся перед ней, как в строю.

— Смирись, голубушка. Покорись. Не губи ты нас. Сходи. Не съедят они там тебя...— продолжала уговаривать сноху, глотая слезы, свекровь.

— Ну, полно, полно, мамаша,— с легкой досадой в голосе сказала Варвара.— Не малое я ведь дите, слава господу богу. Знаю, что делаю. Не уговаривайте. Никуда не пойду,— повторила Варвара по-прежнему твердо и решительно, искоса глянув при этом на потупившегося Трифона.

Комкая в сухих маленьких пальцах концы заношенного ситцевого платка, Агафьевна умоляюще глядела на потемневшее лицо снохи, намереваясь сказать ей что-то еще, но, не найдя нужных, более сильных и убедительных слов, она только судорожно пожевала выцветшими губами.

Растерявшийся Трифон нетерпеливо переступал с ноги на ногу, ошарашенно озираясь по сторонам. А Варвара, как ни в чем не бывало, деловито тряхнув передником, прошлась девичьи легкой походкой по горнице и остановилась около висевшего в простенке древнего зеркальца. Не обращая внимания на присутствующих, она тут же с напускной внимательностью стала разглядывать свое лицо, отраженное потускневшей от времени амальгамой... Из полумглы, отраженные зеркальцем, смотрели чьи-то, как ей казалось, необыкновенно чужие, далекие глаза...

Все присутствующие в горнице молчали. Никто из них не мог догадаться сейчас о том, что переживала Варвара, узнав о пропавшем без вести муже. Нет, решительно ничто не выдавало в ней в эту минуту обуревавших ее сложных чувств: ни страха перед грозившей атаманской немилостью, ни горечи об утраченном муже, ни тревоги за его судьбу, ни сколько-нибудь заметного волнения. Никогда не открывала Варвара свое сердце для чужого глаза. И только один человек из бушуевской семьи, золовка Варвары — Настя, по-девичьи горячо и преданно любив-

шая свою сноху,— только одна она иногда, казалось, постигала тайну Варвариной души. Вот и сейчас, пристально глядя на сноху посиневшими своими глазами, заметила Настя, как неярко озарились вдруг румянцем щеки Варвары и как слабо потом, почти незаметно, дрогнули при беглом взгляде на полковую карточку мужа густые и острые, как осока, ее ресницы. И Настя поняла, почувствовала, что Варваре не по себе. Что дорогой ценой покупала сейчас Варвара это надменное свое спокойствие и что бесполезно уговаривать ее теперь повиноваться атаману.

...Позднее, оставшись в горнице одна, Варвара подошла к простенку, украшенному веером фотографических карточек и журнальных картинок, и стала разглядывать их так, точно видела их впервые. Перед ней вставали из пороховой и снежной пурги проволочные заграждения, полусожженные города и деревни. На одной из картинок Варвара увидела бушующую в Карпатах метель и закутанного в башлык казака — лить не вылить — Якова, стоявшего в дозоре на самом краю обрыва у бездонной зловещей пропасти. И Варвара, пристально взглядываясь в этого казака, испытала такое чувство смятения и страха за него, словно он и в самом деле должен был сию минуту, оплошав, оступиться и улететь в эту кромешную бездну. На другой из картинок с безоблачным мертвенно чистым небом над вражескими окопами рвались снаряды. Град шрапнельных разрывов поливал беспорядочно отступающие под натиском русских воинов германские части. Кругом, по обочинам грязной, размытой осенним дождем дороги, торчали перевернутые кверху колесами войсковые двуколки, застрявшие в грязи тяжелые орудия и походные армейские кухни. Это был фронт. И это оттуда еще совсем недавно писал Яков Варваре длинные письма, пропахшие пороховым дымом и сыростью чужих безрадостных полей...

Варвара перевела свои темные, как осенняя ночь, глаза на фотографию мужа. Вот он сидит, веселый, подтянутый, бравый казак, важно развалившись в роскошном варшавском кресле. А за спиной у него цветут нездешние, неземные сады и блестит на солнце чистое озеро с плавающими по нему лебедями. На Якове была та самая гимнастерка, в которой ушел он два года тому назад отсюда, из этой вот самой горницы, на фронт. Варвара признала рубашку мужа по криво простроченной на вороте строчке.

В тот знойный и ветреный августовский день, когда был объявлен приказ о походе, Варвара, второпях дошивая Якову походную гимнастерку, испортила строчку. Но переделывать ворот было некогда, и она положила рубашку в переметную суму. А теперь вот, когда Варвара смотрела на Якова и видела на нем эту рубашку, он вставал перед ней такой же живой, улыбающийся, близкий, словно только вчера проводила она его с эшелоном по пыльной степной дороге и словно не остыл еще на ее жарких губах прощальный его поцелуй...

Точно заколдованная, не сводила глаз Варвара с мужа. А он, победно скрестив свои большие тяжелые кисти рук на эфесе шашки, тепло и просто смотрел на жену. О чем он думал, пристально вглядываясь в смуглое лицо Варвары? Может быть, он хотел сказать ей о том, что горевать ей без него и убиваться в разлуке не стоит. Ведь не век же будет тянуться эта война. И не всех же в конце концов на ней калечат, захватывают в плен и убивают. Его же тем более не убьют. И покалеченным он не будет. Не верит он в это. Не может этого быть. Вот если бы не любил он своей молодой жены, если бы не верил он в великую чистоту и силу этой любви,— тогда другое дело...

Может быть, об этом хотел сказать Яков, пристально вглядываясь в свою жену. А Варвара, приглядываясь к его грустной улыбке, как бы спрашивала его: «Что ты только наделал?!»

Яков молчал. Варвара продолжала стоять перед его фотографией, строгая, неподвижная, не спуская с его облика сухих, лихорадочно блестевших глаз, и, казалось, ждала от него ответа. В горнице было сумрачно и тихо.

Вдруг в доме загремели чужие тяжелые шаги. И Варвара, точно очнувшись от забытья, быстро обернулась к двери, ощутив при этом, как у нее замерло сердце.

На пороге стояли два одетых в обходную войсковую форму рослых казака. Это были престарелые, но еще не утратившие следов былой выправки лейб-гвардейцы Кондрат Берников и Антон Копытин. С шумом обнажив клинки и не сводя с Варвары глаз, казаки взяли на караул, и один из них сказал:

— За тобой, сударушка. Собирайся...

А через четверть часа Варвару вели под конвоем к станичному правлению. Шла она под обнаженными клинками бородатых и мрачных конвоиров все той же

присущей ей легкой, девически беспечной походкой, и престарелые гвардейцы, спотыкаясь и путая шаг, едва поспевали за ней.

По пятам за конвоем валом валили бабы и девки. Толпа двигалась в глубоком безмолвии. И только слышен был в этом бесшумном шествии резкий скрип чьих-то модных хромовых ботинок да шелест бабьих подолов.

Когда Варвара вошла в переполненный ермаковцами кабинет Муганцева, ее поразила поза станичного атамана, в которой стоял он за письменным столом с какой-то бумагой в руках, уставившись в одну точку. Никто из присутствующих в кабинете станичников не обратил на появление Варвары внимания. Старики так же тупо, как и Муганцев, смотрели в одну точку: кто — на огромный портрет царя, висевший в простенке, кто — в окна, кто — себе под ноги.

— Тут теперь не до тебя, солдатка,— прошептал растерянно заозиравшейся Варваре Трифон.— Уходи подобру-поздорову домой.

— А што такое случилось?— спросила, в свою очередь, шепотом Варвара.

Трифон шепнул ей в самое ухо:

— Восударь императора с трону спихнули. Слобода настала. Поняла?

И хотя Варвара не представляла себе значения всего случившегося, из груди ее вырвался вздох облегчения, словно свалился с нее какой-то тяжелый груз, и она, выпрямив плечи, вышла из кабинета еще более гордой, непокорной и независимой, чем только что входила туда.

Конвоировавшие Варвару казаки, не знавшие еще, в чем дело, ринулись было следом за нею, но их остановил жестом атаман Муганцев — теперь действительно не до Варвары.

19

Перед закатом прошел дождь, веселый, легкий и розовый. Горьковатый, пряный запах полыни кружил голову. В курье тревожно и настороженно гоготали гуси. Возбужденно и шумно крякали, купаясь в воде, утки. Конский табун растянулся по всему увалу, казалось, до самого неярко озаренного вечерней зарей горизонта. Пастух Сеимбет возился около полупогасшего костра, подбрасывая в него пригоршни сухого конского помета и пытаясь вновь разжечь слабо пробивавшееся сквозь

пепел пламя. Увлеченный этим занятием, Сеимбет не слышал, как к нему подбежал Садвакас и, схватив его за плечи, сказал:

— Слушай. У меня есть новость.

— Что такое?— спросил Сеимбет.

И Садвакас, усевшись рядом с Сеимбетом, не спеша раскурил от уголька давно потухший окурок, а затем вполголоса проговорил:

— Сейчас я был в юрте Альтия. Он собирается ехать в гости в аул Қабе. И вот что он сказал мне один на один. Я, говорит, знаю, что тебя ищут русские атаманы. Я знаю, что ты от них прячешься. И все будет так, говорит, как я захочу. Захочу — ты завтра же будешь в руках русского атамана. Захочу — никто не узнает о тебе в степи. Ты — мой пастух, и ты в моей власти. Так мне сказал Альтий...

— Тагы — потом что еще сказал тебе бай?— спросил Сеимбет.

Помолчав, Садвакас вполголоса ответил:

— Потом он сказал мне, что по ту сторону урочища Узун-Қуль пасется косяк гульных лошадей из крепости Қапитан-Қала.

— Я это знаю. Там есть хорошие лошади. Что же дальше?— спросил Сеимбет.

— А дальше известно, что Альтий приказал мне собрать джигитов и ночью провести барымту — отбить от этого косяка самых лучших коней и угнать в степи. А если, говорит, вы мне приведете бурого иноходца из этого косяка, то получите от меня в награду еще пять стригунов и десять баранов.

— Қто получит?

— Мы — пастухи, джатаки...

— Это правда?

— Альтий говорит — да.

Пастухи помолчали. Қостер начинал медленно разгораться. Оранжевые мечи пламени весело затрепетали над ворохом ярко зардевшегося сухого помета.

— Что же ты ответил Альтию?— спросил наконец Сеимбет Садвакаса.

— Я ответил, что посоветуюсь со своими джигитами...

— А как ты сам думаешь?

— Я — что. У меня выбор маленький. Или послушаться бая и пойти на барымту. Или снова садиться в тюрьму. Он же сказал, что выдаст меня. И он это сделает.

— Да,— сказал Сеимбет.— Он это может сделать. Выбор у тебя, Садвакас, действительно невелик. А о джигитах что говорить. Джигиты всегда за тебя горой. Как скажешь ты, так они и поступят. Но надо все же спросить слепого Чиграя, что он нам посоветует и предскажет.

— Это правильно. Надо спросить у Чиграя,— согласился с ним Садвакас.

А в сумерках, когда все женщины были заняты дойкой байских кобылиц, пастухи сидели в ветхой юрте слепого Чиграя и в почтительном безмолвии прислушивались к голосам старейших. Один из них, пепельнобородый Юсуп, не спуская своих старчески слезящихся глаз с неяркого очага, глухо рассказывал притихшим джатакам:

— Когда я был молод, свалилось на наши степи страшное бедствие. Ранняя весна закончилась небывалым джутом — гололедицей. В ауле джатаков погибли от бескормицы последние наши бараны. Погибло много скота и у бая Керге — отца Альтия. Тогда Керге собрал в своей юрте нас — молодых пастухов и подпасков — и приказал нам совершить барымту: угнать табун лошадей из русской крепости. Он пообещал нам хорошо заплатить за нашу работу. И мы пошли. Как сейчас помню, это было в дождливую, темную ночь. Нас было много, молодых, сильных и ловких джигитов. И мы отбили в барымте у русских тридцать два скакуна. И ни одна из угнанных нами лошадей не была потом найдена русскими. Байские конокрады умеют прятать ворованных лошадей в надежное место...

— И Керге заплатил вам за эту барымту?— спросил Юсупа один из джатаков.

— Много воды утекло с той поры, но врать я не стану,— сказал с горьким вздохом старый Юсуп.— Обещанной платы от бая мы так и не получили.

— Значит, вас обманул Керге?

— Значит, так. Обманул,— сказал со вздохом Юсуп.

— А вы думаете, Альтий не обманет нас?— прозвучал из темноты чей-то хрупкий юношеский голос.

— Ничто не помешает ему обмануть и нас,— сказал старый Чиграй.— Если он не отдаст нам своих обещанных стригунов, но не выдаст русскому атаману нашего Садвакаса, то и это уже будет хорошей платой за барымту, джигиты.

— Ие — да. Конечно. Конечно.

— Друс — правильно,— сказали хором пастухи и подпаски.

Затем Чиграй, разбросав по циновке бобы, долго молча колдовал над ними, беззвучно нашептывая своими дряблыми, старческими губами какие-то слова заклинаний, то складывая своими нервными, тонкими и длинными пальцами бобы по кучкам, то собирая их в пригоршни. Наконец покончив с гаданием, Чиграй сказал:

— Сегодня суббота — тяжелый день. Нельзя правоверному выходить в дорогу. Но самый старый и самый мудрый боб сулит нам удачу. Ночь будет темной, глухой и ветреной. И стук лошадиных копыт не разбудит зверя.

— Значит, мы можем отправиться в путь?— спросил Садвакас Чиграя.

— Дорога открыта,— сказал Чиграй.

— Джигиты из рода Каратал не знают в таких делах неудачи,— подтвердил старый Юсуп. И старик, вынув при этих словах из-за пазухи маленький мешочек, наполненный землей с солью, протянул его Садвакасу.

— Что это?— спросил Садвакас Юсупа, принимая мешочек.

— Держи. Это священный талисман. Это — спутник удачи,— сказал старый Юсуп, вручая заветный мешочек Садвакасу.

И Садвакас, приняв из бронзовых рук старика талисман, поднялся с циновки и сказал поднявшимся вслед за ним джигитам:

— Время не терпит. Ночь, на наше счастье, темна. В небе — ни месяца, ни звезды. И нам надо торопиться, джигиты.

— Ие — да. Друс — правильно, надо торопиться,— подтвердил старый Чиграй.

И джигиты покинули ветхую юрту, бросившись рысью к приготовленным байским лошадям. А спустя несколько минут Садвакас, вырвавшись вперед на резвой и нервной байской кобылице, повел за собою в степь ватагу смелых, сильных и ловких, ко всему готовых джигитов.

Бойкие, сытые кони шли плотной массой. Настороженно постригивая ушами, храпя и покусывая удила, они приседали, подпрыгивали, рвались вперед, прося повода к броскому лихому намёту. Под тупыми нековаными раковинами копыт глухо позванивала степная земля.

Садвакас ехал впереди группы всадников, весь уйдя в напряженный слух, во внимание. В степи было темно

и душно, как в полуночной юрте с погасшим очагом. Навстречу, со стороны станиц Горькой линии, вставала, поднимаясь по беззвездному, задернутому облаками небу, тяжелая туча, и зоркие глаза степных людей, несмотря на беззвездную ночь, различали сейчас впереди эти похожие на зловещие развалины мавзолеев тучевые громады.

Пройдя на рысях верст двадцать, всадники осадили своих разгорячившихся лошадей и в полном безмолвии пошли стороной от дороги шагом. Беспрестанно передергивая поводьями, джигиты нервничали, опасаясь внезапного ржанья своих коней, почуявших близость конского табуна, вольно пасущегося в степном просторе. И каждый из джигитов, воровски затаив дыхание, думал в эту минуту о том, как в случае удачи он и в самом деле может стать назавтра владельцем полученного за барымту от бая стригуна и упитанного барана. И не одному из этих джигитов мечталось сейчас о том, как настанет такое время, когда он выбьется из нужды и когда в юрте его будут своя семья, и свой турсук с кумысом, и свое масло, которое он, по степному обычаю, может вылить на свой очаг в знак появления новорожденного сына...

— Стой,— тихо сказал Садвакас, резко осаживая лошадь.

И джигиты остановились среди густого камыша на берегу урочища, настороженно вслушиваясь в тишину ночи... Где-то далеко на одном из многочисленных плесов займища слышалась птичья возня. Сонно, как бы вполголоса, покрякивали утки и дремотно поплескивала вода. Откуда-то издалека, наверное, из русской станицы, что была верстах в трех отсюда, доносились до чуткого слуха притихших джигитов протяжные и печальные песни русских девушек и переклики серебряных голосов двух дорогих гармоник.

Спешившись в камышах, Садвакас взял с собой двух из девяти спутников — Сыздыка с Диханом,— и они втроем начали пробираться по камышу вдоль курьи, как охотники, крадущиеся к птице. Миновав курью, джигиты выползли гуськом на прибрежный яр и, затаив дыхание, долго лежали в траве не двигаясь. Наконец Садвакас, коснувшись рукой плеча лежавшего рядом с ним Сыздыка, прошептал чуть слышно:

— Ты видишь?

— Вижу. Это тот самый бурый иноходец, на которого позарился бай.

— Он самый,— подтвердил шепотом и Дихан.

Только их острые глаза могли различить в темноте точеную голову насторожившейся лошади и ее плоский круп.

Весь внутренне собравшись в комок, Садвакас совсем приготовился было одним привычно ловким движением накинуть аркан на коня, как вдруг замер, различив за спиной лошади смутные очертания вынырнувшей из сумрака человеческой головы. Человек, ласково потрепав насторожившегося коня по гриве, сказал по-русски:

— Ну, не бойся, дурак, не бойся...

Конь, тревожно перебирая ногами, волновался и храпел, почуяв неладное.

Джигиты, глубоко затаившие дыхание, продолжали лежать неподвижно, прижавшись к траве. В голове Садвакаса стремительно проносились мысли одна за другой. Он понимал, что упускать момента нельзя, но не знал, что предпринять — броситься ли на русского пастуха сию же секунду или подождать, пока он отойдет от коня в сторону.

Между тем лежавший рядом Сыздык, горячо дыхнув в ухо Садвакасу, прошептал:

— Жур — пошли!

И одного этого слова было достаточно Садвакасу для того, чтобы он одним прыжком, как беркут на степную птицу, налетел на не успевшего опомниться русского пастуха, смял его под себя, зажал ему рот своей ладонью и мгновенно скрутил ему волосяным арканом руки и ноги. А Сыздык тем временем изловчился заарканить коня, накинуть на него уздечку и, прыгнув на него, мгновенно исчезнуть, как привидение.

Связанный по рукам и ногам русский пастух, поняв в чем дело, притих. Боясь быть задушенным или убитым барымтачами, он лежал в траве с закрытыми глазами, не проронив ни звука. Он отлично слышал суматоху, поднявшуюся среди табуна, догадываясь, как смело и ловко орудовали барымтачи, заарканивая коней. Но он понимал, что ему бесполезно сейчас взывать о помощи, так как вблизи нет ни души. И хотя ни один из налетчиков не проронил ни слова, пастух догадывался, что это были степные люди, а не русские конокрады,— так дружно и

чертовски ловко могли работать только натренированные барымтачи.

...Перед самым рассветом, когда ночная мгла казалась еще плотнее и глуше, Садвакас, спешившись на полном скаку близ юрты Альтия, вошел в просторное, слабо освещенное байское жилище. Альтий не спал. Полуразвалясь на огромных пуховых подушках, волостной управитель поджидал возвращения джигитов и, заметив Садвакаса, оживленно спросил:

— Удачным ли был набег?

— Удача — спутник джигита. Бурый скакун с косяком гульных русских коней в наших руках, аксакал,— ответил Садвакас.

— Жаксы — хорошо. Хорошо,— сказал Альтий.— Где эти кони?

— Мы их вручили в надежные руки твоих джигитов,— ответил Садвакас.

— Не оставили ли вы следов на дороге?

— Нет, аксакал. Ночь без росы, и следов от копыт на траве не увидишь.

— Жаксы — хорошо,— сказал Альтий. Затем он, порывшись в своем сафьяновом кошельке, извлек из него пять серебряных рублевых монет и, пересчитав их еще раз, молча протянул деньги Садвакасу.

— Это все, аксакал?— спросил Садвакас, с недоумением разглядывая на своих сухих и плоских ладонях тускло отсвечивающее серебро.

— А разве этого мало?— с удивлением спросил Альтий.

— Обещано было больше...— сказал Садвакас.

— Обещанного три года ждут. Так говорят у русских. Иди и говори мне спасибо, что я пока не выдал тебя русскому атаману,— указав Садвакасу на дверь, сказал волостной управитель.

И Садвакас вышел вон из просторной и душной байской юрты на свежий предутренний воздух.

Когда на рассвете все пастухи и подпаски — спутники Садвакаса в лихом налете на косяк русских коней — собрались в ветхой юрте Чиграя, Садвакас презрительно бросил на циновку серебряные байские рубли и сказал:

— Вот и вся его плата...

— Как так? Выходит, он обманул нас?!— хором спросили изумленно взглянувшие на Садвакаса пастухи.

— Выходит, что обманул...— сказал, вздохнув, Садвакас и прикрыл веки.

Джатаки молчали. Старый Чиграй, приняв из рук Юсупа собранные им на циновке монеты, долго пересыпал серебряные рубли из руки в руку, словно они жгли ему ладони, а затем чуть слышно сказал:

— Отведите меня в юрту Альтия, и я плюну ему в лицо.

Но никто не откликнулся на гневный голос слепца. Пастухи и подпаски сидели вокруг костра неподвижно и молча. Садвакас тупо смотрел на огонь очага, кусал горький полынный стебель.

Было тихо. И только молодой беркутенок, привязанный в черном углу юрты, вдруг встрепенувшись, шумно захлопал своими упругими, сильными крыльями. И Садвакас, взглянув с улыбкой на беркутенка, проговорил:

— Да, Чиграй, время такое настанет, когда ты сможешь плюнуть Альтию в лицо. Даже вот и молодой беркутенок начинает расправлять крылья...— заключил Садвакас, многозначительно подмигнув своим спутникам.

И джигиты, глядя на беркутенка, невольно улыбнулись при этом.

20

Когда старому полковнику Скуратову донесли из станицы о том, что вместе с угнанным, по-видимому степными барымтачами, конским косяком исчез и только что купленный им у фон-барона Пикушкина иноходец, старик приказал Авдеичу оседлать лошадей и поскакал в сопровождении драбанта в аул Альтия.

Престарелые всадники летели по пыльному степному тракту, как одержимые. Они мчались, ничего не видя перед собой, кроме заломленных от бешеной скачки конских ушей да трепещущих на свирепом встречном ветру коротко подстриженных лошадиных челок.

Мчась на низкорослом степном резваче вслед за полковником, Авдеич думал: «Ну, попала вожжа под хвост, и про страх, вижу я, мой барин, и про годы свои забыл! Совсем на старости лет одурел от злости и жадности...»

Лошади мчались под старыми кавалеристами, не ощущая под копытами жесткого трактового грунта. И точно не земля, а воздух дробно гудел и звенел под

ударами каждой стремительно выброшенной в порыве карьера ноги, и точно не своя уже, а какая-то иная страшная сила несла, подымая их над землей, одурманивая простором, волей, свежим степным воздухом. Недаром гнедой скакун Скуратова, забыв о всаднике, не чувствуя ни повода, ни туго затянутых подпруг, птицей стлался над придорожными ковылями, полузакрыв налившиеся слезами и кровью глаза, закусив до хруста в зубах стальные мундштуки дорогой уздечки.

Ни старый Скуратов, ни его драбант не заметили, как отмахали они от усадьбы верст двадцать. И только на двадцать первой версте, завидев вдали аул, Скуратов начал мало-помалу приходить в себя. Словно неожиданно протрезвев от затмившего разум хмеля и только сейчас ощутив под собой тугую подушку седла, он крепче уперся носками шагреневых сапог в серебряные стремена и, искусно работая поводьями, принялся понемногу сдерживать обезумевшего коня. Чутьем, свойственным только степным кочевникам и природным кавалеристам, он строго рассчитал в уме все: и расстояние, отделяющее его от показавшегося вдали аула, и степень постепенного спадания скорости у сдерживаемого им скакуна. Это позволило Скуратову, взяв в руки лошадь, дать ей почувствовать властную силу повода, затем умело перевести ее с бешеного карьера на стремительную, временами срывающуюся на галоп рысь. А к аулу полковник подвел своего резвача на дробно выровненной иноходи. Правда, жеребец продолжал еще нервничать. Кося глазами, конь еще норовил ринуться стрелой вперед. Однако, подвластный теперь уже малейшему рывку зажатого в хозяйской руке повода, жеребец только вздрагивал, сатанея от внутреннего разбушевавшегося в нем огня.

Навстречу всадникам высыпал весь аул. Это был аул джатаков из рода Каратал. Завидев атамана, женщины и дети стремглав разбежались врассыпную по юртам. На месте остались стоять только одни седобородые старики да сбившиеся за ними в кучу джигиты.

Едва не врезавшись на полной иноходи в испуганно шарахнувшуюся в сторону толпу, Скуратов резко осадил коня и, повелительно взмахнув нагайкой, крикнул:

— Эй вы, азиаты,— ко мне!

И толпа оборванных кочевников с раболепной поспешностью приблизилась к грозному всаднику. Приветствуя полковника преувеличенно низкими поклонами, джатаки

замерли. Затем один из седобородых патриархов рода, рослый, в ветхом бешмете старик — это был Юсуп,— выступив из толпы, спросил полковника в знак приветствия на родном своем языке о том, здоровы ли у русского атамана руки и ноги и не утомился ли в пути его быстрый конь.

— Ты, тамыр, о моих конечностях не беспокойся — свои лучше, на всякий случай, побереги...— зло и насмешливо ответил по-русски на почтительное приветствие старика Юсупа Скуратов и, перейдя на суровый начальственный тон, спросил:— Кому принадлежит этот аул? Есть ли какие новости? Хабар бар ма?— как говорят у вас по-киргизски.

— Это аул джатаков и пастухов из рода Каратал, атаман,— ответил старый Юсуп,— Мы пасем табуны волостного управителя Альтия и аткаминера Кенжигараева... Ты нас спрашиваешь про новости, атаман? А какие могут быть новости у степного пастуха для большого русского начальника? Я слышал, что в ауле Орталы вчера на закате справлялись поминки по случаю смерти аткаминера Ильяса Турдукулова и на байге близ урочища Коян-Бедаик загнали самого резвого байского иноходца...

— А я слышал,— подал голос слепой Чиграй,— что к нашим табунам подходили прошлую ночь волки. Но храбрые джигиты отбили овечью отару и прогнали хитрого зверя в степь...

— Храбрые, храбрые у вас джигиты!— проговорил с презрительной усмешкой полковник, неуважительно покосившись на молодых кочевников, стеной стоявших за спиной стариков. Затем Скуратов, пытливо приглядевшись к лицу Юсупа, желчно спросил:— Итак, других новостей у вас для меня, стало быть, нет?

— Уй-бой! Какие могут быть новости у степных пастухов и джатаков для большого русского атамана?! Мы все рассказали, о чем говорили нам степи,— сказал старый Юсуп.

— Хитер, хитер, азиат!— сказал, состроив брезгливую гримасу, Скуратов.— Только вот чем бы мне про волков да про поминки зубы здесь заговаривать, вы бы лучше сказали мне, в каком ауле припрятали барымтачи моего рысака?

— Рысака?!

— Да. Да. Моего рысака. Резвача бурой масти...

— Твоего резвача?! Бурой масти?!

— Да. Да. Бурой масти.

— Степь — свидетель. Мы не видели твоего рысака бурой масти, атаман. Мы совсем ничего про это не знаем. Мы не знаем про твоего рысака, атаман,— испуганно озираясь на толпу джатаков, сказал старый Юсуп.

— Ах, вот как?! Ничего не видели?! Ослепли?! Отлично...— процедил сквозь зубы полковник, злобно рванув поводья и осадив все еще продолжавшего танцевать под ним рысака.

— Уй-бой! Какой такой рысак, атаман? Никакого рысака мы не видали.

— Жок. Жок. Не знаем. Не знаем,— зашумели джатаки.

— Ага. Жок, значит. Не знаете? Ну, хорошо. Хорошо, приятели...— бормотал, задыхаясь от гнева, Скуратов, подтягивая при этом ослабевшую под седлом подпругу. Затем, выпрямившись в седле, полковник обвел испытующим взглядом толпу и спросил:— А может быть, кто-нибудь из вас все-таки скажет мне правду? Для такого храбреца полста рублей не пожалею. Конем одарю. И седло с уздечкой в придачу.

Джатаки молчали.

— Выходит, нет таких храбрецов? Выходит, никто мне не хочет сказать правды?— глухим, но уже предельно накаленным злобой голосом повторил свой вопрос полковник.

Однако и тут ему никто не ответил. Джатаки стояли поникнув, не проронив ни слова и этим доводили полковника до полного бешенства. Он не был убежден, что барымта — дело рук джигитов этого аула. Но он отлично знал, что нет такого секрета в степи, о котором бы не знали поголовно все ее коренные обитатели — кочевники. Он, немало насоливший на своем веку этим людям, всю жизнь презирая их и считая этот народ ничтожным, трусливым и мстительным, ожидал от них, разумеется, всего. И если у них даже не было бы оснований мстить за что-то ему, все равно он глубоко был убежден в том, что каждый из них, почтительно изгибавшийся в три погибели перед ним при встрече, способен при случае свернуть ему голову. Скользя взглядом по бронзовым от загара, бесстрастным скуластым лицам, Скуратов размышлял о том, как бы сорвать сейчас свою злобу и обиду за похищенную лошадь на этих выстроившихся перед ним людях.

Наконец беспокойный, злобно шныряющий по толпе джатаков взгляд полковника упал на молодого высокого джигита в старой малиновой тюбетейке на выбритой голове. Джигит, которому на вид было лет около двадцати пяти, стоял несколько на отшибе от толпы и, как показалось Скуратову, не совсем дружелюбно и раболепно, вопреки прочим одноаульцам, косил на полковника по-беркутиному зорким оком.

И Скуратов, бегло окинув наметанным глазом высокую, стройную, гибкую фигуру джигита, взглянув на его выразительное, резко очерченное лицо, на его упрямый, энергично выдавшийся подбородок, сразу же почувствовал в этом человеке волевой, твердый, цельный характер и ощутил вспыхнувшую неприязнь к нему. Откуда взялась эта неприязнь — Скуратов не понимал толком и сам. То ли независимая, почти вызывающе спокойная поза, в которой стоял в стороне от толпы джигит, то ли его резко бросившееся в глаза атаману строгое, скупо отсвечивающее задубелым загаром лицо, то ли, наконец, ладно сидевший на его плечах туго перетянутый в талии тяжелым степным поясом ярко-зеленый, хотя и потрепанный, но, видать, щегольской бешмет,— черт его знает что,— но что-то в нем раздражало и бесило Скуратова. И старик, на мгновенье даже забыв о похищенной лошади, вдруг проникся такой, казалось бы, беспричинной и жгучей ненавистью к этому джигиту, точно это был не безыменный, впервые встреченный им пастух, а закоренелый его личный враг, с которым давным-давно искал подходящего случая свести бог весть какие старые счеты разгневанный атаман.

Не спуская с джигита старчески бесцветных глаз и чувствуя, что уже не в силах подавить в себе нарастающей против него злобы, Скуратов крикнул:

— А ты что, у бога теленка съел — в стороне стоишь?! На каком основании там выстроился?!

— А где же мне надо выстраиваться перед тобой, атаман?— спокойно, не без удивления и плохо прикрытого ехидства спросил на своем родном языке полковника смутно улыбнувшийся при этом джигит.

— Не знаешь, сукин сын, до сих пор своего места перед начальством?— продолжал Скуратов по-русски.

— А откуда мне знать? Я же степной пастух — не солдат...— ответил джигит по-казахски,

— Ого! Да ты, оказывается, разговаривать еще умеешь?!

— Приходится, атаман. Язык — не лопатка...

— Такие языки с корнем из поганого хайла вырывать надо.

— Трудная работа, атаман.

— Что?! Ничего. Как-нибудь справимся!

— Вам не привыкать...

— Вот именно.

— Только, как это говорится по-русски: на кого нарвешься...

— А у нас еще так говорится по-русски: из молодых, вижу я, ты, джигит, из молодых, да ранний...

— Жаксы — хорошо говорится. Друс — правильно говорится.

— Беркут. Беркут. Высоко паришь, только где ты, тамыр, сядешь? И так еще у нас говорится по-русски.

— Поговорка тоже неплохая. И высоко летать вовсе не худо. С высоты-то беркуту в степи виднее...

— Это правильно. Только смотри, подлец, как бы ниже кур не пришлось опуститься. А ведь пешего-то сокола и воробьи дерут. Смотри, варнак. Гляди в оба!

— А я так и делаю, атаман.

— Ну, то-то! А то ведь в два счета крылья обломаем — не пикнешь.

— Обломаешь беркуту крылья, у него еще когти с клювом останутся — птица злая.

— Молчать!— крикнул не своим голосом полковник. Он был бледен и, с трудом дыша, точно задыхаясь, неожиданно тихо, почти вполголоса, спросил после секундной паузы джигита:— А ты, собственно, кто такой будешь? А?

— Пастух.

— Имя?— коротко спросил атаман.

Джигит молчал. Он стоял, не изменив своей непринужденной и издевательски спокойной позы, ничем не выдавая ни волнения, ни гнева, ни тревоги, и этим доводил Скуратова до предельного бешенства, до судорог в кистях подрагивающих рук.

Скуратов понимал, что дело принимает не совсем выгодный для него оборот, и потому, внутренне собравшись в комок, он выжидающе помолчал, прикрыв отягощенные злобой глаза.

Было тихо.

Не поднимая сиреневых век, Скуратов снова повторил вопрос:

— Отвечай — кто ты такой? Я жду!

Но вместо джигита заговорил старик с патриаршей бородой — прямой и рослый Юсуп.

— Это наш гость,— сказал старый Юсуп в ответ на вопрос полковника, опять не назвав имени Садвакаса.— Это лучший джигит в роду Кугалы. Он пришел в гости к нам из своего далекого аула. Недавно он поборол самого Котуртага — сильнейшего из прославленных борцов из-за озера Кургальджин. О нем поют все бродячие степные певцы — жирши и акыны... Он молод, глуп и горяч еще, как необъезженный конь в отгуле, и на него не надо кричать и не надо сердиться большому русскому атаману...— заключил старик. И в знак полной покорности он хотел было прикоснуться худыми, длинными пальцами к серебряному стремени всадника и погладить рукой осыпанное мелким жемчугом пота бедро его нервного и такого же злого, как и всадник, коня.

— Пошел прочь, собака!— крикнул Скуратов и с такой силой брезгливо ткнул тупым носком сапога в тощую грудь Юсупа, что тот, всплеснув над головой длинными, как у привидения, худыми руками, плашмя грохнулся навзничь и, поперхнувшись подобием крика, притих, смежив глаза.

И не успел еще Скуратов снова разинуть пересохший от злобы рот, как джигит в малиновой тюбетейке, ринувшись к нему, с такой силой стиснул цепкими своими костлявыми пальцами поводья коня, что жеребец, пугливо шарахнувшись в сторону, присмирел, зябко подрагивая от напряжения.

И в это мгновенье и полковник, привставший на стременах, и джатак, схвативший под уздцы его коня,— оба стояли друг против друга неподвижно и молча, как изваяния.

Замерла точно привставшая на цыпочки толпа джатаков, глазевших на эту немую сцену.

Секунда — и Скуратов, впившись правой рукой в посеребреный эфес своей сабли, рывком вырвал клинок. Голубая молния изогнутого стального лезвия ослепительно блеснула в раскосых глазах кочевников и на мгновение застыла в воздухе над головой атамана.

Все замерли.

Невольно съежившиеся, втянувшие головы в плечи

джатаки смотрели глазами, полными ужаса и решимости, на Садвакаса. И сделай бы он в этот момент одно малейшее движение сопротивления, рванись в сторону или оборонись поднятой кверху рукой, Скуратов — это было всем ясно — раскроил бы обнаженным клинком его досиня выбритый, прикрытый малиновой тюбетейкой череп. А рука в таких случаях у полковника не приучена была к промахам и не дрожала.

Полковник, развернувшись в плечах и слегка накренившись всем корпусом набок, уже приготовился для удара, но, встретившись со спокойным, холодным взглядом джигита, мгновенно утратил граничившую с безумием решимость и медленно опустил отяжелевший вдруг, точно налившийся ртутью, клинок.

Что с ним случилось — старый Скуратов не понимал в эту минуту и сам. Во всяком случае, не страх и не безволие испытывал он, глядя на огрубевшие от ветров острые скулы джигита и на всю его прямую, собранную фигуру,— нет, здесь не было места ни безволию, ни страху. Что же касается того непривычного ощущения, которое он испытывал сейчас, то оно, скорее всего, было близко к тому страшному равнодушию, к той внутренней опустошенности и физической усталости, какая бывает свойственна человеку в минуты тяжелого шока.

На секунду Скуратов как будто даже утратил понятие о реальном. Он плохо соображал сейчас, где он и что с ним. И только резко прозвучавший в накаленной тишине тяжелый вздох с трудом поднявшегося с земли старца вернул полковника к действительности. Оглянувшись, он увидел, как двое юрких подростков, вынырнув из толпы кочевников, подхватили старика под руки и почти волоком потащили в ближайшую ветхую юрту.

Тогда джигит в малиновой тюбетейке, глянув в упор на побледневшее лицо Скуратова, спросил его по-казахски:

— За что ты ударил старика, атаман?

Полковник, покусывая свои тонкие бескровные губы, молчал. Он не в силах был вымолвить слова.

Находившийся все это время позади Скуратова словно пристывший к седлу Авдеич был сам не свой от пережитых им минут. Он-то отлично видел, какой неукротимой злобой и ненавистью горели покосевшие от решимости глаза кочевников, и понимал, чем могло все это кончиться, если не для него, так, по крайней мере, для

его барина, окруженного готовыми на все кочевниками. И вот сейчас, улучив удобную минуту, Авдеич, подскочив на своем резваче к полковнику, торопливо шепнул ему:

— Богом прошу, ваше высокоблагородие, уйдем от греха подальше. Богом прошу...

И Скуратов, точно очнувшись, поднял свои остекленелые бесцветные глаза на драбанта, резко повернув коня, пришпорил его и, не оборачиваясь назад, поскакал прочь.

Вслед за полковником, поминутно озираясь на неподвижно стоявших позади джатаков, полетел ни живой ни мертвый, втянув голову в плечи, и Авдеич.

21

Станичные власти во главе с атаманом Муганцевым и в присутствии понятых — школьного попечителя Корнея Вашутина, фон-барона Пикушкина и вахмистра Дробышева — начали опись имущества у разжалованных казаков с Агафона Бой-бабы. Атаман в сопровождении трех понятых и целого полувзвода вооруженных шашками обходных явился в избушку Агафона Бой-бабы утром, застав Агафона с семейством за чаепитием.

— Ну хватит, почаевничали. Кончай базар,— сказал фон-барон Пикушкин, с ходу взявшись за старенький, но ярко начищенный самовар.

Не понимая в чем дело, четверо малолетних внучат Агафона — детей без вести пропавшего на фронте сына Бой-бабы — изумленно и испуганно таращили на непрошеных гостей свои большие светлые глаза, не зная еще толком, реветь ли им или удивляться.

Между тем, схватив со стола бурно кипящий самовар, фон-барон потащил его из избы. А маленькая, сухая, похожая на подростка старуха Агафона Маркеловна тут же бросилась перед атаманом Муганцевым на колени и, задыхаясь от воплей и причетов, начала цепляться своими заскорузлыми, негнущимися пальцами за высокие лакированные голенища муганцевских сапог и целовать пыльные их шагреневые носки.

Муганцев брезгливо оттолкнул старуху и сел к столу напротив примостившегося на лавке писаря Скалкина, принявшегося за составление протокола.

Попечитель Корней Вашутин с вахмистром Дробышевым, открыв старенький, окованный медными ленточками сундучишко, бесцеремонно выбрасывали из него на

пол всякое тряпье — нехитрые праздничные и будничные наряды снохи Агафона, молчаливой, равнодушно смотревшей на белый свет, рано постаревшей Домны, рубашонки и застиранные ситцевые платьишки ее четверых ребят.

С брезгливым видом перебирая все эти тряпки, Корней Вашутин говорил, поглядывая на писаря:

— Пиши. Три сатинетовых платья. Одно — с кружевной пелеринкой. Два — с оборками...

— Цена какая, Корней Маркыч?— спрашивал писарь.

— Пиши. Пиши. Ценить потом будем,— строго сказал Муганцев.

— Дальше,— продолжал Корней Вашутин.— Фланелевое одеялишко. Три ситцевых наволочки. Кружевная бабья фаниженка — модный платок.

Все четверо агафоновских внучат, один одного меньше, столпившись вокруг открытого сундука, с любопытством поглядывали на тыловую сторону его крышки, украшенную цветными картинками из конфетных и чайных оберток.

Агафон, услужливо уступив свое место атаману Муганцеву, сам стоял теперь возле печки и такими же тупыми, безучастными глазами, какими смотрела на все происходящее в избе его сноха, глядел на бесцеремонно роющихся в тряпье понятых и на задыхавшуюся от плача старуху. Маркеловна, бессильно опустившись на лавку, обхватила свою седую взлохмаченную голову руками, выла, покачиваясь из стороны в сторону, точно страдая в эти минуты от приступа чудовищной зубной боли.

— Сколько за ним недоимок числится в казначействе?— кивнув в сторону Агафона, строго спросил писаря атаман Муганцев.

— По шести казначейским книгам — семьдесят три рубля двадцать восемь копеек, господин атаман,— ответил писарь.

— Да, должок с походцем. А имущества — кот наплакал,— сказал фон-барон.

— Всех их с гамузом продать — не рассчитаться,— сказал вахмистр Дробышев, кивая на присмиревших около сундука и с любопытством глазевших на цветные картинки ребятишек.

— Ну, там — сколько хватит. А прощать казначейские долги такому народу мы не будем,— сказал атаман Муганцев.

— А как же с избой?— спросил фон-барон Муганцева.

— Что как? Известно — в опись. У тебя живность какая-нибудь в хозяйстве водится?— спросил Муганцев, обращаясь к Агафону.

— Кака така живность. Последнюю коровешку на масленке продали,— ответил за тупо молчавшего Агафона фон-барон.

— А птица? Ить у него полдюжины кур,— крикнул из-за дверей вышедший для осмотра двора вахмистр Дробышев.

— Пиши. Пиши и кур,— сказал озадаченному писарю Муганцев.

Недоимки по шести казначейским книгам, о которых говорил писарь Скалкин, числились за Агафоном Бойбабой уже около пяти лет, со времени проводов его без вести пропавшего теперь на фронте сына Феоктиста на действительную службу в полк. И конь и обмундирование для Феоктиста были приобретены на деньги, выделенные из казначейства, которые он, Агафон, как отец служивого казака, обязан был погасить в течение пяти лет с уплатой известного, установленного указом наказного атамана процента. Все надежды на уплату этих недоимок возлагал Агафон, как и всякий бедный казак, на земельный надел Феоктиста. Но земля, доставшаяся служивому казаку при разделе войсковых пашен, оказалась суглинистой, и сбыть ее с рук, даже по дешевке, Агафону не удалось. Строевой конь, на котором уходил в полк Феоктист, сдох на второй же месяц после возвращения служивого казака в станицу. Четыре года после возвращения из полка батрачил сын Агафона Феоктист вместе с Домной по чужим хозяйствам. Всеми правдами и неправдами норовила за все эти годы семья Агафона сколотить лишнюю трудовую копейку, чтобы расквитаться с казначейством. Но выходило все как-то так, что недоимки обгоняли доходы, и выбраться из долгов и нужды семейство так и не сумело. А тут, как снег на голову, война. Снова пришлось кланяться в ножки станичному обществу и выпрашивать вспомоществование для сборов сына на фронт.

Так вот и шло одно к одному и рвалось, как говорится, там, где было тонко. А теперь вот заметалось подчистую последнее, что было нажито за долгие годы скупой

на радости жизни каторжным, пропитанным кровью и потом трудом.

Больше всего сейчас убивало почему-то Агафона то обстоятельство, что у него забрали со стола горячий самовар. Он не думал ни об избе, подлежавшей теперь продаже с молотка на общественном торге, ни о бедном своем подворье, ни об остальном каком-никаком имуществе. И только при мысли о самоваре сердце его обливалось кровью и в глазах тускнел божий свет. Как и большинство людей, Агафон в минуты душевного потрясения не кричал, не плакал, не протестовал, а стоял оглушенный бедой, безучастный ко всему на свете, в том числе и к задыхавшейся от причетов Маркеловне.

Покончив с описью в хозяйстве Агафона Бой-бабы, Муганцев в сопровождении понятых и наряда обходных пожаловал во двор Архипа Кречетова. Архип встретил станичные власти громким, нервически восторженным криком. Выскочив из-за стола навстречу представителям станичной власти, Архип, разбросив руки, крикнул:

— А-а, явились?! Прошу пожаловать. Едва, воспода станишники, вас дождался...— И он, сорвав со стола старенькую, прожженную самоваром клеенку, швырнул ее под ноги Муганцеву, а затем начал бросать под ноги понятым все, что попадалось под руку: зипун, сорванный с вешалки, старенькую шлею с медным набором, подшитые валенки, залатанный на локтях форменный свой полковой мундир.

— Да ты тихо, браток! Не дури. Мы сами знаем, что нам понадобится!— попробовал прикрикнуть на Архипа Муганцев.

— Ну нет. Извиняйте на этом!— кричал запальчиво Архип.— Ежли описывать — забирайте все подчистую. Все. До нитки. У меня чтобы завтра в дому — хоть шаром покати. Мне для нашего войска последних штанов не жалко. Трех сыновей не пожалел. Праведной кровью собственных чад пожертвовал. А теперь для меня — все едино. Не казак я больше в своей станице. Не житель. Все прахом. Как после пожара — дотла!

— Не казак, говоришь? В варнаки захотелось?— крикнул с порога фон-барон Пикушкин.

— Правильно, фон-барон. В варнаки. Мне ить одна теперь дорога!— продолжал кричать Архип Кречетов, кидая из кухни к ногам понятых оцинкованные тарелки, ухваты, чугунки и поварешки.

Муганцев шепнул обходным:

— Взять его.

Четверо здоровенных бородачей, гремя болтавшимися на них шашками, бросились было к Архипу Кречетову. Но он, вооружившись кочергой, отпугнул от себя растерявшихся обходных и, не выпуская кочерги из рук, пулей вылетел из избы на улицу. Обходные, погнавшиеся было вслед за Архипом, были остановлены Муганцевым.

— Никуда он не денется. Пусть побеснуется. А вы сторожите дом, пока мы закончим здесь опись,— приказал атаман.

Старуха Архипа Кречетова — Агафья Федосеевна, рослая, строгая и властная по виду женщина с лицом игуменьи, в отличие от мужа, не проронила ни слова. Скрестив на груди руки, она молча взирала на понятых, занявшихся своим делом, и атаман Муганцев, случайно столкнувшийся с ее неподвижным, точно пронзавшим его насквозь взглядом, не смел теперь поднять на нее своих глаз, как не смели этого сделать, впрочем, и все остальные представители власти, присутствующие при этом нечистом деле.

К вечеру этого дня опись имущества всех казаков, лишенных по приговору выборных станицы казачьего звания и подлежащих выселению из станицы, была закончена. Не удалось станичному атаману и понятым, несмотря на дополнительный наряд вооруженных обходных, произвести опись только в совместном хозяйстве братьев Кирьки и Оськи Карауловых. Когда понятые со взводом обходных, вывернув из переулка, направились было к пятистенному дому Карауловых, фон-барон, вдруг опешив, крикнул:

— Стоп, воспода станишники. Тут ить кровопролитием пахнет.

И атаман Муганцев, окруженный толпою обходных и понятых, тоже опешил, увидев выстроившихся у ворот карауловского поместья двух долговязых братьев Кирьку и Оську с жердями в руках. Держа жерди, как копья, Кирька с Оськой стояли в воротах в позах неприступных, угрожающе строгих, почти торжественных, точно в почетном карауле.

Не рискуя приблизиться к братьям Карауловым ближе десяти саженей, Муганцев, картинно подбоченясь, крикнул:

— Это что же, сопротивление властям?

— Похоже на это, восподин атаман,— прозвучал в ответ мрачный голос Кирьки.

— А если мы это сопротивление сломим?— полуугрожающе проговорил атаман.

— Попробуйте. Мы к рукопашному бою готовы,— ответил Кирька, внушительно приподняв при этом над головой свою жердь.

За спиной Муганцева вполголоса запереговаривались обходные:

— Ну их к язве. Ить против их, варнаков, на верную гибель идти.

— Куды там — прямое смертоубийство.

— Правильно. Лучше с ними не связываться.

— Вот именно. Ну их к холерам...

— Пошли-ка, братцы, домой — от греха подальше.

Почувствовав замешательство среди обходных и понятых, Муганцев не решился на приступ карауловского дома.

— Ну, хорошо. Поговорим с вами, братцы, в другом месте!— угрожающе крикнул Муганцев братьям Карауловым и повернул в сопровождении своей свиты от карауловского двора в станицу.

В сумерках немного подвыпившие братья Карауловы мирно сидели рядком на завалинке около своего дома и вполголоса очень стройно и ладно напевали горькую песню про обездоленного казака. Светлый и чистый подголосок Кирьки выносил:

На горе я, казак, родился,
На горе вырос сиротой.

А густой и сочный басок Оськи стройно вторил брату:

На горе на свет появился
Своею буйной головой.

Стоял задумчивый, тихий вечер, и далеко во всех краях станицы слышна была в этот час негромкая карауловская песня:

Вот ворон каркнул на березе.
На службу сборы подошли.
Коней другие заседлали,
А мне чужого подвели.
Чужой мой конь. Чужая шашка,

Чужа попона в тороках.
Не вьется чуб в чужой фуражке,
Не скачет плеть в моих руках.
Отбыл я срок. Пришел в станицу.
Других встречают у ворот,
А я не знаю, где склониться,
Куда мне сделать поворот.
Меня встречает горька участь —
Чужой кусок, чужа вода,—
Пока в нужде я не замучу
Все свои буйные года.

Было уже совсем темно, когда к дому Карауловых собрались мало-помалу все разжалованные казаки, скликанные невеселой карауловской песней. Примостившись на бревнах, опальные соколинцы курили, вполголоса переговаривались:

— Ну вот и дожились мы, воспода старики, до тюки — ни хлеба, ни муки.

— Да, дострадовались — податься некуда.

— Как некуда? Наказному атаману прошенье надо послать.

— Теперь наказных нету. Ить это у нас, дураков, ишо атаман держится.

— Добрые люди самого царя с престола спихнули — не побоялись, а мы перед станичным атаманом трусим.

— Силы в нас мало, воспода станишники. Вот задача.

— Хорошенько присмотреться — хватит.

— Это к кому же присматриваться? Как будто все налицо...

— Есть и такие, которых не видно,— многозначительно крякнув, сказал Кирька Караулов.

— Во как?! На кого намекашь, Киря?— заметно оживляясь, спросил Агафон Бой-баба.

— Знам, знам, на кого положиться,— все тем же многозначительным тоном произнес Кирька.

— Ну и што дальше?

— Только бы народ сколотить, а там будет видно, што делать,— уклончиво ответил Кирька.

— Да о каком народе речь-то — толку не дам,— не унимался Агафон Бой-баба.

— А дезертиры — это тебе не народ? Это тебе — не наши суюзники?!— сказал с ожесточением Кирька.

— Каки таки дезертиры?

— А те самые, што по хуторам да отрубам хоронятся...

— Это чалдоны-то?
— Хотя бы и так.
— Тоже мне, нашел суюзников!
— А кака така разница?
— А така, што нам, казакам, с мужиками не по пути.
— Да ить ты же не казак теперь, а такой же чалдон, как и все новоселы!— насмешливо воскликнул Оська Караулов.
— Нет, извиняйте, братцы. Я был казаком, казаком и остался,— запальчиво проговорил Агафон Бой-баба.
— Не в этом дело, братцы. Казак ли, чалдон ли ты, а планида нам падат теперь одна — постоять за свою беднейшую нацию грудью,— прозвучал рассудительный голос Кирьки.
— Это каким же манером?— заинтересованно спросил вполголоса Агафон Бой-баба.
— Манер известный — свернуть голову станичному атаману, и квиты,— сказал Оська Караулов.
— Свернуть голову атаману — дело нехитрое. А потом што?
— А потом своего атамана поставим — и вся недолга. Сами собой будем руководствовать, а не в пуп ермаковцам глядеть. Понятно?— спросил притихших вокруг соколинцев Кирька.
— Рисковое дело,— сказал, вздохнув, Архип Кречетов.
Помолчали.

22

На другой день после похищения барымтачами конского косяка попечитель Корней Вашутин разыскал своего работника, узкоглазого и рябого Кузьму, на берегу курьи. Связанный по рукам и ногам волосяным арканом, парень лежал в густой осоке в полубессознательном состоянии. Он смотрел на хозяина своими тусклыми, словно подернутыми пеплом глазами, не отвечал на его вопросы, а только беспомощно жевал спекшимися от жажды искусанными губами. Взвалив пастуха на бричку, Корней Вашутин вернулся на полном карьере в станицу и взбулгачил народ.
— По коням, братцы!— кричал, стоя на своем крылечке, Корней Вашутин столпившимся вокруг него станичникам.— Ударим в нагон, воспода станишники, по

горячему следу за барымтачами. Никуда они от нас не уйдут. Наши будут!

— А в какую сторону удариться, восподин попечитель? В степи не одна дорога!..— крикнул фон-барон Пикушкин.

— Известно в какую — в аулы.

— Аулов много.

— Аулов много — орда одна.

— Правильно. Правильно. В погоню!— ревели взбесновавшиеся ермаковцы.

А через полчаса около взвода всадников, вооруженных шашками, бородатых, возбужденно горланивших казаков, толпилось в беспорядке около станичного правления, и вахмистр Дробышев, гарцуя на своем маштачке, лихо размахивал обнаженным клинком, отдавая команду:

— Стройся, стройся в шеренгу, воспода станишники. Не на ярманку — в поход собрались.

Построившись по шести в ряд, всадники замерли по команде смирно, когда на крыльце станичного правления появился Муганцев в сопровождении пристава Касторова, бледного и распухшего от запоя, утратившего былую военную выправку старика.

Вахмистр Дробышев, привстав на стременах, отрапортовал атаману:

— Взвод добровольцев готов к экспедиции.

— С богом. Желаю успеха, братцы. Надеюсь, робеть не станете, старички,— сказал Муганцев, пристально вглядываясь в бородатые лица лихо сидевших в седлах престарелых казаков.

— Старый конь борозды не портит!— крикнул в ответ на напутствие атамана правофланговый фон-барон.

— Вот именно. Не казаки — гвардия!— сказал пристав Касторов, подмигнув картинно подбоченившемуся в седле вахмистру.

— Справа — по два. Взвод — за мной!— скомандовал Дробышев и, пришпорив своего маштачка, повел на рысях мгновенно перестроившуюся шеренгу всадников через площадь, за крепостные валы, в степь.

Как ни быстро продвигался казачий разъезд по степям, а узун-кулак — длинное ухо — опередило всадников. И во всех окрестных аулах к вечеру этого знойного и мглистого дня было уже известно об отряде вооружен-

ных саблями казаков, ринувшихся на розыски конского косяка, похищенного в минувшую ночь барымтачами.

— Хабар бар ма?— спрашивал один степной путник другого.

— Хабар бар. Девятнадцать всадников мчатся степью на наши аулы и машут саблями.

Когда в ауле джатаков стало известно о приближении казачьего взвода, пастухи и подпаски, собравшись в юрте слепого Чиграя, возбужденно шумели.

— Пусть уходят все наши дети и женщины в камыши!— кричали одни.

— У нас есть ружья. Не пускать казаков в аул!— кричали другие.

— А при чем здесь мы? Пусть ответит за все сам Альтий!— кричали третьи.

— Альтия они об этом не спросят. Они спросят нас. И мы им должны ответить,— сказал Садвакас, гневно сверкнув своими темными, слегка раскосыми глазами.

— Что мы ответим им?— спросил Сеимбет.

— Проведите меня до холма Кзыл-Жар и поставьте лицом к девятнадцати русским всадникам. Я встречу их у холма, и я скажу им всю правду,— прозвучал спокойный, приглушенный голос слепого Чиграя.

— Какую же правду скажешь ты им, аксакал?— спросил Садвакас Чиграя.

— Я скажу им о том, кто похитил их лошадей и где скрываются сейчас эти кони.

— Воля твоя, аксакал, но русские не поверят тебе и плюнут в твое лицо, если ты назовешь им имя Альтия,— сказал Садвакас.

— Да, аксакал. Русские не поверят тебе, если ты назовешь им имя Альтия. Ты стар, и твое место в юрте. Встретить русских — дело джигитов. И мы встретим их,— прозвучал голос пастуха Сеимбета.

— Нет, нет, джигиты. Ведите меня на холм. Не оставляйте меня одного. В этот час я хочу быть вместе с моим народом. Я хочу быть с вами, мои джигиты,— повелительно и властно сказал слепой Чиграй, простирая вперед свои худые, тонкие руки.

И двое джигитов, взяв под руки старика, вывели его из юрты. Выйдя на волю, Чиграй настороженно прислушался к степной тишине, а затем тихо спросил:

— Ты здесь, Садвакас?

— Я здесь, аксакал.

— Тебе нельзя ходить с нами. Русские могут узнать тебя, и тогда будет худо. Уходи в камыши, где прячутся наши женщины и дети,— сказал Чиграй, касаясь своими трепетными пальцами груди Садвакаса.

— Нет, нет, аксакал. Я не могу прятаться в камышах вместе с женщинами и детьми. Я останусь вместе с джигитами,— решительно заявил Садвакас.

И Чиграй, вдруг насторожившись, прислушавшись к чему-то, глухо проговорил:

— Я слышу, гудит земля от конских копыт. Они идут к нашему аулу.

Но джатаки, напрягая слух, не уловили ничего, кроме далекого и печального детского плача, который то возникал, то замирал в дремучих камышах займища. Между тем Чиграй вновь повторил:

— От конского топота стонет земля. Они идут. Ведите меня. Ведите.

И джигиты, окружив Чиграя, двинулись в сторону холма Кзыл-Жар. Поднявшись на холм, джатаки увидели зыбкое облако пыли над трактом, а через мгновенье — и кавалькаду всадников, стремительно мчавшихся в развернутом строю на аул с обнаженными саблями. Жаркое солнце, дробясь, искрилось в клинках. Земля гудела, как барабан, под дробными ударами тяжелых некованых конских копыт. Заметив столпившихся на холме кочевников, вахмистр Дробышев взмахом сабли подал казакам сигнал спешиться. И всадники, как сдутые ветром с седел, передав лошадей коноводам, тотчас же окружили джатаков. Вогнав свой клинок в ножны, вахмистр Дробышев, угрожающе размахивая плетью, подскочил к прямому и неподвижному Чиграю, заорав во всю глотку на него:

— Ты здесь за старшего? Отвечай кратко, где наши кони?

И Чиграй, протянув вперед руку, сказал:

— Не кричи, атаман. Я скажу тебе правду. Лошадей ваших надо искать в ауле Альтия.

— Врет он, кобель!— крикнул фон-барон Пикушкин.

— Я стар, и мне незачем говорить неправду. Не джатаки — джигиты Альтия угнали ваших коней, казаки,— вновь прозвучал твердый и четкий голос слепого Чиграя.

Но станичники закричали, перебивая один другого:

— Не верьте ему, собаке!

— Тоже мне, валит с больной головы на здоровую...

— У Альтия свои табуны — степи ломятся.

— Альтий своим косякам счету не знат.

— Да ить он первейший мой друг, мой тамыр. Рази мысленно это дело — клепать на такого киргиза?!— кричал, колотя себя в грудь, фон-барон Пикушкин.

— Што там на их смотреть, воспода станишники. Бей конокрадов!

— Пустите меня, я ему дам по харе!— брызгая слюной, задыхался от крика, прорываясь к неподвижно стоящему на холме слепому Чиграю, приемный сын фон-барона Терентий Пикушкин.

Вдруг где-то совсем рядом прогрохотал выстрел. Это укрывшийся в прибрежной осоке Садвакас, для того чтобы отвлечь внимание озверевших казаков от зажатых в кольцо беспомощных и перепуганных джатаков, решил дать выстрел из дробовика и достиг своей цели. Казаки, окружившие пастухов и уже готовые было ринуться на них с обнаженными саблями и плетьми, опешили.

— Братцы, ить это по нам лупят!— крикнул вахмистр Дробышев и ринулся со всех ног к лошадям, порученным коноводам. Следом за вахмистром бросились казаки.

— По коням! По коням!— скомандовал вахмистр Дробышев, ловко прыгая на своего маштачка.

Казаки, спешно разбирая поводья, быстро повскакивали на своих коней. А пастухи и подпаски, воспользовавшись поднявшейся среди казаков суматохой, бросились врассыпную к аулу.

Между тем Садвакас, зорко наблюдавший за всем происходившим, дал один за другим еще два выстрела из дробовика по сбившейся в кучу конной кавалькаде, легко ранив под одним из казаков нервную, беснующуюся лошадь. Раненный в заднюю холку конь, закусив удила, понес казака в степь, а остальные всадники, беспорядочно заметавшись вокруг вахмистра Дробышева, кричали:

— Убийство!

— По нам из ружей палят!

— Под беглый огонь, братцы, попали...

Вахмистр Дробышев, вырвавшись наконец из кольца беснующихся вокруг него всадников, привстав на стременах, завопил:

— Смирно, туды вашу мать! Слушай мою команду. За мной! С нами бог!

— Ура!— прозвучал воинственный клич фон-барона Пикушкина.

И станичники, придя наконец в себя, ринулись на полном карьере вслед за своим командиром. Заметив по дыму от выстрелов, что стреляли по ним из курьи, вахмистр, бросив своих всадников врассыпную, решил окружить курью и пойти на укрывшихся в осоке противников в рукопашную атаку.

— Шашки к бою! За мной!..— крикнул, лихо взмахнув своей саблей, вахмистр рассыпавшимся за ним казакам.

Раздробившаяся по увалу конная лава, сверкая на солнце обнаженными клинками, стремительно покатилась вниз, к покрытому густой и рослой осокой берегу займища, где лежал за одной из кочек Садвакас. Садвакас не сводил глаз с вахмистра Дробышева, мчавшегося на полном карьере прямиком на него. Заложив дрожащими руками в ствол последний патрон, Садвакас прицелился в голову вахмистра и, забыв в эту минуту обо всем на свете, ждал удобной секунды для верного выстрела. Но выстрелить он не успел. Не сводя своих прослезившихся от напряжения глаз с вахмистра, Садвакас не заметил налетевшего на него с тыла всадника и не сразу сообразил, как случилось, что он оказался в мгновение ока под русским бородачом. Изловчившись, Садвакас сбросил с себя навалившегося станичника и, вскочив на ноги, пытался скрыться в камыши.

— Держи его, варнака!

— Не уйдет, азиат!

— Рубани его по бритой башке!

— Обходи, обходи его сбоку, братцы!— доносились со всех сторон до Садвакаса разъяренные вопли наседавших на него русских всадников.

Напрягая последние силы, Садвакас продолжал бежать среди густого рослого камыша, как сквозь зеленое пламя бушующего вокруг него огня, обжигающего его полуобнаженное тело. Кровь ударила ему в голову, и сердце стучало с такой силой в грудную клетку, что каждый удар его отдавался чудовищной болью, и Садвакасу казалось, что он мгновениями терял сознание. Вдруг, ощутив короткий тупой удар в спину, Садвакас слегка присел, пытаясь схватиться простертыми вперед руками за стебли камыша. И тотчас же ослепительно-яркий свет вспыхнул и померк в его глазах, и он, рухнув в камыш,

ничего уже не ощущал теперь, кроме оглушительного шума в голове, точно проваливаясь в какую-то бездну...

А минут пять спустя, когда спешившиеся станичники окружили неподвижно лежавшего в камышах джигита, с тревожным любопытством приглядываясь к его бронзовому лицу, фон-барон изумленно воскликнул:

— Воспода станишники, да ить это наш старый тамыр — Садвакас!

— Што ты говоришь?

— Богом клянусь, он, собака.

— Так точно. Его обличье,— подтвердил, пристально вглядевшись в лицо неподвижно лежавшего с закрытыми глазами джигита, Корней Вашутин.

— Вот это — да! Вот это улов, братцы!— сказал вахмистр Дробышев.— Теперь все, как божий день, ясно. Вяжите его, подлеца, по рукам и ногам да в станицу. А за такую птицу они нам не один косяк приведут.

— Это как пить дать — приведут,— сказал утвердительно фон-барон Пикушкин.

И станичники расторопно скрутили волосяными чембурами по рукам и ногам Садвакаса, затем погрузили его пламшмя на коня одного из станичников. Кавалькада двинулась всем скопом прочь из аула по направлению к станице.

23

Около двух недель пробирался Иван Сукманов с товарищами на восток. Стороной, бездорожьем, окольными путями выходили они из фронтовой зоны в глубокий тыл. Позади оставалась, навсегда уходила в прошлое страшная, затавренная кровью, заклейменная огнем и пороховым дымом фронтовая жизнь. Для этих людей война была окончена. Они шли туда, где призывно пылали по утрам высокие факелы предвесенних зорь и откуда доносились серебряные трубные звуки залетных степных ветров. Там ждали их иная, мирная жизнь. Там были желанные покой и отдых. Там были их семьи и пашни, в тоске по которым изболелись их души, привыкшие к нелегкому, но радостному земледельческому труду.

Шли ребята с опаской. Побаивались, как бы не напороться на заградительные кавалерийские разъезды или — еще хуже — попасть под беглый огонь вполне возможной погони. Дезертиры они были как-никак не про-

стые. Славы наделали на весь свой полк, если не на всю армию. И двоим из них, подвернись они под горячую руку военно-полевого суда, грозила верная пуля, а в лучшем случае — лишение казачьего звания, штрафные роты и снова фронт. Вот почему и не рисковали они тронуться по проторенной дезертирской дорожке, что вела от позиций к ближайшему железнодорожному полотну, где без особого труда можно было прицепиться к любому воинскому эшелону и рвануть, благословясь, без оглядки в глубокий тыл. Но рисковать башкой после трех лет войны не хотелось. Вот почему и пробирались они через Пинские болота на Минск глухими, окольными тропами. Путь был не легкий. Ориентировались местами по карте-десятиверстке, местами пробирались с хитрецой да оглядкой по лесным, заболоченным дебрям Полесья при помощи подвернувшихся под руку проводников.

Питались первое время скудными запасами из позиционного пайка, выданного за несколько дней до побега,— галетами и заплесневелыми сухарями, некогда присланными тыловыми патриотами в дар русским воинам. А на десятый день пути, когда были заметены в ладонь из походных сум и поровну разделены между всеми последние крохи фронтового продовольствия, спутникам пришлось переходить на подножный корм. Грызли они и древесную кору, и сыромятные ремни от ранцев — всяко бывало. Спали тоже — где и как приходилось: и в полуразрушенных артиллерийским огнем сторожках на кордонах лесных стражников, и в заброшенных позиционных укреплениях, и в наскоро вырытой где-нибудь на лесной опушке снежной берлоге. Словом, приходилось туговато. Да народ был тертый, каленый, крутой, ко всему привычный. А уж коли дело дошло до самовольного возвращения с фронта, то уж вряд ли можно было страшиться дорожных невзгод, измора или стужи! Вот и шли они, упрямо шагая на восток, злые от голода, молчаливые от бесстрашия, суровые от решимости. Шли, потеряв счет дням и ночам, перепутав числа, забывая порой обо всем на свете и помня только об одном — о далекой родной стороне.

Их было трое. Все однополчане и земляки. Иван Сукманов и Яков Бушуев все три года войны воевали в одном полку, а третий — Денис Поединок, вернулся в полк после длительного излечения в госпитале к исходу второго года войны. Около года промыкались Иван, Яков

и Денис на одной и той же позиции, а война и чужбина так их сроднили и сблизили, что теперь и водой их было не разлить.

После истории с прокламациями Якову Бушуеву с Иваном Сукмановым ничего больше не оставалось делать, как только бежать с фронта. Яков не мог не посвятить в свои замыслы Поединка.

А Поединок не мог отстать от Якова.

Между тем ни Яков Бушуев, ни тем более Денис Поединок даже и не подозревали о том, что побег этот был продуман и подготовлен в деталях не кем иным, как Иваном Сукмановым задолго еще до событий, связанных со знаменитыми листовками. Оба сукмановских спутника решительно ничего не знали о том, что вот уже около полугода Иван Сукманов был тесно связан с одной из нелегальных фронтовых большевистских организаций и что всего-навсего за неделю до всех этих событий ему было поручено развернуть широкую революционную агитацию в 4-м Сибирском казачьем полку. Полк этот до сих пор считался наиболее реакционным в 10-й армии, а потому действовать надо было здесь с особой осторожностью и тактом, да и не кому иному, а только своему же рядовому казаку. Всех, кто не являлся сородичем и не имел на погонах отличительного вензеля этого полка, казаки с Горькой линии глубоко презирали и никогда не доверяли чужаку независимо от его рода оружия и даже чина. Таковы были традиции, издревле укоренившиеся среди этого самолюбивого, наивного и храброго войска.

Подпольная фронтовая партийная организация доверяла Ивану Сукманову и рассчитывала на длительную его работу в полку. Однако события, принявшие крутой оборот, вынудили Ивана Сукманова скрыться и увлечь за собой товарищей, оставлять которых на произвол судьбы он не хотел и не мог. Правда, Иван Сукманов не особенно был огорчен столь быстрым самоустранением от той огромной, горячей и увлекательной работы, что предстояла ему в полку, так как основное и главное, как ему казалось, было уже им сделано. Судя по тому, что после трехкратного довольно-таки тщательного обыска офицерам разведки не удалось обнаружить в позиционных землянках ни одной из двухсот разбросанных Яковом листовок, письма большевистского партийного комитета были доставлены по адресу, и расставаться с ними никто из казаков уже, видимо, не хотел. А это говорило о многом.

Наконец сами обыски и крайне грубое обращение при этом с казаками со стороны офицеров разведки тоже немало способствовали тому глухому и грозному брожению умов, которое началось среди сибирского казачества после зачитанных до дыр и уже почти наизусть заученных листовок. В партийной организации, куда обратился Иван Сукманов в канун побега, ему посоветовали как можно скорее попытаться пробраться в глубокий тыл. Ивана Сукманова снабдили явкой на одну из законспирированных квартир в районе Нарвской заставы Петрограда, и он, ни слова не говоря пока об этом своим спутникам, повел их на следующую же ночь за собой.

Тронувшись вслед за Иваном Сукмановым в этот нелегкий и далеко не безопасный путь, Яков Бушуев с Поединком были уверены, что все они направляются прямо восвояси — в родные станицы, на Горькую линию, мало задумываясь над тем, что ждет их в далеком и родном краю и как отнесется к самовольному возвращению их с фронта станичное общество.

На двенадцатый день путники выбрались из болот Полесья на железнодорожное полотно к разъезду номер 49. На этом разъезде при содействии стрелочника со странной фамилией или, может быть, прозвищем Шайба, Иван Сукманов, как его предупредили в подпольном фронтовом комитете, должен был устроиться сам и устроить своих товарищей в качестве кондукторов на одном из полувоинских-полугражданских товарных составов, следующих прямым назначением на Петроград. По соображениям конспиративного порядка Сукманов не посвящал своих спутников во все эти детали. И потому Яков с Денисом были немало удивлены, когда незнакомый им стрелочник принял их столь приветливо, как можно было принять только давно знакомых, желанных гостей. Обосновавшись в сторожке стрелочника, спутники провели здесь двое суток, отдохнув после долгого изнурительного странствия по бездорожью Полесья. Вечером на третий день стрелочник свел их с неизвестным им человеком, судя по форме и знакам отличия, инженером-путейцем, который снабдил всех троих беглецов железнодорожными документами, из которых явствовало, что все три спутника по побегу являются теперь железнодорожными служащими, кондукторами, сопровождающими эшелон товарных вагонов, груженных лесоматериалами, следующий на Петроград. Нашлась у стрелочника для

всех троих и соответствующая одежда, переодевшись в которую фронтовики вдруг обрели сугубо гражданский и мирный вид. Вместо потрепанных, грязных, опостылевших за годы войны шинелей на них были плотные, ловко сидевшие ватные куртки. Вместо папах — круглые кондукторские шапки под каракуль. Кроме того, каждый из них получил по казенному, правда, довольно потрепанному и замызганному тулупу, который полагался товарным кондукторам во время маршрутных поездок в зимнюю пору.

А на четвертые сутки рано утром бывшие фронтовики, а теперь кондукторы, распрощались с гостеприимным стрелочником и отбыли с проходящим железнодорожным составом, к которому было прицеплено на разъезде десять груженных лесом вагонов, прямым маршрутом на Петроград...

24

Как в полусне, в полузабытьи, жила последние два года Наташа Скуратова в отцовской усадьбе. С удивительным равнодушием смотрела она на окрестный мир, словно в нем потускнели вдруг все его былые краски, звуки и запахи, столь пленявшие ее прежде. Старый родительский дом, некогда казавшийся ей уютным, теплым и милым сердцу гнездом, теперь не вызывал в ее душе ничего иного, кроме чувства серой, будничной скуки и уныния. Безучастно и холодно смотрела она на все: на самодурство выжившего из ума отца и на чудовищное скопидомство матери, на запустение одичавшего за последние годы приусадебного фруктового сада и на беспорядок в пустых, неопрятных комнатах барского дома.

После разлуки с Алексеем Алексеевичем Стрепетовым Наташу будто кто подменил. И будь бы ее родители чуть повнимательней, они бы заметили в дочери немалые перемены. Она потускнела, свернулась, как запоздалый цветок, прихваченный ранним инеем. Она почти разучилась смеяться и не вставала, как прежде, чуть свет по утрам, а валялась до полудня в постели. Она не пропадала в погожие летние дни, как бывало, с утра до вечера в степи или в роще в поисках ягод или грибов, а сидела затворницей в комнате с закрытыми ставнями. Любившая прежде морозную вьюжную зиму, не пропускавшая ни одного дня, чтобы не походить по заснеженным полям и перелескам

на лыжах или не прокатиться в лунную зимнюю ночь с отцом на резваче в станицу, Наташа теперь утратила былую охоту даже к этим своим невинным развлечениям. Все свободное время она проводила за чтением. Читала все, что попадалось под руку в небогатой отцовской библиотеке. И часто, задумавшись над раскрытым томиком Пушкина, она вдруг загоралась вся от внезапно вспыхнувшего в ней душевного света и не могла без сердечного трепета и тревоги читать грустные пушкинские строки вроде тех, которые когда-то написал ей в прощальной своей записке Алексей Алексеевич:

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль.
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

Безразличное отношение родителей к ее душевному неустройству не обижало, а оскорбляло Наташу. Но и к этому со временем она привыкла и перестала в конце концов замечать своих родителей точно так же, как не замечали они ее.

Старый Скуратов, забыв очень скоро о трагической гибели своего единственного сына, жил, как и прежде, своими барышническими страстями. Он по-прежнему путался с какими-то темными степными коновалами или явными конокрадами, без конца менял, покупал и перепродавал лошадей, мастерил при помощи дошлых, полуобрусевших аткаминеров сомнительные конские паспорта и подложные расписки, принимая у себя в доме каких-то развязных и нагловатых, не очень чистоплотных джигитов. А постаревшая, неопрятная, вечно злобствующая Милица Васильевна носилась с утра до вечера из кухни во двор, со двора в кухню, непристойно бранила прислугу за нерадение к барскому добру и без конца пересчитывала в подвале какие-то банки с вареньем.

Так вот и жила Наташа Скуратова эти последние годы, оставленная в начале войны Алексеем Алексеевичем Стрепетовым в полном одиночестве. Она не знала, любит ли он ее. Ведь он никогда не говорил ей об этом, даже в прощальном своем письме перед бесследным исчезновением из мятежного полка. «И если суждено еще будет нам с Вами когда-нибудь встретиться, я расскажу Вам многое, и Вы, надеюсь, поймете и оправдаете меня тогда, чего не сможете сделать сегодня»,— писал ей Алексей Алек-

сеевич. И Наташа, наизусть заучившая эту прощальную стрепетовскую записку, чаще всего вспоминала почему-то эти слова и больше всего думала о них, никак не понимая их подтекста, хотя и чувствовала, что какой-то скрытый смысл в этой фразе имеется. Много и часто, то хорошо, то дурно, думая об Алексее Алексеевиче, Наташа не понимала одного: как он мог, любя ее, бесследно исчезнуть на целые годы, не найдя способа сообщить ей за все это время хоть что-нибудь о себе. «Значит, все это вовсе не то, за что я это все принимала...»— все чаще и чаще думала с горечью Наташа.

Время шло. Проходили чередой дни, похожие один на другой. Стрепетов не подавал о себе никаких вестей. О нем, как, впрочем, и погибшем Аркадии, совсем изредка говорили в скуратовском доме, но всегда при этом полковником произносились о племяннике жестокие, нехорошие слова. Это обижало и раздражало Наташу. Не рассчитывая уже на какой-нибудь слух об Алексее Алексеевиче, она все же не переставала думать о нем, не могла позабыть ни его грустной, рассеянной улыбки, ни тревожного и пытливого взгляда. С надеждой прислушивалась она к звону бубенчиков какой-нибудь запоздалой тройки, мчавшейся по тракту мимо усадьбы, холодела при мысли о том, что вот так вдруг прискачет как-нибудь среди ночи и он...

А однажды, заглянув поутру в зеркало, Наташа ахнула. Боже мой, что же с ней сталось?! Впервые за эти три года она увидела как будто чужими глазами свое потускневшее, утомленное лицо и испугалась. С изумлением, с тревогой приглядываясь к своему отражению, она с не меньшей тревогой и изумлением огляделась затем и вокруг себя. Вконец постылыми, серыми, скучными показались ей давно не беленные стены комнаты, старая пыльная мебель, туалетный столик, заставленный пустыми флакончиками из-под дешевых духов, коробочками из-под кремов и пудры и прочими безделушками, в которых давным-давно не было решительно никакой нужды.

А за окном красовалось золотое погожее утро ранней осени. Белые, как лебеди, гуси полоскались в пруду. Шестнадцатилетняя дочка кухарки — Маша, здоровая, сильная, гибкая девушка, легко и плавно ступая босыми ногами, несла на коромысле полные ведра воды и беспричинно улыбалась чему-то. Озорной, весь в репьях пес Раскатайка, заигрывая с Машей, падал перед девушкой,

положив на вытянутые впереди себя лапы лохматую морду, и притворялся спящим, а затем вскакивал из-под босых Машиных ног и, отбежав вперед, снова ложился в той же позе, весело поглядывая на улыбающуюся девушку своими лукавыми каштановыми глазами.

Накинув на ночную рубашку легкий ситцевый халатик, захватив с туалетного столика гребенку, сдернув на ходу со спинки кровати полотенце, Наташа выскочила по черному ходу на крылечко и первая поздоровалась с идущей мимо Машей.

— Машенька, здравствуй!— крикнула Наташа, приветливо махнув девушке полуобнаженной тонкой рукой.

— Здравствуйте, барышня. Чего это вы сегодня ни свет ни заря?— удивленно сказала Маша и, продолжая улыбаться, остановилась, слегка согнувшись под коромыслом.

Раскатайка, забыв про свою забаву, тоже присел на задние лапы рядом с девушкой и с таким же веселым недоумением, как и она, смотрел на Наташу.

— Ты еще пойдешь за водой?— спросила Наташа девушку.

— А то как же. На кухню два-три коромысла. И астры надо полить.

— Ну тогда и я сейчас спрошу ведра у мамы. И будем вместе с тобой воду носить.

— Пожалуйте, если охота...

— Сию секунду, Машенька... Я тебя догоню,— сказала Наташа, тотчас же скрывшись за дверью.

Маша, сделав еле заметное недоуменное движение левым плечом, пошла все той же легкой, танцующей походкой дальше, а Раскатайка, склонив набок свою лохматую голову, остался сидеть на месте, не спуская своих лукавых каштановых глаз с двери, за которой скрылась Наташа.

Через какие-нибудь четверть часа обе девушки, забыв про оставленные на берегу ведра, сидели рядышком на мостках и, совсем как дети, весело и беспечно болтали ногами в студеной воде.

— Это худо — быть неграмотной, Машенька,— продолжая давно начатый разговор, строго сказала Наташа.

— Куды хуже, барышня...

— Хочешь — я тебя обучу?

— Што вы, барышня... Да ить я на хутор, зачем не видишь, от вас уеду.

— А на хуторе школы нет?

— Школа-то с прошлого года значится, да вот учителя — сбились с ног — найти не можут.

— Что ты говоришь, Машенька?! Школа без учителя?

— Не школа — сирота она у нас, барышня.

— А что, если я учительницей к вам поеду?

— Пожалуйте, коли не шутите...

— Вполне серьезно говорю, Машенька.

— Скучно только у нас вам покажется.

— Не скучнее, чем здесь, надеюсь.

— Ну, тоже ить, сравняли барский дом с хутором! Хуторские горницы — не ваши хоромы.

— Эх, Машенька, знала бы ты, как мне надоели эти хоромы.

— Это в таком-то раю красоваться вам надоело?

— Не смотрела бы ни на что...

— Ну, значит, взамуж пора вам, барышня.

— А ты откуда знаешь?

— Знатье известное. Не сидится девке на месте — подавай жениха невесте.

— Неправда. Я о женихе и не думала...

— Думой тут не поможешь, барышня.

— Глупости говоришь, Машенька.

— Все может быть, барышня. Дура-то я отменная. Это правда.

— Никакая ты не дура. Наоборот.

— Нет, дура. Кабы умной была — не видать бы девкам меня на нашем хуторе.

— Вот как? А куда бы ты делась?

— В город Ирбит бы уехала.

— Почему же в Ирбит?

— Така уж планида мне нонче падала...

— Что же бы стала ты делать в Ирбите, Маша?

— Как что? Жить...

— Где же?

— С купцом.

— С каким купцом?

— С которым бежать зимой собиралась.

— Как бежать?

— Ну, как девки бегут, коли благословения матушка не дает? Собралась бы ночью, перекрестилась на божий храм — и поминай как звали...

— Погоди. Да он что же, сватался за тебя?

— Не сама же я к нему напросилась. Смешная вы, барышня.

— Когда ж это было?

— Зимой. На Никольскую ярманку. Я с подружкой Дашей Немировой в станице гостила. Вот он там меня и облюбовал. Глаз не сводил. Сластями запотчевал, ешь — не хочу. Соболью шубку сулил. Винцом начал баловать. У меня — голова кругом. Едва с собой совладала.

— И хорош собой?

— С лица не воду пить.

— Все же?

— Как вам сказать? В годах. С бородкой по колен. А так — ничего.

— Ты с ума сошла, Машенька. Разве он тебе пара?

— А што?

— Ну как што? В годах. Борода по колен. Да ведь ты-то совсем еще ребенок.

— Не скажите, барышня...

— Однако же. Тебе — шестнадцать, ему — небось под пятьдесят. Это как-никак разница.

— Зато в соболях бы теперь по городу Ирбиту ходила.

— Вот ты какая! Что же тебе тогда помешало?

— Я же вам сказала — дура была.

— А теперь поумнела, что ли?

— Не знаю, барышня. Не похоже.

— Отчего же?

— Кабы поумнела — не сидела бы в девках.

— А ты что же, замуж торопишься?

— Торопиться не тороплюсь, а ждать одного дурака приходится...

— Жених есть на примете?

— Вроде того...

— Кто же он — не секрет?

— Так, казак один с хутора.

— В армии, что ли?

— Там. В действующей. На фронте.

— На ирбитского купца не похож?

— Што вы, бог с вами, барышня! Всего и богатства — одна гармошка...

— Музыкант, значит?

— Лучше не говорите. Заиграет — земля из-под ног плывет.

— Ну, это, Машенька, большое богатство — талант.

— Не знаю, барышня, будет ли нам с ним талан в

жизни,— сказала со вздохом Маша, задумчиво заглядевшись в воду.

— Отчего же не будет, думаешь?

— Уж очень рисковый он у меня. Бедовая голова.

— Любит тебя?

— Ну, ишо бы ему меня не любить — без ума и без памяти.

Помолчав, Наташа сказала:

— Завидую я тебе, Машенька.

— Вот уж тоже нашли кому позавидовать, барышня. В чем же это?

— Во многом. Во многом...— ответила после раздумья Наташа. И она, пристально глядя куда-то вдаль своими слегка прищуренными, позолотевшими от солнца глазами, горячо и взволнованно продолжала:— Замечательная ты девушка, Машенька. Прелесть. И завидую я, что живешь ты на хуторе.

— А мы давайте поменяемся с вами, барышня. Я к вам в хоромы жить пойду, а вы — к нам на хутор,— сказала с лукавой улыбкой Маша.

— Поменялась бы, да разлучаться с тобой не хочу, Машенька. Нет, уж лучше я с тобой вместе учительницей на ваш хутор поеду. Согласна?

— Пожалуйте, коли не раздумаете.

— Нет. Нет. Всерьез говорю. Меня инспектор народных училищ давно приглашал в любую из сельских школ, да я все раздумывала и не решалась. А теперь твердо решила — еду. Только один уговор, Машенька: ты пока — до поры до времени — никому ни гугу об этом.

— Не извольте беспокоиться, барышня. Я язык за зубами, если надо, держать умею.

— Ну вот и отлично. Договорились.

Полное покоя и умиротворяющей тишины светлое нежаркое утро красовалось над пустынной степью. Чуть слышно звучали где-то серебряные трубные голоса проходящих сторонкой лебедей. Гуси, озоруя в пруду, шумно хлестали по воде упругими белыми крыльями, поднимая фонтаны ослепительно искрящихся на солнце брызг. Притихшие девушки сидели на мостках, лениво побалтывая голыми по колено ногами, и Наташа, щуря глаза, мечтательно и восторженно говорила:

— Боже мой, как это хорошо — быть самостоятельной, вольной, независимой. Подружиться с простыми людьми. Быть хозяйкой своей судьбы. И трудиться. Тру-

диться. Ничего похожего на мою прежнюю жизнь. Все ново. Все неожиданно. Все интересно... Тебе, наверное, не понять меня, Машенька. Впрочем, нет. Наоборот. Ты все на свете поймешь. Ведь ты же умница. Представляешь, писать и читать тебя научу. И гадать о суженых мы с тобой вместе будем. И вообще, как хорошо мы с тобой заживем теперь там, на хуторе!

25

В ответ на свое прошение, поданное на имя уездного инспектора народных училищ, Наташа Скуратова получила назначение на должность сельской учительницы церковноприходской школы и в конце сентября приехала к месту своего назначения — в хутор Подснежный. Здание, отведенное под школу на хуторе, оказалось обыкновенным саманным пятистенником, арендованным обществом у одного из хуторян. И ни внешний вид этого убогого, крытого соломой домика, ни его внутреннее устройство — ни то, ни другое никак не вязалось с былыми представлениями молодой учительницы о школе. За годы, проведенные в стенах губернской женской гимназии, Наташа привыкла к строгим, полным света и воздуха классным комнатам здания, построенного в стиле классицизма, к нарядному великолепию двухсветного актового зала с хрустальными люстрами и мраморными колоннами, к похожему на Льва Толстого швейцару, стоявшему у дверей.

При виде саманного пятистенника, уныло стоявшего на пустыре, заросшем лебедой и крапивой, у Наташи сжалось сердце. А когда молодая учительница робко переступила порог этой сирой и ветхой хижины, названной школой, она и совсем пала духом. Земляной пол. Покосившиеся, маленькие, тусклые оконца. Грубые столы и кривые скамейки вместо парт. Темный лик какого-то угодника в божнице, подернутой паутиной. Запах мышиного помета и печной золы. Бедно. Неопрятно. Убого.

Поморщившись, Наташа смахнула пыль со скамейки крошечным кружевным платочком. Присела. Вздохнула. Поглядела в окошко. Широкая, поросшая конотопом улица хутора уходила в степь. Низкие, пепельно-серые облака плыли над крышами домов. Вдали, на отлете от хутора, молитвенно простирал к нему дряхлые, почерневшие от времени крылья осевший набок ветряк. Еще дальше

маячила на пригорке березка. Гибкая, тонкая, молодая, гнулась она под ветром, словно стремясь подняться и полететь вслед за золотыми потоками листьев, срывающихся с полуобнаженных ее ветвей. На улице было пусто. Моросил мелкий, точно сеянный сквозь частое сито, дождь. Серый гусак, спрятав клюв под крыло, дремал на одной ноге возле чьего-то палисадника с кустами чахлой акации. Бесприютно раскачивалось из стороны в сторону над колодцем пустое ведро, прикрепленное цепью к вздернутому хоботу журавля. Заглядевшись на невеселую эту картину, Наташа вдруг прониклась такой острой жалостью к себе, что у нее, как в детстве, задрожали губы. Представив себя беспомощной, ничего не смыслящей в учительском деле одинокой девчонкой, она, уронив голову на подоконник, прикрыла узкой ладонью глаза и горько заплакала.

В хате было свежо и тихо. Сквозило. В старомодном комоде, приспособленном, видимо, под канцелярские нужды школы, робко скреблась мышь. Шуршал в окошке оторванный ветром клочок бумажки, наклеенный вместо выбитого осколка стекла. Беззвучно наплакавшись вволю в этой неуютной сумрачной хижине, Наташа почувствовала некоторое облегчение. Извлекла из скромного замшевого ридикюльчика круглое зеркальце величиною в серебряный рубль, присмотрелась, подумала: «Ничего. Слезы просохнут. Ветром обдует. И опять жить можно». Она поднялась. Одернула шерстяное коричневое платьице. Досуха вытерла кружевным платочком глаза. Прибрала сбившиеся под кашемировым подшалком волосы. Раскрыла, поставив на стол, свой потертый кожаный саквояж, тотчас же забыв о том, зачем ей понадобилось раскрывать его, и задумалась в нерешительности.

В это время отчаянно взвизгнула шумно распахнутая дверь, и Наташа, выглянув в другую половину хаты, увидела на пороге Машу. Она была не одна. Следом за нею вошла девушка в старомодном кубовом платье с буфами, с пшеничными волосами, собранными на затылке в тяжелый узел, с лицом не столько красивым, сколь обаятельным.

— Барышня!— изумленно воскликнула Маша и, всплеснув при этом руками, бросилась к Наташе.

— Здравствуй, здравствуй, Машенька,— сказала Наташа, целуясь с девушкой.

— А мы с ног сбились с Дашей,— сказала Маша, ки-

вая на присмиревшую у порога, стеснительно улыбающуюся девушку.— Как прослышали о вашем приезде — дуй к ямщику, от ямщика — к атаману, от атамана — к школьному попечителю.

— Что так?

— Вас потеряли.

— Ну куда же я денусь? Прямо с дороги — в школу.

— А нам, дурам, и невдомек, што вы тут опнулись. Зря, барышня.

— Что зря, Машенька?

— Заехали-то суды.

— А куда же еще?

— Как куда? К атаману. Он бы вас на квартиру поставил у добрых людей. А мы бы тут завтра всем миром обиход навели. Побелили бы, окна помыли, полы бы помазали. Ну, а тогда уж и послов за вами — пожалуйте.

— За обиходом дело не станет. Не сумлевайтесь. В кой миг все угоим. А поквартировать у нас пока можете, ежли не брезгуете,— сказала девушка в кубовом платье.

— Спасибо. Спасибо, голубушки... Как вас зовут?— спросила Наташа девушку в кубовом платье.

— Дашей ее зовут. Подружка моя. Даша, Немирова по фамилии,— поспешно ответила за девушку Маша.

— Ну, здравствуйте, Даша. Будем знакомы. Меня зовут Наталья Андреевна,— сказала Наташа и, впервые назвав себя по имени и отчеству, смутилась и крепко пожала при этом жесткую руку Даши.

И обе они, как это часто случается в жизни, ничего еще толком не зная одна о другой, с первых же минут своей встречи почувствовали взаимное расположение. Тем охотнее приняла Наташа Скуратова предложение девушек определиться на первых порах на квартиру в доме Даши Немировой.

А когда получасом спустя робко вошла Наташа Скуратова вслед за своими спутницами в немировский дом, то ей тотчас же стало ясно, что останется она здесь надолго. Все тут располагало к этому. Непритворное радушие гостеприимных хозяев. Обжитый уют старого дома. Невеликая, но опрятная горница с нехитрым ее убранством. А главное — Даша. Сама не зная почему, Наташа испытывала теперь такое чувство вблизи этой тихой, застенчивой девушки, точно была она связана с ней какой-то тайной.

...Допоздна засиделись в этот вечер девушки, сумерничая в немировской горнице. Погода к ночи начинала мало-помалу как будто разведриваться. Дождь прошел. Молодой, похожий на дутую казахскую серьгу месяц нет-нет да и выглядывал в просветы облаков, раскиданных ветром, и тусклый рассеянный лунный свет временами проникал сквозь старенькие тюлевые занавески, неярко озаряя горницу, где сидели друг против друга присмиревшие за столом девушки — Даша с Наташей. Чуть слышно, словно спросонок, ворковал на столе самовар, и недопитый чай остывал в блюдцах. Облокотившись на стол, Наташа молча выслушивала невеселую повесть своей собеседницы.

— Был слух, што смутил их один офицер — назвать как его, не скажу,— продолжала Даша своим приглушенным, таинственным голосом, временами переходящим на полушепот.— Болтали в станицах, будто он подбил казаков на побег и увел их потом за собой в надежное место. Если так, одно сказать — спасибо этому офицеру. Ить не скройся они — показнили бы их в чистом поле у позорного столба всех дочиста... А может, все это — одна бабья брехня. Может, сами они собой от казни ушли, безо всякого офицера. За это ручаться не стану. За што купила, за то и вам продаю.

— Нет. Нет. Все это чистая правда, Даша,— горячо и поспешно сказала Наташа, схватив собеседницу за руку.

— Што правда, Наталья Андреевна?— спросила тревожным и взволнованным шепотом Даша.

— Про офицера, который увел казаков...

— Стало быть, вы тоже про это слышали?

— Слышала, Даша. Слышала...

— Ну, вот видите... Не иначе, душевный был человек, хоть и офицерского звания.

— Не иначе...— тихо сказала Наташа, и она, прикрыв своей узкой ладонью глаза, с удивительной ясностью увидела на мгновенье лицо Алексея Алексеевича.

Посидев с минуту молча, Даша поднялась и стала прибирать со стола. Месяц, выглянувший из-за облака, осветил горницу неверным, призрачным светом. Наташа сидела не двигаясь, не меняя позы, облокотившись на стол, прикрыв ладонью глаза. До боли жмурясь и напрягая воображение, она пыталась вновь воскресить в своей памяти образ Стрепетова,— пыталась и не могла. Так бы-

ло всегда с нею, когда слишком горячо и взволнованно начинала думать она о нем. А сейчас она думала о нем с такой душевной болью, сердечной тревогой и внутренним трепетом, как не думала никогда еще, кажется, прежде. Трудно сказать, что подействовало так на Наташу. Может быть, поразило и захватило ее бесхитростное признание Даши Немировой в бескорыстной, светлой и чистой любви к своему жениху. Неизвестно в конце концов отчего, но только теперь поняла и почувствовала вдруг Наташа Скуратова, как бесконечно дорог и близок ей человек, в любви к которому она боялась признаться до сих пор даже себе.

А глухой и глубокой ночью, когда девушки лежали уже в постели, Наташа рассказала Даше все, что знала об Алексее Алексеевиче Стрепетове, не утаив и того душевного состояния, какое испытывала она за годы разлуки с этим человеком, а особенно сейчас, когда она вдруг почувствовала, что держаться в жизни сможет впредь только одной надеждой на близкую ли, далекую ли встречу с ним.

Выслушав исповедь Наташи, Даша, слабо вздохнув, сказала:

— Вот притча какая нам с вами вышла...

26

Забывшись в эту неспокойную осеннюю ночь коротким, тревожным сном только под утро, Наташа увидела себя во сне на каком-то блестящем и шумном балу. Не то это был святочный карнавал в губернском Дворянском собрании Омска, не то — выпускной вечер в гимназии. Но в громадном, расточительно залитом золотыми потоками света актовом зале с гигантскими хрустальными люстрами, мраморными колоннами и гипсовыми балюстрадами, обвитыми серпантином, кружились какие-то странные нарядные люди, совсем не похожие на гимназистов и гимназисток. Плоская, длинная и худая, как змея, классная дама Вероника Витольдьевна Паторжинская, зловеще посверкивая своей золоченой лорнеткой, прогуливалась под руку с маленьким нервным гусаром, и Наташа, встретившись взглядом с красивым, бледным лицом офицера в гусарском ментике, похолодев, узнала в нем Мишеля Лермонтова. Однако она ничуть не удивилась, увидев тут же строгий, надменный профиль и тонкую, гибкую талию

княгини Бетси. Небрежно придерживая узкими длинными пальцами цвета слоновой кости пышный шлейф своего вишневого вечернего платья, она прошла мимо Наташи рядом с цыганом Яшкой и тремя ярмарочными барышниками в песочных бешметах, с кнутами, заткнутыми за махровые опояски.

Яркий тревожный свет слепил глаза. Хрустальные подвески люстр трепетали над головой, отражая волшебную игру огня и красок. Где-то вверху, на хорах, настраивался оркестр. Было что-то невыразимо прекрасное и упоительное в пробных звуках кларнета, в робком лепете флейты, в шелесте тяжелых бархатных и шелковых шлейфов изысканных светских красавиц, в нежном запахе дорогих духов. Вдруг зазвучали, вспорхнув с антресолей, стаи светлых и трепетных звуков «Сентиментального вальса» Чайковского, и у Наташи сладко и больно замерло сердце. Упоительно-нежный, прозрачный и ласковый голос флейты интимно журчал вдалеке, как журчит в отдалении серебристая струя родника, купаясь в теплом и ярком солнечном свете.

У Наташи закружилась голова не то от музыки, не то от бокала густого и крепкого вина, и злые огоньки заметались у нее в крови. Тогда все смешалось, кружась и смещаясь в потоках прозрачных звуков волшебной музыки и тревожного света. Но это, кажется, был уже вовсе не бал, а не то призовые военные скачки на каком-то армейском плацу или ипподроме, не то шумная и яркая ярмарка в станице. Было душно и знойно. Где-то играл духовой оркестр. Женщина с кроваво-красным пионом в темных распущенных волосах шла над толпой по канату, и ее алое, похожее на римскую тогу платье трепетало, как пламя, на ветру. Карлики, похожие на чертей, лихо приплясывали на высоких подмостках, кружась в странном танце — нечто среднее между деревенской кадрилью и полонезом. А всадники в белых кителях скакали на великолепных конях через какие-то рвы и барьеры под восторженные крики толпы. Наташа знала, что одним из этих всадников был Алексей Алексеевич. Но она не могла пробиться сквозь шпалеры нарядных женщин, кочевников, прасолов и гимназистов к полю, на котором шли скачки, чтобы махнуть платком Стрепетову или крикнуть ему. Она знала, что и Алексей Алексеевич ищет ее в толпе, пролетая как птица через рвы и барьеры на своем белогривом арабе. Но они никак не могли увидеть друг

друга, и сердце Наташи разрывалось на части от горя, и глаза ее горели от невыплаканных слез.

Между тем все глуше и все печальнее звучал в отдалении духовой оркестр. Пыль, поднятая копытами гарцующей конницы, заволокла поле скачек, и всадников уже не было видно. Женщина в алом, похожем на римскую тогу платье, пролетела по воздуху над толпой ярмарочных зевак, тотчас же исчезнув за тяжелым, знойным и мглистым горизонтом. Но, кажется, это была уже не женщина, а жар-птица.

Утомленная зрелищами, Наташа чувствовала себя усталой, ко всему равнодушной и ничему уже не удивлялась теперь. Неуклюжий, неловкий, весьма застенчивый кавалер в странном фраке немодного покроя предложил Наташе свою согнутую в локте руку, и Наташа, доверчиво опираясь на эту руку, последовала за молодым человеком, вновь очутившись в зале с анфиладой колонн, совершенно, впрочем, пустом теперь, но по-прежнему залитом ярким светом. Наташа долго шла по этому бесконечному, пустынному залу рядом со своим молчаливым спутником. Мириады жарких огней играли, дробясь и переливаясь, в хрустальных подвесках люстр, и Наташе казалось, что все ее существо было пронизано этим ослепительным праздничным светом. Она теперь знала, что рядом с ней шел Пьер Безухов, и по-прежнему нисколько не удивлялась этому. Удивляло другое — зеркальный блеск паркетного пола, в котором отражались огни гигантских люстр, и было похоже, что Наташа шла с Пьером Безуховым по небу, усыпанному звездами.

— Я получил наконец развод от Элен. Я никогда не хотел бы расстаться с вами,— сказал Пьер, останавливаясь и несмело целуя при этом невесомую, узкую руку Наташи.

Светлая волна невыразимой нежности к кому-то — не то к Пьеру Безухову, не то к Алексею Алексеевичу — поднялась в стесненной груди Наташи. Но она ничего не могла сказать в ответ Пьеру Безухову. Мягкие губы ее, тронутые благодарной улыбкой, дрогнули, и Наташа, открыв свои залитые светом глаза, проснулась.

За окошками красовался погожий день. В синем спокойном небе плавали редкие облачка, похожие на газовые девичьи шарфы, раскиданные ветром. Свежая солома на крышах сараев отливала червонным золотом. Золотой казалась и горница, залитая щедрым солнечным светом.

Наташа, изумленно оглядевшись вокруг, сообразила наконец, где она и что с нею. «Какой стыд — проспала!»— подумала она, не увидев рядом с собою Даши, и, тотчас же спрыгнув с высокой деревянной кровати, поспешно начала одеваться.

В доме было тихо и пусто. Заглянув в кухню, Наташа увидела на столе горшок с топленым молоком, разрезанный пшеничный калач и перевернутую вверх дном эмалированную кружку. Все это было осторожно накрыто краешком чистого холщового полотенца, и Наташа догадалась, что это был приготовленный для нее завтрак. Наспех пополоскавшись под стареньким, но ярко начищенным медным рукомойником в углу, Наташа кое-как — она очень спешила — привела в порядок перед зеркальцем в горнице свои рассыпающиеся волосы, собрав их на затылке в узел. В светленьком ситцевом платьице, в потертых туфельках, надетых на босу ногу, Наташа казалась сама себе легче, проще, непринужденнее в движениях. И вообще она чувствовала сейчас себя так, словно только что окунулась спросонок в прохладную свежую воду, ощущая каждый свой мускул, каждую каплю звонко и молодо пульсирующей крови. Завтракая в полном одиночестве, Наташа дивилась своему аппетиту. Кажется, никогда прежде не едала она еще такого ароматного, вкусного хлеба, пахнущего бражным запахом перебродившей опары и русской печкой, не пивала столь густого, как сливки, хотя и чуть отдававшего степной горькой полынкой топленого молока.

Вспомнив про сон, Наташа улыбнулась. Это было странно, но у нее и сейчас, наяву, теплилось в сердце чувство невыразимой нежности к Пьеру. И неприятным в этом сновидении теперь ей казалось одно: вспоминать о фатальном облике Лермонтова, почему-то приснившегося рядом с навеки противной Наташе классной дамой Вероникой Витольдьевной, скверно знавшей русский язык, а тем более — литературу. И если Пьер Безухов даже и наяву вызывал у Наташи затаенное чувство нежности, то образ Лермонтова будил в ней какие-то тревожные, неопределенные желания, полные внутреннего смятения, сердечной боли и душевных порывов невесть к чему...

Позавтракав, Наташа отправилась в школу. На улице она столкнулась с дюжиной шустрых и озорных ребятишек. Схоронившиеся в лебеде за плетнем палисадника мальчишки, видимо, подкарауливали молодую учитель-

ницу, о приезде которой еще со вчерашнего вечера знал весь хутор. И теперь, когда Наташа, не заметив притаившихся детей, прошла мимо них своей порывистой, легкой походкой, ребятишки молча последовали всей дружиной за ней по пятам. Наташа обернулась на резвый топот босых детских ног и замерла от неожиданности, не удержавшись при этом от улыбки.

Ребятишки остановились как вкопанные, и из них тоже кое-кто добродушно заулыбался. С минуту Наташа молча смотрела на мальчишек, а они так же молча и изумленно смотрели на нее. Дети все почти были одинакового роста, не ахти какие великаны на восьмом или десятом году. Одеты тоже одинаково. Застиранные, продранные на локтях рубашонки. Залатанные на коленках миткалевые штаны. Все были босиком, но в форменных казачьих фуражках, лихо заломленных набекрень. Фуражки на всех были старые, выгоревшие от солнца, большие, отцовские, но, небрежно надетые боком, они казались впору мальчишкам и придавали веселым, загорелым их мордочкам отчаянный вид.

— Ну, здравствуйте, дети!— сказала Наташа, приветствуя ребятишек как будущих своих учеников и втайне испытывая даже некоторую робость перед ними.

Мальчишки, хихикнув, переглянулись. С ними никто еще так не здоровался прежде, и было непонятно — шутит ли учительница или говорит всерьез.

— Давайте знакомиться,— предложила Наташа, почувствовав замешательство среди ребятишек.— Меня зовут Наталья Андреевна. Я буду вашей учительницей. Будете ходить ко мне в школу?

Мальчишки опять переглянулись между собой, но уже без хихиканья. И один из них, самый меньший по росту, но — по всему было видно — заводила дружины, ответил, потупясь:

— Может, которые будут, если примете...

— Отчего же не приму? Приходите. Всем места хватит. Тебя как зовут?— спросила Наташа ответившего ей мальчика.

— Меня-то? Илья,— не поднимая глаз от земли, кротко ответил тот.

— Хорошее имя,— похвалила Наташа.

— А у него и отца зовут так же. Он даже стих знает,— указывая на Илью пальцем, сказал один из осме-

левших мальчишек, такой веснушчатый, что при взгляде на него немного рябило в глазах.

— Ах, вот даже как? Стихи знать — это уже совсем хорошо, Илья. Да ты небось и читать умеешь?— спросила Илью Наташа.

— Ничего я не умею,— сердито сказал Илья.

— Может быть, ты и стихотворения вовсе не знаешь?

— Знает. Знает,— теперь уже целым хором прозвучало несколько голосов.

— Ну и знаю. А што такова?!— заносчиво повысил голос Илья, окрысившись на ребятишек.

— Ничего тут нет плохого. Наоборот. Очень даже хорошо. Как же ты его выучил? Интересно,— сказала Наташа, посмотрев при этом с притворным равнодушием в небо.

— По слыху,— глухо ответил Илья.

— Ах, на слух? Очень даже интересно. Кто же тебя научил?

— Фершал Иван Иваныч.

— Который прошлый год под покров из ружья на охоте насмерть убился. Он ить у них на квартире стоял,— поспешно выпалил парнишка с веснушками.

— Он меня бы разным разностям научил, кабы живой остался. Только один стих по календарю мы с ним выучить и успели,— проговорил грустно Илья.

— Интересно. Очень интересно. Какой же стих-то?— спросила Наташа.

— Про сосну. Про сосну,— опять хором ответили осмелевшие ребятишки.

— Вот что, дети,— предложила Наташа теперь уже вплотную окружившим ее ребятишкам.— Проводите меня до школы, а Илья по дороге расскажет нам это стихотворение.

— Нет,— сказал Илья,— я на ходу не умею рассказывать.

— Хорошо. Расскажи сейчас. Мы согласны на все. Правда, ребята?— обратилась Наташа за поддержкой к мальчишкам.

— Правда. Правда.

— Давай. Рассказывай,— зазвучали смелые и требовательные голоса ребятишек.

— Да ну вас...— отмахнулся от них с напускным пренебрежением Илья.

Но всем было ясно, что рассказать стихотворение ему

и самому уже очень хотелось, да не хватало еще смелости, и потому он, неспокойно переступая с ноги на ногу, сопел, надувшись, точно раздумывая, с кем бы подраться.

Наташа, поглядывая для виду в сторону, ждала, пока Илья наберется храбрости. Ждали отлично знавшие повадки своего вожака и присмиревшие мальчишки.

Наконец, тяжело вздохнув, Илья вдруг выпрямился, как в строю, опустил руки по швам, сомкнул босые пятки и, глядя в одну точку, негромко начал читать засекающимся от волнения хрупким баском лермонтовские строки:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Окруженная толпой деревенских мальчишек, Наташа слушала стихотворение, заглядевшись на одинокое облако. Похожее на парус, медленно плыло оно в зыбкой лазури безмятежного неба. Мальчик умолк. Но голос его продолжал еще звучать в ушах и в сердце Наташи, как глухой колокольчик. И Наташа знала, что долго теперь будет звучать в ней этот колокольчик — очень долго, если не всю жизнь...

27

Видели ли вы, как скитается по осенней степи неуживчивая трава перекати-поле? Легкая на подъем, покорная всем четырем ветрам, перекатывается она с места на место, равнодушная к покою и странствию, к своим коротким заминкам в пути или к дальнейшему приюту под кустом полыни. Вот так же было и с Федором Бушуевым. Куда только не бросала лихая судьба за эти три года беглого казака с двумя его вольными или невольными спутниками по странствиям — Пашкой Сучком и Андреем Праховым! Живали они, снарядившись в пастушьи лохмотья, на положении джатаков в глухих и далеких аулах кочевников Кургальджинских степей. Промышляли по найму рыбалкой в верховьях Черного Иртыша. Кормились поденной работой на каторжных

промыслах купца Дериглазова, монопольного добытчика соли на берегах Тенгиза. Хаживали в качестве гуртоправов и чабанов с гуртами скота, перегоняемого прасолами с одной степной ярмарки на другую. Работали дровосеками на казенных лесных дачах Каркаралинска. Словом, хватили, как говорится, горького до слез, познав цену куску хлеба и капле воды.

Одно было хорошо. В какой бы крутой оборот ни брала жизнь ребят, в какой бы тугой переплет ни попадали они в это лихое время — никогда не падали они духом. Выручали здоровье, молодость. Оторванные от родимых мест, беглецы жили одним — надеждой на возвращение в родную станицу.

Месяца через два после удачного побега из-под ареста, когда при помощи верных степных тамыров, в числе которых был Садвакас, ушли они в глубинную степь за сотни верст от станицы, Салкын раздобыл для них в Каркаралах кое-какие документы. Снабженные этими «видами на жительство», под чужим именем казаки могли уже открыто передвигаться в поисках заработка, куска хлеба, приюта. Но не так-то было легко найти работу. Лишенные скота и крова джатаки и российские новоселы бродили толпами по редким здесь русским селам, отрубам и хуторам в поисках пристанища и куска хлеба. Но отрубные столыпинские кулаки и вышедшие с Поволжья немецкие колонисты охотнее пользовались рабочей силой степных пролетариев — джатаков, чем бродяжничающих русских. Батраки из джатаков были менее требовательны в харчах, в жилье и в одежде, чем русские люди, и податливее последних на любые кабальные условия труда в имениях степных землевладельцев, сказочно богатевших из года в год за счет дарового труда и плодородия обширных земель, впервые тронутых плугом.

Не легче было определиться русскому человеку и на работу в полукустарных промышленных заведениях по добыче самосадочной соли, каменного угля или медной руды, возникающих там и сям в этом краю, куда в канун первой мировой войны начали проникать лихие разведчики иностранного и отечественного промышленного капитала. На медеплавильных заводах, в шахтах и рудниках английского концессионера сэра Уркарта вербовали рабочих тоже в основном из кочевнической бедноты. По своему вековому колониальному опыту англичане знали толк в эксплуатации восточных народов, и поэтому

тоже предпочитали казахов русским рабочим. Вот почему нелегко было Федору Бушуеву с Пашкой Сучком и Андреем Праховым определиться в этих краях на какое-нибудь более или менее прочное, надежное место. Скитаясь по градам и весям этой далекой, глухой стороны, они вынуждены были довольствоваться любой подвернувшейся под руку работой — от пастухов и до землекопов. К тому же не совсем и безопасно было им заживаться подолгу на одном месте. Об этом их предупреждал Салкын, и они, следуя его советам, не засиживались более месяца ни в одном из русских селений. Странствуя из одного места в другое, они нередко расходились в разные стороны, никогда, однако, не теряя при этом друг друга из виду.

Снабдив беглецов кое-какими документами и научив опальных станичников элементарным правилам конспирации, Салкын вынужден был покинуть их. Сам будучи весьма осторожным и предусмотрительным конспиратором, он уехал, не сказав даже Федору, с которым был наиболее близок и откровенен, куда именно держит он путь. Правда, Федор догадывался, что Салкын направился, очевидно, в Омск, где имелись у него надежные друзья среди рабочих омских железнодорожных мастерских. Там же, видимо, находился и тот нелегальный революционный центр, о котором однажды проговорился Салкын при разговоре с Федором, с которым он, Салкын, бесспорно, был связан.

Так и не открыв Федору будущего своего местожительства, Салкын, однако, свел всех троих своих спутников по былым скитаниям с человеком, назвавшимся кузнецом из Каркаралинска Матвеем Рублевым. Знакомя казаков с Рублевым, Салкын сказал им, кивая на кузнеца:

— Ну-с, вот вам, друзья мои, ваш новый товарищ. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Человек это наш. Верный. Надежный. Туго придется — к нему в Каркаралы. Отнекиваться не станет. Выручит. Словом, на него вам всегда можно положиться. Через него же я дам вам знать и о себе, когда это будет нужно.

Но, несмотря на такую рекомендацию со стороны Салкына, и Федор, и его спутники отнеслись к новому своему знакомству с прохладцей. Кузнец показался им человеком необщительным, суровым.

«Нет уж, такого душевного друга и опекуна, каким был ты все эти годы для нашего брата, нам не найти.

И себя ты, брат, никем не заменишь!»— с горечью думал Федор о Салкыне. Об этом же думали и Пашка Сучок с Андреем Праховым, прощаясь с Салкыном, вблизи которого все они чувствовали себя смелей и увереннеи.

Расставшись с Салкыном, однополчане еще теснее, чем прежде, стали жаться друг к другу. Встречи же с кузнецом из Каркаралинска они не искали, не испытывая в этом пока особой нужды. После отъезда Салкына им повезло определиться под зиму на относительно спокойные, надежные места. Пашка Сучок с Андреем Праховым прижились в батраках на одном из глухих, затерявшихся в степях колонистских хуторов у двух немецких хозяев. А Федор Бушуев занял нечто вроде должности станционного смотрителя на соседнем земском пикете. Расположенный верстах в тридцати от колонистского хутора, вблизи когда-то бойкого прогонного тракта, пролегавшего от станиц Горькой линии в Семиречье,— пикет этот был обыденной для этих мест ямщицкой станцией, где находили в зимнюю пору путники тепло и уют. Здесь же можно было и сменить лошадей при случае, если имелся на руках у проезжего человека «открытый лист»— подорожная, по которой следовал путник по какой-нибудь там казенной надобности. Пикет этот содержался по подряду от земства одним из немецких колонистов. Но сам подрядчик здесь не жил, передоверив несложную службу на станции двум своим работникам, один из которых исполнял здесь обязанности ямщика и конюха, а другой слыл за истопника и за сторожа, и за человека, в старину называемого станционным смотрителем. Ямщичничал на пикете прижившийся здесь из-за куска хлеба и теплого угла старый казах Куандык. А роль станционного смотрителя, истопника и сторожа охотно принял на себя Федор.

Новая должность пришлась Федору по душе. Вдоволь наскитавшись за последнее время, живя где попало, он был рад теперь этой просторной, теплой и тихой хижине. Землянка представляла из себя пятистенник с горенкой для проезжающих постояльцев и с черной половиной для хозяев пикета и ямщиков. Явясь на пикет поздней осенью, Федор прежде всего не поленился навести здесь должный порядок. Он побелил, как умел, потолки и стены. Промыл кипятком никогда не мытые окна. Выскоблил деревянные подоконники и полы. Украсил простенки горницы журнальными картинками из «Нивы», доставшейся ему

в наследство вместе с другими книгами от Салкына. Красочный портрет Лермонтова, оказавшийся в одном из журналов, Федор повесил на самое видное место, в передний угол. И убогая, печальная хижина преобразилась, пахнув жилым теплом и уютом.

«Эх, прокоротать бы мне только зиму спокойно в этой норе!»— мечтательно думал Федор, сидя по вечерам у затопленной печки. Глядя слегка прищуренными, усталыми глазами на жаркие блики огня, он часами просиживал в одиночестве, погруженный в горькие думы о невеселой своей судьбе. Он любил эти вьюжные зимние вечера, когда за окошками бесновалась пурга, как всегда, усиливавшаяся к ночи. Хорошо думалось в такие часы о далекой родимой станице, о родительском доме, о Даше.

Бесконечно далекой, странно чужой и неправдоподобной казалась теперь Федору вся его прошлая жизнь. Но еще более далекой и неправдоподобной представлялась ему сейчас Даша. Иногда ему мнилось, что все это выдумал он — и про свои воровские ночные набеги на хутор к Даше, и про неудавшуюся свадьбу с ней. Однако, припоминая об одном отчего-то наиболее ярко запомнившемся ночном свидании с Дашей, Федор по-прежнему остро и радостно ощущал сейчас физическую близость напуганной его неожиданным появлением девушки. Как сейчас, видел он эту светлую ночь в июне. Спешившись около немировского огорода в глухом переулке и привязав коня за чембур к плетню, Федор бесшумно прокрался по переулку к дому Немировых, неслышно перемахнул через ракитовый плетешок палисадника и так же неслышно нырнул в распахнутое створчатое окно в горнице Даши. Он помнил, как бестолково, растерянно, неумело, впопыхах куталась она в подвернувшийся под руку кашемировый платок, норовя прикрыть им полуобнаженную грудь и крутые плечи. Он не мог позабыть медового запаха ее золотящихся при месячном свете, плывущих из рук распущенных волос. И все его впечатления от этой полуночной встречи с Дашей были настолько свежи в нем и физически ощутимы, что даже и теперь, спустя два года, вспоминая об этом, вновь на мгновение испытывал он ту полноту счастья, которое оглушило его в июньскую ночь. Одного только не мог вспомнить Федор из этой запечатлевшейся в памяти встречи с Дашей — их разговора. Как ни напрягал он память, ему не удавалось припомнить тех слов, которые шепотом произносила она

тогда, отвечая невпопад на его сумасбродные речи. Слов ее он не помнил. Но глухой, засекающийся от волнения голос Даши продолжал и сейчас звучать в нем, как звучит иногда милый сердцу, простой и ясный мотив где-то и когда-то услышанной музыки...

За время своих бездомных скитаний с Салкыном Федор под влиянием его мало-помалу пристрастился к чтению книг. Читывали они с Салкыном и тонкие запретные книжечки, в которых поражали Федора правдивые, светлые и смелые слова о произволе самодержавия, о причинах, порождавших неравенство между бедными и богатыми, и о том, с кем и как бороться трудовому народу за свою достойную жизнь на земле. Все больше и все чаще читывал в последнее время Федор вместе с Салкыном рассказы и повести, стихи и поэмы великих русских писателей, о которых знавал он до этого понаслышке. Расставаясь с Федором, Салкын наделил его целой библиотечкой, и Федор коротал теперь длинные зимние ночи на одиноком пикете за чтением книг. И все чаще и чаще задумывался теперь Федор над раскрытыми книжками Горького и Толстого, Пушкина и Некрасова, Чехова и Глеба Успенского, Лермонтова и Никитина, Каронина и Кольцова. И почти в каждой из прочитанных книг находил он отзвуки собственных дум и понятий, которых не умел и не мог выразить словами. Иногда даже Федору казалось, что многое из прочитанного им писалось как будто только для него. Однажды он наткнулся в одном из журналов на стихотворение, глубоко взволновавшее его. С удивительной силой и ясностью отражалось в этом стихотворении то душевное состояние, в котором находился он в эту минуту, думая о Даше. Это было до того поразительно, что Федор, трижды перечитав стихотворение, запомнил его наизусть:

Забуду многое. Но трепет
Ресниц лукавых, милых рук
Не позабудется, как лепет
Твоих полуоткрытых губ.
Полна смятенья и тревоги,
Ты вся — в порыве, вся — в огне.
И если есть на свете боги,
То пусть они откроют мне
Всю тайну прелести и силы
Твоих полуоткрытых глаз,
Значенье озорных и милых
Полуневысказанных фраз.
Речам моим полувнимая

Среди полуночной тиши,
Ты загоралась, огневая,
От света собственной души!

Так можно было сказать, казалось Федору, только об одной девушке в мире — о Даше. И никогда прежде за годы разлуки не возникал перед Федором такой полный тепла и света, живой, почти физически осязаемый образ Даши, какой возник перед ним, освещенный мягким светом этого стихотворения.

28

В ночь под Новый год разыгралась такая метель, что было жутко от сатанинского свиста вьюги, даже сидя в жарко натопленной, опрятной и тихой хибарке пикета. Долго не вздувая в этот вечер огня, Федор сумерничал, прислушиваясь к набатному гулу пурги, разбушевавшейся в степном просторе.

Примостившись возле догорающей печки, Федор не сводил прищуренных глаз с большого вороха потрескивающих углей, подернувшихся дымкой голубоватого пепла.

Домовничал Федор на пикете один. Куандык еще утром отправился с каким-то седоком на паре почтовых в Каркаралы, и Федор подумывал теперь о том, как бы не сбился с дороги бывалый ямщик. Ведь даже и днем при такой снежной сумятице в поле не видно ни зги, а уж о ночи и говорить нечего. Федор знал, что в такую пору не помогут дорожному человеку в пути ни камышные вешки, расставленные по тракту, ни привычные ко всему ямщицкие кони, чутью и выносливости которых доверяются ямщики, потерявшие дорогу.

Вспомнив про новогоднюю ночь, Федор встал, осветил лучинкой тикающие в простенке ходики. Часы показывали без малого одиннадцать вечера. Пора было подумать о самоваре. Как-никак, а отметить новогоднюю ночь чем-то все ж было надо. Вздув наконец огонек в семилинейной лампешке с залатанным бумагой стеклом, Федор поставил самовар. Угли были горячие, тяга в трубе — лучше некуда, и древний, ярко начищенный по случаю новогоднего праздника, щедро унизанный медалями тулячок бойко и весело загудел, разгораясь, подпевая на все лады безумствующей за окошками полуночной вьюге.

Федор накрыл в заезжей горнице столик, выставив давно приберегаемую бутылку первосортного самогона, привезенного в подарок ему Куандыком из Каркаралин-

ска, и топтался теперь, потирая руки, в ожидании, пока вскипит самовар и доварится в сунутом в печь чугунке картошка в мундире. Он был доволен. Ужин предстоял на славу. А одиночество на сей раз нисколько не тяготило его. Наоборот, было приятно провести такую ночь наедине со своими сокровенными думами о далекой родной стороне, вспомнить про милые сердцу края, повздыхать о Даше...

Подбросив в печку сухих березовых дров, Федор насторожился, прислушавшись к странным звукам и шорохам, возникшим за дверью избы. В сенках кто-то шарашился, нащупывая дверную скобу. Затем в двери показалась закутанная в собачью доху, похожая на снежную глыбу фигура.

— Ух, слава богу!— глухо проговорил незнакомец и, шумно вздохнув, принялся отряхиваться от снега.

— Ни зги?— спросил Федор, без особого любопытства поглядывая на припоздалого новогоднего гостя.

— Сущий ад, братец. Сущий ад...— пробормотал все тем же глуховатым голосом путник, тщетно стараясь развязать концы каштанового офицерского башлыка.

— Скажи, как ишо бог принес — добрались в такую оказию до пикета!— проговорил с непритворным удивлением Федор.

— Сам диву даюсь, батенька.

— Ямщик, видать, со смекалкой?

— Ямщик — да. Не из робких. Тертый калач... Но спасение еще не в одном ямщике. Кони у него золотые. Таким лошадям цены нет. Подумать только, ни разу в такой кутерьме с дороги не сбились! А?! Ведь ямщик-то ими и править забыл. Как замело, закрутило — божьего свету не видно, он — вожжи на облучок, а сам — ко мне в кузов, и трогай, куда святая вынесет...— говорил незнакомец, продолжая возню со своим башлыком,— он никак не мог развязать концов, стянутых узлом на затылке.

— Правильный ямщик. При такой заварухе конем лучше не руководствовать. Он сам свою дорогу найдет. А твое дело — лежать на дне кошевы да помалкивать,— сказал Федор, суетясь возле закипавшего самовара.

— Легко сказать — лежать. Не лежится, браток.

— Понятно дело — не лежится. Кабы лежалось, не гибло бы столько народу в бураны в этих степях. Нет, брат, в такую пору с конем не хитри. Он этого не любит,— продолжал Федор рассуждать как бы сам с собою.

Между тем путник, сорвав наконец с головы башлык вместе с черной мохнатой папахой, свалил с плеч и доху, оставшись в потертой темно-синей шинели с блестящими пуговицами, отороченной по бортам и у обшлагов голубым кантом. Федор, мельком взглянув на незнакомца, определил, что перед ним был не то какой-то почтовый чиновник, не то учитель — таким, по крайней мере, выглядел он благодаря ладно сидевшей на его плотной и рослой фигуре ведомственной форме.

— Ну-с, а теперь — здравствуйте!— прозвучал более оживленный, повеселевший голос путника.

— Милости просим. Проходите. Пожалуйте вот туда. Там и теплей и чуток почище будет,— сказал Федор, указывая на дверцы неярко освещенной горницы.

— Ага. Очень приятно. Благодарствую,— проговорил незнакомец и, поспешно приняв из рук ввалившегося в избу заиндевевшего ямщика небольшой кожаный дорожный баул и какой-то странный чемодан, напоминавший формой гитару, вошел в горницу.

— Ба! Да здесь, вижу, пиром пахнет!— прозвучал из горницы голос путника.

— А как же вы думали! Новый год без этого никак не обходится,— откликнулся Федор из кухни.

— С корабля — на бал. Чудесно! Чудесно!.. Ну что ж, попируем. У меня тоже со шкалик медицинского спирта найдется.

— Нет уж, извиняйте. Потчуйтесь моим первачком. Не самогонка — огонь. Сто пять градусов с плюсом!— сказал Федор, подмигнув примостившемуся у порога ямщику, обиравшему со своей серебряной бороды хрустально-ледяные сосульки.

— Да. Да. Чудесно. Чудесно,— звучал из горницы все тот же возбужденный голос гостя. Расхаживая по небольшой комнатке, он, близоруко щурясь, приглядывался к журнальным картинкам, украшающим стены, и продолжал рассуждать вслух сам с собою:— Лермонтов? Превосходная репродукция. Вот не ожидал где встретиться с вами, юнкер! Да-а. Странно. Странно, Мишель...— проговорил он со вздохом вполголоса и, помолчав, добавил:— Все странно. И все чудесно в конце концов. И лучше этакой новогодней ночи не выдумаешь...

Умолкнув, гость присел к столу. Подперев слегка засеребрившиеся виски худыми руками, он пристально за-

смотрелся на портрет Лермонтова и не сразу заметил появившегося с самоваром в руках хозяина пикета.

А Федор, едва переступив порог горенки, замер с самоваром в руках, не в силах двинуться с места. Глядя в упор на сидящего к нему вполоборота гостя, он испытывал такое чувство, словно земляной пол поплыл из-под его ног.

— Вот это совсем по-русски. Совсем хорошо!— воскликнул гость, широко улыбаясь.

И Федор, сделав усилие над собой, подался наконец к столу, поставив кипящий самовар перед гостем.

— Без пяти двенадцать. У вас куранты, смотрю, отстают. Пора — за бокалы. Пора. Пора,— сказал гость, сверяя свои карманные часы с золотым брелоком с узорными стрелками ходиков.

Федор медленно опустился на чурбан, служивший табуретом, и, не глядя уже больше на гостя, разлил подрагивающей рукой из бутылки по чайным чашкам первач, похожий на голубоватое спиртовое пламя.

— Ну что ж, поднимем первую за знакомство?— проговорил гость, приподняв свою чашку.

— Нет. Нет,— поспешно возразил Федор, решившись наконец взглянуть гостю в глаза.— Нет, первую надо нам выпить с вами за Новый год, за новое наше счастье, ваше высокоблагородие!— твердо произнес Федор.

Слегка побледневшее при этом лицо гостя вдруг обрело суровое, строгое выражение. Худая белая рука его с поднятой чашкой, до краев наполненной огненной влагой, начала было медленно опускаться. Но Федор, звучно чокнувшись своей чашкой о чашку гостя, сказал:

— Ровно двенадцать. Опаздывать не годится. Выпьем. А наговориться ишо успеем. Ночь впереди.

И они, снова чокнувшись и не спуская друг с друга глаз, залпом выпили.

Часы показывали ровно двенадцать.

За окошками хижины бушевала метель, и было похоже, что где-то в честь нового года били в колокола.

29

О многом было переговорено в эту новогоднюю ночь между бывшим командиром 4-го Сибирского линейного полка есаулом Алексеем Алексеевичем Стрепетовым и рядовым казаком его мятежного полка Федором Бушуе-

вым. Вволю наговорившись за ночь, оба испытывали теперь такое чувство взаимного уважения и тяготения друг к другу, какое возникает только между людьми одной судьбы, познавшими цену опальной скитальческой жизни и случайно встретившимися в чужом краю.

Стрепетовский ямщик, свалившийся с первой же чашки первача, спал в соседней половине избы, временами заглушая грохот пурги своим богатырским храпом. А Федор сидел за столом, подперев лохматую голову кулаком, и молча смотрел на своего собеседника. Алексей Алексеевич поднялся из-за стола и достал из кожаного футляра краснощековскую гитару. Затем, снова присев к столу на прежнее свое место, он устало откинулся спиной к простенку и прикрыл глаза. Лицо его было строгим, сосредоточенным, и если бы не виски, тронутые налетом седины, и не мелкая сеточка морщинок у глаз, он выглядел бы сейчас таким же свежим и молодым, как и два года тому назад, каким он запомнился Федору в канун их несчастного похода.

Прикрыв ладонью гитарные струны, Алексей Алексеевич, не открывая глаз, помолчал. Было похоже, что он пытался припомнить что-то или что-то решить. Затем, подняв на Федора свои чуть-чуть притуманившиеся от легкого опьянения глаза, молча и медленно стал перебирать гитарные струны.

Федор весь внутренне притих. В строгой и трогательной задумчивости негромких аккордов как будто звучал чей-то до боли знакомый, родной, приглушенный голос. И какая-то еще неуловимая для слуха Федора, но необыкновенно сердечная и теплая мелодия, то журча и позванивая, подобно степному ручью, срывалась со струн, то, неожиданно обрываясь, замирала в раздумье, а затем присмирев, лилась уже спокойным, чистым и тихим потоком.

Не меняя позы, Федор ревниво и пристально следил за подвижными, гибкими пальцами Алексея Алексеевича, тревожившими гитарные струны, целиком отдавшись порабощающей власти этих горько волнующих звуков. А Алексей Алексеевич запел вполголоса своим не звучным, но грустным и сочным баритоном, аккомпанируя на гитаре:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

На секунду умолкнув, Алексей Алексеевич выпустил из-под трепетных пальцев целую стаю глухо зарокотавших струнных звуков, и они, как стрижи, запорхали по горнице, словно отыскивая в взволнованном песней человеческом сердце надежный покой и приют.

Не спуская прищуренных глаз со стрепетовских пальцев, Федор сидел как в оцепенении, и сердце его рвалось на части от непонятной тревоги. А грудной голос Алексея Алексеевича продолжал звучать под неумолчный прибой аккордов еще задушевней, проникновенней и тише:

И снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Седые знамена метели шумели за окнами. Пурга била во все колокола.

Алексей Алексеевич умолк. Не меняя позы, не поднимая усталых век, он, внутренне насторожившись, прислушался к свисту вьюги. Так, не двигаясь, не проронив ни слова и как будто даже не дыша, долго сидел он, притулившись спиной к простенку, не переставая при этом тревожить пальцами струны своей гитары. Слабо мерцало в хижине пламя лампы. Глухо, печально и сдержанно звучали басовые струны гитары под припевы вьюги. И Алексей Алексеевич, и Федор, невольно внимая напевам метели, думали каждый о своем.

Перед закрытыми глазами Федора стоял светлый облик Даши Немировой.

Думая о Даше, Федор видел ее такой, какой она запомнилась ему при первой их встрече в степи во время веселой майской грозы и теплого весеннего ливня. Давно это было. Очень давно. Многое забылось за эту бесприютную, скитальческую его жизнь на чужой стороне. И лишь одного не мог забыть Федор — запаха ее пробковых от загара тонких рук. Этот едва уловимый, но устойчивый, сложный запах преследовал Федора при каждом мимолетном воспоминании о Даше, при каждой мгновенной мысли о ней. Трудно было определить этот запах. Он таил в себе аромат жаркого солнца и ветра, горький привкус придорожной степной полынки и умытой весенним дождем земли.

Годы шли. Все дальше и дальше уходил в прошлое тот как будто уже неправдоподобный теперь майский ве-

чер, когда они встретились с Дашей во время грозы в степи. Но чем дальше был теперь от Федора этот день, тем ярче было воспоминание о нем.

Метель продолжала шуметь в ночи. Чуть слышно рокотали под пальцами Алексея Алексеевича басовые струны гитары. А он, глядя на уютное пламя лампы, видел сейчас перед собой в полосе тревожно яркого света тонкую, гибкую фигуру девушки в выцветшем ситцевом платьице и узнавал и не узнавал ее. Как во сне, в полузабытьи, в полудремоте смотрел он сейчас на это мимолетное виденье, будучи не в силах понять и осмыслить того, где, когда, при каких обстоятельствах видел он прежде эту девушку и отчего так волнует его это, кажется, совершенно чужое ему, недоступное, светлое и чистое создание?! Машинально перебирая пальцами струны гитары, Алексей Алексеевич не слышал их глухого, дремотного рокота. Зато в его ушах звучала, то на мгновенье затихая, то вновь возникая, до боли знакомая мелодия тревожного и печального вальса. Было похоже, что где-то очень далеко-далеко играл духовой оркестр. Потом откуда-то, так же издалека, донесся вместе со светлым, прозрачным звуком флейты чей-то такой же светлый голос:

Тихо вокруг. Ветер туман унес.
На сопках Маньчжурии воины спят
И русских не слышат слез...

И Алексей Алексеевич, как бы очнувшись от этого полусна, полузабытья, тотчас же понял все. И звуки духового оркестра, и этот светлый девичий голос — все это было отзвуком тех далеких, неповторимых дней, когда судьбе угодно было свести его, армейского офицера, на недолгие сроки с девушкой из захолустной степной усадьбы. С тех пор прошло уже немало лет. Забылось из пережитого многое. Но звук этого трепетного и светлого девичьего голоса продолжал жить в душе Алексея Алексеевича, как жили в нем и звуки того духового оркестра, который слушали они как-то вечером вместе с Наташей Скуратовой, сидя друг против друга на открытой террасе. Похожая на подростка Наташа сидела в тот вечер в плетеном ракитовом кресле, по-детски подобрав под себя босые ноги, и неяркий ущербный месяц, высоко поднявшийся над усадьбой, скупо озарял девичье лицо. Где-то далеко-далеко, наверное, в линейном лагере, играл духовой оркестр. Волнообразные, зыбкие звуки его, то за-

тихая, то вновь нарастая, плескались с дремотной задумчивостью в степном полумраке, как плещутся в вечерний час озерные волны, устало ложась на прибрежный песок. И тихий, светлый девичий голос чуть слышно звучал в этот час под далекий аккомпанемент оркестра:

Пусть гаолян вам навевает сны...
Спите, защитники русской земли,
Отчизны родной сыны!

Все это было очень давно.

Позабыв о недопитой бутылке первача, об остывшем в чашках чае, притихшие, неподвижные, сидели они друг против друга с полузакрытыми глазами. Прислушиваясь к реву пурги за окошком, к задумчивому и рассеянному бормотанью гитарных струн, оба порабощены были в эти минуты одной и той же властной силой тревожных и горьких воспоминаний.

И только уже под утро, лежа на одной жесткой кошме, постланной Федором на нарах, они разговорились. Погасив лампу, Федор примостился рядом с гостем. Закурили. Лежали, прислушиваясь к реву пурги.

— Спаси бог, что творится в степи,— сказал наконец Федор, как бы продолжая прерванный разговор.

— Не говори, служивый...— отозвался Алексей Алексеевич.

— Дорожному человеку гибель.

— Я думаю...

— Главное, места-то тут скрозь дикие. На сотни верст — ни души.

— Вот именно... Нам еще с ямщиком повезло — наткнулись на ваш пикет. Не то и нам пиши — пропало.

— Это — как пить дать.

— Не судьба, значит, погибать еще прежде времени.

— Так выходит...

— Да. Не судьба. Вот и еще раз дороги наши с тобой, братец, скрестились...

— Гора с горой, как говорится, не сходится. А люди не горы.

— Это правильно. Люди не горы. А тем более — люди одной судьбы.

— Это как же так, одной судьбы?— не поняв Алексея Алексеевича, спросил Федор.

— Да вот так уж случилось, что судьба у нас с тобой,

видать, одинакова,— сказал после некоторого раздумья Алексей Алексеевич.

— Ну это ишо вопрос — одинакова ли?— усомнился Федор.

— По-моему, да. Одинакова.

— По-моему, нет.

— Вот как?! В чем же ты видишь разницу?

— Во многом.

— Именно.

— Да что тут говорить лишнее. Я не чета вам. Вы офицер. Вы барин. Вы на правах образования, как говорится. А я что? Рядовой. Нижний чин. Беглый казак. Ни прав, ни видов на свободное жительство...

— Вздор говоришь, братец. И права и виды у нас с тобой сейчас одинаковые.

— В чем же это?

— Во всем.

— Например?

— А хотя бы в том, что обоим нам эти права завоевывать надо.

— Как это так — завоевывать?

— Ну как завоевывают? В бою. С оружием в руках.

— Непонятно. Это каким же, например, манером?

— Самым обыкновенным — в походном строю.

— Непонятные притчи говорите,— сказал Федор, хотя он уже догадывался теперь, к чему клонил речь свою гость. Неясно для Федора было другое — отношение бывшего есаула к тем назревающим событиям в стране, о неизбежности которых говорил в свое время Салкын,— к вооруженной борьбе за власть трудового народа.

Федору, конечно, и в голову не приходило, что беглый армейский офицер Стрепетов был каким-то образом связан с Салкыном.

И Алексей Алексеевич, словно разгадав мысли Федора, ответил ему:

— Притча эта нехитрая, сослуживец. Вот побродяжничали мы с тобой, помыкали горя вволю, а теперь — хватит. Пора нам и о возвращении в родные края подумать.

— Одной думой тут ишо не поможешь,— сказал Федор.

— Правильно. Правильно,— оживленно откликнулся Алексей Алексеевич.— Приходит пора не думать, а действовать.

— Не пойму я, о каком вы действии говорите,— притворно спросил Федор.

— Дело такого рода, станичник,— понизив голос до шепота, заговорил Алексей Алексеевич.— Через месяца два, этой весной придется тебе с твоими однополчанами подаваться отсюда восвояси, поближе к Горькой линии. Пробираться вам надо будет окольными путями и не всей тройкой сразу, а поодиночке, весьма осторожно, с оглядкой. Это — во-первых. Не появляться в станице прежде времени, во-вторых. Постарайтесь для этого найти надёжный приют у степных тамыров где-нибудь в прилинейных аулах, это — в-третьих. В-четвертых, будете ждать сигнала к вооруженному выступлению революционно настроенных наших людей, которых найдете в окрестностях Горькой линии, переселенческих хуторах и аулах. А сигнал к выступлению будет вам подан в свое время из Омска.

— Кем же это?— прозвучал чуть слышно тревожный голос Федора.

— Человеком небезызвестным на Горькой линии — Салкыном,— ответил Алексей Алексеевич.

— Что?! Как так Салкыном?!— изумленно воскликнул Федор.

— Вот так, Салкыном. Вы получите от него сигнал через надежных людей, посланных к вам для связи из Омска,— спокойно и твердо проговорил Алексей Алексеевич.

— Ничего не понимаю. Откуда вы знаете Салкына?— спросил все тем же взволнованным голосом Федор.

— Ну это не так уж важно — откуда я знаю его. Не в этом дело, Бушуев.

— Все же. Я любопытствую.

— Связи наши с ним старые,— уклончиво ответил Алексей Алексеевич.

— Что же связало вас?

— Единая вера, друг.

— Во что ж это?

— В бога, разумеется...

— В какого?

— Бог у нас один с вами. Бог борьбы, революции.

— Чудные речи слышу от вас, господин есаул.

— Что ж тут чудного? Повторяю, мы люди одной судьбы. И ты, и я, и Салкын — звенья одной цепи. Это тебе ясно, надеюсь?

— Не совсем, господин есаул,— признался со вздохом Федор.

— Да, Бушуев. Вижу — ты не совсем доверяешь мне. Может быть, на это есть у тебя основания. Может быть. Я понимаю тебя. Ведь ты во мне все еще видишь армейского офицера и барина, а не боевого товарища. Ну что же я могу сказать тебе на это? Скажу одно — придет время, когда ты посмотришь на меня другими глазами.

— Нет, что вы, что вы, Алексей Алексеевич. Дело не в этом. Я просто не чаял услышать от вас этаких слов... Но я верю вам. Верю. Верю,— проговорил засекающимся от волнения голосом Федор.— Просто мне в голову не приходило, что и вы могли быть связаны с нашим Салкыном.

— Представь себе — связан, и крепко,— заговорил горячим шепотом Алексей Алексеевич почти в самое ухо Федора.— О том, где и как я жил нелегально все эти годы, расскажу тебе после, как-нибудь на досуге. А сейчас признаюсь в одном. Я пробираюсь теперь в Омск по вызову Салкына. Еду с чужой подорожной в кармане, по чужим документам, под чужим именем. Это о чем-нибудь тебе говорит?

— Да, теперь я кое-что понимаю,— сказал Федор.

— То-то, голубчик!— многозначительно молвил Алексей Алексеевич, и он, крепко пожав при этом нащупанную в темноте руку Федора, добавил:— Вот так, дорогой мой товарищ. Снова мы с тобой оказались в одном боевом строю. Предстоит нам с тобой нелегкий, но благородный марш. И я верю, что совершим мы с тобой этот марш с честью.

— Ну, в этом вы можете не сомневаться,— сказал Федор, крепко пожав в ответ руку Алексея Алексеевича. И собеседники замолчали. Прислушиваясь к бушевавшей за окнами предрассветной метели, они долго еще не смыкали глаз, чувствуя при этом такую взаимную близость друг к другу, какую испытывают только неожиданно встретившиеся после долгой разлуки кровные братья.

30

Глухими волчьими тропами, по ковылям пустынных акмолинских степей, со звериной оглядкой пробирался Федор Бушуев с чужбины в родные края. Шел он только ночами, неуверенно ориентируясь по зыбкому млечному

тракту, по звездам, знакомым с детства, призывно и ярко мерцавшим над ним в чужом и высоком небе. Похудевший, давно не бритый, обросший густой окладистой бородой, он и был похож теперь на одного из тех бродяг, о которых сложено много тревожных и вольных песен сибирскими поселенцами. Погода сопутствовала ему в этом нелегком, далеком странствии. В светлые, теплые, безветренные дни он отсыпался, отлеживался в укромных местах среди камышей, на берегу раскиданных в этом просторе многочисленных займищ и озер, питаясь сухим зерном пшеницы переселенческих хуторов и сел. Золотым зерном до отказа набивал он глубокие карманы своих изодранных миткалевых штанов, широкие голенища стоптанных сапог и полы такого же ветхого бешмета, приобретенного по дешевке на ярмарке.

На девятые сутки миновал Федор последние отроги невысоких кокчетавских сопок, обошел стороной обветшалые за эти годы казачьи казармы вблизи Кокчетава, живо напомнившие ему о былом мятеже в полку, и выбрался в родимые степи своего Петропавловского уезда. Впереди лежала светлая, повитая дымкой марев степь с посеребренными ковылями, с мирными дымками разбросанных по увалам аулов, со столбами горячих смерчей среди пустынных и пыльных дорог. И, несмотря на большую физическую усталость, несмотря на потертые, точно налитые оловом ноги, Федор, очутившись в родном просторе, внутренне просветлел, точно почувствовал себя вторично родившимся. Каждый куст таволожника, каждый стебель полыни, каждый степной курган с молчаливой птицей на нем — все напоминало о близкой родине, и он не мог без душевного волнения смотреть на эти наизусть заученные с детства просторы, на это умиротворяющее синее спокойное небо над степью и на зеркальные плесы светлых и чистых озер.

На десятые сутки пути Федор добрался до большого соленого озера Ак-Булак, на котором не раз он в детстве добывал с отцом соль-самосад. Отсюда было уже рукой подать и до знакомых ему казахских аулов, до степных тамыров, некогда кочевавших в окрестностях этого озера. Вечерело. Над степью вставал тревожно-мутный, неяркий закат, обещавший непогожее утро. Отмахав за день верст тридцать по безлюдной и знойной степи — он шел теперь днем, отдыхая ночью,— Федор испытывал сейчас большую усталость и решил переждать ночь, устроив-

шись на привал в обветшалом деревянном мавзолее на одном из заброшенных кладбищ кочевников. В срубе, наглухо заросшем ковылем, типцом и бессмертником, можно было укрыться от дождя и от ветра. Здесь было тихо и сумрачно, пахло горькой степной полынкой и согретой солнцем землей. Пожевав сухих зерен пшеницы, Федор притулился к деревянной стене древнего мавзолея, устало прикрыл глаза и задремал. Но и сквозь легкую дремоту он слышал все неясные звуки и шорохи степи: крики кулика, глухой и далекий стон выпи, настороженный разговор пролетавших над ним диких гусей. А затем, очнувшись от недолгого забытья, он услышал далекую и протяжную гортанную песню кочевников. Прислушавшись, он понял, что это пастушья песня, а приглядевшись попристальнее, увидел и всадника с соилом в руках. Неподвижно сидя в седле, всадник самозабвенно пел, устремив взгляд в глубь подернутой вечерним сумраком степи. И Федор, прислушавшись, переводил его песню так:

Почернело озеро Ак-Булак. И зашумел над степью злой ветер. Поднялась из-за озера черная туча, и прикрыло солнце свои золотые глаза. Потемнели воды озера Ак-Булак, и потемнело сердце мое от печали. Кому я об этом теперь расскажу? Я один в степи, как беркут на высоком кургане, и никто не услышит скорби моей о тебе, наш храбрый джигит Садвакас!

— Садвакас?! Садвакас?!— удивленно воскликнул Федор, услышав знакомое ему имя. И он, вскочив на ноги, закричал, призывно махая рукой всаднику:

— Э, тамыр, кель, кель — иди, иди сюда!

Пастух, заслышав крик Федора, оборвал песню и, повернув лошадь, не спеша подъехал к нему.

— Здорово, тамыр,— широко улыбаясь, приветствовал Федор по-казахски подъехавшего к нему джигита.

— Аман — здравствуй,— ответил, тревожно приглядываясь к Федору, джигит.

— Ну как, руки, ноги здоровы?

— Руки и ноги мои здоровы,— ответил джигит.

— А здоров ли твой скот?— спросил, по степному обычаю, Федор.

— Какой может быть скот у джатака?— ответил на это приветствие Федора джигит.

— Понимаю. Стало быть, не свои пасешь табуны?

— Откуда у нас свои табуны?— продолжал отвечать джигит на вопрос вопросом.

— А аул твой отсюда далеко?

— Аул мой совсем недалеко. Аул за увалом. Пойдем — гостем будешь,— сказал джигит, продолжая внимательно оглядывать с ног до головы оборванного, заросшего Федора.

— Что ж, пойдем, коль не шутишь,— сказал, улыбаясь, Федор по-русски. И он, привычным и ловким жестом вскинув на плечи свою котомку, тут же спросил:— А как аул называется?

— Это — аул джатаков. Аул Қаратал.

— Как ты сказал? Қаратал?!— переспросил дрогнувшим от волнения голосом Федор.

— Қаратал. Қаратал,— повторил джигит, не понимая, чему удивляется путник.

— Погоди, погоди, тамыр. Ты пел сейчас песню про Садвакаса из аула Қаратал?— спросил Федор у джигита, хватая его за рукав.

— Я пел песню про Садвакаса из Қаратала. А ты знаешь Садвакаса?— спросил насторожившийся джигит.

— Я знаю одного Садвакаса. Это мой большой тамыр. Только я не знаю, о нем ли ты говоришь.

— Я не знаю, о ком ты говоришь,— сказал джигит.— А в нашем роду был один Садвакас. Один батыр, о котором знает вся степь Сары-Дала...

— Погоди, погоди, тамыр. Скажи толком, он друг тебе?

— Он был мне дороже друга и брата.

— Он тебе когда-нибудь рассказывал про русских его тамыров?

— Он мне много рассказывал про русских его тамыров...

— Он называл их тебе по имени?

— А тебе зачем это знать?

— Да ты не бойся, не бойся, тамыр, меня. Если это тот Садвакас, то веди меня скорее в аул.

— Пойдем. Пойдем. Двери священной юрты Улькен-Шанрак в ауле джатаков всегда открыты для гостя,— сказал джигит.

— Но ты мне скажи сначала, тамыр, где Садвакас?— спросил взволнованным голосом Федор, возбужденно и пристально глядя своими лихорадочно блестевшими глазами на невозмутимого джигита.

— Пойдем к нам в аул, и там ты про все узнаешь,— сказал джигит, трогая задремавшую под ним лошадь.

И Федор, забыв об усталости, легко, не чуя земли под ногами, пошел вслед за всадником.

Ураган разразился в полночь. Он начался со страшной грозы, шквального ветра и проливного дождя. В кромешной, аспидной мгле, изредка озаряемой голубыми, ослепительными вспышками молний, метались по степи брошенные пастухами, обезумевшие байские табуны и овечьи отары. Всю ночь неистово ревел ветер, грозя перевернуть и унести казахские юрты. А от оглушительных грозовых раскатов ходуном ходила под ногами земля, и ливень, похожий на библейский потоп, продолжал бушевать, заливая степь, как во время бурного вешнего половодья.

В ветхой юрте старого Чиграя, где сбились все пастухи и подпаски аула, трудно было повернуться. Джатаки сидели, тесно прижавшись один к другому, вокруг потухшего очага, и немощное пламя светильника едва озаряло жалкое жилище, деревянный остов которого, покрытый войлоком, трещал под ударами бесновавшегося в ночи урагана.

Джатаки сидели молча. Старый Чиграй, вопреки обыкновению, даже забыл о гадании, не прикасаясь к разбросанным по циновке бобам. У многих из этих сидящих в юрте Чиграя пастухов и подпасков уже были разрушены бурей их шалаши, а клочья черного полуистлевшего от времени войлока развеяны, подобно пеплу, над степью. Ни один из джатаков, приютившихся в юрте Чиграя, не сомкнул в эту ночь своих воспаленных глаз. Охваченные тревогой, всеобщим все возрастающим возбуждением, гневом и решимостью, сидели джигиты вокруг погасшего очага, погруженные в свои невеселые думы о судьбе Садвакаса.

И только на рассвете, когда вволю набушевавшийся за ночь ураган стал затихать и ливень пошел на убыль, один из джатаков спросил, пытливо оглядывая суровые и строгие лица пастухов и подпасков:

— Знает ли кто-нибудь из вас, что нам делать теперь, кому и как отомстить за Садвакаса?

— Да. Это знаю я. Я знаю, что нам делать теперь. И я знаю, кому и как отомстить за Садвакаса,— реши-

тельно проговорил пастух Сеимбет, вскочив при этом на ноги.

И все сидевшие в юрте выжидающе и тревожно посмотрели на Сеимбета.

Помолчав и пытливо оглядевшись вокруг своими зоркими, быстро бегающими глазами, Сеимбет вдруг повелительно взмахнул рукой и коротко сказал:

— За мной, джигиты!

И тотчас же пастухи, повскакав на ноги, покинули вслед за Сеимбетом юрту Чиграя.

— За мной, джигиты!— снова крикнул Сеимбет окружившим его на улице пастухам и повел за собой толпу к белой юрте Альтия.

Подбежав к юрте первым, Сеимбет требовательно постучал кулаком в дверь. Но на его стук никто не отозвался. Тогда Сеимбет коротким и злобным ударом ноги распахнул легкую, нарядно покрытую национальным орнаментом дверь, и толпа ввалилась вслед за своим вожаком в огромную, расточительно украшенную коврами и шитым войлоком юрту.

Ворвавшись, джатаки в нерешительности замерли, столпившись за спиной Сеимбета, у порога. Альтий, обложив себя пуховыми подушками и цветными шелковыми одеялами, лежал в почетном углу, а вокруг нежарко тлевшего очага сидели, поджав по-степному ноги, именитые аткаминеры и аксакалы. Презрительно прищурив свои сонные заплывшие жиром глаза, Альтий сквозь зубы глухо спросил Сеимбета:

— Как ты смел перешагнуть порог моей юрты, презренный пастух?

— А об этом ты спроси вот у них, аксакал,— сказал Сеимбет, показав на джатаков.

И этих слов Сеимбета оказалось достаточно, для того чтобы пастухи, разом ринувшись к побледневшему Альтию, вдруг оглушили его взрывом гневных и бранных криков:

— Где русские кони, вор?!

— Где твоя плата?!

— Где наш джигит Садвакас?!

— Отвечай, за сколько ты продал русским джигита.

— Отвечай, а не чакай зубами, как волк.

Сжавшись в комок, втянув в плечи свою огромную бритую голову, волостной управитель метал затравленный, полный тоски, мольбы и злобы волчий взгляд из сто-

роны в сторону, пытаясь найти защиту у сбившихся в кучу, почерневших от страха именитых аксакалов. Цепляясь своими огромными пухлыми руками за груду шелковых одеял, он натягивал их на себя, словно пытаясь зарыться в них, как зарывается в снег загнанный зверь, почувствовав близкую гибель.

Вдруг кто-то из пастухов, ловкий и гибкий джигит, вырвавшись вперед из толпы, сорвал с волостного управителя одно из одеял и, набросившись на него беркутом, выволок грузное байское тело из подушек на середину юрты. Беспомощно сопротивляясь и барахтаясь, Альтий встал на колени и, взывая к милосердию, вознес было над головой свои пухлые бабьи руки. Но в это время один из пастухов плюнул ему в лицо, и толпа джатаков с ревом вынесла на руках байскую тушу вон из юрты.

Откуда-то тут же появилась старая двухколесная арба, запряженная самым страшным и злым байским жеребцом-производителем. Трое джигитов с трудом сдерживали под уздцы почуявшего неладное, бесновавшегося жеребца, округлившего свои налитые кровью зрачки. Заложенный в коротенькие оглобли рысак касался при малейшем движении ногами о переднюю бровку арбы, дрожа от бешенства и так перебирая своими упругими, точно литыми ногами, словно земля жгла его розовые копыта.

Поднятый на руках бай, как мешок с костями, рухнул в арбу, и тотчас же проворные руки джигитов, скрутив его арканом, крепко притянули громоздкую тушу Альтия к арбе, намертво захлестнув калмыцким узлом веревку. Затем, выпрыгнув из арбы, один из джигитов — это был Сеимбет,— повелительно махнув рукой, крикнул:

— Отпускай!

И трое джигитов, державших под уздцы жеребца, отскочив в стороны, пустили его на волю.

Жеребец, почувствовав себя свободным, на мгновение замялся, дико и злобно озираясь по сторонам, как бы не решив еще, что ему делать. Но затем вспугнутый гортанным ревом толпы, вдруг попятился, присел на задние ноги, сделав свечку, рванул вперед и понесся под улюлюканье, свист и вопли джатаков по степи, обезумев от бешенства, воли и злобы. Старая арба с волостным управителем высоко подпрыгивала над землей и временами, казалось, летела, по воздуху. А озверевший конь, задрав голову и широко разбрасывая свои точеные ноги, ничего

не видя перед собой, летел ураганом по степи прямо к крутому обрыву озерного берега, но затем, резко повернув в сторону, понес вдоль курьи, и скоро его уже не было видно среди камышей, над которыми поднялись и затрепетали с тревожными криками тучи перепуганной птицы.

31

Поздней осенью 1917 года, в полночь, около ветхой избушки Агафона Бой-бабы спешился всадник. Он был одет в тяжелую теплую купу — бешмет особого степного покроя. Проворно спрыгнув с низкорослого бойкого конька и наскоро привязав его за повод недоуздка к плетню, всадник осторожно постучался в дверь Агафоновой избушки.

— Кто там?— спросил сонным голосом разбуженный Агафон.

— Открывай, открывай, тамыр. Свои люди. С доброй вестью,— прозвучал по-казахски приглушенный, взволнованный голос запоздалого путника.

А спустя минут пять, вздув на скорую руку огонь в лампешке, Агафон узнал в ночном госте знакомого ему пастуха Сеимбета.

Настороженно оглядевшись вокруг — пастух, видимо, побаивался, как бы кто его не услышал из посторонних,— шепотом сказал:

— С тебя суюнши — награду за добрую весть, по нашим степным обычаям...

— Што такое? Не томи, тамыр.

— Хабар прошел по степи. Федор Бушуев вернулся с двумя казаками в наши края. Понял?

— Врешь?!

— Слово даю. Меня послали гонцом в станицу с этой доброй вестью.

— Где же он?— нетерпеливо спросил Агафон.

— В надежном месте, тамыр. В надежном месте...— успокоительно сказал Сеимбет. Помолчав, снова настороженно оглядевшись вокруг, Сеимбет продолжал пониженным голосом:— Я прискакал к вам с таким наказом от Федора. Все ваши разжалованные казаки должны завтра же ночью собраться в нашем ауле.

— Конные али пешие?— перебил его взволнованный Агафон.

— А это уж как придется. Конечно, лучше бы было собраться верхами, если найдете коней.

— За конями дело не станет, коли приспичит.

— Правильно. Лошадей вы в станичных табунах всегда найдете, если зевать не будете.

— Тут дело такое, што зевать не приходится,— согласился Агафон.

— Тогда — договорились,— сказал Сеимбет по-казахски.— Давай собирай своих тамыров. А мне здесь долго оставаться нельзя. Приказано на рассвете вернуться в аул. О моем приезде в станицу — никому ни гугу.

— Само собой понятно, што ни гугу. А народ я в кой миг соберу, раз выходит такое дело,— сказал Агафон.

И Сеимбет, наспех распрощавшись с хозяином, так же неслышно покинул избушку Агафона Бой-бабы, как и вошел в нее.

Проводив ночного гостя, Агафон тотчас же обежал всех соколинцев, скликав их в свою избу. Услышав о возвращении Федора, соколинцы без особых споров пришли к одному выводу, что всем им необходимо немедленно податься из станицы в степь, собравшись в том самом ауле, который был назван Федором.

— А кони где?— спросил кто-то.

— В табуне,— коротко ответил Кирька Караулов.

— В каком таком табуне?

— В том самом, который на отгуле за озером пасется.

— Да ить табун-то ермаковский.

— Известно — не наш.

— Выходит, барымтой займемся?

— Выходит, так,— твердо сказал Кирька Караулов, и он, тут же приняв на себя роль командира, приказал: — Даю вам всем сроку по полчаса привести в порядок свои боевые доспехи.

— Да какие же у нас доспехи, Киря? Сам подумай?! — сказал Спирька Саргаулов.

— А уж какие у кого найдутся. Шашки небось у всех сохранились?

— За шашками дело не станет.

— Это оружие всегда при себе.

— Каки таки мы казаки без шашек?!— дружно откликнулись соколинцы.

— Ну вот вам и доспехи. Живо — шашку на ремень, а фуражку — набекрень, как говорится в песне, и к походу мы, братцы, готовы,— весело сказал Кирька.

А на рассвете соколоинцы, неслышно подкравшись к мирно пасущемуся за озером косяку пущенных на выгул отборных ермаковских коней и бесшумно сняв с поста полусонного, перепуганного пастуха, придурковатого Никодимку, как снимали не раз они в боевой обстановке вражеские посты и секреты,— в мгновение ока завладели табуном и, взнуздав лошадей, выстроились перед Кирькой в походную колонну.

— За мной, марш, марш!— вполголоса отдал команду Кирька.

И кавалькада двинулась на рысях в глубь степи, навстречу колючему предрассветному ветру.

После двухчасового марша по глухой, безлюдной, пустынной степи — конница шла переменным аллюром — казаки спешились под прикрытием негустого березового перелеска, а братья Карауловы, вооруженные помимо шашек дробовиками, ускакали в притулившийся за пригорком аул джатаков. Спустя минут двадцать Карауловы вернулись в сопровождении дюжины степных джигитов, среди которых был и пастух Сеимбет, ловко сидевший на резвом и злом байском скакуне в седле с дорогой инкрустацией.

— По коням!— отдал с ходу команду казакам Кирька Караулов.

И соколинцы, вновь выстроившись в походную колонну, тронулись на рысях за своим командиром, окруженным степными джигитами, лихо гарцующими на отборных байских скакунах. Проскакав еще около десяти верст по степной целине, всадники по властному взмаху руки своего командира перешли с галопа на рысь, с рыси — на шаг и наконец остановились вблизи невысокого кургана, невдалеке от переселенческого хутора.

— Спешиться, передать лошадей коноводам, а самим двигаться в пешем строю,— отдал команду Кирька.

Казаки, недоуменно переглядываясь, выполнили и эту команду Кирьки. Вручив коней коноводам, соколинцы приняли боевой порядок, выстроившись во фронт перед Кирькой, и замерли по команде «смирно».

— Справа по три, за мной!— скомандовал Кирька.

И казаки, перестроившись, последовали в пешем строю за своим командиром. Следом за казаками молча шагали толпой и степные джигиты. Миновав солончаковую впадину, казаки двигались цепочкой след в след за Кирькой по камышам прибрежного займища к полуобнажен-

ному березовому лесу и долго затем пробирались через густые заросли тальника и ракита, пока не выбрались на глухую лесную полянку, замкнутую со всех сторон в кольцо векового березового леса.

— А теперь пора, братцы, и на привал. Отдохнем до поры до времени,— сказал мирным тоном Кирька.

Казаки быстро натаскали валежника, сухих сучьев, и не успел Кирька Караулов докурить свою увесистую цигарку, как на поляне уже весело потрескивали костры. Покойно и тихо было в лесу. Высокое, безмятежное небо раскинуло свой синий шатер над лесом. И многие из станичников, утомленные непривычным ночным маршем, блаженно смежив веки, задремали.

И вдруг лесная глушь огласилась восторженными криками. Разбуженные станичники, повскакав на ноги, не сразу поняли, в чем дело. Между тем толпа казаков, перемешавшихся со степными джигитами и невесть откуда взявшимися людьми в потрепанных солдатских шинелях и в холщовых мужицких рубахах, окружила плотным кольцом худого, черного, лицом похожего на цыгана человека.

И Архип Кречетов, протерев заспанные глаза, ахнул, признав в человеке, похожем на цыгана, Федора.

А минут десять спустя началось нечто похожее на стихийно возникший митинг.

В центре толпы стоял Федор. Без шапки, в расстегнутой сатиновой косоворотке, подпоясанный широким казачьим ремнем, украшенным посеребренным набором, он и в самом деле походил сейчас на цыгана. Впервые в жизни держал он речь на миру. Но он не думал теперь об этом и, охваченный необычайным душевным волнением, говорил горячо и страстно, жестикулируя руками:

— Нет, нам нечего делить между казаками, новоселами и степными нашими тамырами. Мы все с вами — одна беднейшая нация. Одна у нас у всех с вами была незавидная судьба, братцы, одна планида.

— Правильно!

— Дело говоришь, станишник!

— Фактура — дело!— хором звучали голоса.

— Одна у нас судьба с вами, братцы. Одна у нас с вами и дорога,— продолжал Федор.— Мы ишо посмотрим, чья тут возьмет верх: наша ли с вами правда али кривда станишных воротил, отрубного кулачья и степного байства. Не мы им кориться будем, а их поставим кря-

ду всех на колени. Не такое теперь время, штобы в обиду нашего брата давать. Правильно я говорю, братцы?!

— Все, как божий день, ясно, Федор Егорыч. Бери команду над нами. В огонь и в воду пойдем за тобой. Я в ответе за всю нашу нацию,— сказал Кирька Караулов, вытянувшись перед Федором во фронт.

— За тобой последнее слово, станишник.

— На тебя вся надежа.

— В любой поход за тобой!— кричали Федору из толпы русские и казахи.

— Благодарствую, благодарствую, братцы, за такое доверие...— проговорил в смущении Федор.— А уж если доверились мне, так попрошу подчиняться,— повысил он голос.— День мы с вами передохнем на этом привале, а ночью — в поход. По секрету скажу, што сегодня же ночью должен прибыть из Омска один наш надежный и сведущий человек. Он нам подскажет, што и как делать дальше.

— Известно — што. Атаманов под арест, а власть — в свои руки!— крикнул Кирька Караулов.

— Это само собой разумеется,—подтвердил Федор.— Захватить власть — это ишо полдела. Захватить — захватим. А надо ишо суметь правильно руководствовать. И тут голова нужна башковитая...

— А кого ты из Омска-то ждешь?— улучив удобную минутку, спросил вполголоса Федора Кирька Караулов.

Помешкав, Федор также чуть слышно ответил Кирьке:

— Салкына.

32

В сумерках вблизи лесного бивака станичников и переселенцев спешилось около сотни конных джигитов, съехавшихся сюда из окрестных аулов. Кочевники, поджав по-степному ноги, сидели вокруг костров, делясь новостями.

— Хабар бар ма?

— Хабар бар. За аулом Мулалы нам пересек дорогу сумасшедший скакун, запряженный в арбу с мертвым телом бая Альтия...

— Ие?! Он был мертв?

— Говорят, мертв... И потом нам встретился пастух из рода Кайта. Он скакал на гнедом стригуне. Я запомнил приметы его конька — левое ухо с вырезом и тавро

на правой холке. Пастух говорил, что в степях, по ту сторону реки Ишима, пастухи побросали байские табуны и ушли в долину трех рек навстречу отрядам степного батыра — Амангельды.

— Что ты слышал еще про Амангельды?

— Где он?

— Много ли войска у него?

— Куда он идет?— окружив проворного и стремительного джигита в малиновой тюбетейке, наперебой спрашивали его кочевники.

— Вся степь говорит про Амангельды,— сказал джигит, с гордостью произнося имя батыра.— Тысячи недовольных, таких же, как мы, обездоленных степных людей движутся вслед за батыром из далекого Семиречья в степи Средней орды. Там, где проходят отряды батыра, бедняки становятся хозяевами степи, а аткаминеры и баи разбегаются, подобно волкам, попавшим в облаву...

— А правда ли, что среди джигитов Амангельды есть и русские люди?

— Был и такой хабар. Правильно, вместе с аскерами Амангельды идут и русские люди, а самого храброго из русских богатырей Амангельды зовут матросом Тараном. Об этом тоже знает вся степь, и незачем спрашивать о том, что давно всем известно...

— Правильно. Удивляться тут нечему. У русских людей тоже есть такие же джатаки, как мы. Чего же делить нам с ними, кроме нужды и горя?!

— Справедливые, справедливые ваши речи, воспода кыргызы. Дело говорите. Одна у нас с вами беда. Одна у нас с вами забота,— сказал Архип Кречетов, подслушавший мирную беседу сидевших вокруг костра казахов.

— Ие. Да. Одна беда. Одна забота,— оживленно откликнулся джигит в малиновой тюбетейке.

Присев рядом с казахами к костру, Архип Кречетов рассудительно проговорил:

— Нам с вами самое главное — власть доступить, а там уж мы определим свою жизнь по-хозяйски. В обиду друг друга не дадим. Слава богу, похлебали мы вдоволь горького до слез. Хватит. Наступит и на нашей улице праздник. Правильно я говорю, воспода суюзники?

— Друс. Друс. Правильно. Правильно, тамыр!

— Правильно, друг,— звучали в ответ на вопрос Архипа Кречетова дружные голоса джигитов.

Около полуночи, когда над лесом взошла молодая

луна, Федор, возглавив свой уже большой повстанческий отряд из станичников, скрывавшихся по переселенческим хуторам, дезертирствующих фронтовиков и степных джигитов, повел за собой кавалькаду вооруженных казачьими и охотничьими дробовиками всадников по направлению к станице. Казаки, принявшие в конном строю положенный походный порядок, шли впереди, а за ними следовали на рысях плотной массой джигиты.

Федор ехал впереди, молчаливый, строгий, внутренне собранный. Капризный, плохо еще приученный к седлу степной конь, закусив удила, стремительно нес его по степи, неярко озаренной светом молодого высокого месяца.

В темпе все возрастающего аллюра Федор провел свою конницу мимо цепи тускло блестевших от лунного света знакомых ему горько-соленых озер и скорее почувствовал, чем увидел, родные с детства места, неожиданно возникшие перед ним, как в сновидении, как в сказке. Вот промелькнула в стороне древняя береза с причудливо изогнутым у основания, похожим на лук стволом. Одинокая, покорная всем ветрам, она и прежде всегда замечалась Федором. А сейчас при виде ее золотой, дремотно покачивающейся полуобнаженной вершины у Федора еще тревожнее и горше, рывками забилось сердце.

Федор скакал, работая поводьями, не оглядываясь назад. Но он чувствовал близость мчавшихся за ним по пятам всадников и свою кровную неразрывную связь с этими людьми. Как проливной дождь в ночи, глухо плескался копытный стук, и возбуждал, кружил голову Федору сладковатый запах лошадиного пота и сдержанное дыхание всадников, в суровом и строгом безмолвии мчавшихся вслед за ним стороной от торной степной дороги.

Хутор Подснежный, где жила Даша, конница прошла на рысях, и Федор с трудом поборол в себе желание сейчас же повернуть на ту улицу, где стоял дом Немировых. «Нет, нет. Потом, после. После....»— мысленно твердил Федор, полузакрыв глаза, чтобы не увидеть случайно неясных очертаний знакомого дома, чтобы не поддаться соблазну и резким рывком не повернуть к нему своего нервного коня. Сердце било в набат. Горели виски. Во рту было горько и сухо. И Федор, пришпорив коня, вихрем пролетел через хутор, как через гигантское, жаркое

пламя костра, опалившее его душу огнем тревожных, ярких, незабываемых воспоминаний...

К станице конница подошла на рассвете. Федор плохо помнил потом, как он спешился на ходу со своей взмыленной лошади около крыльца станичного правления, как ворвался вместе с Пашкой Сучком, Андреем Праховым и пастухом Сеимбетом в кабинет атамана Муганцева и что говорил испуганно озиравшемуся Муганцеву, почему-то прикрывшему ладонями свои серебряные погоны. Зато Федор отлично запомнил обстановку этого кабинета, пропитанного кисловатым запахом легкого табака. На письменном столе стояла недопитая бутылка кагора — церковного вина для причастия — и две перевернутые вверх дном рюмки из розоватого хрусталя. Засидевшиеся в эту неспокойную ночь в кабинете атаман Муганцев и пристав Касторов тут же и заснули: Касторов — на деревянной софе, накрытой гарусным ковриком, Муганцев — в кресле за письменным столом.

Оба они не были пьяными. Но, очнувшись от шума и грохота, поднявшегося в станичном правлении, долго не могли прийти в себя, ошалело глядя на Федора и его спутников, проворно и деловито обыскавших того и другого на случай, если у них имеется припрятанное под кителями или в карманах просторных офицерских шаровар с лампасами огнестрельное оружие.

Покончив со скорым обыском и бесцеремонно сняв с Муганцева его посеребренную парадную портупею от сабли — отстегнутая сабля Муганцева мирно стояла в углу у печки,— Пашка Сучок, вопросительно взглянув на Федора, спросил:

— Куды их теперь девать, Федя?

— Кого?

— Ну, вот это бывшее, значит, начальство,— сказал Пашка, кивая на пристава с атаманом.

— Известно куда — в кутузку. Под замок. Да охрану за ними построже,— распорядился Федор.

— Слушаюсь,— лихо козырнув Федору, сказал Пашка, и он при помощи Андрея Прахова и Сеимбета не очень вежливо начал выталкивать из кабинета пытавшихся было сопротивляться пристава и атамана.

— Стоп, братцы. Куды вы их волокете?— крикнул появившийся в дверях Архип Кречетов.

— Куды надо. Посторонись с дороги,— окрысился на Архипа Пашка Сучок.

— Да не посторонись, а отвечай толком — куды, когда тебя спрашивают.

— Вот пристал, как банный лист к причинному месту. Куды, как не в каталажку?!— воскликнул, отталкивая в сторону Архипа Кречетова, Андрей Прахов.

— Да не в каталажку, а на площадь их, подлецов, волоки. На божий свет выводи их, к миру. Там ить вся станица у церкви!— протестующе размахивая руками, кричал Архип Кречетов.

— Нет. Нет. Закрыть их пока под стражу, а на миру мы и без них обойдемся,— повелительно сказал Федор, заметивший заминку среди казаков, конвоировавших взятое под стражу станичное начальство.

Федор стоял возле распахнутого окна и смотрел не спуская глаз на древние редуты крепости. Там вдали, за шестигранными холмами линейного городища, простиралась до самого горизонта родная степь. А над позолотевшими от восхода палисадниками и крышами станицы вставало огромное, похожее на развернутое алое знамя солнце. То брел по холмам и увалам занявшийся где-то под небом Тихого океана, властно вступающий в необозримые степные просторы Горькой линии новый, полный бодрящего холода, синевы и багрянца октябрьский день.

На церковной колокольне ударили в большой колокол. Низкий в запеве, торжественно-глуховатый звук меди стремительно поплыл, колыхаясь, над степью. Затем последовал второй удар. Третий. Четвертый. Частые и гулкие звуки заходили волнообразными кругами над станицей.

И Федор, поняв, что это бьют в набат, бросился со всех ног туда, на станичную площадь, к народу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые роман опубликован в 1931 году в Московском издательстве «Федерация» («Горькая линия». Книга первая. 268 с.).

23 августа 1931 года Шухов писал А. М. Горькому:

«Алексей Максимович!

Посылаю Вам первую свою книжку — «Горькая линия»,— роман о классовой борьбе на Сибирской окраине. Это первый мой творческий опыт, получивший в печати пока положительную оценку («Лит. газета» от 10 августа и жур. «Земля Советская», № 7.)

Но конкретных указаний, которыми бы мог я воспользоваться в дальнейшей моей работе, над второй книгой этого романа, я не имею.

Детство я провел в линейной сибирской крепости — казачьей станице, среди русского казачества и основных обитателей края — казахов, между которыми вплоть до 17 года шла вражда, пока единство классовых интересов не привело бедноту этих наций к одной интернациональной позиции. Вот эту классовую дифференциацию среди русского казачества и пытаюсь я отобразить в «Горькой линии».

Меня кровно волнует этот материал, и я пытаюсь развернуть его в форме художественного показа классовой действительности.

Сейчас вышла первая книжка «Горькой линии», в плане у меня — вторая. Я чувствую на себе большую ответственность и был бы несказанно рад, Алексей Максимович, если бы Вы уделили мне немножко своего чуткого внимания и сказали свое слово об этой работе...

Мне 25 лет. Я сын русского казака с Горькой линии. В 1927 году окончил Омский рабфак. На учебу попал через газету, будучи ее активным селькором. По окончании рабфака ушел на газетную работу, связи с которой не порываю и по сей день.

Писать, я чувствую, с каждым днем становится все труднее, и Ваши советы принесли бы мне огромную радость, большую творческую зарядку». (Цитируется по книге «Воспоминания об Иване Шухове». Алма-Ата, «Жазушы», 1979, с. 437-438).

В ответном письме А. М. Горький отмечал: «Цель у Вас — отличная, формулируете Вы ее совершенно правильно: «показать рост классовой дифференциации — расслоение — в казачестве, показать, как национальная борьба перешла в классовую, социально-революционную»— это не легкое и строгое дело! Судя по началу, по первой книге «Горькой линии» Вы должны бы достичь Вашей цели с полным успехом».

О том, как создавалось первое его крупное произведение, И. П. Шухов подробнее рассказал в статье «За высокое идейно-художественное качество» (журнал «Рост», 1932, № 8, с. 10—11):

«К литературе пришел я от газеты. Работа в краевой печати Сибири и Урала (я работал разъездным корреспондентом) дала мне очень много в смысле тематического обогащения, в тренировке глаза и уха, в развитии наблюдательности, в подборе, сортировке и осмысливании фактов и в обобщении их.

Я давал материал исключительно очеркового порядка, и потому все свои полубеллетристические корреспонденции я рассматриваю как подготовительно-лабораторные опыты перед первой большой серьезной работой.

Многократные поездки по степным крепостям бывшего западносибирского линейного казачьего войска (одна из таких линейных крепостей — моя родина) дали мне богатый архивный материал из истории революционного движения среди русского казачества и степных кочевников. Я занялся изучением социально-экономических отношений среди различных национальностей края и, закрепив свои давние детские впечатления последними наблюдениями, приступил к работе над первым своим романом...

Таким романом и была «Горькая линия». После трехлетней подготовительной работы, систематизации и обдумывания материала самый процесс писания вещи занял 7 месяцев. Я работал ежедневно 10—15 часов в сутки».

В беседе с литературоведом К. Куровой Шухов тоже подчеркивал, что многое в романе написано им «по детским впечатлениям». «Так, например,— говорил писатель,— очень ясно и надолго я запомнил проводы казаков весной и встречи осенью. В 1914 году в Сибирском полку было восстание. Один из офицеров хотел забрать у казака его коня. Возмущенные казаки подожгли барак, в котором отсиживался офицер. Полк затем был расформирован, девять человек расстреляно, один из них — наш пресновский казак» (К. Курова. Иван Шухов. Критико-биографический очерк. Алма-Ата, 1960, с. 36). В несколько измененном виде история эта воспроизведена в романе.

Уже через год после выхода «Горькой линии» в свет Шухов говорил о своем желании «написать этот роман снова, по-другому — накопились новые художественные средства, кои в той или иной ме-

ре позволят преодолеть допущенные промахи... К этому я стремился и буду стремиться впредь, ревниво борясь за качественное звучание вещи» («Рост», № 8, с. 11).

В 30-е годы роман, одобрительно встреченный М. Горьким, выдержал несколько изданий, вызвав многочисленные отзывы в печати.

В 1940 году в Казгослитиздате (Алма-Ата) вышло очередное, 4-е, издание «Горькой линии». После войны произведение подверглось существенной переделке («Горькая линия». Заново переработанное издание. Алма-Ата, 1949). В 1952 году, подготовив к печати «Избранное», автор вновь очень серьезно и творчески переписывает роман.

В письмах той поры, адресованных жене И. П. Шухова — Е. А. Рязанской и хранящихся в семейном архиве, содержатся интересные подробности, касающиеся в целом творческой лаборатории писателя, его отношения к произведению и отдельным персонажам, различных изменений литературного замысла.

«Написал заново две главы, открывающие роман,— сообщал Иван Петрович из Пресновки 6 августа 1949 года.— Этими главами поворачивается все под иным углом и все становится на свое место. Все лирическое вступление в прежней редакции полетело. Беру сразу быка за рога. Кажется, это то, что нужно. Одно худо. Не с кем мне посоветоваться. Все обязан решать в полном одиночестве со своей совестью, со своим вкусом...

Не берусь пока судить, как пойдет работа дальше. Стану ли я писать главу за главой на машинке или перейду на правку написанных глав в прежней редакции,— ничего пока не знаю. Одно ясно: работа впереди сатанинская...

Очень хочется почитать вам первые главы. Они пока кажутся нам отличными. «Поздней осенью 1912 года...»— с такой фразы начинается теперь роман, и это уже хорошее, спокойное, эпическое начало, правда?.. Хорош, кажется, Стрепетов. Он сразу входит в роман вместе с другими ведущими фигурами. Хорошее место есть у меня в первой главе о Пржевальском. Но очень трудно, очень трудно даются все же настоящие слова».

Через три дня, 10 августа, Шухов уточнял:

«Роман мой начинается теперь с широкого, эпически спокойного описания похода казаков, возвращающихся с Китайской границы в степи Западной Сибири. Сразу же раскрывается обаятельная, тревожная душа Алексея Ильича Стрепетова. Затем происходит трагическая сценка с самоубийством чудесного парня-казака, бросившегося с высокого берега в озеро Зайсан. Самоубийство этого всегда жизнерадостного, обаятельного парня, общего любимца в полку, потрясает весь эшелон и их командира — Алексея Ильича. Выясняется, что казак кончает с жизнью по причинам не интимного, личного, а

социального порядка. Возвращаясь через пять лет домой, он приходит к выводу, что ему нечего делать на родине, что, кроме нужды и каторжного труда на чужих людей, его ничего не ждет впереди. И он кончает расчеты с жизнью в то время, когда казаки, взволнованные близостью родных мест, непринужденно веселятся ночью на бивуаке, пляшут у костров и поют чудесную песню о медовой зореньке и бедовой девчонке, которая ждет не дождется своего казака.

Пересказывать все это, конечно, немыслимо. Надобно прочитать. Я думаю, что вы поверите мне, как я сумел сделать эти глубоко эмоциональные главы, в которых много смешного переплетается с трагическим, а главное — тут уже есть необходимая социальная окраска и известная социальная перспектива в прозрачной дали романа».

Из письма от 16 сентября 1949 года:

«Работаю и работаю. Но дело движется не так ходко, как хотелось бы. Одно могу сказать — хорошо. По крайней мере, мне так кажется. Есть страницы, которые хочется читать вслух. Отлично звучит диалог. Местами — видишь и чувствуешь человека, пейзаж, испытываешь хорошее волнение, перечитывая такое, скажем:

«Бивуак засыпал. Полковые песельники, умолкнув, разбрелись по палаткам. И только кое-где еще мирно судачили о своем житье-бытье засидевшиеся у полупогасших костров казаки, да где-то далеко-далеко, в другом конце лагеря, лепетали чуть слышно, словно спросонок, отзывчивые лады чьей-то бедовой тальянки».

Вот напишешь такое и радуешься, как ребенок, и думаешь, что талантливее тебя, черт возьми, никого в свете нету. Но вот беда. Возникает столько неожиданных, необычайно заманчивых новых ситуаций в сюжетной ткани романа, что и обходить их жалко, и ломать конструкцию — страх берет... Например, совсем по-иному раскрылся передо мной образ Насти Бушуевой — бледного и невыразительного существа в старой редакции. Теперь для нее нашлось настоящее место, настоящие слова. Не могу же я оставить Настю прежней...»

Спустя неделю, 23 сентября, Иван Петрович сообщал:

«...Кажется, я просижу над этим романом порядочно. Да и нельзя не просидеть. Ведь получается целая эпопея. И сделать надо ее капитально. Без дураков.

Вот хотите взглянуть на наш пейзаж? Извольте:

«Было около шести утра. Чуть брезжило. Неласковым выглядел поздний осенний рассвет. Лихо посвистывал в пустынном поле бесприютный северный ветер. Угрюмо и глухо шумел вдали неспокойный Зайсан. Тревожно ржал чей-то конь в полковом табуне. Горько перекликались в заоблачной высоте отбившиеся от птичьего косяка казарки. И казалось, что лежавший сейчас на берегу под жесткой походной попоной Седельников тоже видел и чувствовал неуютный

дождливый и сирый этот рассвет и жалел, что расквитался с жизнью в такую минуту...»

И на таких десять строк иногда не жалко потерянных полусуток. Напишешь такое, и счастливее тебя нет на свете...

А вот жанровая сценка. Видите вы этих людей?

«Казаков было пятеро. Алексей Ильич знал их всех поименно. В кругу защищенных от ветра и пригретых костром сослуживцев сидел, смахивающий на подгулявшего ярмарочного цыгана, полковой трубач Спирька Полубоярцев. Против трубача ерзал невеликий ростом, но озорной и щеголеватый казачишка Евсей Сударушкин. Он только что заложил в обе ноздри по щепотке перетертого в золе табаку и теперь, собираясь чихнуть, вертел носом и страдальчески морщился. Тут же красовался своей гвардейской статью и выправкой полковой каптенармус Михей Струнников — видный собой детина с картинным чубом подвитых плойкой волос. Брезгливо оттопырив толстые губы, он презрительно косился прищуренным глазом на вдруг расчихавшегося Сударушкина. Коренастый же крепыш в чине приказного Тимофей Наковальников, наоборот, смотрел на прослезившегося от чиханий Сударушкина с таким блаженно-умиленным выражением лица, точно сам испытывал в такую минуту вместе с Сударушкиным не меньшее удовольствие. Пятый из сослуживцев — Яков Бушуев полулежал, опершись на локоть и покручивая свой вороненый гусарский ус, меланхолично посматривал на огонь узкими татарскими глазами».

Хороши, правда? Вот здесь ничего не описано, а все показано. Товар — лицом!»

8 октября того же года:

«...в интересную, сложную фигуру вырастает у меня Алексей Ильич Стрепетов. Работаю я над его образом с большим душевным светом. Очень он пришелся по сердцу мне. Возникло много новых, ясно определившихся фигур казаков, которые будут играть центральные роли в романе... Но еще больше возникает новых сюжетных ходов и линий. Совсем по-иному думаю я подать казахскую степь и самих казахов. Решил ввести, например, романтическую историю со знаменитой казахской песней, сочиненной русской казачкой, вышедшей замуж убегом за джигита».

Итак, различие между первоначальным и последним вариантом романа очень велико. Уже в редакции 1949 года автор тщательно обдумал взаимоотношения между действующими лицами, углубил социальные характеристики героев. И все же роман оставлял впечатление незавершенности. Многие повествовательные ходы неожиданно обрывались. Естественно, что данная редакция автора не удовлетворила. Понадобилась новая, дополнительная работа над образом Федора Бушуева. Удаленные сюжетные линии, связанные с

образами Олены, снохи Бушуевых, пленного Карла, Фаньки — жены Федора, Пенькова, жителей станицы Сандыктавской, представителей аульных бедняков,— все это меняло содержание, структуру и направленность романа. Взамен были созданы новые картины, образы, сюжетные ходы, вошедшие в третью редакцию «Горькой линии» 1952 года. Однако и эта редакция не явилась окончательной. Она претерпела в последующие годы ряд изменений, главным образом стилистического характера и послужила основой последней, канонической редакции, в которой роман был выпущен в 1969 году в Москве («Художественная литература») и переиздавался в Алма-Ате.

В настоящем издании роман печатается по тексту книги: Иван Шухов. Избранное в двух томах. Том I, Алма-Ата, издательство «Жазушы», 1974.

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН ПЕТРОВИЧ ШУХОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ
Том I

Редакторы *Н. Муханова, А. Загородний*
Худож. редактор *Б. Машрапов.*
Технич. редактор *С. Лепесова.*
Корректор *А. Тимофеева.*

ИБ 1728

Сдано в набор 28.01.80. Подписано к печати 29.07.81. Формат 84×108[1]/32. Бум. тип. № 2. Литературная гарнитура. ысокая печать. Печ. л. 15,0. Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 26,9.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 320. Цена 1 р. 90 к.
Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.
Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Шухов Иван.

Ш 98 Собрание сочинений в пяти томах. /Сост., прим. Ильи Шухова.— Алма-Ата: Жазушы, 1981.

Т. 1. Горькая линия: Роман.— 480 с.

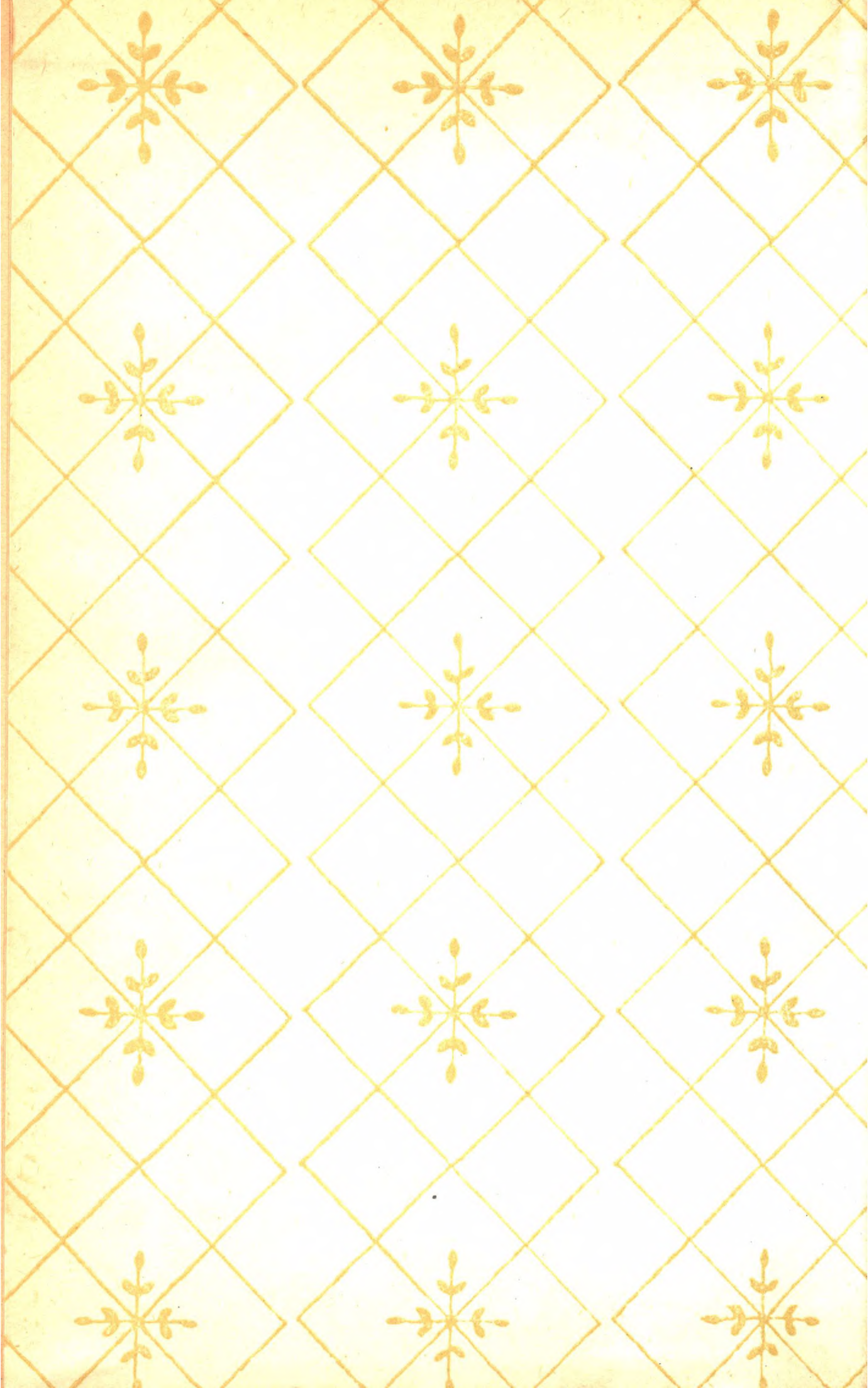
В том вошел давно полюбившийся читателю роман «Горькая линия», рассказывающий о жизни сибирского казачества в канун Великой Октябрьской социалистической революции.

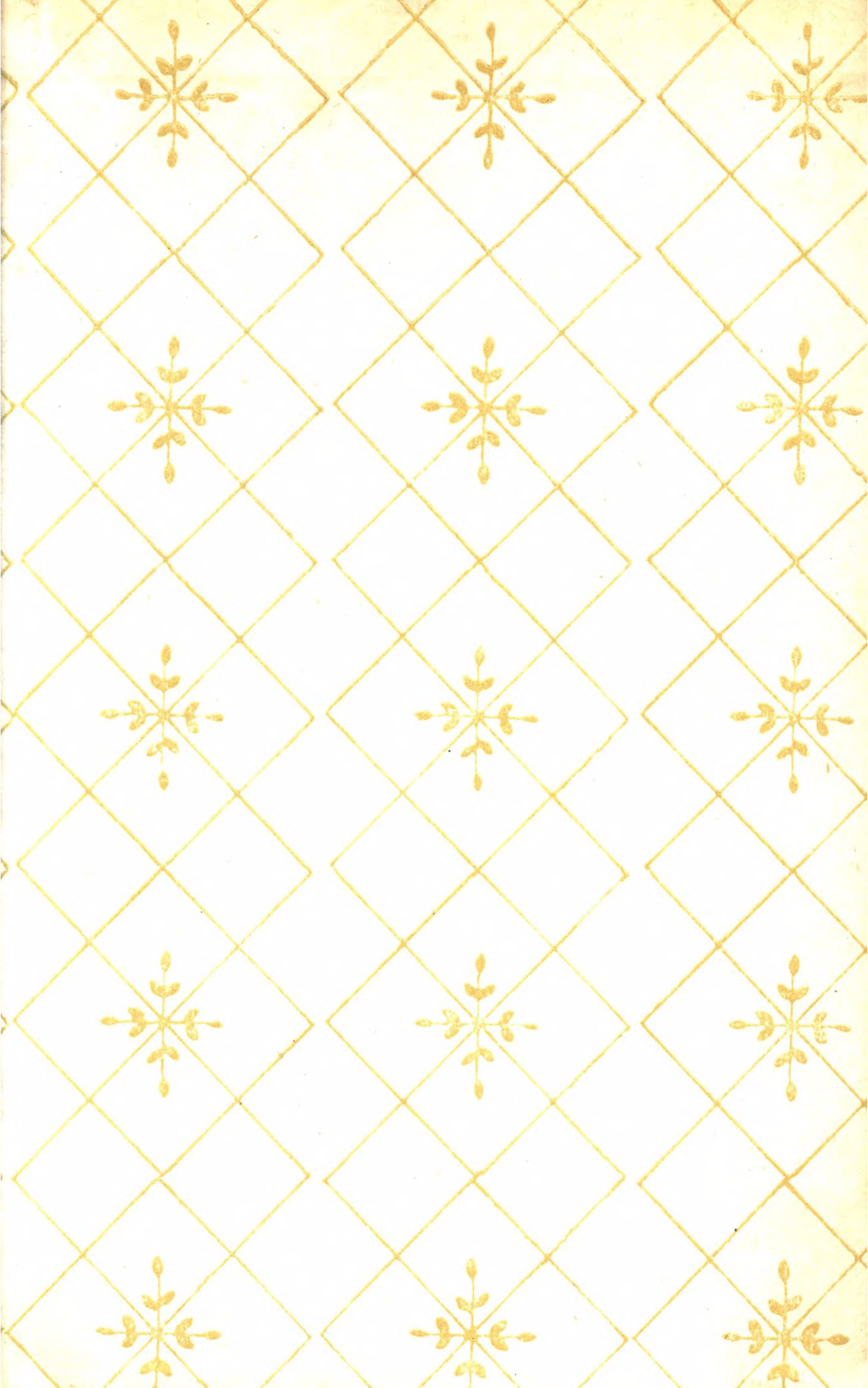
Р2

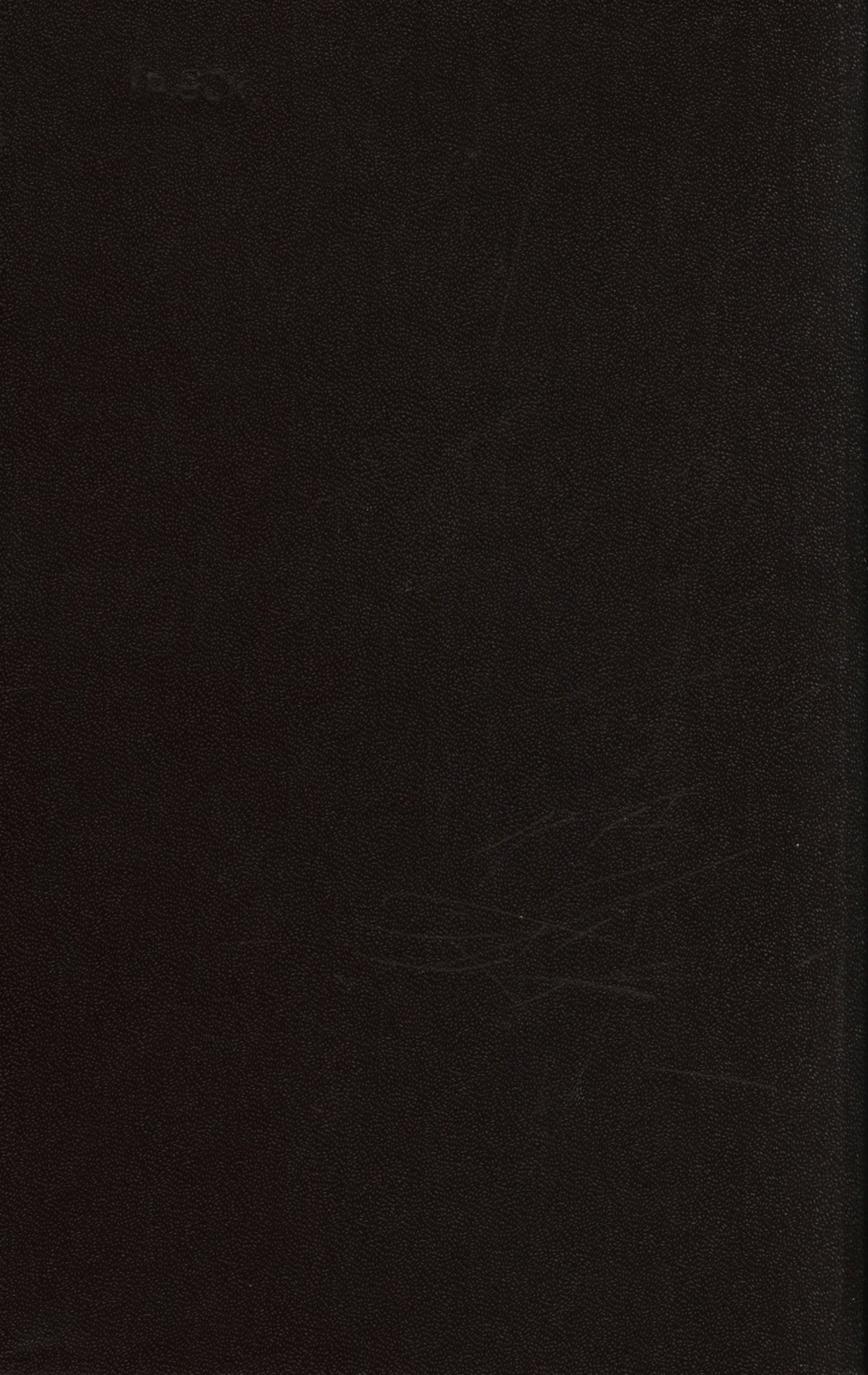
Ш $\frac{70302-122}{402(05)\ 81}$ 16—81 4702230200

ния»,
й Ок-

Р2.







ИВАН
ШУХОВ



1

